Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

5

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Мирович

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ
5
Г. П.
ДАНИЛЕВСКИЙ

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Мирович

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

в десяти
томах

МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

Том пятый

МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

ББК 84Р1
Д18

Оформление художника
Б. ЛАВРОВА

Данилевский Г. П.

Д18 Собрание сочинений: В 10 т. Т 5. — М.: ТЕРРА, 1995. — 448 с.

ISBN 5-85255-706-4 (т. 5)
ISBN 5-85255-702-1

«Мирович» — первый крупный исторический роман писателя, включенный в пятый том, живо и исторически достоверно рисует грандиозную картину екатерининской эпохи, передавая ее неповторимый колорит. Как живые, предстают перед нами реальные исторические фигуры: Екатерина II, Петр III, граф Миних, Ломоносов, Орловы и многие др. сановники того времени.

Основная линия романа — жизнь и любовь Мировича — тесно вплетена в канву повествования.

Д 4702010100-059 / А30(03)-95 **Подписное**

ББК 84Р1

ISBN 5-85255-706-4 (т. 5)
ISBN 5-85255-702-1

Мирович

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЦАРСТВЕННЫЙ УЗНИК

— Да, — скажут наши правнуки, — им было больно угнетение России.

И. Лажечников. «Ледяной дом»

I

КУРЬЕР ИЗ ЗАВОЕВАННОЙ ПРУССИИ

Императрица Елисавета Петровна скончалась 25 декабря 1761 года, в самый разгар войны России с Пруссией. Войска Фридриха были уже не те: лучшие его офицеры убиты или взяты в плен.

За год перед тем отряд генерал-поручика Петра Ивановича Панина овладел Берлином. Казаки, с союзниками-кроатами, опустошили столицу Фридриха Второго, разграбили в ней до трехсот домов, не пощадили и загородного королевского дворца: изломали в нем дорогую мебель, перебили фарфор, бронзы и зеркала, изорвали штофные и гобеленовые обои, изрубили итальянские картины и разнесли в клочки кабинет редкостей.

Начальники не отставали от подчиненных. Дано было приказание прогнать сквозь строй «Под липами» берлинских «газетиров» за то, что эти публицисты слишком обидно и дерзко писали о русских. Вследствие такого приказа, «про-

тивные России, печатные в газетах письма» жгли через палача под виселицей, а сочинителей тех писем вывели на экзекуционс-плац, чтобы наказать, за их противности, шпицрутеном. Генерал Чернышев их помиловал. Одного «дусергельда» на вино, на сигары и вообще на угощение русской армии было истребовано от Берлина сто тысяч. Измена командира отдельного русского корпуса, графа Тотлебена, и его арест, с общего совета всех русских полковых командиров, на марше в Померании не изменили рвения победоносной армии. Положение Фридриха было отчаянное. Он из прусского короля стал опять ничтожным бранденбургским курфюрстом. В Кёнигсберге поселился русский губернатор, отец Суворова. Вся Пруссия была завоевана и — после роковой надписи Елисаветы «быть по сему» на докладе о ее присоединении — присягнула в подданство русской императрице. В этой новой «губернии» стали вводить русские порядки. В ней явилась русская миссия с архимандритом; начали чеканить русскую монету. И вдруг обстоятельства изменились...

Племянник Елисаветы Петровны, император Петр III, в самый день смерти тетки, вошел с обожаемым им королем Фридрихом в переговоры о перемирии. Губернатор Суворов, по именному указу, сдал войска и управление прусским королевством генерал-поручику Петру Ивановичу Панину, а сам уехал в Петербург и стал, из-за долгов, публиковать в «Ведомостях» о продаже своего имущества. За ним, радуясь манифесту «о вольности дворянства», двинулись под разными предлогами в Россию и другие офицеры, особенно штабные. Огорчения обидных уступок забывались. Всех волей-неволей манило из долгого похода на родину...

В конце февраля 1762 года, на курьерской тройке в пошевнях, по пути из Пруссии в Петербург выехал среднего роста, лет двадцати двух, сухощавый, с черными строгими, несколько рассеянными и как бы недовольными глазами,

офицер из Кёнигсберга. Был второй час пополудни. Он спешил застать присутствие в военной коллегии. От въезда в город у Калинкина моста до здания коллегии (Штегельмановский дом на Мойке, у Красного моста, — где ныне Институт глухонемых) офицер всячески торопил ямщика. Десять дней в пути в ростепель и половодье по Литве сильно его утомили. Он вез собственноручные бумаги Панина, с робким, хотя ясным предложением — попытаться продолжать войну. В мыслях офицера рисовался ожидаемый им, полный неизвестности, прием, борьба Панина с дворскими партиями и вероятное сочувствие и поздравления товарищей. Он добрался до коллегии, одернул на себе поношенный зеленый, с таким же воротом, кафтан и красный камзол, обмахнул снег с черных штиблет и тупоносых, без пряжек, истоптанных башмаков и оправил ненапудренные букли и космы развившейся в дороге светло-русой, запорошенной инеем косы. Спросив в коллегии генерала, к которому вез от Панина еще частное письмо, он сдал пакеты и, измученный дорогой, ожидал, что его станут расспрашивать, готовил в уме ответы, подбирал убедительные слова.

«Войско, — думал он, — рвется сражаться, смелый прожект Петра Иваныча одолеет... Себя не пожалею, всю правду докажу... Лишь бы отечеству польза, — лишь бы оценили смелость столь честного и неподкупного командира!..»

Белолицый, важный ростом и повадкой, дежурный генерал Бехлешов прочитал привезенное письмо, остальные бумаги отложил к стороне, пристально вгляделся в посланного, сердито потоптался на месте и, презрительно фыркая, сказал:

— Новости твои, сударь, вовсе не важны... А Петр Иваныч хоть и почтенный патриот, почтенный, — но... да это не твое дело... Война — экие смельчаки! Тут о перемирии, а они о войне! Завтра, сударь, воскресенье... А впрочем, наведайся послезавтра...

Офицер вспыхнул. «Ах, ты, кукла плюгавая, пузырь! — хотел он сказать. — Еще о патриотах судит. Ну, да этот

еще не Бог весть какая птица! Что скажут другие, вся коллегия?»

Он вздохнул, вышел, постоял, несколько опешенный, на улице и велел ямщику ехать на Васильевский остров. На сердце у него отлегло. Вид знакомых, когда-то близких мест отрадно повеял на него. И солнце кстати выглянуло и так весело осветило улицы, дома и душу путника.

Проезжая мимо шляхетного кадетского корпуса (дом Меншикова, теперь Павловское военное училище), он снял шляпу и перекрестился; здесь прошло его учение и отсюда, из кадетов, два года назад, он был послан в заграничную армию. На углу одной из дальних линий и набережной Невы он завидел почернелый забор и ветхую крышу домика, с давних пор принадлежавшего вдове лейб-кампанца Настасье Бавыкиной.

Сердце путника сжалось. Сюда по праздничным дням, бездомный, круглый сирота, столько лет сряду хаживал он из корпуса в гости. Здесь приветная и твердая нравом, бездетная и сердобольная старуха, Настасья Филатовна, прозванием «царицына сказочница», ласкала его, и в нем, бедном кадете, находила утешение в своем одиночестве и сиротстве. Дом ее был в ту зиму, как знал из ее писем офицер, продан за долги, и его хозяйка переехала куда-то на квартиру, не успев ему сообщить нового своего адреса. Офицер остановился у знакомых ворот.

— Вам кого? — спросил его какой-то мещанин, сидевший под навесом соседнего крыльца.

Офицер назвал Бавыкину.

— Рухнул древний, крепкий столб, — сказал мещанин, — и она, властная, сократилась из домохозяйки жилицей стала... Приходят, знать, последни времена.

— Да куда ж она переехала? Где живет?

— У звездочета какого-то, ученого... Уела ныне нас всех эта анафема — дороговизна... Приступу ни к чему нетути, хоть ложись да помирай... На погорелых, слышно, местах, на Мойке, каменный дом чей-то против Съезжей, а Фила-

товна во дворе, внизу, в деревянном фатеру снимает — там вывеска портного... Спроси звездочета — всяк тебе там покажет...

Офицер поехал к Синему мосту, а оттуда вправо, берегом Мойки, и остановился против места, где теперь, у пешеходного мостика, помещаются здания Почтамта. Здесь на пустынный и низменный, без набережной и ограды, берег Мойки выходил кирпичный, одноэтажный, похожий на фабрику дом с высокой трубой. На заборе была вывеска портного. За каменным зданием, в глубине двора, высился обветшалыми стенами другой дом, деревянный, в два яруса, с красною голландскою черепичною крышей. Снизу в верхнюю половину этого дома вёла открытая, с площадкой, лестница, навесом для которой служили ветви высокой, в несколько обхватов березы, росшей на дворе у крыльца и, без всякого сомнения, видевшей еще шведов и Первого Петра. Влево, за вторым домом, выглядывал безлистый, обсыпанный снегом сад.

Смеркалось, когда голубая, цвета васильков, тогдашняя общеармейская шинель путника показалась во дворе, где теперь жила Бавыкина. Чуть не потеряв на крыльце истрепанной ветром, с трех углов подвернутой, поярковой шляпы, офицер с тощим чемоданом под мышкой быстро вошел в нижние сени. Он сунул в угол чемодан, шагнул в полуосвещенную комнату направо, оттуда в какую-то «боковушку» налево и, растерявшись, остановился у новой двери. За нею была опять перегородка. В щель этой двери пробивался свет.

«Верно, тут, — подумал гость, оглядываясь и переводя дыхание, — вот удивится!»

— Настасья Филатовна, здравствуйте! — сказал он, постучавшись в дверь.

— Никакой Настасьи Филатовны здесь нетути-с! — отозвался недовольный суровый голос из-за перегородки. — Дессиянс-академии академик тут живет... Извините...

«Что же это значит?» — подумал озадаченный гость.

— Академии-дессиянс академик здесь, Бог мой! — добавил нетерпеливо голос. — А к жилице, благоволите, из прихожей налево... Но ее нет дома.

Офицер поблагодарил, хотел идти.

— Вы же, извините, кто? — послышалось за дверью. — Как сказать, коли возвратится?

— Заграничной армии курьер, генеральс-адъютант прусского губернатора Панина, — ответил офицер.

За перегородкой послышался торопливый шорох. Дверь отворилась. На ее пороге, в халате, показался высокого роста, лет за пятьдесят, плечистый и плотный человек с умным, усталым, в красивых морщинах лицом, с недоумевающими, добрыми глазами, лысый и с крупными жилистыми руками, из которых в одной была табакерка, в другой — перо.

— Из армии? Что вы сказали?.. Из Пруссии?..

— Точно так-с... Нарвского пехотного полка подпоручик, ордонанс Панина, курьером с бумагами.

— Знакомец моей жилицы?

— Так точно-с!

Кроткая, ласковая улыбка осветила строгое лицо академика.

— Слышал о вас, слышал... Нежданный гость — тем приятнее. Она и не подозревает. Сколько о вас гадано, толковано. Милости прошу, зайдите пока ко мне... — Какие же новости? Утешьте, сударь, подарите, — продолжал хозяин, — бьем немцев? Не правда ли? Крошим ферфлюхтеров?..

— Бить-то били, да теперь отступаем и скоро, надо полагать, вовсе вернемся. О перемирии заговорили.

— Что?.. Отступаем? Перемирие? Да кто ж его предложил?

— С нашей, знать, было стороны.

Табакерка и перо академика полетели на стол.

— Как? Мы? О мире? Да вы шутите! — вскрикнул дебелый, широкий в кости академик, дрожащими руками оправляя на плечах потертый серый китайчатый халат. — Ах,

дерзость! Ах, наглость и стыд! Батюшки! После стольких-то побед!.. Голубчик, молодой вы человек, с дороги озябли... устали... садитесь... Лизхен! Лизавета Андреевна! Леночка! Чаю, самоварчик ему... Умываться скорее...

— Bitte, bitte, gleich![1] — отозвался женский голос из соседней комнаты.

— Извините, — поклонился офицер, — ваша жилица, Настасья Филатовна, мне старая благодетельница...

— Знаю, не обидится... Мы с ней почасту толкуем... архив всяких преданий!..

— Где ж она?

— К вечерне, должно, ушла. Переждите: вот, пожалуйте сюда, в комнату моей дочушки, Леночки, но осторожней. Тут у меня, как у крота, переходов да всяких клеток. Каменный дом под фабрику мною строен; а этот с садом уцелел от пожара, — в старину еще, другими заложен. Внизу у нас жильцы и женино хозяйство; наверху ж мой рабочий кабинет, инструменты, электрические батареи, подзорные трубы, реторты да колбы...

В комнату, куда академик ввел гостя, вбежала с полотенцем и со свечой улыбающаяся девочка лет тринадцати, тоненькая, белокурая, в локонах, голубыми глазами и улыбкой похожая на отца. За ней, с тазом и кувшином воды, повторяя снова: «Bitte, bitte», вошла еще красивая, полная, в белом фартуке, чепце и с засученными по локти рукавами, жена хозяина. Все они и самые комнаты, теплые, уютные, казались офицеру такими добрыми, ласковыми.

— Вот вам, голубчик вы мой, мыло и вода! — сказал академик, когда дамы ушли. — Делайте свой туалет без церемоний, а я — простите за любопытство — еще кое о чем вас расспрошу... Так, перемирие? Ах, они окаянные, слепцы...

---

[1] Пожалуйста, пожалуйста, сейчас! (*нем.*)

— Панин хочет поправить дело и прислал рапорт: жалко, армия стремится к бою.

— И что ж? Есть надежда поправить дело?

— Бог весть, как посудят; союзников нынче, сказывают, у Пруссии немало и здесь.

— Рвань поросячья! Каины! Черти особые, их же и крест российский не берет! — шагая по горенке, сердито вскрикнул академик. — Иродовы души! Травка гнусная, фу́фарка!..

Он закашлялся и, поборая волнение, остановился у стемневшего окна.

— Бес шел сеять на болото всякие плевелы и дрянь, — сказал он, не оглядываясь, — да и просыпал нечаянно это зелье — фу́фарку; ну, из него и родился весь немецкий синклит: сам старый лукавец Фриц, его генерал Гильзен и Циттен, а с ними и наши доморослые колбасники — Бироны, Тауберты, Винцгеймы и вся братия... И их еще не ругать? Вздор! — обернулся и махнул кулаком академик. — Я их ругаю за нелюбовь к кормящей их России, позорно, в глаза, самою сугубою и их же пакостною немецкою бранью. Говорю ж с ними в конференции не иначе как полатыни. Не выносит их бунтующая против такой напасти и такого бесстыдства душа.

— Но их сила, господин академик! — произнес офицер. — Не лучше ли иметь с ними волчий зуб да лисий хвост?

— Один волчий зуб, без всякого хвоста! — более и более раздражаясь, крикнул академик. — Не церемонюсь я с несытыми в алчной злобе проходимцами и потому у них не в авантаже... Таков, сударь, моей натуры чин и склад!.. Ах, дерзость! Ах, нескончаемая лютость, поправшая всякий естества закон... Так это правда? Успела голубица мира, успел Гудович доставить масличную ветку в Берлин? Боже-Господи! Ужли ж побежденному королю вверять судьбы российской исконной политики? Да этого, друг мой, Россия с ордынских баскаков не видывала...

— Жил я между немцами, — сказал офицер, — извините, хоть и враги наши, а у них хорошо: порядок, науки.

— Да нас-то они ненавидят, не признают. Бить бы тамошних до конца, здешние бы присмирели!.. Ни одобрения к возрастанию родных наук, ни чести по рангу, ни внимания к каторжному, в здешнем крае, ученому труду! Я мозаику, сударь, я стеклянный завод завел, а они — конюхов да сапожников креатуры — жалованье мне завалящими книжками из академической лавки платили. Я открытия делал, оды писал, а с меня, когда я жил в казенном доме, деньги за две убогих горенки высчитывали. Истомили меня, истерзали кляузами... Поневоле другой стал бы пригибаться, слабеть, как иные — не хочу их называть, Лазаря знатным барам петь, на задних лапках за подачкой стоять... Да не буду стоять! Не буду подличать!.. Друзья у меня не по знатности — по гению и по усердству наук... И душа моя, сударь, плебейская, поморская... Воспитал ее в соловецких беломорских зыбях студеный, надполярный океан... Оттого-то ветер соленый, морской ходит в ней, бушует почасту...

«Вот человек, открытая, смелая душа!» — подумал офицер, с горячим, почтительным сочувствием глядя на матерого плебея-академика, с распахнутою, могучею грудью, шагавшего перед ним в стареньком китайчатом халате.

— Ох, извините, — сказал тот, остановясь, — вы привезли зело печальные, волнующие вести; не удержишься. А потому, — вдруг добавил он, понижая голос и как-то детски робко оглядываясь на дверь, — если вы в сей момент, как военный походный человек, готовы и расположены, то померекайте тут с вашею старою приятелькой, а через час, через два, за калиткой будет стоять договоренная мной городовая коляска... До́ма, в горницах, беседовать по душе тесновато... Я ж проболел и давно не выезжал. Так мы с вами, сударь, коль согласны, поедем в герберг к Иберкампфу; сыграем на бильярде, разопьем бутылочку и потолкуем обо всем на свободе...

— Не по рангу мне, господин академик... притом же дорога... мои финансы...

— Полно, полно, друг. Давно я, говорю, соблюдал лечебный дигет, ну, и пост; а сегодня вот кстати и жалованье из конференции прислали... Поедем; там, государь мой, устерсы фленские, анкерки токайские, бургонское и особый, скажу вам, новоманерный пунш...

Дверь распахнулась.

— Какой пунш? Кто пунш? — вскинув руками, произнесла на пороге полная, седая, но еще румяная и бодрая, в темной душегрее и в такой же кичке, с калитой и ключами у пояса, шестидесятипятилетняя старуха. Это и была свет-матушка, древний, властный столб, Настасья Филатовна.

Она взглянула на офицера, отступила.

— Вася, ой, да стой же... что это?.. Василек, голубчик ты мой! — вскрикнула и повисла на шее гостя старуха.

Смуглые, обветренные щеки офицера дрогнули. Он горячо припал к Филатовне, с радостными слезами безмолвно обнимавшей нежданного гостя.

— Ох, милый, вот так утешил, — сказала она, — одначе, стой... Так и есть, не стыдно ли? Не село, не пало, а уж и за компанство, за пунш... Да и вы, ваше высокородие, — хоть и хозяин мой... Стыдно! Вот я супружнице вашей все отлепортую...

— Долг гостеприимства, сударыня, — ответил, глядя на офицера, академик.

— Гостеприимства! А ты? — ласково обратилась к гостю, по уходе хозяина, старуха. — Ну-ка, испиватель пуншей, кадет, рассмотрю, каков ты нынче стал.

Бавыкина обвела его свечой.

— Сердечный мой, радостный! Едва тебя спознала! Вот она, походная-то доля, как возмужал! Ну, ангел мой Васенька, пойдем же в мою конуру, — не своя теперь, чужая...

Они прошли в сени, за которыми Бавыкина снимала две комнаты.

— Вася! Соколик мой! — сказала, припав опять к гостю, старуха. — Повидала я тебя, а не чаяла более... Не такою ты оставил вдову сударя Анисима Поликарпыча... Дуб оголелый нынче я... облетели все листочки, ветром ошарпало их, сдуло... Не в этакой узкости и тесноте суждено было век доживать. Ах! И где-то, Вася, те счастливые да шумные старые годы?..

Вдова Анисима Поликарпыча — кто не знал общей печальницы и утешницы! — самой государыне Елисавете Петровне угодила, бессонные ночи ей грешным рабьим языком коротала. Сильно скучала иной раз ласковая царица, и хаживали ее утешать из предместьев да с базаров бабы-цокотухи, умелые, бедовые на язык. Хаживала и лейб-кампанша Настасья. Сидит, бывало, ее величество в кофте да платочке поверх русых, пудреных волос и спрашивает гостью:

— Отчего ты, Филатовна, темна будто становишься?

— Старею, матушка, запустила себя, ласковая; прежде пачкалась белилами, брови марала, румянилась... Ныне все бросила...

— Румяниться не надо, — говорит царица, — а брови марай... Ну, сядь же, соври про разбойников или про какие иные дела.

— Казни, всевластная, невмочь; вся душенька во мне трепехчется...

— Отчего ж она у тебя трепехчется? — смеется государыня.

— Как иду к тебе, милостивая, будто на исповедь, а вышла, точно у причастия была...

И припадет Настасья к постели царицы, ножки, юбочку ее целует, до утра ей тараторит.

— В чем счастье, Филатовна?

— В силе, матушка государыня, в знатности да в деньгах. По деньгам и молебны служат.

— А горе в чем?

— Без денег, всемилостивая.

— Да ты, нешто, ведьма, жадна?

— Жадна, ох, жадна и все, пресветлая, что пожалуешь, возьму... Деньга́ — ох! — она ведь и попа купит, и Бога обманет...

Весело царице.

— Вот, было в старые годы.. — начнет Филатовна и говорит про все, что видела и слышала на свете на долгом веку.

Фавориты ее побаивались, и сам канцлер Бестужев, в праздники, посылал ей подарки — муки, меду, пудовых белуг и осетров. И хоть недолго Филатовна пожила за вдовцом, сержантом лейб-кампании, зато всласть, в полную волю. Анисим Поликарпыч нередко загуливал и буянил, но уважал Настю и тоже побаивался, а по смерти отказал ей дом на Острову у Невы. Падчерицу она пристроила за повара графа Разумовского, но вскоре ее схоронила и осталась круглой сиротой. Зато кто ее не знал? Совет ли дать, навестить ли в горе, похлопотать ли за кого — ее было дело. Не только светские, духовные ее уважали... Церкви Андрея поп взял ее к себе кумой. Дом, хозяйство Филатовны славились в околотке. Сама она стряпала, окна и полы мыла, без очков на старости лет шила бисером, золотом, копала огород и доила коров. И не раз сама государыня Елисавета Петровна лично удостаивала ее заездом к ней — малины тарелку откушать, прямо с кустов, либо выпить из холодильни стакан свежего, неснятого молока. И деньги водились у Филатовны. Они-то ее и погубили. Отдавала она их тайком богатеньким господам в рост. Но попутал бес. Одна знакомка дала совет. Погналась Бавыкина за большим барышом, ссудила немалый куш известному гвардейскому моту и всю казну потеряла. Хотела извернуться молчком; поплакала, погоревала и заложила свой участок банкиру Фюреру, но не выдержала срочных платежей, и дом ее со двором были проданы в начале той зимы с молотка.

Таков-то безлистый, оголелый на ветру дуб стоял теперь перед залетным гостем.

— Ну, да что тут, садись, соколик, — сказала Бавыкина офицеру.

Они сели.

— Не те времена, Вася; все ушло, все улетело, как почила наша пресветлая благодетельница... Что сберегла добра, рухлядишки, все перевезла сюда... Остальное — разобрали люди.

— Ничего! Даст Бог, поправитесь; вот я приехал — подумаем...

— Поздно, друг сердечный, поправляться да думать. Другим, видно, черед настал. Вот, к грекéне к одной в никанóрши зовут, за хозяйством глядеть; приходится внаймы на старости лет... Все прахом пошло... А я мыслила о тебе, тебе сберегала... Ну, да вой не вой, на то и велика рыба, чтоб мелких-то живьем глотать... Поведай лучше о себе.

Офицер вздохнул. Речь не слушалась. Два года разлуки немало унесли молодых ожиданий, веры в счастье, надежд.

— В карты, Вася, по-былому, извини, играешь? — спросила, взглянув на него, старуха. — Да ты не сердись: дело говорю.

— Что вы, помилуйте, — ответил гость, — жалованье какое! А тут, сами знаете, походы, контужен был, — до того ли?.. Притом...

Офицер хотел еще что-то сказать; слова ускользали с языка. По лицу прошло облако. Глаза смотрели рассеянно, куда-то далеко. У губ обозначилась сердитая, угрюмая складка.

Бавыкина покачала головой.

— Ужли и там не забыл? — спросила она.

— Вот пустяки, охота вам...

— Да ты, вьюн, не финти; говори, в резонт спрашиваю.

Офицер встал, оправил волосы. Точно отгоняя тяжелую мысль, он провел рукой по лицу, подумал и снова молча присел к столу.

«Так, так, из-за нее, — мыслила тем временем старуха, — из-за Поликсены ты и приехал, чуть смог вырваться

оттоль... Знаю тебя! От гордости молчишь — а сам бы кинулся, готов спросить: голубушка, родная, здорова ли она, жива ль?»

Офицер, сгорбившись, молчал. Филатовна не выдержала.

— Не закусишь ли с дороги? Молочка, сбитню не согреть ли?

Гость отказался.

«Ну, Бог с ним, сердечным, усталость, знать, одолела».

Старуха постлала ему постель в собственной спальне, дала ему огарок свечи, а расспрос о сердечных его делах отложила до другого раза: «Всяк Божий день не без завтрашнего».

Офицер разделся, достал из чемодана святцы и образок, поставил его в углу на столе, раскрыл святцы, рассеянным взором прочел несколько страниц, перевел глаза к темному окну и долго молился, кладя земные поклоны и прося у Бога нового терпения и новых сил.

«Родина, дорогая родина! — мыслил он. — Вот она наконец, и я опять среди нее... Храм Соломона!.. Далеко, кажется, до него... На чем-то они теперь стоят, чего держатся? Осветил ли их хоть малость свет истинной жизни, свет разума и вышней братской любви? Или все тот же этот край, хмурый, неприветный, запустелый и веющий холодом?..»

— Что? Лег спать? — перегодя, спросил Бавыкину, встретясь с нею в общих сенях, академик.

— Спит, — нехотя ответила Филатовна, — еще бы! Намаялся сердечный: столько ден сломя голову скакал. А вам, сударь, что до него?

— Да я так, новостей он привез, и любопытно расспросить.

— Ну, только, уж извините, это завтра...

— А как бишь, не упомнил, фамилия этого вашего гостя?

— Родом малороссиянец, и имя ему Василий Яковлевич Мирóвич... Сызмальства... Да что! Спокойной ночи, сударь... Только опять же советую, хоть вы и хозяин, — не держите долго огня... Все-то у вас бумаги да книжки... Пожар еще,

упаси Господи, не напроворили б... и то вот на погорелом дворище построились...

«Ишь, козырь, доброобычайная старица, как распекает! — улыбнулся академик, с потупленной головой вновь пробираясь в свои горницы. — Да оно и лучше! И здоровью легче. Вот печень намедни как было опять разгулялась! И дел, по правде, не оберешься. Мозаику кончать, о метеорах писать... Баста!.. Скудель тесная — существа предел!.. Прощай, былые годы!.. Mens sana in corpore sano[1]».

— Настасья Филатовна, кто, скажите, ваш хозяин? — спросил Мирович из спальни, уже впотьмах. — Я и забыл осведомиться.

— И этот тоже! Да что с вами поделалось?.. Точно сговорились! Пара он тебе, что ли! Коллежский советник — почитай, бригадир... Спать пора! Индо напугал.

Василий Яковлевич Мирович крепко заснул. Мир давно забытых картин охватил его. Ему грезились давние, детские и отроческие годы, угрюмая Сибирь, потом украинский тихий хутор, старый заповедный лес и пчелы, бедность и горести некогда богатой и знатной, потом гонимой судьбою, разоренной и обедневшей семьи.

II

ПРОШЛОЕ МИРОВИЧА

Предок Мировича во время казни гетмана Остраницы был в Варшаве, с другими пленными казацкими сотниками, прибит гвоздями к осмоленным доскам и сожжен медленным огнем.

Его прадед, Иван Мирович, переяславский полковник, был бешеной храбрости человек. Гетман Мазепа выдал за

---

[1] В здоровом теле здоровый дух *(лат.)*.

него, вторым браком, выписанную из Польши свою сестру, Янелю. Разгромив татар у Перекопа и Очакова, Иван Мирович возил в Москву пленников и пушки и, возвратясь оттуда со щедрыми подарками, начал строить каменный переяславский Покровский собор, но вскоре скончался. Здесь, по его заказу, на большом запрестольном образе, весьма схоже, был изображен Петр I, возле него гетман Мазепа и духовенство, поодаль придворные дамы, народ и казацкое войско, а над всеми, в облаках, покров эллинской Божьей матери. У этой еще не оконченной церкви, по преданию, гетман Мазепа, поскользнувшись, упал с конем.

— Не к добру, — сказал народ и вспомнил это после Полтавского боя.

Сын Ивана от первого брака, Федор Мирович, был генеральным есаулом Орлика. Посланный вельможным дядей-гетманом в Польшу, под команду Паткуля, завзятый рубака, Федор Мирович не вынес «муштры» немца, бившего казаков палками, и возвратился с данным ему полком в Украйну. Мазепа отплатил племяннику. В 1706 году огромные силы шведов осадили Мировича в Ляховичах. Мазепа, сославшись на половодье, не доставил ему помощи. Брошенный своими, теснимый врагом, полковник Федор Мирович сдался с отрядом и был увезен в цепях в Стокгольм. Церковь в Переяславле, заложенную его отцом, достроила впоследствии его жена, племянница гетмана Самойловича, Пелагея Захаровна, урожденная Голубина. Освободившись из плена, Федор Мирович жил некоторое время в Турции, потом в Варшаве у Вишневецкого, где и умер. За сношения Федора Иваныча с угнетенной родиной Петр I сослал его жену и сыновей в Сибирь и отобрал в казну имения не только виноватого перед ним Федора Мировича, но и ни в чем не повинной его жены.

Юных сыновей Федора Иваныча государь спустя некоторое время помиловал. Мировичей отпустили из Сибири в Чернигов, к их дяде, знаменитому Павлу Полуботку, который в 1723 году отвез их в Петербург и поместил, для

прохождения наук, в академическую гимназию. Здесь они были недолго. Полуботок кончил жизнь в крепости, племянники остались без средств и от бедности бросили науку. Старший из них, Петр, получил место секретаря при дворе великой княжны Елисаветы Петровны; младшего, Якова, взял к себе из милости польский посланник, граф Потоцкий, с которым тот побывал и в Польше. Но было вскоре перехвачено письмо Петра Мировича в Варшаву к отцу с копией указа о Полуботке и с известием о притеснениях малороссийского народа. Братьев опять арестовали и перевезли в Москву, потом в 1732 году снова выслали, под видом боярских детей, в Сибирь, где Петр Мирович дослужился до места управителя заводской Исетской конторы, а впоследствии даже был назначен воеводой Енисейской провинции.

Во время коронации Елисаветы в Москве бывший еще недавно певчий цесаревны, Алешка, теперь же всесильный и вельможный граф Алексей Григорьевич Разумовский, напомнил императрице о судьбе своих забытых земляков, Мировичей. Государыня лично в сенате, в 1742 году, объявила именной указ, которым обоим братьям Мировичам, после вторичной десятилетней ссылки в Сибирь, даровалось прощение и предоставлялось служить, где они захотят. Они пожелали докончить век на покое, на родине, куда, после некоторого пребывания в Москве, и переехали.

Старая «Мировичка», мать Петра и Якова Федорычей, Пелагея Захаровна, была отпущена из Сибири в Малороссию двумя годами позже сыновей. Тщетно она подавала из ссылки и из Малороссии прошения царицам Анне и Елисавете, умоляя их о возвращении ей если не мужниных, то хотя бы части ее собственных приданных и благоприобретенных имений. На все ее прошения были получены отказы. Некогда вельможная пани есаульша, родня по мужу Полуботкам, Мокиевским, Забелло и Ломиковским и жена гетманского племянника Пелагея Захаровна умерла, по возвращении на родину, в бедности. Богатая и знатная, также ограбленная ее родня не туда смотрела, сыновья пособлять

не могли, а что получала она от немногих старых друзей, употребляла на доделки не оконченного свекром и мужем собора.

Отставной енисейский воевода, Петр Федорыч Мирович, был нрава буйного, заносчивого и дикого. В Сибири он, между прочим, был одно время под следствием за то, что в качестве управителя Енисейской провинции явился в воеводскую канцелярию в халате и в колпаке и там перед зерцалом обругал первостатейных купцов самыми непотребными словами. Следователи, впрочем, его оправдали. Возвратясь из Сибири в Москву, а потом на родину, он не укротил своего нрава. Будучи беден и горд и доживая век где-то в глухом местечке, на небольшом пособии от какого-то соседнего магната, он никому не уступал и умер от запоя, изрубив перед кончиной полицейского офицера за то, что тот перед ним не снял шляпы.

Брат Петра, Яков Мирович, был нрава кроткого и тихого, притом с детства слабый здоровьем. Наука ему плохо далась. Петербурга, где он некоторое время был в академической гимназии, как и нахождения у Потоцкого, он почти не помнил. Во время первой ссылки, в Тобольске, он обучался в школе у некоего «несчастливца» Сильвестровича, который хорошо играл на скрипице, но по-русски почти не говорил. Женившись на небогатой купеческой дочке Акишевой, во время пребывания в Москве, Яков Федорыч, при жизни матери и брата, кое-как еще содержал семью. По смерти же их он впал в окончательную нищету, овдовел, огрубел и, одичав от бедности, уж мало чем отличался от любого простолюдина-батрака: ходил в сермяге и в дегтярных сапогах и нанимался у соседей-помещиков то в ключники, то в объездные, торговал некоторое время водкой, гонял на продажу гурты скота, а состарившись и не видя себе ни в чем удачи и успеха, сел у хуторянина — кума Данилы Майстрюка в лесу на пасеке, глядеть пчел. Кум Данило держал от какого-то графа на аренде клочок той самой земли, которая была отнята у отца Мировича.

— Тут и умру! — сказал себе Яков Федорыч, сидя у старого омшаника, в заповедной, медвяной яворщине кума. — Сложу здесь кости! Земля все-таки наша...

«А сын? А дочери?» — спрашивал себя старик.

У Якова Федорыча Мировича от рано умершей и такой же, как он, плохой здоровьем жены остались четверо детей: три дочери, Прасковья, Аграфена и Александра, и сын Василий. Дочек разобрали по рукам добрые люди. Мальчик подрастал при отце.

Зимой Вася учился на хуторе у дьячка, летом помогал отцу у пчел, носил ему в лес обедать и ужинать, плел корзинки, строгал бабам ложки и веретена, играл на дудке и торбане. Кто-то забросил в реку серого щенка; Вася с плачем кинулся, чуть не утонул, но успел его спасти и вырастил.

Раз услыхал отец, как его десятилетний Василь в церкви поет и читает Апостола, и задумался.

«Нет, ему жить не в лесу, не на селе! — сказал себе Яков Федорыч. — Другим удается — попытаюсь и я о нем! Все же он дворянской крови... Предки знатные были и не под тыном валялись... А царица Лизавета Петровна до Украйны милостей своих еще не замуровала в стену»...

Думал он долго и решился наконец устроить судьбу сына.

Это случилось восемь лет назад, а именно в 1754 году.

Был жаркий летний день.

Из Малороссии в Петербург, на паре волов и на простом мужицком возу, приехал путник — высокий, костлявый, лет за пятьдесят. Он был в долгополой черной свите и в серой барашковой шапке. Сам сед, а черные глаза, как угли, светились из-под насупленных бровей. На возу у него сидел мальчик, лет тринадцати с небольшим. У воза шла серая лохматая собака. Ехали они проселками, продовольствовали волов на подножном корму, сами питались сухарями. Отправились из дому в середине апреля, прибыли в Петербург в начале июня. В дороге, следовательно, находились почти два месяца. То были Яков Федорыч Мирович и его сын Василий.

Остановились они на отдых на обширном, поросшем густою зеленою травой Адмиралтейском лугу (нынешняя Исаакиевская площадь с новым садом). Выпрягли волов, умылись в Неве, Богу помолились и закусили. Мальчик, болтая босыми ногами в реке, приметил под бастионами крепости (на месте нынешнего Адмиралтейского бульвара) стадо пасшихся на траве придворных коров и подогнал к ним своих круторогих. Старик вынул из-за пазухи бумагу, долго думал над ней, сунул ее опять на место и, с кнутом в руке, пошел кого-то отыскивать по Невской першпективе.

Мальчик тем временем вышел с собакой на площадь и стал разглядывать город. Все его занимало: красота и обширность зданий, пушки на бастионах, шум уличной езды и суета рабочих, с криками и песнями выгружавших в то время с канала, у нынешней разводной дворцовой площадки, последний камень, кирпич, громадные бревна и доски для постройки тогда заложенного Растрелли нынешнего Зимнего дворца. Залюбовался мальчик и золотыми, ярко горевшими на солнце, шпицами Адмиралтейства, Петропавловского собора и прежней Исаакиевской церкви, стоявшей близ того места, где теперь памятник Петру. Обернулся мальчик назад: перед ним, в бесконечную даль, тянулась, вся в яркой зелени густых, в четыре ряда, высоких лип, Невская першпектива. А по ней шли нарядные господа, скакали верхом военные, мчались цугом раззолоченные кареты.

Яков Федорыч, со словами: «А будьте ласковы, скажите, где тут?» — снимал шапку чуть не перед каждым прохожим. Все дивились на него, на его речь, одежду и на почернелое от зноя, с седыми усами, лицо. Прохожие пожимали плечами и шли далее. Горожанам было не до него; да украинца редко кто и понимал.

Понял и выслушал Якова Федорыча случайно встреченный им у тогдашнего деревянного Аничкова моста некий важный и с виду гордый человек. С двойным подбородком и объемистым животом, этот господин, отдуваясь и еле пе-

редвигая ноги, шел в вощанковой зеленой шляпе, в голубом камзоле и в красных башмаках.

День был душный. Незнакомец, несмотря на свой наряд, нес с живейного рынка, бывшего за мостом, на Литейной, в одной руке — пук зелени, а в другой — пару перевернутых вверх ногами живых каплунов. Мирович с поклонами передал и ему, в чем дело. Пузан оказался его земляком.

— Так тебе, землячок, графа Разумовского? — сказал он, поморщившись и крякнув.

— Его ж, его ж... Розума нашего и кормильца!..

— Квартирует он в самом царском дворце, а с месяц, за переделками там, вот где проживает! — гордо ткнул пучком зелени важный господин, указывая, через поросший травой берег Фонтанки, на жестяные куполы Аничкова дворца. — То будет его хи́жка... Царица ему подарова́ла... Что, хорошо?

— Фить-фить! — засвистал удивленно старый Мирович. — А вы ж, ваше сиятельство, чем будете? И как вас титуловать?

— Кофишенком у графа! — еще важнее пыхнул сквозь зубы толстяк. — И я тебе, землячок, подозволь, так и быть, в чем нужно, помогу...

— Как же это кофишенк? В каком будет ранге?

— А то же, почитай, что гофдинер, — пускал пыль в глаза толстяк, — мало чем меньше тафельдекера, а то и больше того...

Мирович снял шапку и уж ее не надевал.

Земляк привел его к Аничкову саду, занимавшему в то время все место, где теперь площадь с Александринским театром, памятником Екатерины и Публичной библиотекой. Они обогнули этот сад со стороны Гостиного двора и от заводей Фонтанки и Чернышовских прудов, бывших на месте нынешних министерств народного просвещения и внутренних дел, подошли к небольшой садовой калитке. Вожатый, на расставанье, дал Мировичу несколько наставлений и обещал, если понадобится, пристроить его на квартире.

— Вот, малый, крыльцо, — указал он в калитку на один из летних павильонов дворца, — ступай прямо туда... Из прихожей будет тебе, братец, светличка — в ней граф завел теперь принимать просителей.... Там, коли не опоздал сегодня, и дожидайся...

Мирович, тенистыми, пахучими аллеями, прошел к указанному павильону, заглянул в прихожую — ни души; заглянул в приемную — тоже никого; постоял у порога, раза два кашлянул и, как был, в черной свите и смазанных дегтем сапогах, поджав ноги, присел на голубую, штофную, с золотыми точеными ножками софу.

Долго он дожидался. Никто не приходил и не подавал голоса. Прием, очевидно, кончился. Но, раз попав так легко к высокому графу, о котором он, как о благодетеле своей семьи, столько наслышался и про которого такая слава и такой говор стояли на родине, Мирович решился, во что бы то ни стало, ждать.

«А как выгонят?.. Ну, дворянина, пожалуй, и не посмеют...»

В комнате было еще жарче, чем на дворе.

Мухи то и дело садились на потное, обросшее за дорогу, лицо украинца. Мирович то дремал от усталости, то, с досадой и бранью отмахиваясь от мух, ловил их на лету и давил. Одна особенно назойливо и долго приставала к нему. Он ее согнал с шеи — она укусила его за щеку и пересела ему на колено. Стиснув зубы, он прицелился на нее, хлопнул по ноге, но промахнулся: муха увильнула, посновала по комнате и опустилась на большую японскую вазу. Задремал в тишине Мирович. Солнечные лучи, врываясь сквозь ветви тихо трепетавших лип, яркими, извилистыми просветами играли по паркету, бронзе и зеркалам. Муха опять села на щеку Мировича, жужжа и путаясь в усах, укусила его и вновь улетела на вазу.

— А, каторжная! — проворчал Мирович. — Постой же, шкода, теперь не уйдешь!

Он встал и тихо, на цыпочках, начал подкрадываться к обидчице; изловчился, размахнулся, но муха снова мимо,

а ваза с громом рухнула с поставца и разлетелась вдребезги.

Резная лаковая дверка отворилась в углу комнаты. За нею показалась пола бархатного вишневого халата, звезда на лацкане и румяное, удивленное, а вместе смеющееся лицо: густые черные брови, карие, с поволокой и краснинкой, глаза и вздрагивавшие от позывов к смеху, крупные и влажные, добрые губы.,.

— А що, земляче, пиймав? — раздался голос пышущего здоровьем, сорокалетнего вельможи, узнавшего в госте земляка.

Яков Федорыч упал перед ним на колени. Граф Алексей Григорьевич Разумовский милостиво ободрил растерявшегося просителя, ласково ввел его в свой кабинет, усадил в кресло и стал расспрашивать, кто он и как сюда попал?

— Знаю, знаю, сердце... Но неужто на волах? — спросил, удивленно подняв брови, Разумовский. — Не шутишь? Так-таки, го́лубе сизый, на воликах, да еще, может, и на серых?..

— На сирых, ваша графская светлость, на сирых...

— И погоныча, хлопчика, верно, взял?

— Сына... подросточка...

— Давай же его, голубоньку, сюда, может, и песни играет? Где он?

— На лугу, у нового дворца, скотину с собакою пасет.

— Как? Где?..

Мирович объяснил. Граф окончательно покатился со смеху...

— Вот так придумал! — бархатным певучим горлом выводил Разумовский. — Кто ж тебя ко мне направил?

Мирович рассказал о своей встрече с кофишенком графа, который и на квартире, у тещи своей, обещал его пристроить.

— Какой кофишенк! И что ты, диду, городишь? — опять зашевелил поднятыми бровями граф. — Земляк? И толстый? А!.. Так вот оно кто... Юрченко Абрашка! Ну

назвался же, собачий сын, каким титулом... А он у меня за подручного в поварне на людской... Кофишенком же, друже, у меня француз Бриошь, и такая, скажу тебе, шельма искусная да гордая, что Абрашку еще за вихры отдубасит, как узнает о его самозванстве... Так, так, он самый и есть! И у его тещи, Бавыкинши, свой дом на Острову... И отлично...

Разумовский позвонил.

— Езжай же ты, сердце, к ней, — сказал он, — а завтра в эту же пору — или нет, постой, — лучше к вечеру, — будь ты опять у меня, да непременно с сыном и на волах... Тогда и о деле твоем потолкуем. А теперь некогда — еду во дворец.

За стеной послышалась суета. Поспешно вошел разодетый в золотую ливрею слуга, за ним — другой.

— Торо́х, торо́х, посыпался горох!.. Эка, пентюхи... Вы спите там, — сказал Разумовский, — а тут, чтоб черт так и эдак побил вашего батька, добрый человек дожидается... Позвать повара Абрашку.

Вошел Абрам. Мирович глазам своим не верил: куда делась важность мнимого кофишенка, — и живот осунулся, и куда-то в камзол спрятался двойной, вспотевший подбородок.

— Не пьян сегодня? — спросил, строго хмуря брови, граф. — Ну, и отлично! Редко с вами, архибестии, бывает... Так вот же что... Бери ты, Абрашка, вот сего сизого голубя к своей теще на постой, да береги его, слышишь, пуще глазу... Угости там, успокой и покажи ему и его хлопцу столицу... А это ему пока на расход.

Граф бросил повару кошелек.

На другой день государыня Елисавета Петровна пила у графа, в Аничковом саду, вечерний чай. Прибыла она из Летнего дворца, где теперь Инженерный замок, на катере с гребцами и с роговою музыкою. Катер въехал из Фонтанки прямо в пруд, бывший тогда среди Аничкова двора.

Государыне в саду графом были представлены Яков Федорыч и его сын Василий. Мальчик играл императрице на торбане, пел «Горлицу», «Грицю», плясал «трепака» и декламировал хвалебный, в честь царицы сложенный в то время киевскими бурсаками, кант. Государыня прослезилась. Но спустя недели три, когда ей от сената доставили справку о том, за что ее покойный родитель отобрал в казну имения Мировичей, она не нашла возможным исполнить просьбу Якова Федорыча.

— Чудасия, мосьпане, да и полно! — воскликнул, топорща брови, не успевший в своей протекции Разумовский. — Не все, братику, по-нашему! — пивень каже куд-кудак, а курочка — не так! Но дело твое, не унывай, еще выгорит... Докажи, чуешь, что в отобранных у вас поместьях были родовые, собственные маетности твоей матери. А без того — чтоб им болячка! — не можно... убей Бог, не можно... Посуди... сенат в твою пользу не доложит... Сказано: москали! Лыком вязано, в лыках ходит, под лыком спит... Видишь, сердце, какие у них прицепки да щупы — на три аршина, собаки, под землей щупают. Нельзя... финанции, казенный интерес!..

Слезы прошибли Мировича. Он не ожидал отказа и неуспеха, когда добился свидания не только с графом, но и с царицей, подбирал, что бы еще сказать, и не находил слов.

— А о хлопчике твоем, о сыне, и не думай! — сказал тронутый его горем граф. — Государыня, до его великовозрастия, возьмет его под свою опеку и милость. И такой-сякой я буду, слышишь, коли вру! Наплюй тогда в глаза... Завтра же велит его записать в кадеты, в шляхетный здешний корпус, — бо он у тебя, братику, все-таки дворянин, нельзя! Э! Того нельзя!.. Да еще вон какой до черта письменный... Стихи важно дует — и дискант преизрядный... Без камертона, сразу верхние ноты, собачий сын, берет... «Горлицу», «Не ходи, Грицю» как отчекрыжил!.. Херувимскую московскую тоже вон знатно спел, без ошибок; да, полагаю, и по придворному, концертному, скоро насобачит-

ся... А волов своего кума, сердце, знаешь, лучше оставь тут — продай их хоть и мне... Славные волы! И жалко их, диду, опять гнать бес его знает и куда... Я бы, слышишь, послал их на дачу тут свою, в Гостилицы... У меня, сердце, там дворец; а какие луга! Нехай бы ходили, шановались да радовались по паше... Гей, гей, родина, хуторы наши, раздолье... Эхма! А впрочем, как знаешь. Брат Кирило в Батурин новоманерную мебель посылает себе на днях в гетманский дворец... Так и ты бы, может, поехал с его хлопцами...

Яков Федорыч поблагодарил, но, пристроив сына в корпус, поехал с лохматым Серком домой на волах.

По возвращении на родину старик протянул недолго: простудился осенью на пасеке и умер. Об этом написали молодому Мировичу сестры, жившие по людям в Москве. Зять Бавыкиной, Юрченко, потеряв от преждевременных родов жену, запил с горя на графской кухне и также в том году скончался.

Настасья Филатовна, на своем сиротстве, незаметно и крепко привязалась к Васе Мировичу; брала неуклюжего и на первых порах медведеобразного, а потом резвого и шустрого, миловидного кадетика к себе по праздникам, ласкала его, журила и нянчила, как родного. Из кадетика вышел вскоре кадет, из тощего заморыша-мальчонки — рослый и полный здоровья юноша, который не знал, куда деть вытянувшиеся руки и ноги; не по дням, а, казалось, по часам, так и выпирало его из казенного узкого кафтанишки.

— И куда ты это, Васенька, лезешь в гору, так растешь? — говорила старуха. — Ин скоро, уж, пожалуй, и рукой не досягну до твоего вихра!

Сперва Вася лазил во дворе у Настасьи Филатовны по крышам, по яблоням и березам, гонял голубей, в свайку да в бабки играл с уличными мальчишками. Ссадины не сходили у Васи с носа, синяки с висков. Филатовна то и дело чинила

его камзольчики и штанишки, штопала ему чулки. Но вот Вася окончательно вытянулся и остепенился. Сухощавый, скуластый, плечистый, будто увалень, а в черных глазенках так и бегают огоньки. Ландшафты рисует красками и миниатюрой, хитрые виньеты к нотам Разумовскому чертит и ему носит. Ходит с книжкой по саду Бавыкиной, вслух читает какие-то стихи; говорит, что твердит роль для кадетского театра. Зеленый ученический кафтан на нем чист, русая коса в завитках и припомажена; шляпа на три угла как с иголочки, белые манжеты и чулки отнюдь не примараны. Ему исполнилось восемнадцать лет. В корпусе он был уже шестой год.

— Кто же вас там áхтерству этому обучает? — спрашивала его Филатовна.

— Сам Александр Петрович, сам господин Сумароков! — отвечал Вася Мирович. — И мы играли намедни, на домашнем нашем театре, его комедию «Чудовищи», а вскорости при дворе, в собственных внутренних апартаментах государыни, будем играть его же тражеди «Гамлета»... Ах! какие стихи, какие!

...Люблю Офелию, но сердце благородно
Быть должно праведно, хоть пленно, хоть свободно...

Сердце кадета Мировича на самом деле вскоре было пленено. Он нашел свою Офелию и сразу влюбился в нее страстно, без ума, о чем признался товарищу, уроженцу Харьковского наместничества.

Случилось это в 1759 году, незадолго до выпуска старшего курса из корпуса. В Петербурге и в окрестных дачах вельмож, по случаю приезда принца Карла Саксонского, шли непрерывные празднества и торжества — с качелями, каруселями, катаньем с гор, рыбными ловлями, стрельбой в цель и театрами.

В Гостилицах, на даче Разумовского, давали переведенную с французского пьесу: «Пастух и прегордая пастушка». Кадет старшего курса Мирович, кончивший геометрию и фортификацию с атакой и изучавший в том году у корпусного ученого адъюнкта Флюга гражданскую юриспруденцию, на-

туральное право и немецкий штиль, играл роль пастуха. Роль пастушки исполняла одна из хорошеньких и веселых камер-медхен императрицы Елисаветы, Поликсена Ивановна Пчелкина — не помнящий родства подкидыш. Свою фамилию она получила вследствие того, что государыня, встретив в коридорах дворца кудрявую, с серыми глазками, с золотистыми волосами, девочку, остановилась и сказала:

— Вот распевает, жужжит, точно пчелка...

С той поры она и осталась Пчелкиной.

Влюбленный в неприступную и гордую пастушку на сцене пастух Мирович поймал ее врасплох за кулисами, обнял за талию и, страстно припадая к ее розовым, с ямочками, набеленным и облепленным мушками щекам, нежно прошептал из своей роли:

Когда ж бедняжку пастуха —
Когда полюбишь ты, пастушка?..

Пчелкина вырвалась от него, оправила смятые блонды и ленты и, сделав вздыхателю реверанс, с насмешливой важностью, ответила также стихами разыгранной пасторали:

Когда ты будешь богачом,
Вельможей, а не пастухом, —
Чтоб не в убогой жить нам хате,
А в раззолоченной палате...

Тень всякого спокойствия с той поры покинула влюбленного кадета. Гражданская юриспруденция, немецкий штиль и натуральное право Флюга были заброшены. Их заменили бессонные ночи, вздохи, писание страстных и нежных мадригалов, а в промежутках, с горя, — попойки с городскими кутилами и карты.

— Хохленок сдурел! — говорили товарищи.

И точно: Мирович стал раздражителен, мрачен, ушел в глубь себя. Бавыкина собиралась не раз вызвать на голову завертевшегося своего любимца громы и молнии со стороны Разумовского. Но всесильный граф давно забыл и думать о юноше, который когда-то пел кант и плясал «журавля» в его саду, хотя при встречах с ним обыкновенно шутил:

— Виньеты славно чертишь, и херувимов, и гербы... А постой, однаrе, постой! Хочешь, куко́ночка, вареников? И когда на волах до дому?

Днем, повидав украдкой Пчелкину, Мирович вписывал в свой дневник стансы к милой.

Лишен любовных разговоров,
Я вижу тень твою с собой...
И, ах! твоих не зрю хоть взоров,
Но мысль всегда, везде с тобой...

Вечером, в корпусном дортуаре или в душном служительском чулане, он резался с богатыми из товарищей в ля-муш и в фараон. Жажда выиграть, разбогатеть тянула его к себе, и он, к собственному удивлению, выигрывал. Сперва серебро, а потом и золото завелись у кадета. Нередко полные карманы рублевиков таскал он к Настасье Филатовне.

— Откуда берешь, пострел? — допрашивала она.

— Спрячьте, голубушка, спрячьте бережнее, а то опять спущу!.. — отвечал он. — Это для Поленьки! Все ей... Как выйду в офицеры, посватаюсь и женюсь...

Молва о счастливой игре Мировича дошла и до начальника корпуса, богатого и знатного князя Юсупова. Строгий распорядитель и любимец вверенных ему питомцев, он тоже был страстный игрок.

— А играешь ли в рокамболь? — спросил его однажды князь.

Мирович в это время готовился к окончанию экзаменов.

— Во что угодно-с...

— И в вист-руаяль?

— И в вист...

— Почем робер?

— Хоть по десять рублев.

— Вот как! А в пикет знаешь?

— Знаю.

— Ну, приходи ко мне: завтра Сретенье, праздник, — сыграем во что-нибудь...

Мирович за два дня перед тем виделся с Поликсеной у знакомой Настасьи Филатовны, у поручицы Птицыной, и все время после встречи с обожаемой, неприступной красавицей был как в чаду. Он усердно помолился об успешной игре, даже обещал поставить свечку у Исаакия, если выиграет, и, вопреки советам товарища-харьковца, пошел на квартиру к Юсупову.

— Ну, сядем в бириби, — сказал вельможный начальник, кладя карты на стол. — Огурчики, огурцы, пошли в дело молодцы!.. Так ли? Ну-ка, сивая, пойдем в поход!.. Деньги есть?

Кадет показал дукаты. Юсупов поставил возле себя ларец. Они стали играть.

«Мать Пресвятая, Владычица Казанская, помоги! — думал Мирович. — Что, если выиграю у него не то что сотню, полтысячи, тысячу рублев?.. Он богач, в игре, слышно, зарывается, неотходчив... Тогда... о! Тогда Поленька моя...»

И он действительно стал выигрывать.

Когда стемнело и подали свечи, серебро, а потом и золото из ларца Юсупова наполовину перешли в шляпу кадета. Руки князя дрожали, брови удивленно шевелились, старческое, апоплексически красное лицо покрылось белыми пятнами. Он не переставал сыпать любимыми поговорками.

— И начала она сомневатися!.. И начала! — возглашал он, судорожно хлопая картой по карте. — Ура, сивая, не отставай!.. Окунулся по уши, валяй и по маковку туда ж...

Ларец Юсупова опустел.

— Эй, вина! Венгерского! Выпьем, брат! — забывшись, крикнул начальник. — Что-то душно...

— Не пью-с! — пролепетал бледный, взволнованный успехом Мирович.

— Вздор, приложимся! У меня, брат, старое...

Подали бутылки и рюмки. Князь выпил, налил и партнеру, выпил и еще; труня над своей неудачей, распахнул

окно в оранжерею, а дверь запер на ключ, достал из пузатого, выложенного бронзой бюро горсть кораллов и несколько ювелирных вещиц и начал удваивать ставки.

— А вы, Сашки-канашки мои, куда дели подтяжки мои? — шутил он, щелкая картами по столу.

К полночи Юсупов выбился из сил и откинулся на спинку кресла. Все вынутое было вновь проиграно. Глаза князя лихорадочно сверкали, на углах губ проступила пена.

— Ты маг, кудесник! — прохрипел он, в охмелении глядя на кадета и срывая с горла обшитый пуан-дешпанами платок. — Не вывезла, сивая, усомнилася!.. Отстала!.. Уходи теперь, братец, как есть, будто не играл... Иначе, — прибавил вдруг Юсупов, — я тебя за карточную игру под суд...

Мирович помертвел.

— Ваше сиятельство, князь! Вы шутите! — проговорил он, заикаясь.

— Не шучу, не шучу... Иди подобру-поздорову... Не то я тебя, каналья, выпровожу... нечисто, знать, играешь...

— Как смеете! — вскрикнул, вскакивая, Мирович. — Вы забылись... Такие слова природному дворянину... Мои предки не меньше ваших вельможами были...

На Мировиче не стало лица. Руки и подбородок его дрожали. Он как пьяный шатался, стоя через стол в угрожающем положении против князя. Глаза его застилало пеленой.

— Вон, молокосос, вон! — закричал Юсупов, также поднимаясь с кресла и толстыми прыгающими пальцами загребая снова в ларец лежавшие на столе деньги, кораллы и ювелирные вещицы. — Я тебя, сударь, только пытал!.. Аль не догадался! Вижу ноне, какова ты птица... Юсупова, брат, князя не проведешь...

Свет окончательно померк в глазах Мировича.

Он опрокинул стол с картами и с вином, рванулся к князю, выбил у него ларец и ухватил его за руки. Борьба между сильным, тучным стариком и ловким дерзким

юношей началась отчаянная. Огромный парик князя слетел под софу, часы были обронены в схватке и растоптаны под ногами, рубаха и манжеты изорваны в клочки. Сильно досталось и кадету. С отхваченным лацканом кафтана, лопнувшим по швам камзолом и с развитой косой он в рукопашном бою нечаянно дал выскользнуть сопевшему в его объятиях князю, получил от него меткий удар чем-то тяжелым в голову, но изловчился, опять поймал его за камином в углу и, с криком: «Молись! Теперь тебе, изверг, капут!» — тонкими пальцами изо всех сил ухватил его за жирное горло.

Мирович задушил бы князя Юсупова, но из прихожей к кабинету, на возгласы их и возню, сбежались слуги.

В двери стали стучать. Мирович опомнился, выпустил князя. Юсупов, задыхаясь, молча указал ему окно в теплицу, оттуда был особый выход в сад. Тот медлил. Князь, злобно хрипя и потирая горло, отвесил ему низкий поклон. Мирович схватил шляпу и выскочил.

Юсупов пришел в себя. Не отворяя двери, он крикнул, что никого не звал и чтоб его оставили в покое, привел в порядок свою одежду, мебель и вещи и закрыл окно. Опустив гардины, он выпил целый графин воды, крестясь и охая, прошелся несколько раз по комнате и сел писать к фавориту государыни, Ивану Иванычу Шувалову, длинное письмо.

Через неделю после этого казуса кадет Мирович за леность, а также за продерзостное и кутежное поведение, не кончив курса, был отослан солдатом в пехоту, в заграничную армию, где в два года дослужился до подпоручика.

Юсупова разбил паралич. После долговременного управления кадетским корпусом он был уволен от этой должности и вскоре скончался. Он словесно перед смертью пожелал выслать за границу исключенному кадету крупную сумму денег. Но ближние его посмотрели на это как на излишнюю поблажку и приказа его не исполнили.

III

ПЕТЕРБУРГ ВРЕМЕН ПЕТРА ТРЕТЬЕГО

Крепко спалось с заграничной дороги Мировичу у Настасьи Филатовны, да и было так тихо в теплой, уютной горенке. Городской езды по берегу Мойки в том месте почти не было слышно. Бавыкина и в церкви побывала, и на рынок сходила, и кончила в кухне обеденную стряпню.

«Вот заспался, сердечный», — рассуждала она.

Разбудили Мировича неразлучные канарейки хозяйки. Они так весело растрещались на солнце, что он проснулся, открыл глаза, но не сразу пришел в себя, глядел по комнате, припоминал...

Вот старый, почернелый, дубовый комод Филатовны, березовый, со стеклами, посудный поставец. В комоде лежали когда-то его кадетские рубашонки, тетрадки, потертые в беготне чулки. А из поставца всегда так пахло корицей, имбирем, и лежали там, ждали его к праздникам пряники, орехи, шептала́. На стене — поясной портрет, красками, покойного Бавыкина. Сударь Анисим Поликарпыч, в кафтане, шитом золотом, и в лейб-кампанской, с перьями, шапке, гордо и важно глядит из рамы и будто повторяет слова манифеста Елисаветы Петровны: «А особливо и наипаче лейб-гвардии нашей шквадрона по прошению престол наш восприять мы соизволили».

Мирович не застал уже Бавыкина в живых. Но власть и мощь покойника еще признавались памятью знавших его. Один из трехсот гренадеров, возведших Елисавету на трон, во дни загула он — «подпияхом с приятелями», — бывало, поднимет такое веселье, что канцлер Бестужев, слыша из своего дома, через Неву, буйные песни и крики у его ворот, посылал цидулки к генерал-полицеймейстеру о командировании пикетов для охраны спокойствия соседних улиц и домов.

— Все отдам, все тебе после смерти откажу, — говорила в оные дни Настасья Филатовна кадету Миро-

вичу, — учись только уважать начальство, в люди выходи. Станешь в чинах, будешь знатен, анбиции своей не преклонишь, и меня до конца веку доглядишь... Оно точно: на рать сена не накосишься, на мир хлеба не насеешься. А бери, сударик, пример хотя бы с меня... Самой царице угождала, ее душеньку брехней услащала... И был за то бабе Настасье почет и привет... Девка гуляй, а дело помни... Даром, брат, ничего, даром и чирей не сядет...

Все изменилось, все прошло. Бедность видимо проглядывала теперь во всей обстановке Бавыкиной. Не оправдал ее надежды и былой ее питомец. Мировича заметили за отличие под Берлином, где он был контужен, произвели в офицеры. Но тяжело давались ему двухлетние походы, лишения всякого рода, обиды старших, измены и подкопы товарищей, и та же суровая бедность, бедность без конца. Он еще более сосредоточился, стал скрытен, завистлив, раздражителен и горд. Чужие края во многом открыли ему глаза. Он сходился там с умными людьми, в том числе с масонами, читал книги, немало перенял, сунул нос и в такие речи и дела, о которых прежде ему и не снилось. Грубость генерала Бехлешова на утреннем приеме в коллегии не выходила у него из головы.

«Скрыть хотят пропозиции Панина, — не выходило у него теперь из мыслей, — изменники! Берлинские угодники!.. Не скроют... Завтра опять пойду и добьюсь».

Мирович встал, быстро оделся и вышел на улицу. У него что-то сидело в голове. Доехав на извозчике на Литейную, он высмотрел чей-то двор, между светлиц придворных чинов, обошел его, долго глядел на окна и двери и спросил кого-то вышедшего из того двора. Ему вызвали слугу. Ответы последнего не привели ни к чему. Еще постоял Мирович перед заветным домом, еще поглядел на окна. Он черней тучи возвратился на Мойку, пробрался в горенку Филатовны и молча прилег опять на постель. Бавыкина вошла к нему с завтраком.

— Думала, спит, а уж он и по делам, — сказала она, присев против него и с любопытством его рассматривая.

Он молчал.

— Это же что у тебя? — спросила она, взглянув на истрепанную тетрадку, лежавшую на куче хлама, вынутого из чемодана.

Мирович и на это ничего не ответил. На заголовке тетради красивыми росчерками стояла надпись: «Храм Апрантифской». Вокруг заглавия были рисунки тушью — два столба, треугольник, отвес, молоток и другие знаки. То был масонский катехизис ложи святого Иоанна, ученической степени (apprenti).

— Диплом, что ли, на чин? — спросила, просияв, Филатовна.

— Да... нет, бишь... артикул, товарищи дали, — нехотя ответил Мирович.

— Служи, Василий, служи; времена тяжкие: добивайся! Пес космат — ему тепло; нам зато вот как голодно... А золотой молот, паря, он и железны ворота прокует. А почему? Потому нонешний свет, он самый, как есть, линущий... Тлею над нами пахнет... Нынче корова, а завтра падаль...

Бавыкина вздохнула, оперлась на руку головой.

— И уж так-то плохо, так... Все махонькое в большаки, вишь, просится. Да не быть медведю стадоводником, а свинье огородником. А что прогорела, то еще не беда. Города — и те чинят, не токмо рубашки.

Мирович не отозвался. Бавыкина пристальнее взглянула на него.

— Да ты не на Литейку ли отмахал? Что смотришь? Угадала небось? Признавайся.

— Где Поленька? — спросил Мирович.

— Нешто сам не знаешь, не списывался с нею?

— Четыре месяца ни слуху про нее, молчит, на письма не отвечала, — отрывисто и грубо проговорил Мирович.

— То-то, Василий, скрытничаешь, — сказала, покачав головой, Филатовна, — а я, признаться, иной раз спраши-

вала. Помнила твои гонянья... Вот и сегодня... Только, брат, ни Птицыны, ни Прохор Ипатьич — кучер покойной царицы, ни Шепелевых кума — дворцовая кастелянша, никто не знает. Как померла на рождество государыня, твоя-то, веришь ли, точно в воду канула. Да и дива нет. Порядки, сам ведаешь, пошли все иные. Двор покойной царицы распустили, ослобонили — кто куда. Ну, а она, известно, — голячка, сирота: где ей в здешнем-то Бабилоне болтаться. Куда-нибудь от глазырников в тихости девка и съютилася... Самому знаком ейный нрав — недотрога, гордец, и обид — этакая, подумаешь, цаца — не любит. За границу разве?.. Так нет: знали бы. Без паспорта, чай, сразу и не уедешь...

— Чудеса! — произнес Мирович. — Уж жива ли или впрямь куда уехала?

— А про то, братец, говорю тебе, не сведома! — с недовольством ответила Филатовна. — Двор, сокол ты мой, новый и порядки новые. Не то что камер-медхены, гоф-енералы у нового царя и у его хозяйки — все почти переменились. А ведь твоя-то, правду сказать, человек небольшой; рассчитали, ну, ветер ее, мелкотравчату, и сдул с земли долой.

Мирович не слушал Филатовны. Та взялась за поднос, брякнула тарелками.

— А я вот что тебе скажу, — заговорила опять Филатовна. — Что твоя Поликсена? Ну, говори! Голь бесшабашная, и только. Тебе, сударь, не того нужно. Нет греха хуже бедности. Помни зарок бабы Насти — тут вся правда. Ну посуди! Ты молод, из себя красив, чин у тебя тоже вот уж офицерский, и всякая за тебя теперь, ну писаная краля, пойдет... Да вот, наприклад, хоть бы и дочка самой Птицыной... Чем не невеста! Повидишь, какая пава стала — выровнялась за это время, стан тебе полненький, ходит, вертит хвостом, как уточка, — а волосы, а глазищи... Да притом, Василий, дом какой на Литейной, дача на Каменном; а по смерти матери, в сходстве ейного счастья, еще и капитал. Прокормишься, ну, и меня в те поры не забудешь... Вон я послед-

нюю холопку Гашку из-за бедности продала енералу Гудовичу, как сюда съезжала на фатеру. Веришь, пухом да перьями ноне торгую, — продолжала, всхлипнув и утираясь, Филатовна, — скупаю по господам да перепродаю в Гостиный на подушки и пуховики... Право, подумай, голубчик, не спеши. На резвом коне свататься не пытайся; а жена, брат, не гусли, поиграв, на сук не повесишь...

Мирович в досаде и нетерпении постукивал о пол ногою. Он сидел молча, понурившись. Его божество, стройная, худенькая пастушка, с лукавым взором холодных, серых и загадочных, как у сфинкса, глаз, с ямочками и мушками на щеках и с гордо вздернутой, насмешливо дрожащей губкой, не отходила от его мысленных взоров.

Филатовна озлилась. Гремя в посудном поставце, она чуть не разбила любимой чашки.

— Да чем бы вы жили? Ну отвечай! И каковы нынче цены? Да ты не крути носом, прокурат, а толком разбери: фунт чаю два с полтиной, сажень дров рубь шесть гривен... А? Да что! Слыхано ли: пуд аржаной муки двадцать шесть копеек. Светопреставление, да и все... Говядины, говядины фунт — меньше двух копеек не отдают... Как тут жить?

— Ну, как жить, про то уж не знаю, — полупрезрительно ответил, вставая, Мирович, — и пойдет ли за меня Поликсена... А подруги ее, Птицыной, прежде не примечал, да и теперь видеть не хочу... Вы спрашивали, что это вот за книжка? Мудрые в ней слова.

— Каки таки слова?

— Мир на трех основах сотворен, — продолжал гордо и как бы в раздумье Мирович, — на разуме, силе и красоте. Разум — для предприятия, сила — для приведения в действо, красота — для украшения... Жизнь наша — храм Соломонов, и каждый камень в нем да кладется без устали и ропоту... Впрочем, вы того, простите, не поймете... Но стойте, одно слово. Окажите такую милость. Сходите еще раз к кучеру Прохору Ипатьичу, к Птицыным и к Шепелевых кумс, кастелянше... Узнайте, куда от двора могли доставить

Пчелкину? Чай, не выкинули же на улицу, в придворном экипаже везли.

— Так вот тебе высуня язык и стану бегать за девками! — отвечала, отмахнувшись, Филатовна. — Стара, брат, стала! Пора бы и на покой... Садись разве сам да и пиши публикацию в газетах, как в старину письма к любовницам писали: сладостные, мол, гортани словеса медоточные, где вы, отзовитеся! Красоты безмерной власы! стопы превожделенные, улыбание полезное и приятное, нрав веселый и пресветлый, ластовица моя златообразная, откликнись!.. Нет, брат, уволь, — винты развинтилися, не гожусь... в ломку пора...

Филатовна, однако ж, только храбрилась. Под предлогом сношений с перинщиками она сказала, что надо после обеда сходить в Гостиный, накинула поношенный шушунчик, взяла какой-то узел, вышла за калитку и опять поплелась к лейб-кучеру, к Шепелевых куме, кастелянше, и к Птицыным.

Возвратилась Бавыкина в сумерки. Она была сильно не в духе, хмурилась и бранилась.

— Эки концы, прости господи! Вот она, торговля... Коли не камер-фуриры Герасим Крашенинников да Василий Кириллыч Рубановский, — сказала она, бросив в угол ношу и глядя на Мировича, — так никто уж в свете и не скажет тебе, где ноне Поликсена... Они заправляли списками при похоронах государыни, им только теперь и знать, куда направила лыжи твоя Миликтриса Кирибитьевна.

Она вышла. Мирович записал в бумажник названные ею имена и засуетился над чемоданом. Заперев дверь, он принялся чистить сильно поношенный кафтан, шинель и башмаки, достал из какого-то свертка иглу, заштопал штиблеты и долго, вздыхая, возился над распоротым у подошвы башмаком, расчесал и тщательно завил косу и букли, обвязал их, для сохранности, на сон грядущий, платком, и попросил разбудить себя на заре, чтобы успеть напудриться, побриться и, отбыв утром явку к начальству,

пуститься на поиски камер-фурьеров Крашенинникова и Рубановского.

— Доля проклятая, где ж ты? — ворчал он, раздеваясь. — На дне моря, в земле или выше того?

Утром Мирович из первых явился в коллегию. Там его, сверх ожидания, задержали долго. Толпились приказные, гвардейские и армейские офицеры. Из заграничного отряда в ночь прискакал новый курьер. К полудню приемная и лестница коллегии гудели от говора разномастного люда, как улей. Брящая шпорами и дерзко волоча палаши по ногам встречных и поперечных, с наглыми казарменными ухватками, речами и громким смехом, прошли вслед за каким-то, белобрысым и куцым, голштинским бригадиром новоиспеченные гвардейские любимцы. Между мелкосошною мундирной братией стали говорить шепотом, а потом и громче, что общие смутные предсказания сбылись: голштинцы торжествовали, и Волконскому в пограничный корпус посылалось предписание — войти в формальные переговоры о прекращении военных действий с принцем Бевернским. О «пропозициях» Панина не было и помина. На Мировича, сидевшего в углу на скамье и поджимающего заштопанную коленку и плохо зашитый башмак, теперь уж никто не обращал и внимания. Вчерашний, сердитый и надутый, как петух, генерал Бехлешов, выйдя с озабоченным и, казалось, невыспавшимся лицом в приемную, заметил его и кивком, пренебрежительно подозвал к себе. Пыхтя и разглядывая свои белые маленькие ручки, он помолчал и вдруг, поглядев на него в упор, напустился:

— Так ты — Мирович? А? А? Мирович? Ордонанс Панина?.. А отчего у тебя, сударь, кафтан старого образца? Да и галстук — папильоном, сиречь бабочкой, не по форме повязан! Ордонансы! Баловники! — кричал, топая ножками, генерал. — Разве вам не были посланы указы о новых мундирах? А? Вольнодумством вы только занимались там, по театрам, по обе́ржам вертопрашили да дусергельды делили на пирушках!.. Шалберники, роскошники, моты!..

— Не заслужил, не заслужил! — ответил, вспыхнув и сам не помня себя, Мирович. — Подобный афронт офицеру... я... вы... вы...

— Здесь столица, — сам государь — а не ордер-дебаталия!.. — крикнул еще запальчивее Бехлешов. — Ступай, сударь, да берегись... Слышь, говорю тебе, берегись! Любимчики штабные! Ордонансы! А понадобишься, за тобой пришлют.

«Ах ты ракалия! — подумал с дрожью Мирович. — Да что ж это? И за что? Только что приехал, и вдруг...»

Горло его схватили судороги. Он молча повернулся, спустился бледный с лестницы и, стиснув зубы, глотая слезы негодования, поехал домой, повторяя:

— Ну, родина! Угостила с первых же разов...

Бавыкиной он не застал дома. За нею пришли из какой-то лавки. Прождав ее час-другой, Мирович успокоился, пришел в себя. Он вспомнил об академике, осведомился о нем у прислуги и смешался.

«Так вот кто это!» — пробежало в его мыслях. Он в раздумье поднялся по наружной лестнице флигеля. Академик был в верхней, угольной комнате, выходившей в сад.

Ломоносов стоял за простым круглым столом. Солнце ярко светило в окна. Он курил небольшую пенковую трубку и, нагнувшись над картой Северного океана, чертил на ней предположенный им путь, в обход Сибири, в Китай и в Индию. Теперь он был принаряжен — в парике, без пудры, в суконном, кирпичного цвета кафтане, в чистых манжетах и белом шейном платке. В кресле у камина, с книжкой в руке, сидела белокурая Леночка. В книжку она смотрела рассеянно, украдкой следя за серым котенком, игравшим с бахромой ковра на полу.

— А! Господин офицер! — сказал с улыбкой, подвигая стул, Ломоносов. — Очень рад... Садитесь, батюшка... Давеча вы меня порядком смутили. Стар становлюсь, да и бо-

лел эту зиму, ноги застудил, на смертной постели лежал; ну и не удерживаюсь иной раз. Да и как удержаться! Я дописывал новую оду, а, поговорив с вами, бросил ее в печку и, как есть, всю-то ночь не спал. Выехал сегодня в академию — ваши слова подтверждаются, — только и говору везде что о перемирии... Соврал, видно, я, писав сгоряча на новый этот год:

Петра Великого обратно
Встречает русская страна...

Мир! Да лучше бы кнутом меня на площади били, самого немцем сделали, чем это слышать! — произнес Ломоносов, бросая трубку на стол и закашливаясь.

Краска залила его изжелта-бледные, в суровых морщинах щеки. Желтизна проступила и в затуманенных годами, больших, строгих и вместе ласковых глазах.

— Леночка! Пивца бы нам аглицкого! — сказал он дочери. — Возьми у мамы ключи, да холодненького, из западни... Душу отвести... Пару бутылочек, не больше...

Леночка несколько раз бегала в западню.

Пиво развязало языки новых знакомцев. Ломоносов стал на карте объяснять Мировичу выгоды от придуманного им, мимо Сибири, пути в Индию.

— И всё ферфлюхтеры, всё немцы мешают, — сказал он, — сегодня в конференции, верите ли, чуть глотки в споре с ними не перервал... Скоп злобы! Ничего, как есть, не поделаешь с толиким препятством, с толиким избытком завистливой кривды и лжи...

— А что, Михайло Васильич, — спросил Мирович, — не уступи наш новый государь, Петр Федорыч, своему другу, решись, по мысли Панина, продолжать войну — ведь навек бы немцев мы урезонили.

Лицо Ломоносова омрачилось.

— Плохо, — сказал он, махнув рукой и подвигаясь с креслом к камину, — и не приведи Бог как плохо.

— Что же-с? Разве здоровьем слаб государь? — спросил Мирович.

Ломоносов кивнул дочери, чтоб ушла.

— Слушай, молодой человек, и суди! — начал он, помолчав. — О тебе много наслышался от своего старого друга, да и приехал ты из такой дализны... Взвесь, оцени на свежую голову неудобства наших темных, бурливых дней и скажи, по сердцу, свое мнение. Чай, знаешь дела-то великого Петра... Что в Риме в двести лет, от первой Пунической войны до Августа, все эти Сципионы, да Суллы, да Катоны сделали, то он в свою токмо жизнь, он один в России совершил. Первые преемники были куда не по нем! Хоть бы двор при царице Анне Иоановне.. — как бы тебе выразиться — был на фасон немецкого, плохонького, владетельного дворика. Но и тогда русские лучшие люди всюду, в глубине-то страны, еще по-русски жили и говорили. Царица в оперу в спальном шлафроке ездила, Бироновых детей нянчила, курляндским конюхам да ловчим все правление в опеку отдала. Да ведь эти-то Бироны, Остерманы и Минихи, они все-таки были подданные русские, во имя России действовали. И повального, брат, онемечения еще у нас в те поры не было... Правительница Анна Леопольдовна — слыхал ли ты про нее и про ее тяжкую судьбу?

— Мало слышал... в школе и на службе-с было не до того... кое-что говорили...

— Ну, так скажу в краткости и о ней... Она драмы Аддисона, «Заиру» Вольтера любила декламировать и по три дня, простонравная беспечница, не чесалась... При ней зато немцы немцев ели, и нам от того было не без приятства и пользы... А покойная государыня, божество мое, Лисавет Петровна? Ох! Что греха таить! При ней — не на твоей, разумеется, памяти — все у нас иноземным, французским стало — обычаи, нравы, моды и язык... Но все же, голубчик ты мой, хохлик, — лучшие русские люди, лучшие умы и сердца ее окружали... Умела она их выбирать и ценить... И я, российский природный поэт и вития, я — Ломоносов — недаром, слышь ты, по сердцу, от души ее воспевал...

— Помню ваши стихи, — с чувством перебил Мирович: —

Царей и царств земных отрада...

и другие о ней же:

Владеешь нами двадцать лет...

— Она смертную казнь отменила в России! — продолжал Ломоносов. — В Москве, по моей мысли, открыла университет; на родине твоей, на Украйне, в Батурине, тоже, в сходствие моего прожекта, открыла бы, если б не померла, и свято чтила, лебедь моя белая, дела своего родителя, великого и единого в мире моего героя, Петра...

— Однако, — заметил, подумав, Мирович, — то были женщины: Екатерина, две Анны, Елисавета, и почти подряд... Бабье царство — говорили в народе. Войску надоело быть под женскою управой... Теперь у нас на троне монарх, и снова Петр...

— Петр, да не Первый! — сказал Ломоносов. — Не было и не будет такого другого. По примеру деда-то великого думает он управлять? Далеко, друг любезный! Дудки! Я сам надеялся... Оно, конечно... и Петр Второй, мальчоночек, в сенате торжественно обещал, подобно Веспасьяну, править, никого не печалить... А что содеялось потом? Я неотесан, я груб, и меня, дикого помора, сударь, — за непорядочные поступки и озорничество с седою обезьяной Винцгеймом, Таубертом и с другими академическими нашими колбасниками, — под арестом при полиции держали. Но, ездив еще с отцом на рыбачьем карбасе, по северному ледяному морю, я привык бороться с злыми стихиями... Великая и грозная, сударь, природа студеного надполярного океана воспитала меня... Я просто совестен, брат, но не податлив... И ничем ты не купишь недовольства и угрюмства обиженной и бунтующей моей души... Скажу тебе, юноша, правду... У нас теперь нашествие не русских немцев, а немецких, самых сугубых и лютых... И ныне, братец, — прибавил вполголоса Ломоносов, склонясь к Мировичу, — коли не найдется у нас гения, чтоб нами побитого лукавца Фридриха водрузить в прежних умеренных пределах, то всю ин-

флюэнцию нашу на европейские дела у нас исторгнут. И будет наш великий канцлер, а мой давний благоприятель, Воронцов, министром — токмо не своего монарха, а того же, через нас вновь оживающего, Фридриха. Шутка ли, в военной коллегии, в конференции, где Шереметевых, Апраксиных, Бестужевых витают имена, ныне компасом всех дел являются только что прибывший из Берлина, Фридрихов посланник, Гольц, и дядюшка государев, командир его голштинцев, принц Жорж.

— А что слышно о государевой супруге, о Екатерине Алексеевне? — спросил Мирович.

— Погоди, дойду и до нее... Тяжкий грех взяла на себя покойная императрица Елисавет Петровна... По особым важным политическим и статским резонам, она, не объявленная в браке, выписала себе в преемники, из Голштинии, своего родного племянника, нынешнего государя, Петра Федоровича, когда ему исполнилось уже четырнадцать лет. Помню, как привез его из Киля во дворец теперешний здешний генерал-полицмейстер, барон Николай Андреич Корф. Грустно было смотреть на этого ласкового и, скажу, с добрым сердцем юношу. Худенький, щуплый, бледный, верой притом, от случайных обстоятельств, лютеранин... Чуточку по-французски знал, но, представь, — ни слова не говорил по-русски. Такого ли ожидать было в преемники к российскому наследию великого Петра? Учение его в Голштинии совсем было заброшено. Учителя-шведы готовили его на стокгольмский престол и воспитывали, разумеется, не токмо в холодности, а даже в презрении к далеким русским варварам. И таков-то именно он явился, двадцать лет назад, в Петербург... Говорю, добрый он и к наукам не без склонностей; кое-что и в искусстве сведал: егерь Бастиян выучил его в Голштинии на скрипке играть... Но не повезло племяннику императрицы в России: чуть его доставили, бедного посетила оспа. Государыня-тетка полюбила его, жалела, сама первым русским молитвам обучила. Потом обвенчали Петра Федорыча, и взял он за себя — выбор счастливый — принцессу,

разумную, обстоятельную, нравом женерóзную, твердую и пылкую, сущий огонь... Ты спросил о Екатерине Алексеевне, какова?.. Да, друг мой... Вот где сила воли, вот ума палата и всяких даров и качеств приятство!.. Да что! Разве среди нахлынувшей подобной заморской челяди убережешь сердце свято? А Петра Федорыча окружили какими наперсниками! Из Киля ему целое войско грубейших голштинских скотин вывезли. И начали его новые друзья, Цвейдели, да Штофели, да Катцау, отклонять от разумницы, преданной жены. Ее общество он променял на компанию своих капралов, на смехи да утехи с вертухой Лопухиной, с дочкой первоначального нашего злодея, Бирона, с девицей Карр и с княжной Шаликовой... Государыня-тетка увидела все ясно, только уж было поздно. Она даже хотела выслать племянника опять за границу...

— Что вы? — спросил с удивлением Мирович. — Кого же в таком разе объявили бы наследником?

Ломоносов посмотрел на него и вздохнул.

— Есть один... был, — сказал он будто про себя. — И судьба ему улыбалась, столько было у его колыбели ожиданий, надежд... На пурпурной бархатной подушке дитятею его народу показывали, чеканили с его портретом монету, присягали ему, манифесты именем его издавали... Прочили русских ему учителей, и меня, нижайшего еще в той поре студента, думали пригласить...

— Что ж он? Умер?

— Умер или, вернее... живой погребен!.. Царственный узник!.. И жив, и вместе мертв...

— Как жив? Какой узник? Отчего ж он не правит? И где он?

— Не спрашивай об этом, голубчик ты мой, Василий Яковлевич, — когда-нибудь в другой раз! А лучше и вовсе никогда.

Ломоносов задумался. Большие строгие его глаза еще больше затуманились. Из взволнованной далекими воспоминаниями широкой груди вырвался тревожный хрип. Общее

молчание длилось несколько минут. Маятник на стене кабинета мирно тикал.

— А вот я вам, государь мой, — ответил, вдруг резко засмеявшись, Ломоносов, — я вам, для увеселения, мог бы прочесть сочиненный на меня, на Ломоносова, здешними немецкими тупицами злой и преострый пашквиль... На днях в академии на мой стол подбросили... Да очень уж много чести... Гунсвоты! Рвань поросячья!.. Это любимая моя данная им кличка... Попрекают, что я мужик и что не прочь подчас покомпанствовать... То правда... Ругайте, наглецы, слабости, страсти непреодоленны!.. Ругайте и за то, что я — против нашествия языков, а сам, смеху подобно, у немцев учился и на немке женат... Браните. Все это верно... Учился я у немцев, умней нас они, и долго еще нам не обойтись без них... Но сами-то, сами ругатели хороши ль? Потатчики ошибок и слабостей властелина! Льстецы! Подбили монарха дать вольности дворянству. И господа сенат до того обрадовались, что депутацию прислали благодарить, золотую статую в честь нового Солона хотели отлить... Дмитрий Сеченов хвалебную речь на это сказал... И я, грешный, до того всеми был увлечен, что больной оду написал. Да теперь думаю: ну, нешто барам нужны вольности? Народу, вот, друг мой, кому!.. Не твои сытые родичи, извини, — мои сермяжники в них нуждаются, по ним всуе молятся Господу Богу... Оно точно, правду ты, Василий Яковлевич, сказал, не женщина теперь на престоле. Да что, я у тебя спрашиваю, в том толку? Вы там кровь проливали, бессердечного хитроумца и льстеца Фридриха били, а тут перед его портретом на коленки в Рамбове становились, кричали ему с винным бокалом: «Hoch!»[1] и с насмехательством, всякими шпыняньями встречали наши над немцами победы...

— Может ли это быть? — сумрачно спросил Мирович. — Не клевета ли? Это чересчур.

---

[1] «Ура!» *(нем.)*

— Богом тебе клянусь, не шучу... Говорят новым советникам государя — нет у нас настоящего уложения; он кодекс-фридерицианус для России указал переводить. Бедная Екатерина Алексевна совсем нынче брошена, забыта; набитый пентюх, Лисавета Воронцова, в фаворе. Единственного сына государева, Павла, о сю пору не объявляют наследником. И стоят, сплошной стеной стоят, вокруг доброго, доверчивого, но слабого волей монарха не мудрые советники, а молодые вертопрахи, жадные чужеземцы... И уж так-то его берегут... Хотел было я, вглядевшись поближе, посатирствовать, войной пойти на эту челядь. Да ну их... Мудра пословица: негоже в крапиву... садиться...

Мирович не спускал глаз с собеседника. Он слушал и не верил своим ушам. Все, что вскользь говорилось в иностранных газетах и что на их враждебных столбцах могло казаться умышленно злою издевкой над Россией, подтверждалось устами великого ученого.

«Бог отвернулся от вашей России, — сказал Мировичу в заседании масонской ложи в Кёнигсберге один каноник, — она на распутии между Востоком и Западом, тьмой и светом, свободой и рабством... Нужны великие жертвы, нужны смелые мужи добра, иначе уйдет она в Азию... будет проклята Богом и людьми...»

— О чем говорено, чур, из избы сметья не выносить! — сказал в заключение Ломоносов. — А к Иберкампфу, на Миллионную, на бильярде поиграть и распить рейнского, верно, уж не пойдем? Ну, ну... Настасья Филатовна не услышит. Да я, сударь, шучу. И вправду, мы на огнедышащем кратере... Не праздновать, не застольные песни, видно, ныне петь. Смирение древних и пост!.. Будем трезвости слугами, будем мудры... Так, к соблазнителям ни ногой?

— Ни ногой, — ответил, задумавшись, Мирович.

— Зарок?

— Зарок...

— Руку!

Новые знакомцы ударили по рукам.

На другой день Мирович молчком пустился в поиски указанных Филатовной камер-фурьеров Крашенинникова и Рубановского. Приглядывался он к домам, к улицам и площадям Петербурга, где мелькнули годы его ученья, и весь он теперь, после чужих краев, показывался ему таким неприглядным, суровым и бедным.

Петербург в 1762 году был все тот же, в зимние месяцы — грязный, а в летние — пыльный, малоосвещенный, до крайности разбросанный и на две трети бревенчатый, чухонско-немецкий городок. Жителей в нем тогда считалось с небольшим сто тысяч. Воды его были без набережных, с навозными плотинами и деревянными мостами, ухабы зимой по улицам чуть не по пояс человека. Вместо улиц, вдоль линии Васильевского острова, шли, как в Венеции, каналы с разводными мостами на перекрестках проспектов. Кучи навоза и всякой брошенной дряни загромождали тротуары и углы перекрестков, валялись и, испуская вредные испарения, тлели на площадях. Сор, грязь и мертвечину с улиц и пустырей очищали колодники. Бездомные одичалые собаки, наводя страх на пеших и конных, бродили стаями по городу, бесились и кусали людей. От нищих, калек и всяких попрошаек не было прохода.

Покойная государыня Елисавета Петровна, в болезнях которой под конец чаще и чаще стала грезиться первая ночь ее царствования, страдала бессонницами. Она то и дело меняла свои опочивальни. В девять часов вечера никто уже не смел ездить мимо окон ее временного, деревянного Зимнего дворца, бывшего на Мойке у Полицейского моста. В девять часов смолкал весь Петербург. Раздавался по городу только бесконечный лай цепных и праздношатающихся собак да оклики на стенах Адмиралтейства и крепости часовых, которых для безопасности иной раз ставили и на перекрестках. Все помнили еще недавние времена, когда петербургские улицы, из-за поджигателей, грабителей, воров и всяких непотребных людей, на ночь наглухо запирались рогатками, так как назначаемые для обхода по городу «пристойные партии фузи-

лиров и драгун» оказывались недостаточными. Еще в присутствии государыни дело городского благоприличия шло кое-как. Во время же ее отъездов в Москву — а она там живала по полугоду и более — улицы Петербурга приходили в окончательное запустение и порастали травой. Городские австерии, где Петр I по праздникам любил чинно выпивать, среди матросов и шкиперов, чарку тминной водки, обращались в притоны буйства и дикого разгула.

В грязь по Петербургу не было прохода. Городских извозчиков состояло в то время весьма немного. Петр III завел с них сбор по два рубля в год и дал им особые кожаные ярлыки. Люди среднего сословия в те поры более ходили пешком. Богатые и знатные, особенно гвардейские офицеры, ездили в своих экипажах или верхом. Модные щеголи и щеголихи то и дело давили пешеходов. Раз они чуть не до смерти смяли фельдмаршала Миниха. Зато доставалось и барам: уличные мальчишки, на Гороховой, Луговой (то есть Морской) и даже по Невскому, несмотря на объявления полиции, пускали бумажных змеев и тем пугали и бесили резвых вельможных рысаков. Генерал-полицмейстер Корф, с скакавшими у его кареты адъютантами, не поспевал являться туда, где оказывались беспорядки. Нередко среди белого дня на рынках или у нового, оканчиваемого постройкой Зимнего дворца, между не убранных еще хибарок, избушек, шалашей и всяких сарайчиков, раздавались отчаянные крики подравшейся черни:

— Караул! Грабят! Режут!

Невская першпектива в полдень покрывалась гуляющими. Шли статские щеголи, в черных бархатных кафтанах, лосиных панталонах и ботфортах выше колен, либо в розовых и желтых шелковых фраках, с огромными лорнетами, а когда было холодно — с куньими и соболиными муфтами. Щеголихи, с затянутыми, в виде ос, тальями, несли на головах хитро устроенные прически, на манер рыцарских замков, цветочных корзин, китайских беседок и кораблей. Но и на этой первостатейной улице

не обходилось без неприятностей. У кофейной Мура или магазина мод госпожи Токе, не обращая внимания на разряженных в пух и прах прохожих, лежал, растянувшись по тротуару, избитый в кровь и с разорванными портами, мертвецки пьяный матрос. Верховой конногвардеец, с громкой бранью и с обезображенным от злобы лицом, у чьего-то дома стегал хлыстом чужого напудренного и важного кучера за то, что тот не свернул раззолоченной, с кожаными занавесками, кареты и тем помешал ему проскакать вдогонку за какою-то умчавшейся красавицей.

В средине великого поста, в 1762 году, прошел слух о появлении на Фонтанке, в деревне Матисовке, близ нынешней Коломны, целой шайки вооруженных грабителей. Петр III вышел из себя.

— О-го-го! Tausend Teufel![1] — сказал он Корфу. — Пора опять приняться за виселицы! Дед мой Петр знал это лучше всякого из нас... Напишу: «approbatur — Peter»[2], и кончено, — увидите... о, ja![3]...

Виселицы, однако, не поставили. Беспорядки длились, и к ним привыкли, как к чему-то, без чего нельзя было обойтись и ужиться. На всякий уличный переполох, как на театр, в соседних домах поднимались окончины, и нарядные дамы выглядывали оттуда, следя с любопытством, из-за модных вееров, чем кончится казус.

Частные здания на Невском, со стороны Адмиралтейства, тогда начинались лишь от Полицейского моста. Отсюда, вплоть до Аничкова, по правой и левой сторонам проспекта, было немногим более десятка домов, да и то наполовину деревянных. Домовладельцы на главных улицах были большей частью иностранцы или инородцы. У разъездной площади временного Зимнего дворца, выходившего на Мойку,

---

[1] Тысяча чертей! *(нем.)*
[2] «утверждаю — Петр» *(лат.)*.
[3] о, да! *(нем.)*

на Невский и Луговую, ныне Морскую, был дом купца Дюбиссона, с надписью на вывеске:

«Продажа габмургских канареек и попугаев».

В Кирпичном переулке, наискось против нынешнего ресторана Дюссо, был дом банкира Кнутсена. На углу Гороховой и Луговой — дом красильщика Краузе; у Синего моста — вывеска шорника Матьяса Заккова. Немного далее, по Мойке, — цветочный магазин Вольфа, с надписью:

«Изрядные ананасные планты».

Еще далее, по Вознесенскому проспекту, — дома: Пильхау, Рашке, Зушке, Хабасова и Клуга. У Вознесенского моста, на берегу Глухой речки, ныне Екатерининский канал, — заведение оконного мастера Берга.

Придворные сады — Летний, Итальянского дворца на Литейной, в Екатерингофе и на цветочных променадах Царицына Луга — были открыты для публики. Но в них не пускали матросов, ливрейных лакеев, женщин с платками на головах, мужчин в сапогах, а не в башмаках, и вообще — как тогда говорили в газетах и в публикациях полиции — «подлого народа». Требовались модные и красивые одежды. По указу императрицы Елисаветы, ставили клейма на фалды господ, являвшихся ко двору в старых или вышедших из моды «несообразных кафтанах». После самой императрицы осталось пятнадцать тысяч почти новых платьев, несколько тысяч башмаков и два сундука чулок и лент. Между тем мясные, зеленные и рыбные лавки, кабаки и постоялые дворы невозбранно распространяли запах грязи и всякого сора, валявшихся в них и возле них. Утонченная Европа и дикая, неумытая Азия уживались рядом друг с другом.

Болотные лихорадки, повальные горячки, оспа, скарлатина и корь не покидали Петербурга. Врачей в то время было мало, и те брали непомерно дорого. Модные врачи, Монсий и Фузадьё, брали, не стесняясь, по пятнадцати червонцев за визит. Обучение детей сплошь было в руках невообразимых проходимцев. Некая иностранная фамилия «шляхетного и честного рода» печатала о себе в тогдашних газетах, что

она «учит девиц, по понятию каждой, языкам, шитью, экономии, танцам, а притом и чтению «Ведомостей». Другая, иноземная же особа, а именно — некоторая г-жа Ренуард (адрес: Миллионная, в доме портного Экка) публиковала, что обучает девиц языкам, арифметике, географии, истории — «а также и писать».

В казенные и домашние учителя нередко попадали забираемые по понедельникам со съезжей уличные «шататели» и «пьянчужки», замешанные иногда в дебошах, кончавшихся смертоубийством.

Благородные девицы перенимали друг у друга тайны, как затягивать получше талии, как делать реверансы и налепливать на лицо мушки. В косметических лавках продавались особые красивые коробочки с черными мушками. При найме женской прислуги спрашивали тогда:

— На хозяйских ли румянах и белилах?

Знатные и богатые люди заботились о составлении библиотек из французских книг, в которые, впрочем, немногие из них заглядывали. Мужчины учились у мужчин, как надеть круглую вощанковую или треугольную пуховую шляпу; как открыть табакерку, оправлять на манжетах алансоны и пуан-дешпаны, нюхать табак и вынимать и встряхивать цветной, пропитанный духами á la Reine, фуляровый платок. Парикмахеры на Морской и на Невском завивали букли и заплетали и пудрили косы русским петиметрам, назначавшим друг другу вечерние свидания в не вышедшем еще из моды, со времен Лестока, трактире савояра Берляра и Иберкампфа, в гербергах, погребах Гантовера, Ретса и в вольных домах, австериях Винклерши, Шмидши, Кохши и других.

Государыня Елисавета Петровна ездила запросто на вечеринки к вельможам, кутая своей муфтой и платком руки и горло провожавшему ее графу-мужу Алексею Григорьевичу Разумовскому, под письмами к которому она в шутку подписывалась: «Ваш первый дишкантист».

У постели же ее, по простоте, со времен еще ее девичества, на разостланном тюфячке, для охраны ее, спал на

полу старичок, любимый ее камердинер, впоследствии генерал-аншеф Василий Иванович Чулков. Государыня, вставая иной раз ранее его, будила верного слугу, а он трепал ее по плечу, зевая и ворча:

— Ну-ну, лебедка моя! Уж ты и встала.

Друг Елисаветы, Мавра Егоровна Шувалова, урожденная Шепелева, писала к ней: «Ваша раба и дочь, и холопка и кузына», а мужа Шуваловой Алексей Разумовский, подгуляв на охоте, бил батогами.

Ко двору Елисаветы Петровны, для ловли в ее апартаментах мышей, особыми указами выписывались из Казани умелые и «пристойного вида» сибирские коты, а из-за границы мартышки «столь малые, чтобы входили в индейский кокосовый орех». Костромская помещица, Анна Ватазина, письменно предлагала государыне, коли произведут ее мужа в коллежские асессоры, поднести в дар четырех собак: Еполита, Женету, Маркиза и Жулию. В молодости Елисавета, цесаревной, писала нежные мадригалы:

Я не в своей мо́чи огонь утушить.
Сердцем болею, да чем пособить?

При Елисавете по улицам было видно более мирных статских. При Петре III Петербург стал наполняться разнокалиберными и дравшими нос военными.

На дворцовом плацу, чуть не ежедневно, производились шумные — с криками «виват», маршировками и всякими муштрованиями — вахтпарады. По улицам озабоченно и торопливо скакали адъютанты, сновали пешие и конные вестовые. Петровские, широкие и длинные, кафтаны гвардии и армии заменились куцыми и узкими мундирами, на манер прусских. Исконный зеленый цвет кафтанов и красный — воротников и камзолов — разрешено заменять, по произволу командиров полков, оранжевым, голубым, лиловым, канареечного цвета и всяким. Петр III ввел еще аксельбанты и эспантоны, трости у офицеров и урядников. Он же отменил ношение на вахтпарады, за капралами и унтер-офицерами, слугами их, ружей и алебард.

В начале великого поста Петр Федорович издал повеление: всем сановникам и вельможам, носившим титулы командиров взводов, баталионов и полков, быть неотлучно на учениях во главе своих частей. Это приказание привело всех в неописанный конфуз. Публика с изумлением увидела по улицам марширующих по щиколотку в грязи, перед своими баталионами и взводами, генерал-фельдмаршалов: графов Александра Иваныча Шувалова и изнеженного сибарита и сластуна Алексея Разумовского, дядю государя — принца Жоржа и больного одышкой, в бархатных штиблетах на опухших, подагрических ногах, князя Никиту Юрьевича Трубецкого. Гетман Разумовский даже нанял особого голштинского офицера для уроков новой муштровки. Придворные и статские чины были не менее озадачены. Парикмахера своего Брессана государь назначил в директоры фабрики гобеленов и произвел в камергеры; ямщика же, какого-то Патрикеева, в титулярные советники.

Перед пасхой Петр III писал к своему другу королю Фридриху, что, не остерегаясь ничего и никого, он предает себя на волю Бога и в охрану своему народу и без провожатых по Петербургу ходит пешком.

IV

ДРЕЗДЕНША

У Вознесенского моста стоял обветшалый и огромный, с кучею амбаров, конюшен и покосившихся флигелей, деревянный, с поросшей мхом кровлей, дом царевича Леона Грузинского. Через переулок за ним был такой же старый дом камер-фурьера Рубановского. Сюда, после неудачной справки у Крашенинникова, под вечер, подошел Мирович.

Его озадачили крики и песни пьяной черни, вырывавшиеся из грязного темного кабака, на углу этого дома, рядом с вонючею рыбною лавкой. Он поднял глаза — на соседнем

балконе, выходившем на проспект, были вывешены, для проветривания, какие-то шубейки, подушки и детское белье. Убитая кошка валялась среди улицы.

«Нет, Кёнигсберг не в пример лучше и чище Петербурга: там аккуратнее и такого неряшества не позволят!» — подумал Мирович, с трудом перейдя через растаявшую обширную лужу, у спуска с Вознесенского моста. Он вошел к Рубановскому. Ему сказали, что Василий Кириллыч хотя и у себя, но после обеда перед всенощной почивает, а потому, если ему есть надобность, не угодно ли подождать.

Делать нечего. Стал дожидаться Мирович в кабинете. Он устал за день в ходьбе по городу и сильно проголодался. Комната, куда его ввели, была маленькая, душная. Пахло ладаном и к тому как бы пригорелым постным маслом. Со стены глядел портрет какого-то толстого, крупноносого протоиерея. В пяльцах у окна стояло не конченное женское шитье по бархату. На столе у диванчика лежало несколько тощих и серых тетрадок, в четвертку, тогдашних «С.-Петербургских ведомостей», две-три книжечки академических «Ежемесячных сочинений», колода старых игральных карт и в кожаном, закапанном воском переплете объемистая книга «Камень веры».

«Ну-ка, что пишут о наших делах с пруссаками? — подумал Мирович. — Как ценят наши победы и что случилось нового после меня?»

Он стал просматривать «С.-Петербургские ведомости».

Новости этой газеты сильно опаздывали. В нумере от 1 марта вести из Парижа были от 1 февраля, из «Гишпании» от 18 января. Где-то была даже просто оговорка от редакции: «Иностранные газеты не бывали». О делах России с Пруссией ни слова.

«Ну, наших газетиров, — злобно усмехнулся Мирович, — немцы не будут сечь на Невском, коли когда-нибудь возьмут Петербург!»

Он начал перелистывать литературный журнал «Ежемесячные сочинения». В одной книжке было длинное рассуж-

дение о кубовой краске, в другой — о строении погребов. В нумере за январь была статья из английского «Спектатора» «*Разговор между любовью и разумом*». Мирович от нечего делать стал ее перелистывать:

Разум. — Весьма бы трудно было, любезная сестрица, сойтиться нам с вами.

Любовь. — Не вижу я благоразумия в браках, сделанных только для одной корысти... Когда я возжигаю любовь, то возвышаю низкое состояние до знатности или повергаю высокое до подлости... Кто много рассуждает — тот худо любит, а кто горячо любит — тот мало рассуждает...

Мирович закрыл книгу, вздохнул и задумался. «Это верно! — утвердительно сказал он себе. — Кто горячо любит, тот не рассуждает».

На дворе между тем стало темнеть. Езда по улицам затихла. В соседней комнате чирикали стенные часы. Сверчок трещал вблизи за сундуком. Тяжелая, темная лампада теплилась в углу, у киота. Мирович взглянул на иконы.

«Я был во тьме, — подумал он, — и увидел свет... Да, я его увидел... С острием шпаги у груди, меня ввели в заседание франкмасонов... И я клялся быть совершенным и справедливым. Я обновился — иной становлюсь теперь человек. Более не злиться, не проклинать. Всепрощение, вера в людей и любовь к ним, высокая любовь... Но кого я люблю более всего? Поликсену. Да где же она? Ее нет... и неужели я никогда, никогда более ее не увижу?»

За дверью, в прихожей, раздался удушливый, старческий кашель. Шлепая туфлями, в комнату вошел, в халате на мерлушках, сгорбленный, сонный, худой и с крючковатым носом старик. То был Рубановский.

— Авдиенции у государя ищете? Просьбица есть? — спросил камер-фурьер, скрипя табакеркой и из-под кустоватых бровей подозрительно щурясь на гостя.

Мирович объяснил, затем пришел.

— Бабьи интрижки, сударь, кхе! Смехи да волокитство! — продолжал Рубановский, сердито тряся головой. — Не по нашей части... гм!.. Пустобрешество одно! Просим

извинить, кхе-кхе! Час, в он же ко всенощной добрые люди, а вы...

— Василий Кириллыч, помилуйте! — заговорил, хмурясь, Мирович. — К вам пришли, на вас только и надежда. Вам одним можно знать, куда от двора отъехала девица Пчелкина... а вы...

— Не шаматон я гвардейский и не шаркун! И любовными дуростями, сударик, не занимаюсь, вот что-с! — свирепо набивая нос, отрезал Рубановский. — Да коли бы и знал, то б не сказал. У меня, сударь, дети, дочки... А мало ли, не в пронос слово, не в обиду сказать, ноне всяких шалберников, совратителей девиц?

— Но я... Василий Кириллыч, разве из таких! — возвысил голос Мирович. — И притом, как вы можете! Это, наконец, обидно... афронт...

— Да не о тебе, батюшка, не о тебе... Что вскинулся? Эк, испугал! Нечего пугать! Сами не из робких... А что до твоей сударушки, так я и по сей час несведом, где она, да — кольми паче — и знать мне, слышишь, по моему рангу, не для чего... Дорожка, сударь, скатертью дорожка! — склонив голову и сердито топчась на месте, ответил Рубановский. — Просим извинить и не осудить... да-с, не осудить...

Бешенство проняло Мировича. Иголки заходили у него в руках. Не помня себя от ряда неудач и гнева, он вышел на улицу.

«Будь не старик да не у себя в доме, — сказал он себе, сжав кулаки, — я б тебе, постнику, показал!»

Голова Мировича кружилась. Горло подергивали судороги. С трудом дыша, он, как пьяный, шатаясь, прошел несколько шагов. На улице кое-где тускло зажигались фонари.

«Куда же теперь? — злобно спросил он себя. — Или идти к государеву секретарю Волкову, добиться приема и просить, за воинские мои старания и услуги, о разыскании во что бы то ни стало девицы Пчелкиной? Ха-ха!.. Безумие! За воинские заслуги! Какие они? Разве к Разумовскому?

Но он, после моей стычки с Юсуповым, совсем от меня отказался. Писал я ему с походов не одну цидулку; он и не откликнулся... Неужели ж опять за границу, в Кёнигсберг, когда армия и без того вот-вот повернет оглобли в Россию?.. Есть, кажется, выход, и простой, — да подлые, малодушные люди! Все их тянет в водоворот, в суету, — уехать бы на Украйну, к другу Якову Евстафьичу, или в Киев, выйти в отставку, на тихом хуторе поселиться, в раю...»

За спиной его послышался оклик. Его назвали по имени. Он оглянулся.

У Вознесенского моста стоял добродушный, невысокого роста, круглый, с красным, в веснушках, лицом и с манерами беспечного кутилы и щеголя, несколько навеселе, лет тридцати двух-трех, пехотный офицер. То был деливший с Мировичем часть заграничного похода его знакомый, поручик Великолуцкого армейского полка Аполлон Ильич Ушаков. Он месяцем раньше Мировича был прислан, по фуражным делам, из армии в Петербург, где и остался. Племянник знаменитого Андрея Ивановича Ушакова, грозы розыскной экспедиции прежних лет, он давно промотал отцовское состояние и жил аферами, дружбой с повесами и мотами всевозможных слоев и неизменным посещением трактиров, харчевен и кофейных домов. При деньгах он был весел и смел; без денег — тряпка тряпкой.

— Какими судьбами! Вот не ожидал! — воскликнул оперившийся в Петербурге и бывший в эту минуту точно на крыльях Ушаков.

— По службе; как и ты, разумеется, с поручением! — ответил, отвернувшись от него, Мирович.

— Ну, и гут[1], хохландия; значит, запылим! Хочешь, пойдем, сокрушим по маленькой? Финансы в авантаже... Откуда в сей момент?

Мирович указал назад, за церковь.

---

[1] хорошо (*нем.*).

— От Дрезденши? — спросил, не спуская с него веселых, навыкате, смеющихся глаз, Ушаков.

— От какой Дрезденши?

— Так ты Дрезденши не знаешь? Шреклих!..[1] Вот невинность, недоросль из Чухломы...

Мирович бы не рад этой встрече и нетерпеливо поглядывал в ближайший переулок.

— Голоден? — спросил, будто что-то вспомнив, Ушаков. — Желаешь, кстати, и черепочек раздавить? Желаешь, так угощу и расскажу...

— Кошелек забыл, — ответил Мирович.

— Эк, дура, дура, девка Тимофевна! — насмешливо сказал обыкновенно уступавший и благоговевший перед сдержанным Мировичем Ушаков. — А еще офицер прозывается! Срам и всему воинству обида... Parole d'honneur[2]... Не масонство ли воспрещает?.. Так и я, смею доложить, с этого месяца масон, хотя и не принадлежу к вашему lata observantia... Дрезденши не знает! Пойдем же; на угощение товарища и у нас хватит казны... Вон Дрезденша!..

И он, обернувшись, подмигнул с набережной на красный фонарь особого подъезда в доме князя Леона Грузинского, неосвещенная часть окон которого глядела на Вознесенский проспект, а другая, в веселых огоньках, была обращена на берег Глухой реки (ныне Екатерининский канал).

— Дрезденша, рыцарь ты мой, она же и Фёлькнерша, это вот что! И ты сию комедиянтскую фабулу послушай! — лихо выпрямившись, сказал Ушаков, замедлясь у красного фонаря. — Жила она при покойной государыне не здесь, а подалее, в доме Белосельского-Белозерского. Не повезло только ей тогда. Спознала государыня Елисавета Петровна

---

[1] Ужасно! *(нем.)*

[2] Честное слово *(фр.)*.

добронравная, что в вольный дом, в австерию, к Дрезденше, множество статских и чуть не вся гвардия ездят, не только на бильярде али в кегли забавляться, но и ради чего иного. Была тут другая, Василий Яковлич, приманка: аки бы для музыки и в услужение мужеска пола посетителей, было у нее немало иноземных и здешних девиц, да все, душечка, ахтительнье красавицы... На бандорах, гитарках играли, пели и плясали... Окромя же того, на вечеринки к Дрезденше, с другого хода, стали ездить, надо тебе тоже сказать, не одни мужчины, а и барыни-модницы, на свидание с мил дружками, в тайности от своих мужей. Ну, королевич ты мой, ревнивые глаза ан видят еще подальше орлиных!.. Донесли о том государыне. А Елисавет Петровна, сам ты знаешь, как любила такие явные дурости да шаматонства...

— Что ж она? — спросил Мирович.

— Отдала престрогий приказ... И вся сия потайная и противная аки бы добрым нравам торговлишка кончилась, братец ты мой, плохо, не токмо для Дрезденши, а и для других. С нею пострадала и всем любезная Амбахарша, ее землячка, в Конюшенной, и шведская поручица Делегринша, на Литейной. Но паче всех скоп лютости упал на Дрезденшу!.. Ее выслали за границу, а всех ее соблазнительниц земфир, без жалости, отправили на прядильный двор, в Калинкину деревню. Кабинет-министр Демидов производил тогда следствие, и многие важные модники и барыни-щеголихи сильно притом поплатились. По именному повелению государыни, астронома Попова да асессора мануфактур-коллегии Ладыгина отлучили от церкви, а потом повенчали в соборной Казанской церкви, да с такими красавицами, что те молодчики и не спохватились...

— Не слыхал я про то, — сказал Мирович.

— Где тебе слышать! Ты тогда еще в бабки играл. Да не только посетители — офицеры, поставленные на часах у заключенных на прядильном дворе девиц, и те не устояли против лукавого, ударились в волокитство на карауле, захотели бандор и гитарок послушать, песенкой побаловаться, и

за то подвергались также немалому афронту и несчастью... Так вот тебе, сударь, кто Дрезденша...

— Но из-за чего ж, из-за чего? — вдруг уцепился Мирович. — Не может быть, чтобы даром все это... мало ли куда вне фронта гвардия ходила и ходит... Кому какое дело?

— Правду ты сказал, Василий! Всегда справедлив и прозорлив! — приятно удивясь, ответил Ушаков. — Были и другие резоны... Искали, не хаживал ли к этим восхитительницам близкий в то время к другой особе повыше — Бутурлин... Ну, помощница Дрезденши, Лизута Черная, под кошками и покаялась...

Мирович вздрогнул.

— Под кошками?

— Да...

— Экое варварство...

Приятели помолчали.

— Но ты, Аполлон, — спросил Мирович, — ты сказал, что Дрезденша была выслана за границу?

— Да, была выслана, при покойной царице. А как только на престол взошел ныне нами владеющий государь император, так эта Дрезденша — а за нею и другие ее землячки — вновь, и еще с большею бомбардирадой, появились здесь, сели себе по-прежнему — и вот она первая... любуйся!

— Не пойду, — сказал Мирович. — Боже-Господи! Кошки...

— Э, полно! То было вон когда! Вздор! Пойдем. Теперь тут благороднее, вальяжнее, чище. И Дрезденша состарилась, и нравы смягчились... Внизу закуски и бильярд — скажем: здравствуйте, стакашки, канашки, каково поживали, нас поминали? — а наверху, Василий, карты, бывает музыка и всякий тебе горе-отгонительный куплет увидишь...

Вздохнул голодный, раздосадованный неудачами Мирович и против желания вошел за Ушаковым в нижнее отделение ресторана Дрезденши.

Ему было не по себе. Он чуть не вслух бранился.

— Тьфу ты, малодушие, подлость! — ворчал он и язвительно улыбался. — Что сказала бы Филатовна и как посудило бы начальство, если бы увидели меня здесь?

Первое, впрочем, что бросилось ему в глаза, при входе в освещенную восковыми свечами, прокуренную кнастером и полную шума и говора, нижнюю залу, было лицо сердитого и важного генерала Бехлешова, так распекавшего его тем утром за галстух и вообще за не в порядке оказавшийся его наряд. Надутый, суровый вид генерала исчез. Он, с расстегнутым камзолом и с веселым, беспечно ухмылявшимся лицом, сидя в углу, допивал четвертый, с гданской водкой, пунш и, то и дело отирая лоб и белые, полные щеки, жадно следил за бильярдною игрой. Не успел Мирович с Ушаковым потребовать в соседнюю комнату подового, с сигом и севрюжьей головой, пирога, не успел он «раздавить» с ним по маленькой, а потом и по большой, — в залу вошел, за полчаса так удививший его строгим нравом, сосед Дрезденши, Рубановский. Охранитель чести девиц, усердный молитвенник и постник, вынул пенковую, с витым чубуком, трубочку, потребовал и себе здоровенный стакан пуншу и также уселся к стороне глядеть на бильярдных игроков.

«О, люди! — с тайным негодованием подумал Мирович. — Просителя считают за собаку, изречения какие-то отпускают. Сами же... А будь деньги, будь богат...»

Он, злобно передернувшись, громко рассмеялся.

— Что ты? — спросил, обведя его глазами, Ушаков.

— Так, мерзости, брат... Подлецов, ух, да как же много нынче на свете развелось. Тесно от них.

Проговорив это, Мирович опять резко, отрывисто захохотал.

— А ты знаешь настоящее средство от всяких то есть наваждений? — спросил Ушаков.

— Какое?

— Выпьем, Василий Яковлич, сотворим во благо еще... Или ваш Obidienz-und-Unterfügungsact[1] мешает тому? Вздор... Жизнь, милый, вот как коротка и скучна... Да и родила нас мама, что не принимает и яма... Что хмуришься? Аль подрядился на собак сено косить?.. Эй, малый, еще бутылочку рижского!

Подали пива, и опять подали. Из дальних комнат доносились звуки музыки.

— Кутят гвардейцы, — произнес Ушаков.

— Дьяволы, анафемы! — опять, точно сорвавшись, сказал Мирович.

— Да о ком ты это, расскажи! — спросил, уставясь на него, Ушаков.

Мирович вздохнул. В его черных, без блеска, сердитых глазах начинал светиться дикий блуждающий огонек.

— Из-за чего такие несправедливости? Ну, из-за чего? — произнес он, посмотрев куда-то в воздух. — Веришь ли, фу — какая тоска!

— Какие несправедливости?

— Да как же, посуди. Ну, как мог человек, по контракту с обществом и государством, передать другим то, на что сам не имеет права, — располагать своею свободою, совестью, жизнью?

— Фю-фю! — засвистал, что-то смутно, лениво припоминая, Ушаков. — Ты это по Мартинецу? Опоздал! Не знаю, брат, этих ваших новых откровений; хоть и слышал о вашей ложе, ничего особого в ней нет... А вот в «Трех глобусах», так, согласись...

— Drei Weltkugeln[2] или ложа святого Иоанна, — это все едино, глупец! — презрительно и грубо перебил Мирович. — Горе в том, что все в темноте, все смотрят

---

[1] Обет преданности (*нем.*).

[2] Три глобуса (*нем.*).

врозь. А сколько силой воли одного человека можно сделать!..

— Да опять-таки ты не о том, ах, опять не туда, — ответил, не обижаясь и весело замахав руками, заметно хмелевший Ушаков. — Я бы тебе все изложил, все... все... Только, канальство, надо бы вот зайти... Ну, да, слушай... Ты вот куда взгляни, это чем пахнет? — сказал он, расставив перед собой ладони. — Слышал ты, какую силу забирают немцы? Везде, брат, ползут, везде, да не простые, самые патентованные, из Киля... Командиры полков назначены сплошь голштинцы: конного — Цобельтиш, инфантерии — Цеге-фон-Мантейфель... Крюгер, Одельрог, Кеттенбург да Вейсс, а в кавалерии — Лёвен, Лотцов, Шильд и дядюшка государев, новый генерал-фельдмаршал, принц Жорж... Имена полков тоже изменены... Нарвский твой уже не Нарвский, а Эссена; Смоленский, что в Шлиссельбурге стоит, Фулертоновым прозывается... Иного колбасника-собаку даже не выговоришь, цепляется язык... все-таки, ну вот, что хочешь, а я государя люблю... Добряк он, веселый, откровенный и уж простота... Видел ты его? И глаза у него такие добрые, а хохочет, заливается, точно школьник... Одно — любит не наши поговорки... Я на вахтпараде намедни его слышал... Душа человек! Скажи, в огонь и в воду пойду за него... Да ты, Василий, может, катериновец? Признайся!.. Царева жена подбирает, слыхом слыхать, партию, да какую... И у Дрезденши, скажу по секрету, здесь иной раз собирается главный их притон. Давеча, как смеркалось, пятеро санок, должно, сюда с медвежьей травли катили. Что им делать? Кружат веселые головушки, негде удали деть!

— Катериновец! Петровец! — с дрожью в голосе, злобно воскликнул, обыкновенно сильно, мертвенно бледневший от возлияний, Мирович. — Эк разнесло их! Ха-ха! Тоже о партионных кличках толкуют... Англия, что ли, здесь или французские парламенты? Плевать я хотел на клички, плевать! Дурак! Гляди вот куда... Читал

ты господина Руссо? Читал его «Contrat social»?[1] Ну, что там сказано о правах человечества? Понял теперь о правах? То-то же. И если что по правде плохо у нас, так это, что нашего брата, мелку сошку, везде нынче считают за ничто... собаками, как есть собаками... Ни нажиться, ни произойти в чины...

В это время из бильярдной комнаты раздался взрыв дружного и громкого хохота. Перекаты его через минуту возобновились.

В раскрытую дверь было видно, как молодцеватый и лихой, лет двадцати семи-восьми, в подбитом соболями кафтане, огромного роста, с римским носом и замечательно красивый артиллерист-гвардеец, обыграв старичка маркера, с кием в одной руке и с голландской трубкой в другой, слегка перегнувшись и расставив обутые в дорожные ботфорты ноги, повторял: «Пуц-пуц-пуц», — и до слез хохотал среди комнаты. А тучный, с кривыми ногами и желтым, отекшим лицом, маркёр в пятый раз, кряхтя и охая, пролезал под бильярд и, с тупоудивленной недовольной рожей, принимался, по уговору, пить новый стакан холодной воды. Толпа зрителей — в том числе Рубановский и утренний генерал, — глядя с своих мест на эту картину, в неудержимом смехе вскрикивали, хватались за животы и махали руками и ногами.

Мирович, оправив на себе кафтан и прическу, с нервической дрожью сказал Ушакову:

— Низость какова, а еще гвардейцы! Расплатись, Аполлон, да дай взаймы чуточку...

И не успел Ушаков опомниться — он торопливо протиснулся сквозь толпу и подошел к артиллеристу, черты которого были ему как бы несколько знакомы.

— Любители на бильярде? — спросил он вежливо, косясь на него.

---

[1] «Общественный договор» (*фр.*).

— Да-с... А вы? — удивленно и бегло окинув его глазами, произнес гвардеец.

— И в моей манере эта игра не последняя-с!

— Так не угодно ли? — спросил, брякнув шпорами и улыбаясь, артиллерист. Его улыбка была обворожительно-добрая, женственно-беспечная.

«Эка сволочь! — холодно и злобно про себя усмехнулся Мирович. — А разрядился как!.. Да, как баба, и смазлив... Букольки на висках распомажены, точно прилизаны у болвана языком...»

— Оно ничего-с, и с охотой, — ответил, пуще хмурясь, Мирович, — только извините, ха-ха! Вот никак не пойму... Отчего это вы играете с подлым слугой, а не с кем-либо из благородной публики!

— О! Нынче, сударь, я в превеликом амбара́! — простодушно опять улыбнулся красавец гвардеец. — Никто вот — хоть тресни, а ни-ни! — не хочет со мной померяться.

— В таком разе, с моим с превеликим удовольствием! — сказал, раздражительно торопясь, Мирович.

— На деньги или тоже в шутку, на подобный уговор? — спросил, насмешливо глядя на него и на присутствовавших, гвардеец.

— Ин хоть и на уговор!

Игра началась.

С первых ходов Мирович, и без того бледный, еще более смутился и оробел. Дрожащей рукой наметил он кий, угловато-ухарски повел плечом и нацелился. Его шар так ловко щелкнул шар противника, что гвардеец изумленно покосился на него и замялся.

— Может быть, вы, сударь, на деньги? — спросил он. — Что даром время терять?

— А вот уж мы сперва по уговору-с... смажем вот этого, — сказал Мирович, — а потом хоть и этого... я не чинюсь... готов...

Кий опять щелкнул. За красным с громом в лузу влетел белый, за белым опять красный шар. Игра была кончена.

— Пуц, пуц, или как вы там, сударь! Ха-ха! Лезьте, значит, под бильярд, — неестественно зевнув и откидывая волосы, презрительно произнес Мирович. — А для прохлады, не в пронос слово, испейте кстати и холодной водицы...

Артиллерист прикипел на месте. Румянец залил его белые, женственно-нежные щеки. В блестящих карих, с поволокой, глазах выразилось удивление, почти детская досада и невольный стыд. Он бросил растерянный, робкий взгляд по сторонам, подумал: «Вот бестия! А уговор исполнять следует — расплачивайся!» — и ловко скинул с себя дорожный, расшитый золотом, на соболях, щегольской гвардейский кафтан.

Делать нечего, он присел, с улыбкой пролез на четвереньках под бильярдом и залпом выпил поданный хихикающим маркёром стакан воды.

— А что ж? Другую партию! — сказал он, не одеваясь. — Три дня за медведями охотились, только что с Волхова... будто промахнулась рука... Угодно ли?

— Оставь его, оставь! — шептал, дергая Мировича за рукав, красный, как рак, Ушаков. — Катериновец ведь это!.. Как бы он тебе не отплатил...

Мирович его не слушал. Игра возобновилась. И во второй раз молодцеватый гвардеец, в то утро посадивший на рогатину медведя, полез под бильярд и опять пил поданную ликующим маркёром воду.

Зрителей надвинулось на эту картину множество. Явились, с тоненькими кривыми сигарами и трубками, другие — военные, статские и моряки. Между ними протискался, в ермолке, в ваточном халате и в плисовых туфлях, сам царевич, старик Леон Грузинский, имевший обыкновение в таком наряде, как хозяин помещения, проводить бо́льшую часть вечеров в вольном доме Дрезденши. После новой неудачной партии гвардеец остановился.

— Да вы заговоренный, — сказал он, отходя с Мировичем к стороне. — Попроворили как разбить... Не угодно ли в таком разе и в карты?

— Всеодолженнейший слуга! — с радостной дрожью произнес, не поднимая глаз, и надменно поклонился Мирович.

— Так пойдемте наверх, — сказал, опять облекаясь в кафтан, гвардеец.

— Только я вот товарища что-то потерял из виду! — оглянулся Мирович. — Коли проиграюсь, а счастье не вечно везет, не у кого будет взять здесь сикурсу...

— В долг поверим, — с усмешкой смерив пехотинца глазами, сказал гвардеец. — Мы по простоте, сударь, без фасонов...

— И нам, государь мой, фасоны не надобны! — с достоинством ответил Мирович. — А в долг, к слову сказать, еще не игрывали...

Внутренней витой лестницей они взошли в верхние комнаты Дрезденши.

— И этого-то человека и как стоптал, разбил! — шептали между тем гости при проходе среди них щеголя-артиллериста и его победителя. — Все пуан-дешпаны ему перемял этим лазаньем... Слыхано ли? Первого в гвардии директора веселостей и всяких игорных затей...

— С кем имею честь? — спросил гвардеец.

Мирович назвал себя.

— А вы? — спросил последний.

— Цальмейстер гвардейской артиллерии, Григорий Григорьич Орлов, — ответил красивый офицер, концами нежных, в кольцах, пальцев оправляя букли и на груди кружева.

«Он самый и есть! Так вот это кто!» — подумал Мирович, с новой, презрительной злобой вглядываясь в пышущее здоровьем, румяное и удалое лицо Григория Орлова, которого он застал когда-то на несколько месяцев в корпусе. Орлов потребовал шампанского, бутылка которого тогда стоила рубль тридцать копеек. Они чокнулись и выпили по нескольку бокалов.

— Коли в карты, — сказал Орлов, — так пойдем дальше.

Он провел Мировича в следующие комнаты. Там увеселения — некогда потайной, а ныне явной, модной австерии — шли в полном разгаре. Играли в бириби, в ля-муш, в тогдашний банк-фараон и в кампис, любимую игру нового государя и его голштинцев, в которой каждый получал несколько «жизней» и кто переживал, тот и выигрывал. Дым кнастера клубами стлался по комнатам, смешиваясь с дымом сигар «фидибус». Из большой соседней залы явственнее доносились звуки венгерской струнной музыки, нанятой возвратившимися с медвежьей травли гвардейцами. Там шли танцы и слышались смех и веселые голоса итальянских и французских хористок придворной оперной труппы, любивших здесь делить время в обществе столичных богачей.

Сама Дрезденша, она же и Фёлькнерша, пятидесятилетняя набеленная и плотная женщина, появлялась среди карточных столов. Подбоченясь, она останавливалась перед играющими: серыми ястребиными глазами следила за теми, кто побеждал, с возгласами «Ach, Herr Je» громко хохотала над теми, кто проигрывал, предлагала яства и пития и исчезала во внутренние комнаты всякий раз, когда выходил какой-нибудь дебош. Военные звали Дрезденшу командиршей, моряки — адмиральшей, статские — танточкой.

В одной из игральных комнат, куда, вслед за Орловым, вошел Мирович, за большим круглым столом сидел атлетического вида, девяти пудов весом, с мужиковатою повадкой и площадными французскими и русскими присловьями, лицом, впрочем, очень похожий на старшего брата — красавца Григория, — расфранченный и раздушенный преображенский сержант, Алексей Орлов. Его окружали приехавшие с медвежьей травли другие гвардейцы. Здесь играли в фараон. По просьбе богатого товарища-однополчанина, Михаил Егорыча Баскакова, Алексей Орлов метал банк. Другие, стоя, сидя и с вынутой картой, в волнении прохаживаясь, понтировали. Оживление было общее.

— Место, Ласунский! Дай пустить ерша, — подходя и также беря карту, шепнул Григорий Орлов невысокому, расфранченному, в серебряных галунах, измайловцу.

— Не пускай его, — усмехнулся длинный, в очках и вялый с виду, другой измайловец, Николай Рославлев, — беспременно проиграется. Намедни насилу их разняли в Волочке с Несвитским и с Хитрово...

— Да я не для себя, господа, parole d'honneur, — произнес Григорий Орлов, указывая глазами на подведенного им нового понтера.

Мирович долго не решался ставить карты.

«Гвардейцы, катериновцы — ухари, богачи, — мыслил он, замирая, — не пара... С ними свяжешься, не рад будешь. Проиграешься, на дне моря найдут; выиграешь, как бы еще не кончилось, как тогда с Юсуповым... Нет! Два года терпел, не зарывался... Великий Руссо, учитель мой! Помню твои слова... Силой воли, воли одного человека, все достигнешь... Баста, карт в руки не возьму».

У игрального стола шел оживленный, русско-французский разговор. Слышался изредка смех.

— Что же, отче многомилостивый? — уставясь в него и продолжая толстыми, жилистыми пальцами метать фараон, пробасил исполин Алексей Орлов. — Уважьте компанию-с... Отведайте в прусского короля счастья. Кому тереть, кому в терке быть. Либо дупеля, либо пуделя... voyons, allez vite...[1]

Кто-то из посторонних, ставя карту, прошептал:

— Была не была, отведай еще, Хавронья!

Мирович оперся рукой о стол. Лица понтеров были ему неизвестны. Перед ним лежала колода.

«Поликсена, далекая, дорогая, недобрая, выручай», — подумал он, прикрыв занятым у Ушакова червонцем пятерку, название которой начиналось одной буквой с именем Поликсены.

---

[1] начнем скорее... *(фр.)*

— О-го, свернул овце шею! Дана, — пропустил веселым басом банкомет. Озноб пробежал с головы до пят Мировича. Он удвоил ставку на той же карте. Алексей Орлов принялся опять метать и, снова вскинув на него удалыми, смеющимися глазами, сказал:

— Дана, сударушка, и эта-с.

Подошли новые игроки. Снизу явился и Рубановский.

— Молодец, молодец! — шептал теперь старик Мировичу. — Такому можно постараться... может, и найду!..

Мирович не обращал внимания на окружающих. Дух игрока воскрес в нем с прежней, давно не испытанной силой. Глаза у него помутились, ноздри расширились, дух захватывало. Забыл он и Руссо, и ложу святого Иоанна, и силу воли, и все. Загибая пароли и ставя угол на пе́, он выиграл почти сряду еще несколько карт.

— Экое счастье — анафемское, дьявольское счастье! — шептали кругом.

— Qui est ca?[1]

— А шут его знает...

— Да откуда взялся?

— Григорий, что ли, привел...

— Sacré nom![2] Невзрачный, а как загребает.

— Но это случай, parbleu![3] Не все же будет брать...

Мирович между тем поднял глаза к потолку. Держа колоду карт, он подумал: «Пчелкина... Поликсена... две одинаковых буквы в начале имени и фамилии... Попробуем еще так», — вынул пятерку пик, загнул на ней все четыре угла и пустил таким образом все, что у него было выиграно. Карта снова, к общему изумлению, взяла.

---

[1] Кто это такой? *(фр.)*

[2] Черт возьми! *(фр.)*

[3] ей-Богу! *(фр.)*

— Банк сорвет! Что вы! — дернул за руку Алексея Орлова Бредихин. — Где Баскаков?

— С Машутой амурится... — ответил, указав на дверь, Хитрово.

— Mais allez donc[1], — шепнул брату Алексей Орлов. — Пусть бросит амуры и выручает... какого козыря притащили!..

Гурьев и Хитрово привели Баскакова. Понтеры расступились. Кто-то сказал:

— Поздно, други, скоро станут гасить свечи. Не сбрызнуть ли поле?

Подали шампанского. Ласунский с Рославлевым и Гурьевым принялись сводить мелом счеты проигрыша, выигрыша, за карты и за вино. Посторонние зрители стали понемногу расходиться. Где-то в соседней комнате несколько человек несвязно пели:

Лен, лен молодой...

Раздавалось ухарское треньканье гитары. Хлопали пробки, звенели бросаемые о пол стаканы.

— Что ж, господа, если не хотите, если... я сам готов метать банк! — сказал Мирович, неловко суя по карманам дукаты и рубли. — Только в этом и радость... Живем в сумнительные времена... Ах, как, матушка, в Киеве хорошо... — вдруг прибавил он, ни с того ни с сего.

Его душил смех, давно не испытанная веселость подмывала, раздражала. Он начинал несвязно болтать, заметно покачиваясь. Глаза слипались. Хмель от выигрыша смешался с хмелем от вина.

Григорий Орлов переглянулся с приятелями.

— Если продолжать, так не лучше ли у меня? — сказал он. — Или доиграемся у князя Чурмантеева! У него нынче рокамболь с ужином... просил прямо с охоты...

---

[1] Но иди же (*фр.*).

Товарищи решили, что к князю Чурмантееву на Васильевский далеко, лучше к Орлову.

— А вы? — спросил Григорий Мировича. — Сани мои готовы, и я живу на Мойке, в доме Кнутсена, возле дворца.

— Знаю, знаю, — банкир! — а то хоть и к Чурмантееву... готов! — ответил, хватаясь за спинку стула, Мирович. — Я пехотный, значит, не богат человек... инфантерия-с... пехтура!.. одначе, нет, извините, господа! не уступлю никому, ни-ни... Ах, как, матушка, то есть, в Киеве хорошо...

— А вы были в Киеве? — кто-то спросил, подойдя. — Там есть медведи?

Мирович мутными глазами молча посмотрел на него.

— Григораш, бери его! — сказал Баскаков Орлову.

— Но как бы он не учинил дебоша!

— Пустяки, бери...

Все были согласны, что жаль так бросить среди ночи храброго, охмелевшего вконец армейца, которого и фамилию как-то в суете забыли, да и его адреса теперь вряд ли можно было добиться. Гвардейцы свели Мировича на улицу, посадили в сани Григория Орлова и повезли на квартиру последнего. Но тем приключения той ночи не были кончены.

Помнил впоследствии Мирович, что, когда его подсаживали в сани, у подъезда Дрезденши какой-то сгорбленный, в камлотовой шинельке старичок протискался к нему сквозь толпу провожающих и, ежась от холода, шепнул:

— Молодчина... козырь... и все пятеркой, пятеркой!.. Умру, а найду...

Припомнил также Мирович, что по пути к квартире Орлова вся эта развеселая и шумная ватага молодых повес, гремя колокольцами, шумя и громко смеясь, заезжала еще в две какие-то австерии. В одной Мировичу услужливые весельчаки давали, для освежения, умыться и опять играли на бильярде и пили. Он при этом был безмерно весел, также

пил, шутил и даже пел какую-то ухарскую, плясовую украинскую песню.

— Расходились орлята-шельмецы! — толковали окрестные горожане, слыша сквозь двойные рамы и ставни топот коней, звон гремушек, хохот и возгласы носившихся по морозным улицам знакомых забубенных гуляк.

В другой австерии, а именно, у землячки и друга Дрезденши, Амбахарши, случился казус. Там компания разгулявшихся повес нежданно наткнулась на известного и непримиримого соперника силачей Орловых, на бывшего кронштадтского коменданта Шванвича.

Каждого из Орловых порознь в борьбе Шванвич легко осиливал: двое же брали над ним верх. А потому между ними, раз навсегда, было условлено, что если где-нибудь в австерии Шванвич встретит одного из Орловых, то они должны будут немедленно уходить, оставляя в его распоряжении все вино, бильярд и красавиц. Где же Шванвич заставал двух из семьи Орловых, то сам, без дальнейшего разговора, должен был им уступать поле действий. Повесы ворвались в австерию Амбахарши на этот раз именно в то время, когда из ее дверей вылетел во двор, вытолкнутый Шванвичем, третий из Орловых — Федор.

— Как, кому? Лаптю кланяться? Отступать? — гаркнул обескураженному брату Алексей Орлов. — Нет, Федя, дудки! Sacré nom! Вперед! — Все встали с саней.

В комнатах Амбахарши поднялся невообразимый шум. Шванвич не уступал. Одни из гостей держали сторону Орловых, другие с осипшими глотками кричали, что так нельзя, что они должны в точности исполнить уговор. Шванвич увесистою лапой сгреб опять за шиворот рослого Федора Орлова. На выручку младшего птенца двинулся громадина Алексей... Два плечистых буяна общими силами смяли противника, опрокинули его навзничь, и Алексей Орлов, с налитым кровью лицом, вытащил под мышки бледного от злости, брыкающегося моряка за дверь и, в свой черед, столкнул его с крыльца австерии в снег.

Товарищи потребовали с Орловых при этом случае нового угощения. Опять явилось вино. У Федора Орлова оказался изорванным рукав и текла из носу кровь. Алексей растирал снегом вывихнутые пальцы. Шум, гам и смех слышались из трактира далеко. Тут были и цыгане. Неугомонные гуляки перешли в большой кегельный зал и стали там прыгать друг через друга в чехарду. Мирович возил кого-то при этом на себе верхом... Григорий Орлов, с красивой, чернобровой цыганкой Аксюшей, под хоровую песню и звуки бандур, сняв кафтан и камзол, в кумачной рубахе, размахивая платком, плясал вприсядку трепака. Гремела опять песня: «Лен, лен»...

Но когда толпа, вдоволь угостившись, двинулась к саням, Алексей Орлов, не доходя ворот, вдруг охнул и с окровавленным лицом, упал среди двора на снег. Кто-то в то же время кинулся от крыльца бежать по улице...

— Tiens comme il l'a balafré![1] — вскрикнул Бредихин, с подоспевшими камрадами всилу поднимая Алексея Орлова, у которого Шванвичем из засады была наискось рассечена левая щека.

Некто из толпы выхватил шпагу и с криком: «Так вот какова честь! Вот подлость! Смерть предателю!» бросился вдогонку за убежавшим Шванвичем.

— Удержать его, удержать — всю улицу разбудит и переполошит! — раздавались у ворот голоса. Непрошеного защитника привели обратно в трактир. То был Мирович. Никто его не мог унять. Пока суетились, перевязывая рану Орлову, он, не выпуская из рук шпаги, продолжал шуметь и, с пеной у рта и скрежетом зубов крича: «Убью изменника, убью подлого труса!» — порывался к двери.

Из толпы трактирного люда, с красным от возлияний лицом, озабоченно выдвинулся плотный, в меховой епанче,

---

[1] Ах, как он его изуродовал! *(фр.)*

господин. Заметно покачиваясь, он нагнулся к Мировичу, взял его ласково за руку и со вздохом сказал:

— Уймись, Василий Яковлевич, уймись... Видишь, и я, и ты... дали зарок, а сами...

— Balafre...[1] зарок!.. У Чурмантеева доигрывать... умру, а найду! — бессознательно повторял про себя Мирович, уносимый по улице в санях Ломоносова.

Загоралась бледная заря. Дома, заборы и перекрестки начинали вырезываться из темной морозной мглы. Сани, скрипя, остановились на берегу Мойки. Мирович взошел, шатаясь, на лестницу второго этажа и, как был одет, в шляпе, в шинели и в башмаках, свалился на первый попавшийся диван и как убитый заснул.

V

СЛЕД НАЙДЕН

Два года назад, а именно в начале зимы 1760 года, после высылки Мировича в заграничную армию, Пчелкина обратила на себя внимание разом нескольких придворных воздыхателей.

Поликсене тогда исполнилось восемнадцать лет. Она подросла и стала не столько пригожее, сколько миловиднее, находчивее, бойчей. Ее серые глаза, продолговатые, как у сфинкса, были так же загадочны, бесстрастны и насмешливо-холодны. Золотистые волосы, когда она их не пудрила, густыми янтарными волнами падали с ее сухой, строгой и гордо посаженной головы. Ухаживали за красивою, худенькою камер-медхен государыни военные и статские.

«Пчелка златая, что ты жужжишь?» — сочинил, по слухам, именно о ней один стихотворец, и городские модники

---

[1] Изуродовал... (*фр.*).

распевали под клавикорды эту песню. Первые столичные щеголи, на холостых пирушках, не раз бились об заклад, что не пройдет недели, если они только захотят, — Пчелкина будет ими побеждена. Заклады проигрывались. Вздыхатели ошибались.

Поликсену сердили их преследования.

— Безмозглые, противные, — дрожа и бледнея, шептала она сквозь слезы. — И все потому, что я подкидыш, ни роду, ни племени... По милости государыни, хорошо одета, в моду вошла и нравлюсь всем — вон целая корзина амурных цидулок на полке... И уж хоть бы ухаживали от сердца... Гнусные пустозвоны! Вертопрах этот, богач Нарышкин, следом бегает целый месяц; камергер Лоскутьев вздумал ухаживать, голштинец Цобельтиш... От уличной щеголихи к актрисе, от актрисы... Ну, и за нашей сестрой, за камеристкой, отчего не погоняться!

Часто вспоминала и обсуждала Поликсена свое прошлое — странное, не как у других, одинокое детство, бегание по лестницам, коридорам и переходам старого Зимнего дворца и первые сознательные тревоги, редкие радости, зато частые горькие слезы босоногой швейки, потом коверницы у статс-дамы Апраксиной и, наконец, кружевницы и камер-медхен самой государыни. По случаю одного из придворных спектаклей, когда заболела какая-то актриса, ее начали учить по-французски, потом по-немецки. Она показала большие способности. Иван Иванович Шувалов задумал определить Пчелкину в оперный хор и поручил ее попечению тогдашней первой певицы Либеры Сакко, которая давала своей новой ученице читать драмы, комедии и повести и успела ее развить. Через нее Пчелкина ознакомилась и с Руссо, прочла его «Эмиля» и кое-что из его философских сочинений.

Никогда не могла забыть Поликсена одного дня в своем детстве. Ее, резвую и дикую девочку, сильно побил в игре какой-то дворцовый злюка-арапчонок. На ее угрозу: «Вот постой, черт лупоглазый, маменьке пожалуюсь!» — лупоглазый черт, скаля зубы и наставя черный кулак, ей ответил:

— Никакой матери у тебя, рыжутка Полька, нет и не было... да и отца не было!.. А ты, Полька, нищенка, подмётышек, сорочье дите!

— Как подметышек, сорочье дите? — стала накидываться и допрашивать встречных и поперечных девочка. Ей объяснили, что, действительно, ее нашли в опорках какой-то шубейки, на куче сенных выгребков, под дворцовым конюшенным крыльцом. Горько заплакала Поликсена и с той поры, забиваясь в углы черного двора, все высматривала на сметье сорок: какая ей будет матерью?

Прочла однажды Поликсена французскую драму, данную ей Либерой Сакко, и чуть не сошла с ума. В драме изображалась Орлеанская Дева, избранная Провидением для совершения великого подвига. С той поры судьба Иоанны д'Арк не давала покоя Пчелкиной. Ей грезились громкие дела, мировая слава, общая признательность. Нередко дни напролет, в гардеробной императрицы, она просиживала молча, как истукан. Ей мерещился вековечный, дремучий дубовый лес, мхи и скалы. Войско стоит у опушки. Сверкают латы, гремит оружие. Гонимый король, Карл VII, лежит у палатки. И вот из леса, в шлеме и с мечом, выходит светозарная девица. «Я спасу тебя, возведу на престол», — говорит она королю. И эта девица — Поликсена... Работа валилась из ее рук. Роброны и блонды государыни долгие часы она гладила совершенно остывшим утюгом, жгла воротнички, вышивала по канве, вместо алых, синие и зеленые розы.

«Влюблена, влюблена», — шептали о ней подруги-камеристки. Явилась в Петербург знаменитая ярославская ворожея, Варварушка. Все у нее гадали. Обратилась к ней и Пчелкина. Она пробралась к ней на Охту, с женой Ипатьича, кучера государыни, в платочке и стареньком платьице. Варварушка долго отказывалась гадать.

— Силы у меня нонче нетути, в косточки вся ушла, — говорила она. Провожатая Поликсены положила перед нею два рублевика и конец холста. Варварушка

стала гадать на кофе. Кучеровой жене, страдавшей запоем, так и сказала:

— Смерть тебе не скоро; блинком подавишься, только оживешь.

Поликсене предсказала двух молодых и красивых женихов.

— Оба будут тебя вот как любить, и за одного, девка, ты бы и пошла, да не станется; не выйдешь и за другого.

— Почему? — спросила с испугом Пчелкина.

— Через шум и через кровь.

— Что же, милостивая, — вмешалась кучерова жена, — родственники они, эти-то, кровные меж собой или просто побьются?

— Не родные, а дальние, и не побьются; только выходит через кровь и через шум, — подтвердила Варвара.

Кучерова жена приказала долго жить в ту же зиму, опившись до смерти запеканки-перцовки на именинах кумы, и никаким блином не давилась.

«Ну, и обо мне, знать, ворожея наплела», — думала, неравнодушно вспоминая гаданье Варварушки, Пчелкина. Она читала «Эмиля» и вместе отдавала дань веку — верила снам и гаданьям. Когда в числе вздыхателей подвернулся ей кадет Мирович, она, разглядев тогдашний скромный, простой и добродушный до глупости вид влюбленного юноши, не раз с досадой спрашивала себя: «Да неужели ж этот?». Ей льстили страстные ухаживания Мировича, его преданность. Но она гнала прочь всякую мысль о возможности остановиться выбором над ним.

«Армейский пехотный офицеришка будет — не велика находка!» — говорила она себе, охорашиваясь в пышных янтарных локонах перед зеркалом. И вот его нет, он разжалован, выслан. Пожалела его Пчелкина, даже поплакала о его судьбе. Но прошел год — о Мировиче ни слуха. Жив ли бедный, робкий вздыхатель?

Наступила новая, особенно веселая зима. Придворные балы сменялись концертами, концерты — маскарадами. По-

койная императрица любила, чтобы хорошенькие из ее свиты, не только фрейлины, даже камеристки, запросто являлись поплясать в ее присутствии на обычных куртагах.

— Пора Пчелкину замуж отдавать, — объявила раз государыня статс-даме Аграфене Леонтьевне Апраксиной на одном из маскарадов, где Поликсена, с другими из светских девиц, в костюме нимфы, танцевала менуэт с наследником престола. — Ишь, Петр-то Федорыч как перед ней ферлакурит.

— А и то правда, матушка-государыня, — ответила Апраксина, — ну-коси, летом и впрямь найдем ей жениха, а осенью, перед филипповками, сыграем и свадьбу.

— Но у Пчелкиной чуть ли уж не припасен суженый, да он на войне, — заметил кто-то при этом.

— Тем лучше, — сказала Елисавета Петровна, — выпишем молодца — амуры раскончить... а к той поре, чай, и войне уж не бывать.

В конце той зимы подвернулся особый случай.

Служивший в военной коллегии, женатый на богатой купеческой дочке Ульяне Пусловой, полковник Бехлешов должен был везти в чужие края, на воды в Спа, больную жену и вызывал для нее, через «Ведомости», знающую иностранные языки компаньонку. Ухаживания Петра Федоровича за Пчелкиной не прекращались.

«Пусть проездится», — решила императрица, и стороной, через Апраксину, велела посоветовать своей камер-медхен принять приглашение Бехлешова. Пчелкина была изумлена и вместе обрадована.

«Откуда такое счастье? — повторяла она себе. — Удаляюсь, кажись, от важного лица. Стало быть, я опасна... Вот что сулил и куда ведет жребий».

Она получила отпуск до сентября и в мае через Дрезден и Вену с Бехлешовыми уехала за границу.

Поликсена часто писала оттуда Птицыным. Все занимало ее в чужих краях: невиданные нравы и обычаи, отличные от всего того, к чему она пригляделась в России, роскошные

сады и парки, чистота и красота немецких городов и деревень. Разнообразное и оживленное общество съехалось к модным целебным водам. Здесь был цвет расслабленной и изнеженной тогдашней европейской аристократии. Между больными было видно немало и раненных на войне, гремевшей невдали, в разбитой русскими войсками Пруссии.

Пчелкина с Бехлешовой посещала курзал, с жадностью читала и переводила больной газетную болтовню и новые романы. На водах также произошло несколько романов. У какого-то лорда австрийский кирасир увез дочь; жена рейнского богатого виноторговца бежала с парижским актером. Поликсена тоже почувствовала себя неладно.

Полковник Бехлешов, привезя жену, думал пробыть в Спа не более недели и жил здесь целый месяц. Сопровождая жену и ее компаньонку в прогулках, он сперва был весьма сдержан, потом стал, как бы случайно, оказывать ту или другую услугу Пчелкиной: с заботливой вежливостью подсаживал ее в экипаж, приносил ей с почты письма, покупал любимые лакомства, фрукты, а раз при жене подарил ей модного штофа на платье. Поликсена от подарка отказалась. Бехлешов начал искать предлога для беседы с нею наедине.

«Что бы это значило?» — думала она, теряясь в догадках, и всякий раз обрывала эти встречи. Больной стало хуже. Она разнемоглась от изменившейся погоды и несколько времени не выходила из своей комнаты.

Был теплый, влажный после недавней грозы вечер. Бехлешов встретил Поликсену в небольшом саду при своей квартире, попросил ее сесть на скамью и, после некоторого колебания, шепнул ей:

— Волшебница! Я от тебя без ума.

— Стыдитесь, полковник! — вспыхнув, сказала Поликсена. — У вас сыновья в ученье, жена так хворает, а вы... ведете себя, извините, как мальчик...

— Но, милая лапушка, — ответил Бехлешов, загородив дорогу Пчелкиной, — я все для тебя, все...

Поликсена метнула в него молнию из серых глаз, оттолкнула селадона и молча ушла к себе наверх.

— Погоди ж ты, рыжая гордячка! Дам тебе отплату! — проворчал ей вслед взбешенный неудачей Бехлешов.

Любезничанья с Пчелкиной толстенького, седого и короткого ростом куртизана прекратились. За чаем, обедом и за ужином он не говорил с ней почти ни слова. Жене его стало лучше, и Бехлешов начал укладываться с целью возвратиться в Петербург. Пчелкина, чтоб смягчить разлад, собиралась просить его разузнать в коллегии о Мировиче, с которым она переписывалась и от которого, перед выездом из России, получила кряду два нежных письма.

«Спросит, не жених ли! — думала она. — Нарочно скажу — жених... и побесится, и отстанет скорее... А чем же Мирович и не жених? — с горечью прибавила она и вздохнула. — И влюблен, и верен... чего же больше?»

Сидела Поликсена как-то у себя наверху. Была ночь. Она дописывала письмо Птицыной о приключении с Бехлешовым и задумалась.

«Ведь это, пожалуй, всегда так будет, — сказала она себе. — Где ж конец? И неужели выхода нет?.. Мирович! Ну, что он такое? Да как все: добрый, незнатный, безродный, как и я; говорят, склонен к картам, мотовству... Но от мотовства и от карт можно еще исправиться, в люди выйти... Молод — остепенится... Слышно, им теперь довольны; даже за отличие повысили... Но не то, все не то... Беден, и то пустяки... Жить нечем будет — государыня поможет. Да о том ли я мечтала, того ли ждала!»

Поликсена остановилась писать. Воспоминания вновь зародились в ее голове: злой арапчонок, сорочье дитё, Иоанна д'Арк, с мечом и шлемом, у опушки дремучего дубового леса, предсказание ворожеи... кровь и шум...

Она сидела, склонясь горячим лбом на холодную, исхудалую руку. Слезы навертывались на глаза. Снизу по лестнице послышались шаги. Кто-то будто поднялся на несколько ступенек и остановился.

«Мне почудилось, — сказала себе Поликсена. — Счастье! Не дождаться мне, видно, его... А у других — вон в газетах — только и говору что о романах, о любви... И почему мне не видать счастья? Почему к другим оно приходит, да такое щедрое — негаданное, нежданное?.. Мужья знатные, в чести...»

Она опять взялась за перо.

В раскрытое окно мезонина виднелись очертания окрестных арденских холмов и лесов, над ними — усеянное звездами, тихое июльское небо. Под окном был скалистый обрыв над ручьем. В доме давно все улеглись, заснули. Наутро Бехлешов уезжал в Россию. Недалеко оставалось до зари.

Пчелкина медленно протянула руку к чернильнице, обмакнула перо и стала вновь прислушиваться. Пламя свечи в тяжелом шандале будто колыхнулось. Видно, с надворья пахнуло свежим предрассветным ветерком... На ковре, за стулом, что-то шелохнулось... Поликсена подняла глаза: перед нею, расфранченный, завитый и напудренный, с пучком лилий и роз в руке, стоял кругленький, толстенький Бехлешов.

— Добрый вечер, Поликсена Ивановна, — произнес он, робко улыбаясь.

Ока вскочила, взглянула на дверь.

— Здесь и снизу заперто: тш! — сказал он. — Мы одни... выслушайте меня...

— Что это значит? — спросила Поликсена — Как смеете вы?..

Бехлешов протянул ей букет.

— Райский цветник, волшебница! — шептал он, не сходя с места. — Сна нет, страдаю, томлюсь...

— Роман! — усмехнулась Пчелкина — Но довольно! Идите, сударь; не вас мне жаль — вашей жены...

— Королева! Зорька моя! — сказал, опускаясь перед ней на колено, Бехлешов. — Клянусь тебе, люблю... убей, только выслушай... Все бери, деньги, алмазы... Осчастливь, убежим...

Поликсена вспомнила слова ворожеи.

— Все бери — ничего не пожалею! — шептал Бехлешов, прижимая к груди букет. — Слово только скажи... Семью брошу, службу, хоть на край света с тобой... Озолочу, в кабалу отдамся: сто душ на Урале на тебя отпишу...

Поликсена сложила руки.

— Какое унижение, какой позор! — сказала она с дрожью. — Вон отсюда, слышите? Вон! — бешено топнув ногой, продолжала она, указывая на дверь. — Уходите, иначе, не гневайтесь, подниму крик, разбужу весь дом...

Бехлешов подошел к ней. Она бросилась к окну.

— Шаг сделаете, — вскрикнула она, указывая на окно, — брошусь туда... на вашей душе будет смерть...

— Стойте, стойте, — прошептал Бехлешов, — ужли на том и конец?..

Пчелкина молчала. Негодующие серые глаза холодно и бешено смотрели на него от окна.

— Будешь меня помнить! — проговорил, уходя, Бехлешов.

Поликсена утром явилась к больной, попросила свое выслуженное жалованье, отперла сундук, взяла свой паспорт, узелок с вещами и сходила на почту. К обеду она вошла в кабинет к Бехлешову. В руках ее были книги и газеты. Полковник, сидя у раскрытого бюро, сводил счеты. При входе Пчелкиной он слегка побледнел, но не оглянулся, будто ее не заметил.

— Ошиблись вы, Валерьян Ильич, — почтительно и сдержанно сказала Поликсена, — но более вас ошиблась я сама. Не знала я доподлинно, каковы ноне люди на свете. Теперь знаю... Гнуснее, ничтожнее иного человека — ох, ничего не найдешь...

Бехлешов упорно молчал. Лицо его слегка залила синева. Он тяжело дышал, по-прежнему не оглядываясь на говорившую.

— У вас даже совести нет, — с горькой усмешкой продолжала Поликсена, — ужли ж и впрямь нету? И все ли нынче таковы? Опозорить, погубить, раздавить бедную, ни-

щую сироту — вам нипочем. С такою-де можно!.. Но не все сироты одинаковы... Ошибаетесь... И не всякой не помнящей родства подкидышу по плечу грязь, ничтожество и позолоченное бесчестие из-за куска хлеба. Иная, сударь, верит и в лучшую долю...

Губы Бехлешова шевельнулись. Он хотел что-то сказать и опять не отозвался.

— Вы молчите? — кончила Пчелкина. — Горды вы, чтоб покаяться перед такой пустошью?.. Под крыльцом в выгребках ее нашли!.. Будьте вы прокляты с вашим богатством и с вашею низкой, одного токма себя любящей душой... А это — данное вами, сударь, для чтения... Вразумили вы меня окончательно многим из этого... особенно ж вот этим: в книге я нашла к вам письмо от вашей фаворитки из России.

Поликсена бросила книги, газеты и найденное письмо на стол, медленно вышла и в тот же вечер, в почтовом омнибусе, уехала в Вену и далее в Петербург.

Осенью минувшего 1761 года императрица сильно захворала, а в декабре скончалась. Пристроить Поликсену, с Апраксиной и с Шуваловым, она не успела — ни в оперу, ни замуж. Хотя, во время болезни государыни, Пчелкину все дворовые волокиты оставили в покое — им тогда было не до нее, — но Бехлешов не упускал ее из виду. Со смертью государыни все изменилось. Шуваловы пали. Влияние Апраксиной заменилось влиянием Лизаветы Воронцовой. К новому году Бехлешов благодаря покровительству своего родича, Гудовича, был назначен помощником оберкригскомиссара, голштинца Цейца, и произведен в генералы. Служебное значение его в военной коллегии, а с ним и его связи повысились. Несмотря на возврат из чужих краев жены, он то посылал Пчелкиной, через ее подруг, словесные поклоны, то письменно клялся ей в неизменной любви.

Поликсена колебалась недолго. По совету Апраксиной она сходила к Лизавете Воронцовой, просить места при супруге государя. Воронцова послала ее к своей сестре, Дашковой. Взглянув на худенькую и бедно одетую камеристку старого, ненавистного ей двора, надменная Екатерина Романовна презрительно улыбнулась и, отвернувшись, вполголоса сказала по-французски Никите Панину:

— Какая дерзость! Всякая горничная метит в наперсницы к новой государыне.

Поликсена стала белее стены, смерила взглядом Дашкову и молча удалилась.

«Сочтемся когда-нибудь», — подумала она.

Оставшись за штатом, она решилась не ждать более ничего, не просить и не ходить ни к кому, а выехать из столицы, скрыться в такую глушь, где бы и следов ее никто не мог найти. Задумав это, она выискала случай и в середине зимы 1762 года, после похорон императрицы, не простившись даже со знакомыми, наскоро собралась, написала прощальное письмо — также уезжавшей из столицы актрисе Сакко, — и без сожаления, так быстро оставила Петербург, что ни Бавыкина, ни близкие ее знакомые не знали, куда она делась.

Ночная попойка заставила Мировича более суток не выходить сверху, из комнат Ломоносова. Оба они скрывались там — один от жены, другой от Настасьи Филатовны. У Ломоносова, вследствие невоздержности, возвратился особенный, судорожный, с странным и смешным присвистом кашель, которым он, как и опухолью ног, страдал в последние годы. Ломоносов в шутку называл его своим «соловьем». И этот соловей имел своеобразный обычай: он начинал в нем распевать именно всякий раз, когда Ломоносов не выдерживал и заходил в ресторан Иберкампфа, Гантовера или бывший невдали от Синего моста Амбаха́рши.

Беседуя с Михайлой Васильевичем, в кабинете последнего, о масонстве, о чужих странах и новостях дня, Мирович вкратце передал ему и о своем, так печально кончившемся, сердечном романе. Поликсены не было, и где она — решительно нельзя было узнать. Ломоносов, выслушав исповедь Мировича, нахмурился.

«Вот она, судьба, — думал он, — что любим, чего жаждем, того и нет... И она-то что за птица? И чем он ей не пара? Писал, перестала отвечать... А может, только прячется, испытывает молодого человека, каков он и будет ли верен ей?»

Хозяин и гость делали разные предположения, судили, рядили. Мир фантастических грез охватил опять и не покидал Мировича. Ночью к постели его слетались странные, тревожные образы: опять война, он ранен, брошен где-то в незнакомом городе. Собор залит огнями; пышные экипажи, разряженная публика. Кого-то венчают. Новобрачная сходит по ступеням паперти — это Поликсена. Мирович в рубище, на костыле пробирается сквозь толпу, хочет крикнуть — и просыпается...

Вечером вторых суток дочь Ломоносова, Леночка, принесла наверх записку, доставленную с придворным лакеем. То было письмо к Мировичу от камер-фурьера Василия Кириллыча Рубановского.

«Любления ради человеческого, — писал ему старый ритор-бурсак, — от ветхого и годами источенного древа, листвию зеленому и многоценному, в разуме же, делех, а такожде и в забавах искусством умиляющу и всеми дарами сияющу, государю моему, подпоручику Мировичу, — поклон! А я, государь мой и многомилостивый патрон, дознался для тебя о месте, где днесь пребывает лепокудрая и нравом достойная, искомая вами, отроковица Пчелкина. А отъехала она в генваре, в город Шлиссельбург и живет ныне тамо в крепости бонною, сиречь — губернеркою, при детях вдового капитана гвардии, князя Чурмантеева. Числится же тот Чурмантеев с нового сего года главным приставом при тамошней

статс-тюрьме; а и как вам попасть туда, я несведом. Цидулку же сию доставит вам камер-лакей внутренних апартаментов покойныя государыни, Тихон Касаткин. Он же и отвозил девицу Пчелкину от двора в город Шлюшин. Засим, а ревуар, здравствуйте... А о петерке чудодейственной не забыть мне отныне и до веку».

Прочитав раз и другой это письмо, Мирович передал его Ломоносову, а сам поспешил вниз — объясниться с Касаткиным. Он возвратился радостный, взволнованный...

— Боже мой, слышишь? — вскрикнул ему навстречу Ломоносов. — Тайная государственная тюрьма! Князь Чурмантеев...

— Да, так написано, и посланный то же подтвердил.

— Но знаешь ли ты, кто в этой тюрьме сидит? — спросил, уставясь в него, Ломоносов.

— Не знаю, Михайло Васильич, почем мне знать...

— Он... он! — продолжал, волнуясь и заглушая рвавшийся из груди судорожный, свистящий кашель, Ломоносов. — От колыбели! Двадцать второй год он томится в душном застенке...

— Да кто же он?

— Царственный узник!.. Помнишь, я тебе говорил?.. Богом назначенный, а людьми свергнутый, российский, природный царям и в России рожденный император, Иоанн Третий, как его именовали в актах, Антонович!..

Леночка, видя смущение и даже как бы испуг отца, присела в темном углу, робко выглядывая из-за шкафа. Ломоносов встал, прошелся по кабинету, вздохнул, провел рукою по глазам, хотел что-то сказать и не мог. Он ухватился за сердце, бросился к рабочему столу и из потайного ящика дрожащими руками достал несколько пожелтелых, истрепанных печатных листков.

— Оды мои! Вот лучшие хвалебные мои оды в честь этого императора! — сказал Ломоносов, блуждающим взором глядя как бы в некоторую светозарную даль. — Я, государь мой, прибыл сюда из Германии летом в правление

именно этого младенца-царя... Ты поймешь, как мне дорого это имя! Я писал от сердца, я был искренно, глубоко восхищен... Слушай...

Нагреты нежным воды югом,
Ликуют светло друг пред другом —
Златой начался снова век...
Природы царской ветвь прекрасна,
Моя надежда, радость, свет.
Счастливых дней Аврора ясна,
Монарх-младенец, райский цвет!..

И ты знаешь? Я пошел с этими стихами в прежний дворец, прочел их перед правительницей Анной Леопольдовной и младенцем, и она при всем дворе, в благодарность, склонила мне с подушки августейшую головку сына... Понимаешь ли, что я тогда чувствовал? Вот, смотри, читай...

— Странно! — произнес Мирович. — Стихи напечатаны, а я их нигде не встречал...

— Они явились в отдельном прибавлении при «Ведомостях»... Но их отобрали, когда на престол взошла Елисавета; мало того — их жгли с манифестами, указами, присяжными листами и другими актами, где только упоминалось имя этого несчастнорожденного...

— Манифесты были его имени?

— Как же! Четыреста четыре дня страна читала: «Божиею милостию, мы, Иоанн Третий, император и самодержец всероссийский...»

— Извините меня, Михайло Васильич! — сказал в глубоком изумлении Мирович. — Мало я, как есть, знаю об этих событиях. У нас в корпусе о том молчали, за границей, видно, забыли... Слышал я от одного товарища и от Настасьи Филатовны, да смутно... Скупа она всегда была на этот счет. Как и почему все это произошло?

— Злополучные аргонавты! — ответил Ломоносов. — Роковое же золотое руно, выпавшее им на долю, был император-застенщик... Изволь, я тебе, что знаю, когда-нибудь

при случае расскажу. Печальный трактамент услышишь, печальный...

Он спрятал листки обратно в стол, подложил в камин поленьев, сел в кресле, закрыл лицо рукой и задумался. Мирович сидел возле него, не спуская с него глаз, и ждал, чуть переводя дыхание. Минут через десять Ломоносов очнулся, но заговорил о другом.

«Расспрошу Филатовну», — подумал, уходя от него, Мирович.

VI

НЕСЧАСТНОРОЖДЕННЫЙ

Дня через два Ломоносов, поздно вечером, позвал Мировича наверх и подвел его к окну. Все небо было залито северным сиянием.

— Сполохи отворенного воздушного моря! — сказал Михайло Васильевич, наводя в форточку новую изобретенную им трубу.

Долго оба они следили за пышными, будто двигавшимися, то розовыми, то голубыми огненными столбами. Вдруг Ломоносов встал, прошелся по комнате и опять сел.

— Эпоха царствования моей богини — Елисавет Петровны, — начал он, покашливая, — цепь невесть каких противоречий! И я тебе, государь мой, в рассуждение прерванного намедни нашего трактамента доложу, не инако, как с прискорбием, — много, много лежит греха на ее советниках... Сколько она страдала, сколько ждала! Дщерь Петра — и не была допущена на родительский престол... Всеми была оставлена, и ей не помогали; отринута, пренебрежена — и за нее не отмщали!.. Но сама героиня севера о себе подумала... Слушай... Всем памятна ночь на двадцать пятое ноября семьсот сорок первого года... Елисавет Петровна, богоравная, надела кирасу на платье, помолясь, села в сани и

поехала, с своими партизанами, в Преображенские казармы. Там объявила она себя императрицей, пошла с верными гренадерами в Зимний дворец и арестовала всю спавшую браунщвейгскую фамилию: правительницу государства, Анну Леопольдовну, ее мужа, добряка-заику, генералиссимуса Антона Ульриха, и их сына, младенца-императора, Ивана Антоновича. Малютка был объявлен самодержавцем двух месяцев от роду... В манифесте его назвали Иоанном Третьим: другие же именовали впоследствии Пятым и Шестым, памятуя древних Иоаннов. Была в честь младенца-монарха выбита медаль, и на ней поднимавшаяся к небу императрица Анна вручала ему корону... Россия от его лица управлялась год и тридцать девять дней, а всего четыреста четыре дня...

Ломоносов остановился.

— Четыреста четыре дня!.. И за то страдать годы, всю жизнь! — продолжал он. — Где, в какой стране отыщешь подобный, столь трагический и роковой истории пример? Железная маска? Да и тому государственному узнику было легче...

— Спрашивал я Настасью Филатовну, — проговорил Мирович. — Чудные дела.

— Ну, и что ж рассказала она тебе?

— Сильно скорбит об участи несчастного.

— Жестокая, жестокая издевка судьбы, — продолжал Ломоносов, — когда императрица Елисавет Петровна привезла в своей шубе, по морозу, низвергнутого малютку-императора в собственный свой дворец — залилась она, добросклонная, слезами и воскликнула: «Бедное дитя! Ты ни в чем не повинно... Виноваты твои родители...» Вышел вскоре манифест. В нем было объявлено, что всю браунщвейгскую фамилию государыня, предав все их поступки забвению, повелела с надлежащею им честью и достойным удовольствием отпустить навсегда обратно за границу — в их отечество. И повезли их на родину, в Германию. Но чего хотели добрые, того не попустили злые... Едва злосчастные странники под надзором генерал-лейтенанта Салтыкова, пробира-

ясь к Кёнигсбергу, доехали до Риги, едва с бывшей правительницы взяли там присягу новой государыне, Елисавет Петровна, по совету усердного Фридриха, своего лейб-медикуса Лестока, повелела им далее не двигаться. В то время, надо тебе сказать, из Голштинии, с великой тревогой, ждали в Петербурге другого генерала, действительного камергера, барона Корфа, а с ним родного племянника Елисаветы — «чертушку, что жил в Голштине», как звала царица Анна ненавистного ей принца Петра Федорыча. Государыне шепнули — как бы германские родичи низложенного императора, в отместку ей, не задержали на границе избранного ею наследника. Но он благополучно прибыл в Петербург. И затеяли его учить, а вскоре и женить. Приехала инкогнито из Цербста, под именем графини Рейнбуш, его невеста, Екатерина Алексеевна. Несчастного ж правнука царя Ивана Алексеича с семьей стали держать в Рижской цитадели. Выгодно было пугать государыню. Ну, Лесток с братией и пугал. Щеголь и говорун был он, а уж скверновец первого ранжиру... На маковке пудра, под маковкой тундра... Да что — не могу, не могу... Душа разрывается. Спроси других, всяк тебе нынче о том скажет...

Ломоносов смолк опять. Мирович, видя его волнение, более не расспрашивал. Ему и без него в эти дни удалось узнать немало нового. Филатовна была в духе и, не то что в прежние годы, не стеснялась. Питомец ее был теперь взрослый человек, и страшного тайного приказа уже третий месяц не существовало. Тряхнула она своими воспоминаниями. А чего только по этому поводу не знала вдова лейб-кампанца как от мужа, так и от его товарищей!

— Ох, терпели высланные мученики, — рассказывала Мировичу Филатовна, — прожили в Риге более года. А императрице, свет-матушке, доносили всякие слухи и сплетни о задержанных. Бывшая правительница ее-де не признает да не почитает, а наперсница ее, фрейлина Менгденша, подби-

вает-де ее к бегству. Ходил, Вася, слух, будто правительница и взаправду покушалась бежать, в мужицком простом платье, на корабле. Из Риги их перевели в другую крепость. У Анны Леопольдовны здесь родилась дочь, Елизавета. В честь новой царицы назвали ее, бедную... да не к добру... Пробрехался в Питере спьяну один камер-лакей, что вскоре снова ждать перемены, что быть опять царем Ивану Третьему... Твой земляк какой-то, из старшины, писал другому, будто все в Питере за Ивана, и это самое письмо было перехвачено... Да и фон Миних с Остерманом, во время суда над ними, думая, что сосланная-то фамилия уж за границей, немало на них плели.

— Гнусные трусы, себялюбцы! — произнес Мирович, не спуская с рассказчицы пылавших, негодующих глаз.

— Так, так, Вася... А перед тем пришел донос и о самом генерале Салтыкове — чай, слышал о нем! Он состоял при арестованных. Ребенок-то император — он в ту пору был по четвертому годку — играл-де в комнате с собачкой и ударил ее, этак шутя, по лбу ложкой. Нянька и спроси Иванушку: «Кому-де, батюшка, как вырастешь, голову отсечешь?» А ребенок будто и ответил: «Василию, мол, Федорычу» — сиречь Салтыкову. Вспрыгались тут от этаких вестей. Норов дитяти, вишь, сказывался преострый, догадливый. «Сослать их подале, в самую глубь России! — стал твердить государыне лекарь ейный, Лесток. — Без того-де трон твой новый непрочен». А тут поспел с волчьим советом и немецкий король. «Не худо, — писал он государыне, — сослать Иванушку и его родителев в такой угол, где б о них и память умерла... В вашей, мол, стране, ваше царское величество, таковых мест немало... Иначе ждите бед». Таки-то речи и порешили дело... Подумала свет-матушка государыня, погадала и послала указ: известных персон тайно отвезти в город Ранибург, Рязанской, это выходит, губернии. Снарядили бедных, взяли и по зимней стуже, в метели и в бездорожье, через Калугу и Тулу, доставили в Ранибург в начале весны. При этом ошиблись, Василий, конвойные и

мало не завезли их к киргизам — вместо Ранибурга в город Оренбург...

— Эка, варвары! — прошептал Мирович.

— Варвары? Слушай, друг. То ли еще было впереди. На новом месте несчастным вышло хуже прежнего. Поместили их — о том мужу моему в тайности сказывал опосля конвойный капрал, — поместили в ветхом и запущенном деревянном доме, где в стары годы содержался в ссылке царев любимец, князь Меншиков. Не было там ни годной провизии, ни прислуги; вода гнилая, болотная. Принцесса была опять в тягости. Иванушка хворый. А тут в Питере снова пошли толки о возврате к правлению Ивана Антоныча. Осенью были страшные казни: ох! Сама ходила — видела! А на допросе и не то еще подтвердилось... В гвардейских полках, друг ты мой, так, сдуру притом, надеялись, что говорили: «Наши, уповаем, и за ружье, в таком разе, не возьмутся...» А тут по весне стала слышна новая молва... В городе шепотом, украдкой начали толковать, будто к заключенным в Ранибург — сама я слышала от кумы-протопопицы — дошел для сборов на церковь некий, сказать тебе, раскольничий монах и что он уговорился с принцессою и с принцем, тайно, с их согласия, похитил Иванушку, а дабы его укрыть, до возраста, среди своих единоверцев, бежал с ним в раскольничьи слободы, на Вятку, в Польшу... Беглецов якобы настигли в лесах под Смоленском; монаха повезли на розыск в Питер, а Иванушку в Валдайский монастырь... Да не отложить ли, Васенька, сказ на завтра? Поздно, стемнело...

— Ах, матушка вы моя родная, говорите, говорите! — сказал, ухватив за руки Филатовну, Мирович.

— Ну, после таких слухов, Василий, в Рязанскую-то губернию к заключенным, как снег на голову, и прискакал нонешний наш енарал-полицмейстер, барон Корф. Ему велено было тех арестантов отвезти под сильной стражей еще далее, а именно в город Архангельск, и оттоле ночью, по тайности, в Соловецкий монастырь... Аки гром сразила за-

ключенных эта весть о новом переезде. Думали они, что их везут в Сибирь, в тот город, где жил всеми клятый Бирон. «Не видать мне боле сына! — вопила, без памяти, принцесса. — Прощай, Ваничка, мой царь, прощай навеки!» Разлучили ее с любимыми слугами и с наперсницей, фрейлиной Менгденшей. Отобрали все ее вещи, баулы, часы, дорогие гребни, перстни... Сестру Менгденши я у Шепелевых после видела, и она им про то сказывала... Аспиды, как есть аспиды, последнюю атласну юбчонку с принцессы сняли, повезли ее в простом платье...

Бавыкина отерла глаза.

— Иванушку, по пятому годку, — продолжала она, — под охраной енарала Корфа повез с собой в коляске майор, не помню, какого полку, а по прозвищу Миллер. Двинулись осенью, опять в бездорожье, дождь, а потом в снег и холода. Подводы вперед и квартеры для ссыльных готовил полковник — прости господи! — Чёртов... Помню я его. Страшное этакое имя, а добрый был человек. К кучеру покойной царицы хаживал. Для сбережения Иванушки велено ему было иметь при коляске нарочитого солдата, а ребенка звать — надо думать, в напоминание о проклятом Гришке Отрепьеве, — не иначе как Григорием, и кого везет, никому не объявлять, а верх в коляске держать повсегда закрытым. Приехали путники к Белому морю... И хотя в тайне от всех держали тот отъезд, только слухи о нем все-таки дошли до Питера. Полковник Чёртов вдруг, представь, тронулся умом — Господень перст. А пока узнали о том и увезли его тоже куда-то, он, среди всякой пустоши, болтал и о тех несчастных. Боле, Васенька, ничего про них не знаю. Таков-то ноне свет: самый он изменчивый, линущий; тлёю везде пахнет... смертью.

Передав рассказ Бавыкиной Ломоносову, Мирович, неделю спустя, улучил минуту и, будто мимоходом, спросил его, что потом произошло с бедными заключенными?

— Изволь, расскажу, — ответил Ломоносов. — Как сблизился я с фаворитом покойной государыни, с Иваном

Иванычем Шуваловым, стал этот юный вельможа, а мой патрон и друг, езжать ко мне, на беседу о пользе наук и на уроки стихосложения... Тут он иной раз доверял мне сказывать и о том, что слышал о младенце-императоре... «Где они теперь?» — спросил я раз Ивана Иваныча. «На твоей родине, — говорит, — в архиерейском подворье, в Холмогорах». Так у меня, друг ты мой, сердце и замерло. «А разве не в Соловках?» — «Коммуникации, — отвечает, — по полугода с берегом там не бывает; так боятся этак-то поодаль держать... Да и лед с осени помешал тронуться в Белое море». — «Как же они, — спрашиваю, — там живут?» «Иванушку, — объясняет, — порознь содержат от родителей и сестер... Внесли его, бедного, в монастырский двор, закрытого с головой, чтоб никто и не знал, где и кого там спрячут». Тяжело стало здесь заключенным. В Ранибурге, сам понимаешь, все были вместе, да и свободней жили, гуляли по роще, по реке. А тут не только за ограду двора — из комнат на крыльцо их не выпускали. Надо, впрочем, правду сказать о доставителе арестантов, о бароне Корфе: он сильно заботился о сосланных. Но его отозвали, а надзор за секретными персонами поручили капитану Миллеру. По весне принцесса родила второго сына, Петра, а через год родила третьего, Алексея, и от тех родов на двадцать восьмом году жизни кончилась. Тело ее, по именному указу, было тайно в спирте привезено в Петербург и с церемонией погребено в Александровской лавре, рядом с ее матерью, царевной Катериной Ивановной. Императрица при похоронах много плакала... Сам я видел... Пристав Миллер неотлучно находился при Иванушке, чтоб он в двери не ушел либо от резвости в окно не выскочил. Высокая деревянная ограда окружала двор, церковь, пруд и дома, где поселились несчастные. Ворота постоянно были заперты тяжелыми замками. В таком уединении, унынии и скуке пристав Миллер, как и капитан Чёртов, тоже было тронулся умом. Ему разрешили выписать и поместить с собой жену, но с тем, чтоб и она, блюдя секрет, в принцевых комнатах неисходна была...

На десятом году Иванушка чуть не умер от повальной в тех местах какой-то злокачественной хворобы. На двенадцатом его разлучили с Миллером, коего наградили деревнями и переместили полковником фузилерного какого-то полка в Казань. Перед его выездом из Холмогор с принцем одновременно произошли два весьма важных события...

— Какие? — спросил Мирович.

— А вот постой, стемнело — растопим камин... Леночка, — обратился Ломоносов к дочери, сидевшей тут, — глянь-ка, открыта ль труба? По словам одних, караульный солдат, а по уверению других, из жалости к мальчику, жена Миллера сообщила Иоанну о его происхождении.

— Что вы! — изумился Мирович.

— Отец принца, Антон Ульрих, до той поры, надо тебе сказать, жил в нескольких стах шагах от тюрьмы Иванушки и даже не подозревал, в каком небрежении, за зеленеющими против его окон вербами огорода, томился и чахнул его сын... Тут он умолил, сказывают, жену Миллера, и та, перед выездом в Казань, тайно с мужем выучила принца молитвам и грамоте... После того Иоанн прожил в Холмогорах еще пять лет... Чаша бедств еще не была переполнена... На семнадцатом году злополучного принца перевезли в Шлиссельбургскую крепость...

— Но по какой же причине перевезли принца в Шлиссельбург? — спросил Мирович. — Сколько теперь и в корпусе я ни допытывался о том, никто не объяснил.

Михайло Васильевич затуманенным взором взглянул на него.

— Тот же лукавый и гордый Берлин, тот же бессердечный себялюбец Фридрих, загнавший несчастных в ледяную могильную глушь, был тому причиной, а если хочешь, то и я сам! — сдавленным, глухим голосом добавил Ломоносов, подняв и опять бессильно опустив руки. — Да, государь мой, я в том виноват — на мне грех...

— Что вы, Михайло Васильич, может ли это быть?

— Не удивляйся! Именно так: слушай теперь уж до конца... Дивны дела твои, Господи... дивен перст Божий...

Несколько мгновений Ломоносов, понурясь, молча глядел в разгоравшийся камин.

— Года за три до того, или нет, постой, не так! — начал он. — Приходит раз ко мне в лабораторию пребольшущий этакой, густобородый, рус волосом и ражий из себя купчина... Зовется тобольским посадским, Иваном Зубаревым. Просит образцы сибирских руд испробовать в академической лаборатории. Подал я о них апробацию. Думал ли, что стрясется такое горе! После, представь, образцы оказались не из Сибири. А между тем он выспрашивает о Холмогорах. «Вы, говорит, оттоль родиной; так и так, мол: собираюсь туда торговать, коли казна не даст пособия на разработку руд». Я с ним стал водить компанию. Ну, не без того, что и в герберги хаживали, по душе толковали... Зашла речь и об Иване Антоныче. Сердце у меня всегда по нем болело. Я, значит, то и другое ему о нем и высказал. Слушает купчина, а сам на ус мотает. «Вот бы, — вдруг сказал он, — выкрасть бывшего императора. То-то пошел бы сполох...»

— Что ж вы ему на то? — спросил бледный, охваченный волнением Мирович.

— Привожу такие и такие статские и политические резоны. Какой, говорю, может быть он государь? Он одичал, не учился.

Как попался Зубарев с фальшивыми рудами, его в сыскной приказ. Но он оттуда дал тягу. А через год его поймали на посольской границе, в раскольничьих слободах, как шпиона прусского короля. После уж я вспомнил, что он крестился двуперстно, был раскольщик да чуть ли к тому и не скопец... Привезли его сначала в Киев с беглыми конокрадами, потом опять в Петербург. Тут он, в тайной канцелярии, по довольному увещанию, с пристрастием во всем Александру Иванычу Шувалову и

покаялся... Что же оказалось?.. Из приказа он бежал, через Стародуб, на Ветку, прямо в раскольничий Лаврентьев монастырь — куда перед тем метил и укрывший Иванушку монах-бегун, а оттуда пробрался через Кролевец в Берлин. Бывший в нашей службе выходец Манштейн представил его королю Фридриху. Фридрих дал ему чин полковника своего регимента и послал его к раскольникам. Там, за обещание свободного выбора попов, он должен был подготовить бунт в пользу Иоанна и затем ехать в Архангельск, куда к весне был снаряжен прусский король, — подкупить солдат и портомойку и похитить Ивана Антоныча в Берлин... На дорогу Зубареву Фридрих собственноручно дал тысячу червонцев и две медали, с портретами — своим и деда бывшего императора. Во всем этом Зубарев сознался на допросе и вторично то же подтвердил перед смертью, на исповеди в тайной экспедиции, где и умер... Не защити меня фаворит государыни, был бы и я на розыске... Впрочем, спасло и то... о наших речах про Холмогоры Зубарев не сказал на розыске ни слова. Чуть он все объяснил, в Холмогоры поскакал сержант лейб-кампании Савин. Он в наглухо закрытой карете секретно ночью и вывез оттуда принца Иоанна... А приставу, сторожившему принца, объявили повеление — никому не подавать ни малейшего вида о вывозе арестанта, в кабинет же рапортовать, что он, с семьей, под его караулом находится, как и прежде, а за остальными наикрепчайше смотреть, чтобы не учинили утечки. Савин доставил секретно Ивана Антоныча в Шлиссельбург по весне и всю дорогу отнюдь не смел ему говорить, куда он его везет и далеко ли будет то место от столиц. Здесь принцу Иоанну дали прозвище колодника Безыменного, а ближайшими приставами над ним назначили какого-то прапорщика да сержанта... Фаворит Шувалов немало удивлялся, что один из них судился за убийство на экзекуции солдата и помилован, с переводом в эту должность, а другого самого солдаты

чуть не запороли, за жестокости, — так их сквозь строй гоняли, а его в крепость упрятали... В инструкции приставам было сказано: кроме их, в казарму принца никому не ходить и его не видеть; каков арестант, стар или молод, русский или иностранец, никому не говорить; и в письмах в дома свои не упоминать, где сами они находятся и из которого места пишут. С воцарением нового государя, в прошлом январе, главным стражем над принцем назначили капитана гвардии князя Чурмантеева.

— Вот случай! Вот кстати! — радостно перебил Мирович. — Ах, Боже мой! Все эти дни я думал-думал... представьте, вечер-то у Дрезденши... там именно толковали... и Рубановский пишет...

— Не радуйся, Василий Яковлич, не радуйся! — как бы не расслышав его, продолжал Ломоносов. — Помни одно, строгостей в этом, думаю, отнюдь не убавили... Тамошнему коменданту давно дан такой приказ, чтоб в крепость, кто бы ни приехал, хотя бы генерал, или фельдмаршал, или подобный им, никого не пускать. Но вот что еще ему добавили: что если из комнат его высочества, великого князя Петра Федорыча, камердинер в крепость приедет, то и того камердинера не пускать, а объявить ему, что без указа тайной канцелярии не велено. Много сатирствовал над этой добавкой к указу фаворит покойной государыни... И тех инструкций не отменили...

— Умереть — не понимаю! — сказал Мирович. — Из-за чего тут был упомянут великий князь?

— Упомянут он был здесь недаром... В то время наследник особенно враждовал с своей женой. А разойдясь с ней, по слепотству к прусскому королю, он чуть вконец не разошелся и с государыней-теткой. Императрица до глубины души была возмущена таким шиканством и противностями своего племянника. Примирить его с женой ей не удалось, даже для вида. А в поклонениях Пруссии он был до того продерзостен, что не верил победам русских и даже сообщал Фридриху тайные планы нашей

армии. Тогда-то одумавшийся канцлер Бестужев дал Елисавете совет: выслать племянника обратно за границу, а на его место, в наследники русского престола, призвать из заточения Ивана Антоныча...

— Быть не может! — произнес, чуть не привскочив, Мирович. — Опять на трон этого узника? Железную маску?..

— Верь мне, знаю это, как тебя вижу... Пять лет назад — так кончу я печальную отповедь — государыня Елисавет Петровна объявила желание тайно увидеть принца Иоанна.

— И видела?

— Одни говорят, что это свидание было в доме Шувалова, на Невском, у старого дворца; другие же, что государыня, при пособии канцлера Воронцова, виделась с принцем у Смольного, в доме бывшего секретаря тайной экспедиции. Принца, под предлогом совета с доктором, привезли на курьерских к ночи; рано утром он опять был в Шлиссельбурге. Одели его в дорогу прилично. Петербургский форштадт он принял за слободу и не догадывался, с кем, через шестнадцать лет, ему пришлось снова встретиться... Елисавет Петровна на это свидание явилась в мужском платье. Кроткий и важный вид несчастного юноши глубоко ее тронул. Она взяла его за руку, несмело, под видом доктора, сделала ему два-три ласковых вопроса. Но когда ничего не знавший принц взглянул ей в глаза и, в ответ ей, послышался его жалобный, раздиравший душу голос, государыня вздрогнула, залилась слезами и, прошептав окружавшим: «Голубь, подстреленный голубь! Не могу его видеть!» — уехала и более его не видела и о нем не спрашивала... А на замыслы Фридриха освободить принца объявила: «Ничего не поделает король; сунется, велю Иванушке голову отрубить...»

Ломоносов помешал в камине. Посыпалось несколько искр, но дрова, запылавшие вначале, понемногу угасли. В комнате окончательно стемнело. Столбы северного сияния

сильней разыгрались, пышно мерцая голубыми и розовыми полосами сквозь ветви безлистых, глядевших в окно дерев.

— Высылка за границу Петра Федоровича, — заключил Ломоносов, — разумеется, была отменена. Но великий князь дознался о секретной встрече тетки с Иваном Антонычем. Он сильно стал опасаться этого тайного соперника и — странно сказать! — в то же время, по природной доброте, всем сердцем ему сострадал и сочувствовал. «Каков он, да где и как содержится? — допытывал во дворце Петр Федорыч встречных-поперечных, распудренных дворянчиков. — Да что он говорил с государыней, в каком месте было рандеву и что между них при той конверсанции условлено?» Точных ответов на это он ни от кого, разумеется, не добился, а только больше и больше сердил без того недовольную государыню... Так прошел год, и два, и целых пять... Со смерти императрицы все снова забыли о принце... И живет он, двадцать второй год живет в застенке, под замком... И не видит, не слышит никого, кроме своей стражи. И вряд ли знает он, живы ли его родители, что делается на Божьем свете и где, на каком конце его былого царства находится его тюрьма... Что и говорить! царствовать он уже не может: куда о том и думать!.. Да хоть бы на волю его, дать увидеть свет, умягчить сердце бедного, ум... Ах, если б тебе удалось... побывать там и узнать!.. Только узнать... Да неужели ж не явится Божьего, сильного чуда, чтоб избавить ни в чем не повинного этого мученика?..

Ломоносов смолк. В темном углу, за шкафом, послышался подавленный вздох. Кто-то незримый там тихо дышал и будто плакал. «Неужели? — суеверно, с шевельнувшимися на голове волосами, подумал Мирович. — Неужели дух принца слетел и слушает нас?» Ломоносов встал. За шкапом была его Леночка. Он притянул ее к себе, осыпал поцелуями.

— Да за что же, за что? — повторяла, дрожа и ломая руки, потрясенная рассказом отца, девочка. — Ах, скверные люди!.. Какие они злые!.. Иди, папа́, к царю — проси за бедного...

— Слышишь, Василий Яковлевич? — произнес, прижимая дочь к груди, Ломоносов. — Слышишь?.. Дети вопиют!.. А они ведь увидят царствие небесное!..

— Я поеду в Шлиссельбург, к приставу Чурмантееву! — сказал, отирая пылавшее лицо, Мирович. — Что бы ни случилось, а я проникну туда; авось что-нибудь проведаю и о бедном, забытом всеми затворнике... Генералов вон, даже фельдмаршалов туда не пускают... ну да посмотрим — была не была...

— Эхма, стар становлюсь, а то бы и я с тобою покатил, — произнес Ломоносов. — Погоди, не отыщу ли какой-нибудь подходящей тебе в оном любовном деле протекции...

Ломоносов не мог оказать пособия Мировичу. Выручил последнего знакомец Григория Орлова, князь Чурмантеев, к которому тот с товарищами собирался в памятную кутежную ночь доигрывать в карты. Этот Чурмантеев был отцом пристава шлиссельбургской тюрьмы. Мирович добыл от него, через Орлова, письмо к его сыну Юрию Андреичу, справил себе на выигранные деньги полное обмундирование, по новому прусскому образцу, нанял чухонскую тройку и поехал в Шлиссельбург. Приятель Ушаков оказал ему при этом случае другую услугу, достал ему рекомендацию к коменданту Бередникову, с племянником которого оба они служили в последнюю прусскую войну.

Шестьдесят верст берегом Невы, а потом лесными, глухими проселками мелькнули незаметно. Некоторые сведения, переданные камер-лакеем Касаткиным, сильно смутили Мировича. Тот, между прочим, сказал:

— Как было не уйти барышне? За нею здесь так гонялись, что другая, не токма в Шлюшин, на край света бы ушла...

— Боюсь я за тебя, боюсь, — толковала, провожая с Ушаковым Мировича, все узнавшая от него Филатовна.

— Но чего вы, смешно, право, боитесь?

— Да ведь я же видела, Василий, сказываю тебе, как полосовал кат на Сытном рынке — за эвтого за самого, за Иванушку, — первую статс-даму, Наталью Лопухину, а с нею писаную красавицу Анну Бестужеву... Ой, смертный страх и вспомнить!.. Бил тройчаткой в клочья тело, рассекал в кровь спины, тянул клещой изо ртов, при всем народе, языки... Куда едешь? Опомнись...

— Бог с вами, что вы, не бойтесь; не те нынче времена, — сказал Филатовне Ушаков, — вернется с несомненным успехом, свадебку сыграем...

— Тебе все свадьбы, шилохвост, блюдолиз! — огрызнулась Бавыкина.

Была суббота в конце четвертой недели великого поста.

Мирович все это хорошо помнил, так как отлучка из Петербурга ему была разрешена только до Пасхи, на первый день которой император собирался перейти в новый, оконченный постройкой Зимний дворец, и всем находившимся в столице офицерам был объявлен приказ явиться в тот день ко дворцу, на вахтпарад.

Отпустив чухонца, Мирович переночевал в Шлиссельбурге, на постоялом, побродил по городу и по берегу Ладожского озера, а когда стало смеркаться и в крепостной церкви зазвонили к вечерне, он прошел по льду к крепости. Здесь у ворот Мирович объявил, что привез письмо коменданту и приставу Чурмантееву. Его впустили в крепость. Он взглянул на церковь.

«Спрошу кого-нибудь из богомольцев, как лучше пройти к князю», — подумал он, всходя на паперть.

В мягком мглистом воздухе еще морозило, но уже слышалась близость недалекой весны и тепла.

VII

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

Вечерня кончилась. Богомольцы стали выходить из церкви, горожане — к воротам, гарнизонные обыватели — по разным углам крепости. Мирович обратился к священнику.

— Письмо к Юрию Андреичу? — ласково спросил его плотный, рябой и белолицый, с темно-русой бородой отец Исай. — От родителя, сударик, изволили доставить?

— Точно так-с; комиссия от его отца — лично отдать.

Священник пожевал губами, погладил пушистую бороду. Он был большой добряк, но лентяй невообразимый; день-деньской лежал у себя на диванчике, даже иной раз лежа и пищу принимал от столь же ленивой, добросердечной и располневшей дочери. А когда жил он в селе, до перевода в крепость, то ни плетня, ни канав не было у его двора, сарай много лет стоял без крыши, и лошаденки с коровой пребывали на привязи на открытом воздухе либо мыкались по соседним дворам. Его и самого звали там «поп-мытарь».

— Видите ли, как бы вам то есть, — в раздумье произнес отец Исай, косясь в глубь двора, — князь наш болен теперь, да и живет он не здесь, не с нами со всеми, а в отдельном доме, за тою — вон видите — особою стенкой, за мостом... Эвось, макушечка-то... темной крыши макушечка... видно вам?

Отец Исай придержал рясу на правой руке, кашлянул и указал на башню поверх высокой стены, замыкавшей особо огражденное место в левом углу крепостного двора.

— Как же быть? — произнес Мирович.

— Да вам очень, тово... нужно? — спросил, поглядывая мягкими, сонными глазами в лицо Мировича, священник.

— Еще бы... затем и ехал! Издалека-с!.. Дело нетерпящее... и с племянником коменданта в походе был... нельзя ли, батюшка, как-нибудь?

— Вот, вот... а ведь и не удастся, не удастся, пожалуй! — сказал, опять задвигав губами, отец Исай. — И ворота скоро запрут...и все! Оно, если хотите, вольготнее у нас нынче стало... вот и я в крепости теперь, а не в городе живу... только все еще ой как строго... Из Питера прибыли?

— Из Питера...

— И будете недовольны!.. А-а? Сколько ехали!.. Разве вот что-с, заверните-ка сюда... Это вот, за комендантскими, мои келейки. Обождите; попробую, снесусь цидулочкой с князем. У нас с ним частые передачи. Его гувернерка и моих подросточков в бурсу теперича готовит; сойдутся — чистый пинцьюн... Третий месяц уже этак-то живем; прежде не то было. Отслужил службу, да и за ворота в Шлюшин... а теперь слободнее, при государе-то Петре Федоровиче!.. Пожалуйте-с.

Священник провел Мировича к себе, усадил его, а сам вышел отправить обещанную цидулку к Чурмантееву.

— За письмом от князя пришли-с, — погодя, сказал он Мировичу.

Он отворил дверь в боковую, внутреннюю горницу. Мирович вошел туда. Там, лицом к окну, залитому блеском заходящей зари, стоял княжеский посол. Мирович вздрогнул, попятился: перед ним была Поликсена.

Отец Исай увидел, как офицер и девушка смешались, как в лицах их изобразились недоумение и радость и как первый — горячо, вторая — растерянно протянули друг другу руки и несколько мгновений молчали, глядя друг на друга.

«Вот оно что! Влюбленные, сиречь пташки! Тайная встреча! — подумал священник, отступив за порог и притворяя за собою дверь. — Чего не бывает! И в нашей трущобе свет жизни взойдет: Ревекку открывый, Исааку station уневестивый... Исайя, ликуй!»

— Какими судьбами? Вот нежданно! — вся вспыхнув и через мгновение побледнев, произнесла Пчелкина, в загорелом, сдержанном и мужественно-погрубевшем воине узнавая

черты когда-то застенчивого, робкого и до глупости влюбленного в нее кадета. — Откуда Бог принес?

— Из армии, вас видеть жаждал! — ответил Мирович. — Все бросил, службу...

— Узнали?

— Вас-то?

Мирович не сводил тихо радостных, сыпавших искры глаз с Поликсены. Она, опустив руки и, по привычке, слегка склонив голову, вполоборота, с улыбкой, как бы что-то обдумывая, глядела на него.

— Нет больше вашей пастушки, — тихо сказала она, шутливо хмуря брови, — не та, не та... Не правда ли? Унесло время... Зачем приехали?

— Все в вас то же, полноте! Не изменились вы! — ответил Мирович. — Я только не выполнил завета... Не стал ни знатней, ни богаче. Только вас зато, видите, не забыл... чуть вырвался, приехал. Отчего вы не писали? Отчего вдруг замолкли? Или еще больше помучить хотели?

Поликсена усадила гостя рядом с собой, еще раз взглянула на него, ласково улыбнулась. Он сообщил ей о письмах к Чурмантееву и к коменданту Бередникову.

— Вот как устроил, — заключил он.

— Ну, можно ли, — сказала она, — какое детство! Из-за меня ехать, бросать дело. Стоило ли того! А сколько событий с нашей разлуки, сколько перемен!

— Вы так исчезли, скрылись, — продолжал Мирович, — что и след ваш замело. Верите ли, уж отчаивался, насилу вас отыскал.

— А что здесь делается, что здесь! — сказала Поликсена, указывая в окно на мрачные, внизу стемневшие, вверху кое-где еще освещенные зарей стены крепости. — Слышали?.. И как вас пропустили, как вы решились явиться сюда?

— Если б вы были на дне моря, в могиле, я бросился бы к вам... Скажите, я кое-что слышал... кто вас преследовал? Назовите его... От кого вы скрылись?

— Здесь могила, — ответила Пчелкина. — И знаете ли, слышали, кто здесь заключен?

— Знаю.

— Навеки ведь, с детства, — продолжала Поликсена. — Ребенком заперт в четыре стены — без воздуха, света, без живого людского слова, а он теперь уж не дитя, человек!

— Да, — произнес Мирович, — слышал я, не верилось; не приведи Господь никому другому.

Внезапная мысль мелькнула в голове Поликсены. «Отважен, смел, — подумала она, — попытаться?..»

— Вы хотели видеть Юрия Андреича? — спросила она. — Зачем?..

— Никого! Вас однех хотел я видеть, вас! — прошептал Мирович. — Князь только предлог...

— И с племянником коменданта были в походе?

— При мне он был ранен, под Берлином, в отряде Хорвата, при бомбардировке Галльских ворот. Я с товарищем, Ушаковым, был и на его похоронах.

— Давайте, давайте скорее письма! — сказала, заторопившись, Поликсена. — Приходите завтра. Сегодня уж поздно. Князь болен; но с оглядкой, помните, к нам надо идти... Будьте осторожней... Есть на то особая причина.

— Какая?

— Юрий Андреич заболел, — ответила Пчелкина, помедлив. — Недели две назад он сильно потревожился, испугался, как загорелось ночью в казарме той персоны. Труба, что ли, в печке лопнула, затлелась перегородка, а там и дверь.

— Что ж, спасли узника?

— Спасли, но князь свихнул себе ногу, как выбежал на морозную лестницу ночью, спросонков. Все в этом переполохе потеряли головы. Каземат починяют теперь, переделывают.

— А куда же дели, на время перестройки, принца?

Пчелкина опять замолчала, прислушиваясь.

— Пока стали переделывать печь и чинить дверь, князь, видите ли, — открою вам по секрету, — перевел принца в свое помещение.

— Как? Он и теперь у Чурмантеева?

— Ну, да... у него... Никому князь не доверяет... Только, ради Бога, молчите про это. Никому не скажете? Даете слово?

— И вы видели принца? Видели? — спросил, задыхаясь, Мирович.

«Как ему ответить? Что сказать?» — подумала Пчелкина.

— Да... то есть нет, — ответила она, — разумеется, не видела... видеть нельзя... Но если бы и случилось, вам что из того?

— Как? Принца Иоанна? При таких строгостях?

— Да, было бы чудо, не правда ли? — произнесла Пчелкина. — Комендант, всем известно, строгий-престрогий, одна форма, машина, не допустил бы принца перейти к князю. Только сам он, понимаете ли, винен в этой печи; ну и боится, что чуть не удушили принца... Не заслышь караульный дыма из сеней — все бы пропало... Теперь же молчит главный начальник, молчат и остальные.

— Чем же тут виноват Бередников?

— Князь и его помощники неоднова репортовали коменданту, что нужны починки в том помещении, пророчили беду... По статуту, князь тоже должен был донести в Питер, что комендант его не слушает, и его, стало, есть доля ответа в этом.

— Где же помещается у князя принц?

— Нашего дома отсюда не видно, — ответила Поликсена, — он в два этажа, в том вон дворе, за стеной. Вверху мы помещаемся, внизу — караульные. У нас семь комнат... Принц... ах, нет... даете ли слово молчать?

— Клянусь...

— Принц заперт в дальней, под замком; там и окно с решеткой. Один ход от арестанта к нам, другой наружу, к

кухне, где часовой. С той стороны комнату ему чистят, от нас носят пищу. И ключи от дверей у князя.

— Кто же носит пищу принцу?

— Сам князь, — ответила, подумав, Поликсена.

— Но он болен, вы говорите; как он может прислуживать?

Глаза Пчелкиной сверкнули досадой.

— Сам, говорю, через силу подает, кому ж больше? — ответила она недовольно. — Хоть трудно, однако других не пускает.

— А помощники князя? Их, слышно, двое...

— Да... но принц давно не выносит их присутствия. Больно уж они его обижали, при прежних старших приставах. Знаете, какие строгости предписаны? Буде кто отважился бы освобождать арестанта, живого в руки не велено его отдавать... А за непорядки и противности приставу дозволено сажать его на цепь, пока не усмирится, а то бить палкою и плетью.

— Страшно! — сказал Мирович.

— Уходите, Василий Яковлич, до завтра. Но, ради всего святого, о слышанном от меня ни слова. Еще наговоримся... И, может быть, вы... или кто другой... мало ли... впрочем, это после... Да вот еще, — не забудьте попросить князя и Бередникова о разрешении нам и впредь видеться... До свидания.

Мирович припал к протянутой ему руке.

— Ну, целуются! — подумал подошедший в то время к двери отец Исай. — Дело идет на лад... На Фоминой, пожалуй, и свадьбу сыграем... Вот они, новые-то времена!.. Station Уневестивый Исааку, открывый Ревекку...»

Наутро Мирович явился к князю Чурмантееву. Он не показал вида, что знает, какая особа теперь гостила у него. Подготовленный Пчелкиной, больной — хотя и был в постели — принял Мировича отменно ласково. Он сказал, что

ушиб ногу на ледяной горке, устроенной на масленой для его девочек. Благодарил Мировича за вести об отце и долго его расспрашивал о племяннике коменданта.

— Рад будет старик услышать от вас... А пока вот наша общая опекунша и утешительница, — сказал Чурмантеев, обратясь к Пчелкиной. — И сирот, моих девочек, досматривает, и меня, больного. Только недолго теперь, видно, быть ей с нами. Улетит сера утушка за сизым селезнем, — прибавил князь, подмигивая гостю.

Поликсена его не слушала. Мысли ее были далеко.

«И здесь, чародейка, всех пленила и обворожила!» — тревожно подумал Мирович. Он встал и обратился к приставу с просьбой о дозволении продолжать ему визиты. Чурмантеев потер переносицу.

— А комендант? — сказал он в раздумье. — Разве вот что, сударь, — не играете ли в шахматы? Наш старик великий охотник.

— Игрывал, да уж давно, — ответил Мирович, — разве для развлечения.

— И отлично, снесемся, — решил пристав, — зайдите к нашему шефу, окажите решпект. Не снимут, чай, головы за то, что жених... извините, что так говорю... Ну, влюбленный Адонис станет к своей Филомеле хаживать, хоть бы и в такой, прости господи, гробовой трущобе, как наша... Не те времена... У меня не дозволит видеться, у него самого просите встречаться...

В качестве искателя руки Поликсены, хотя и не помолвленному с ней, Мировичу были разрешены посещения крепости. Комендант принял его холоднее и суше, чем Чурмантеев. Но когда в следующий вечер Мирович проиграл ему несколько новеньких рублей, с портретом Петра III, дело и тут устроилось.

— Юрий Андреич просит за вас, — сказал с важностью Бередников. — Любовные, сударь, резоны извинительны. А просит, то пусть за вас и отвечает. Не крадете, впрочем,

невесту — сама идет за вас... Приходя к князю, не забывайте и нас.

— А что, государынька, теперь, небось, и веселее стали? — спросил Чурмантеев Поликсену. — Эх-эх, опоздал я... Дай вам Бог, дай... Я же паче всего теперь надеюсь на вашу скромность... С молодым человеком о чувствах можете, а о прочем-с ни гугу. Понимаете?

Пчелкина всеми святыми клялась не выдавать тайны. Она между тем была далеко не в себе: провела без сна несколько ночей, плакала и томилась, не помня себя.

Гарнизон к Мировичу вскоре пригляделся. Часовые у ворот крепости и у входа в особый двор, где помещался главный пристав, пропускали его беспрепятственно. Василий Яковлич заходил к коменданту, беседовал с ним, играл в шахматы, потом к Чурмантееву, и оставался у последнего нередко до позднего вечера. В разговорах с Поликсеной и с князем он с невольным трепетом приглядывался к стенам, прислушивался к мирной домашней хлопотне, не мелькнет ли хоть некое веяние того, кто, как он знал, был где-то в одной из этих самых комнат, под одною с ним кровлей, дышал одним с ним воздухом.

Ничего не примечалось. Стены были немы либо оглашались смехом и беганьем девочек Чурмантеева, комнаты которых были, как угадывал Мирович, смежны с временной тюрьмой узника. Он даже разглядел в глубине детских покоев перегородку с наглухо запертою дверью. За нею, очевидно, и был ход к арестанту.

Поликсена в хорошую погоду брала своих питомиц и, в сопровождении Мировича, выходила с ними в церковный сад либо за стены крепости. Девочки резвились, играли. Мирович вел нескончаемые речи о прошлом, о корпусе, о походе, строил планы о будущем, перебирал в уме, как и когда ему приступить к концу, просить о помолвке и о назначении срока свадьбы. Поликсена слушала его с раздражением, с тайною болью в сердце. Ей было и жаль его, и досадно, жутко думать, что не тем были заняты ее мысли.

«А тот бедняк, тот застенщик, сидит, и никто о нем не помышляет!» — говорила она себе, рассеянно внимая речам Мировича.

Было решено: едва Чурмантеев переведет в прежнее помещение вверенного ему затворника и оправится в своем здоровье, Поликсена уедет в Петербург, остановится у Птицыных и оттуда на свое место, к детям Чурмантеева, вышлет другую няню.

— А тогда и свадьба, не правда ли? — спрашивал, вглядываясь в нее, Мирович.

— Не уйдет от нас, — отвечала она. — Больше ждали, еще подождем... Не в том дело. Ах, поймите же, не в том...

— Да в чем же? — спрашивал Мирович.

— Испытать вас хочу, что вы за человек...

— Пытайте, налагайте искус, да тяжелее, поскорей.

— Нет, о нет! В другой раз... время идет, будьте готовы...

— Когда же?

— Увидите; будьте только готовы...

«Что у нее на уме?» — терялся в догадках Мирович.

Чурмантеев обратился к Пчелкиной с просьбой.

— Вы отходите от нас, — сказал он ей наедине. — Что делать. Судьбы закон! Помоги вам Бог. Но пока вы здесь, мне хотелось бы, чтобы мои девочки при вас отговели, а чтоб их шалости и беготни вконец не досаждали принцу, начните, Поликсена Ивановна, хоть нынче.

Пчелкина стала водить своих воспитанниц утром и вечером в церковь.

Мирович в ее отсутствие не удалялся от ширмы, за которою лежал в постели больной Чурмантеев. Он рассказывал князю о виденном и слышанном в чужих краях, перевязывал ему больную ногу, подавал лекарства, а когда Чурмантеев в томившей его лихорадке страдал бессонницей, читал ему любимую книгу покойной жены князя, купленный ею гамбургский перевод на немецкий язык «Робинзона Крузо».

Раз — то было на второй неделе пребывания Мировича в Шлиссельбурге — пришел он, по просьбе Чурмантеева, перед вечером, из города в крепость. Пчелкина напоила больного и гостя сбитнем, взяла из-под подушки князя связку ключей, куда-то отнесла закрытый, с закуской поднос, щелкнула в дальней комнате ключом, помедлила, снова возвратилась и, положив ключи обратно под подушку князя, ушла с девочками в церковь. Там после всенощной они и их старуха-нянька должны были в тот вечер исповедоваться. Чурмантеев остался с гостем, к которому за это время он невольно привязался.

Мирович раскрыл «Робинзона», прочел с десяток-другой страниц, и когда дошел до того места, где Робинзон от людоедов спасает отца Пятницы, — из-за ширмы больного раздался тихий, а потом более и более явственный храп. Мучимый долгою бессонницей, Чурмантеев на этот раз крепко и сладко заснул. «Ну, пусть себе спит!» — решил, понижая голос, Мирович. Он закрыл книгу, свечку перенес на другой бок ширмы, сам плотнее пригнездился в кресле, задумался и тоже стал дремать. «Кризис болезни, — мыслил он, — скоро встанет... Но какой искус на меня хочет наложить Поликсена? Куда ее мысли глядят? Себя не пожалею, а уж все, что скажет, сделаю...»

Долго ли, нет ли, сидел так, рассуждал и дремал Мирович, он этого не помнил. Но вдруг он проснулся и стал прислушиваться.

Ему где-то, в дальних комнатах, явственно послышался скрип перегородки или двери и легкий шорох шагов. Точно как бы кто двинул мебелью, пошел и остановился. Сперва он подумал, что ему так померещилось, а потом, что звуки те шли снаружи, с крыльца, — из нижнего яруса дома... Шорох шагов затих, но опять возобновился.

«Няня, видно, — подумал Мирович, — прошла мимо меня, постлала детям постели и теперь идет восвояси... Так нет, и она отправилась ко всенощной...»

Дверь из ближайшей комнаты медленно, беззвучно полуоткрылась. На ее пороге обозначилась фигура человека. Мирович прикрыл глаза ладонью, взглянул от ширмы на эту фигуру и остолбенел. Волосы невольно шевельнулись на его голове...

В дверях со свечой в исхудалой бледной руке, стоял сухощавый, футов шести ростом, с длинным прямым носом и выдающейся большою нижнею челюстью молодой человек. У него были большие светло-голубые глаза, каштановая, чуть пробивавшаяся клином бородка и длинные, как у монаха, до плеч спадавшие белокурые пушистые волосы. На нем были — старая, заношенная, нараспашку, матросская куртка, грубая, белая посконная рубаха, синие холщовые полосатые шаровары и на босу ногу башмаки. Поразительно белый и нежный цвет его лица показывал, что солнце никогда не роняет на него своих лучей. Вид его был, как у некоторых схимников-постников, важно величавый и вместе кроткий. Блуждающий, робкий и пытливый, как у дикаря, взгляд был напряженно устремлен вперед. Полуоткрытые, детски недоумевающие бледные губы что-то шептали. Завидя незнакомого офицера, он несколько мгновений помедлил, отступил обратно в соседнюю комнату и продолжал оттуда пристально, несмело смотреть.

«Неужели? — молнией пробежало в голове у Мировича. — Неужели это *он*, царственный узник, *он* — двадцать лет томящийся в тюрьме под замком? И как он вышел? Непостижимо! Отомкнул, взломал задвижку? Перелез через перегородку? Или Поликсена, второпях, забыла запереть дверь?»

— Подойдите! — раздался тихий, странно звенящий, раздиравший душу шепот. — О, умоляю! Господин офицер, сюда...

Мирович подумал: «Поликсена!.. Ей, бедной, придется ответить за все!» — взглянул на спящего Чурмантеева, быстро встал и, не помня себя от смущения и страха, на цыпочках шагнул в раскрытую дверь.

— Я дух! Бесплотный! — шептал, озираясь, узник. — Святой Григорий — не бойтесь...

Сказал и замолчал, вглядываясь в Мировича.

— Я душа принца Иоанна, — продолжал он, — меня взаперти... О! спасите! Где та ласковая?..

— Кто, ваше... величество? — не спуская с него глаз, проговорил Мирович.

— Та... женщина... тоненькая, — не знаю, как звать... святая Евфразия...

«Бредит... или сошел с ума! — пробежало в мыслях Мировича. — И как заикается — едва его разберешь, — родная, знать, черта в его фамилии...»

— Какая Евфразия? — спросил, не двигаясь с места, Мирович.

— Да девушка та... золотые волосы... пахнут ладаном, что ли... няня при детях этого!.. Позови ее, батюшка офицер...

Мирович молча глядел на колодника.

— Какого вы чина, извините, несведом, — продолжал, жалко торопясь и заикаясь, узник. — Сна нет, все такие сны... все ей, все, когда вырвусь отсель...

«Что слышу, влюбился в Поликсену! — замирая от нового страха, подумал Мирович. — Так вот что... она проникала к нему и скрыла от меня...»

— Ее нет... что вам угодно?

— Она новую книжку обещала, книжечку... листки...

— Какую?

Принц медлил ответом. Недоверие, боязнь изобразились на его лице.

— Не бойтесь, — продолжал Мирович, — какие книги она вам приносила? Может, и я достану... ей передам...

— Летописец краткий... родословие царей... опять же...

Арестант остановился опять, боязливо поглядывая на незнакомца.

«Неужели книги Ломоносова? — подумал Мирович. — Вот судьба — ожидал ли того Михайло Васильич?»

— Про царей там, — продолжал узник, — про Петра и его брата, моего прадеда, царя Ивана...

Волнение более и более охватывало Мировича.

— Я вам все, какие угодно, — сказал он.

— В Маргарит Златоустого сказано, как погубили крестителя Иоанна... Я ведь, сударь, тоже Иоанн и меня Иродиада с Фридрихом со света гонит...

— Какая Иродиада?

— Читали вы про злющую? Читали? — спросил, с силой ухватя за руку Мировича, узник. — О! Паки Иродиада бесится и пляшет, требует главы!

Арестант замолчал. Глаза его сверкали бешенством, ужасом и отчаянием. Губы судорожно вздрагивали.

— Скажите, — вдруг произнес он, улыбнувшись, — верно, рыжей-то нет уже на свете?

— Кого?

— Да Петровны, сударь... царицы Лизаветы! — продолжал он. — Не един убо зверь подобен жене злей... Змеи и аспиды в пустыне убояшася; Иродиада же на обеде его усече...

Далее трудно было разобрать арестанта. Глаза его были широко раскрыты, губы, покрытые пеной, шептали бессвязные слова.

— Государыня скончалась, — ответил Мирович, — и притом, сударь, это была великого сердца монархиня.

— Так померла? Иродиады нет боле на свете? — чуть не выронив свечи, вскрикнул арестант.

Грудь его тяжело, порывисто дышала. Он не спускал глаз с Мировича.

— Кто же ноне в моем дворце? — спросил Иванушка.

— Новый государь.

— Кто?

— Петр Федорыч.

— Так... Вольней быдто стало. Добрый он? Будет прибавка провизии? Или останется две полтины на обед и на все?

— Нет сомнения, о вас вспомнят, — сказал Мирович.

— Мучители, подло, — продолжал затворник. — Нет сердца у жен... Никого же, бесстыдная, не щадит, ни левиты стыдится... ни священника чтит... Откройте, — прибавил он, помолчав и с трудом подыскивая слова, — какой он из себя, этот новый царь?

Мирович вынул из кармана и подал принцу новый рублевик с портретом Петра Федорыча. Тот жадно схватил его, поднес к свече и долго пристально на него смотрел.

— Силы, силы Давида! — шептал Иванушка, путаясь в словах и задыхаясь. —Слышите убо людие, виждь Господи... невинен погребен...

Мирович опять не разобрал некоторых слов принца.

— Ваше благородие, вы не здешний, помогите! — вдруг обратился к нему узник.

— В чем, государь?

— Уйти отсюда можно... по галерее в окно, — зашептал арестант, — пилку мне, пилку; решетка, катер на озере... на берегу 6 лошадей... Лесом, горами!.. Горы за озером видны...

— Сударь! Мне вас жаль, вот как жаль! — душимый слезами, проговорил Мирович. — Но я присягал императору Петру Федорычу... изменником быть не желаю... Вы читаете, верно, умеете и писать, — продолжал Мирович, — напишите вашему дяде-императору. Голову отсекут, а уж я ему ваше письмо доставлю. И если когда-нибудь, — сорвалось вдруг от сердца у Мировича, — если вы и после того будете так же угнетаемы и несчастны, дайте мне знать... я явлюсь к вам... положу за вас жизнь...

Принц Иоанн, с удивлением и детскою радостью глядя на Мировича, робко протянул ему руку, тронул его за плечо.

— Спасибо, — прошептал он, — они подло, а за вас молиться буду...

— Чернил и пера не достанете, — продолжал Мирович, вынув записную книжку, — вот вам клочок бумаги и карандаш... Выбросьте цидулку в окно... в форточку... Все откро-

венно изложите государю... Он добрый; лично не отзовется, вспомнит через других... Умеете писать? Два слова!..

Мирович не кончил. Сзади его послышался заглушенный возглас, торопливые шаги. Он оглянулся, то была Поликсена.

— Безумцы! Что вы наделали? Скорее, скорей! — проговорила она, схватив за руку принца и увлекая его обратно в его комнату. — Спешите; дети раздеваются, войдут сюда с няней, и мы пропали...

Через мгновение дверь Иоанна Антоновича была опять замкнута на задвижку. Пчелкина бережно, мимо спящего Чурмантеева, вывела Мировича на крыльцо, возвратилась к ширме, вновь убедилась, что больной еще не просыпался, взяла у него из-под подушки ключи, заперла дверь к принцу на замок, уложила детей спать, погасила свечу и, горько, нервически рыдая, упала лицом в подушку.

В следующее утро Мирович явился к Чурмантееву пасмурный, терзаемый ревностью, сомнениями, догадками. «Так вот в чем дело! — рассуждал он. — Но какая причина заставила ее утаить от меня правду? Что у нее на уме? Та же сатанинская гордость, безумие? Или судьба несчастного так ее тронула, потрясла, что она сама невольно стала к нему неравнодушна? Мудреного нет — сколько было примеров, жены, дочери тюремщиков влюблялись в заключенных... отдавались им, бежали или гибли с ними».

— Так вы виделись с узником? — угрюмо спросил Мирович Поликсену.

— Виделась... Ну, и что ж из того? Надо было помочь князю. Никому не обязана отчетом...

— Но зачем же вы скрыли от меня? Ужли не доверяли?

— Ах, полноте... какое детство!.. Дело ясно... Неужто не догадались? Не моя ведь это тайна... А досталась она вам мимо меня, берегите ее свято... Шутить с огнем опасно. Знаете, чем грозит здешний статут? Вы же притом военный; с вас взыщется строже.

— Знаю, знаю, а вы все-таки не доверили мне! Это обидно... Чем я заслужил?.. Я ли вызывался выполнить всякий ваш искус, наказ?

Поликсена пересилила себя. Ласковой кошечкой приникла она к Мировичу, взяла его за руку, взглянула ему в глаза с доверчивой детской улыбкой.

— О! Много еще испытаний впереди! — сказала она. — Друг мой... вы не знаете меня! Жизнь перед вами целая — мало ли... все еще, всего можно ждать... А он-то, он! В том же заточении, в той же могиле ведь останется... и никто, никто не придет ему на помощь, не облегчит его судьбы.

Искренние слезы хлынули и не дали кончить Поликсене... Она плакала, не отрывая головы от плеча Мировича и как бы не чувствуя, как тот осыпал эту полную загадок, гордую и чуткую к бедствиям ближнего голову жаркими, давно сдержанными поцелуями.

К концу пятой недели поста каземат Иоанна Антоновича был оправлен. Нога Чурмантеева также настолько поджила, что он мог подняться без костылей и ночью, под своим надзором, перевел арестанта Безымянного в его прежнюю казарму, в среднем этаже Светличной башни.

Мирович торопил Поликсену к отъезду, а сам с сердитой тревогой поглядывал на окна башни и все поджидал, не выкинет ли принц Иоанн в форточку или не перешлет ли ему каким-либо способом письмо к государю? Ему вспомнилось, как он когда-то спас утопавшую, слабую собачонку. «Спасу и его», — повторял он себе.

Прошло еще несколько дней. Форточка в каземате арестанта была наглухо заперта, и никто письма от него Мировичу не приносил. Попытался было Василий Яковлевич спросить Поликсену, была ли она при переводе принца от Чурмантеева и в каком настроении оказался при этом узник, что говорил и на кого и на что надеялся? Поликсена жаловалась, что арестанта переместили в ночное время и в таком секрете, что она о том узнала лишь на другой день.

Отъезд Пчелкиной в Петербург был условлен в конце страстной недели. В исходе пятой она пригласила Мировича на совещание к священнику. Они остались вдвоем.

— Виновата я перед вами, Василий Яковлич, — сказала она, в смущении опустив голову, — столько заставляла вас тревожиться, ждать; объявляла, простите, — в то время, — невозможные детские условия. Теперь я вижу все ясно... Я вас оценила, я верю вам....

Мировича подхватили эти слова, унесли на седьмое небо. Его бросало то в холод, то в жар. Он жадно слушал.

— Но я забыла, — продолжала, еще ниже склонясь лицом, Поликсена, — скажу вам откровенно... я упустила из виду главное, именно свои собственные к вам обязанности. Если б случилось... Ну, положим, если б все было кончено... скажите, что принесу я вам сама? Ведь я сирота — чай, знаете, без роду, без племени... Я бедна... притом мои привычки, мой несдержанный, строптивый нрав...

— Не думайте о том, скажите слово, будьте моею, и ничего нам больше не надо.

— Нет, нет! Не говорите так... Я от вас тогда в шутку требовала; теперь, не шутя, требую того же от себя... Жизнь — ведь это тернистый путь; я узнала... Слушайте.

Она обернулась, подсела ближе к Мировичу.

— Я выросла при дворе, — продолжала она, — сколько лет служила покойной государыне. И мною были довольны. Не оставят меня и теперь, авось, ни при чем. Так вот что я придумала, вот мое решение... Доверяю вам эту мою тайну.

Она остановилась, подумала.

— Поезжайте в Петербург, немедленно, завтра, даже сегодня, и опустите в ящик, что у дворца, вот это мое письмо.

Поликсена вынула из-под лифа запечатанный и обернутый в бумагу пакет.

— На имя государя? — удивился, взглянув на надпись, Мирович.

— Да... государь сам отмыкает тот ящик и прочтет это письмо. Выполнит он мою просьбу, я ваша... без того, простите, не могу... я прошу о пособии...

Мирович стал отговаривать, доказывать, что ничего подобного не нужно. Поликсена стояла на своем.

— А если ответа не будет? — спросил он. — Сколько ж опять ждать?..

— Не ответят к Пасхе — ну, в таком разе даю слово, поедем отсюда на Фоминой...

Мирович съездил в Петербург и опустил врученное ему письмо в ящик у дворца.

VIII

ДВА ИМПЕРАТОРА

Было семнадцатое марта. В воздухе заметно тянуло теплом. С крыш дружно капало. Снег на солнечных пригревах таял и исчезал. Лед вокруг крепости посинел, взбухнул и, хрустя под ногами, пророчил близкое вскрытие Невы. Из Шлиссельбурга утром шли рабочие по льду в крепость, ожидая, что к вечеру на берег, быть может, придется вернуться на веслах. Туман далеко залег по озеру. Но подул крепкий, порывистый ветер и стал его разгонять.

К ночи поднялась сильная с метелью буря. Она рвала крыши, кружила вороха падающего снега, ревела в бойницах и башнях, стучала железными ставнями и дверьми.

Утром 18-го комендант Бередников и старший и младший тюремные приставы взошли на крепостную стену взглянуть на реку. Ветер стих. По вскрывшейся вкруг острова Неве плыл сплошными белыми грудами лед. Лодки перевозили уже с берега в крепость и обратно рабочий и служебный народ. На берегу, как ясно увидел в подзорную трубу Бередников, стояли два, шестериком, крытых возка. Кучка лодочников озабоченно толпилась возле них.

— Кто бы это был? — спросил в раздумье Бередников.

— Из Питера, знать, — машут...

«Уж не ревизия ли? — пронеслось в старой голове Бередникова. — Не проведали ли в столице о пожаре в тайной тюрьме? Ну да все теперь благополучно кончено...»

— Веребьёв! Надо послать катер, а пожалуй, и лишнюю шлюпку! — сказал он капралу, оправляя на себе портупею и тревожно косясь на поношенные, старой формы кафтаны — как свой, так и прочих господ офицеров.

«Видно, новенького какого опять привезли!» — со вздохом сказал себе тем временем князь Чурмантеев.

Офицеры сошли со стены. Шестнадцативесельный катер, а за ним восьмивесельная шлюпка, расталкивая баграми льдины, двинулись от крепости к Шлиссельбургу.

На городском берегу, прикрывая медвежьими шубами звезды, в треуголках и собольих шапках, стояли у взмыленных шестериков нежданные-негаданные гости: рыжий, в веснушках, лет под тридцать, любимый генерал-адъютант императора барон Карл Карлович Унгерн-Штернберг, петербургский генерал-полицмейстер, сухощавый, круглолицый, добродушный старик Николай Андреевич Корф, щеголеватый и надменный обер-шталмейстер Лев Александрович Нарышкин, генерал Мельгунов и, лет тридцати четырех, среднего роста и заметно сутуловатый, тайный государев секретарь, статский действительный советник Дмитрий Васильевич Волков. Ямщики и лодочники, глядя на Нарышкина, бывшего представительнее и выше остальных ростом, принимали его за государя. Народ, стекаясь из города, толпился в стороне и, без шапок, глазел на прибывших. Унгерн хлопотал о переправе.

В кругу пышно разряженных, важных вельмож, в небольшой, на прусский образец, треуголке, с тростью, с огромным палашом, в высоких ботфортах и в простой без меха епанче, стоял среднего роста, вертлявый, невзрачный, пло-

скогрудый и сильно тронутый оспой гвардейский штаб-офицер. Круглые, сероватые глазки его были заспаны, прямой, добрый носик покраснел от ветра, не выбритый в то утро, полный, белый подбородок, как и простоватые, веселые губы, то и дело вздрагивал от громкого, почти детского смеха. Он шутил с вельможами. А те, несмотря на свою важность и на его скромный вид и наряд, почтительно внимали как его шуткам, так и вообще его резкому «скоро́сому» — далеко слышному, с заметным акцентом и отличному от прочих голосу.

— Да знаешь ли, Дмитрий Васильич, — продолжал офицер, обращаясь к тайному государеву секретарю, Волкову, — говорят, что ты, батюшка, с этим daß Ihr Beide mit diesem renommierten Chicaneur — с этим надутым придирщиком Ломоносовым — прожектец составил — всех немцев из России выгнать? Правда ли то? Ха-ха! Отвечай-ка мне...

— То, ваше величество, сугубая напраслина, — покраснев и низко склонясь, ответил Волков, — и я сему негоциатору вольнодумцев не похлебник!..

— То-то, Васильич, берегись, — и, смеясь, скороговоркой продолжал Петр Федорович: — И я тебя, каналью, за то намедни чуть не заколол... Und noch ein Punkt... и вот еще один пункт, Васильич... Saperment! Voyons... Должен бы ты, батюшка, за это под арестом посидеть... Милости пожалуйста!.. Попроворил в газетном артикуле, про кончину покойной государыни, мою жену императрицей назвать!.. Но я помню прежние твои услуги. Сей гранд-д'эспань, господа, мне, как великому князю, копии с секретных протоколов тайной конференции выдавал... Покойной государыне изменял, мне зато верно служил... Ха-ха!.. Что, братец, выдал твои плутни? Погибнет птичка от своего язычка...

— Никогда того не было, ваше величество! — из красного став бледным и еще ниже склонясь, ответил Волков.

— Но, может, ты, Васильич, — не унимался трунить Петр Федорович, — может, ты и моей жене теперь все так же переносишь, как проворил и мне? Pah! s'ist mir alles

Eins!.. Мне, господа, все одно! Милости пожалуйста!.. Мадам «La Ressource»[1] и без усердных предателей, пожалуй, все знает... Бессердечные и хитрые женщины — те же колдовки... А вот и катер... Карл Карлыч, Лев Александрыч, герр барон! Садитесь... Nun, vorwärts!..[2] Едем...

Унгерн, Корф и Мельгунов сели с государем в катер. Нарышкин и Волков поехали вслед за ними в шлюпке.

— И такое великое хохотание постоянно! Как видите! — усевшись в шлюпку, вполголоса и несколько по привычке заикаясь и в нос, воскликнул Волков. — Срамит и шпыняет при всех: не знаешь, куда и глядеть...

— А сама эта поездка? — нагнувшись к Волкову, сердито произнес обыкновенно веселый и беспечный Нарышкин. — Собрался, представь, как на пожар. Даже дядя принц Жорж о том не проведал. И меня взял случайно, уж садясь в возок... Что ему! Была бы корзина с кнастером да с коллекцией солдатских трубок. Надумал что, крикнет: «Vorwärst drauf los!» — и вся недолга...

— Да что же, что он надумал теперь? — допытывал Волков. — В чем тут новые конъюнктуры? И как о том не предупредили Александра Иваныча?

Волкову ясно вспомнился в эти мгновения сердитый правый глаз Александра Иваныча Шувалова, расстроенный нередко потрясавшими сценами допросов и пыток в недавно закрытой тайной канцелярии. «Как замигал бы этот глаз, — думалось Волкову, — как скривил бы и всю правую сторону лица, если б ему сказали, что государь очертя голову бросился на такое неподобающее свидание!»

— Вся сия препозиция, ясно уж видно, на какой фасон, — косясь на гребцов, презрительно ответил Нарыш-

---

[1] «Надежда» *(фр.)*.

[2] А теперь — вперед!.. *(нем.)*

кин, — государь, очевидно, получил отсель, из Шлюшина, некое подметное письмо: ну и поехал... Иванушка, вишь, сильно ему понадобился...

— Но для чего, для чего? — продолжал допрашивать Волков.

— Дело ясное... чтоб насолить жене... Твердит одно: не знал я, каково принцу... надо, вишь, ему помочь...

— Чего ж ты на то скажешь?

— Да пустяки, — ответил Нарышкин, — дурачок ведь принц Иван, совсем умишком высох! Александр Иваныч еще недавно о нем вспоминал... А уж ему ли доподлинно не знать про то? Все репорты шли через его руки. Беспамятен, сказывает, косноязычен стал и скорбен главой... И с этакой-то дурафьей еще возиться затеяли... Один смут и толчение воды... Вот и вечер у Воронцовых пропущен — а нынче там бириби́ в двух салонах и граф Сен-Жермен о мертвых обещал рассказать! — с досадой прибавил Нарышкин.

— Будет нам и с живыми немало возни! — произнес Волков. — Подметное письмо! Чья рука тут колобродит? И как отвратить?

«Ужли из Берлина, Фридриховы новые ходы опять? — прибавил про себя Волков. — Или здесь, поближе, искать новых затей?»

Катер и шлюпка причалили к острову. На катере шел иной разговор.

— Боюсь, боюсь я этого свидания! Не выдержу! — в искреннем волнении и страхе, шептал, между тем, по-русски Петр Федорович Корфу. — Как хочешь, брат, а он ведь человек, притом какой семьи!

— И я в немалом амбара́, — отвечал Корф, — вез когда-то его дитятичкой в Холмогор... Но, courage, Majestät[1], смелей! Являйте себе достойно ваш сан...

---

[1] Смелей, ваше величество! *(фр., нем.)*

— Да ведь — schlicht und recht — по правде, не мне бы следовало на троне быть, а ему, — не унимался Петр Федорович. — Как я на него посмотрю и что ему скажу?

— В таком разе, Majestät, — чопорно и важно вмешался Унгерн, — напрасно было в эти места ехать...

— Напрасно, напрасно!.. Двадцать лет бедный взаперти сидит... Экие вы! Но вы еще про меня услышите...

Сойдя на плоский берег у крепости, император и его свита пошли влево к воротам. Здесь их встретил, ставший от страха хуже малого дитяти, комендант Бередников. Хотя император желал выдержать строжайшее инкогнито, Бередников сразу его узнал. Петр Федорович взял у Унгерна, за собственным своим, от 17 марта, подписанием, именной на имя Бередникова указ и, приложа руку к шляпе, почтительно вручил его коменданту.

В указе было изображено:

«Имеете тотчас допустить нашего генерал-адъютанта Унгерна и прочих с ним, когда он прикажет, высоких подателей сего монаршего повеления, к осмотру государственной Шлиссельбургской тюрьмы, а буде они того пожелают, то и к свиданию, даже без свидетелей, с известною, тамо заключенной персоной. И если Унгерн прикажет Чурмантееву, с арестантом и его командою, из крепости в другое какое место по нашему соизволению выехать, то того не воспрещать».

— Это что? — спросил, ткнув тростью в тяжелые, дубовые ворота, император. На левой половине ворот государевой башни была шведская надпись: «1649 года — 18 мая».

— Виноват, ваше... казните, как есть, забыл соскоблить!.. Стереть! — заговорил, отдуваясь, весь красный Бередников.

— Но разве такие надписи, господин комендант, стирают? — насмешливо его оглядев, произнес император. — Эти литеры, господа, со времен шведов... Я ведь учился, маракую... По сим же плитам шестьдесят лет назад сам Петр Великий изволил прохаживаться...

— Плиты не вынуты, так точно-с! — утирая лицо и жалобно взглянув на свиту, сказал Бередников.

— Еще бы вам крылечко из них помостить! — улыбнулся император. — Где арестант Безымянный? Ведите нас к нему!

На дворе у церкви высоким посетителям Бередников представил князя Чурмантеева.

— Хромаете? В войне с Пруссией ранены? — нахмурясь, спросил генерал.

— Упал здесь намедни с лестницы, — ответил старший пристав.

— Зять Ольдерога, — шепнул государю Унгерн, — из Риги in die Garde[1] переведен...

— А, очень рад! Веди же нас, сударь, — обратился император к Чурмантееву, — только и нам, батюшка, просим, ноги или руки при верной оказии не сломай...

Посетители обогнули церковь. Влево, по двору, вдоль крепостной куртины, шли в два яруса, с открытой галереей, тяжелые каменные казармы внутренней стражи. Дом коменданта особняком стоял вправо, у церкви. В глубине двора, за внутренним каналом, посетителям предстояла другая, мрачная, обросшая мхом стена. Через канал вел подъемный мост. Против моста были ворота, и возле них стоял часовой. За стеною, как объяснил комендант, находился другой внутренний двор и там, вправо, дом старшего пристава Чурмантеева, влево — отдельная, в два решетчатых окна, двухъярусная Светличная башня, с казематом известной персоны.

— Ist aber fest zugestopft alle Wetter![2] — сказал, входя в этот двор, Петр Федорович. — Свету маловато, окно узко и то, saperment, заграждено снизу дровами.

Государь отозвал Чурмантеева к стороне.

---

[1] В гвардию (*нем.*).

[2] По всякую пору закрыто наглухо! (*нем.*)

— Каков темпераментом принц? — спросил он, разглядывая лицо пристава.

— Как вам доложить? — смешался Чурмантеев. — Недавно я, государь, при нем и потому...

— Правду, правду мне говори, — перебил Петр Федорович, — по душе, откровенно als ein Soldat[1].

— Временем робок он, уклонен, — начал пристав, — вежлив и даже стыдлив; нрава тихого, бывает же, сударь, и вот как понятлив... Как спокоен — говорит обо всем добропорядочно, толково; сказывает евангелием, Минеею, Прологом и книгою Маргарит; толкует, где и что в них написано...

— Но как же, tausend Teufel!.. Как же твой комендант доносил, — сердито топнул ногою государь, — все Шуваловым на угоду... Sklavisches Pack![2] Уверял, что принц слабоумен и вообще выглядит точно зверь лесной.

— Как не быть зверем, коли выведут из терпения, — покосившись на помощников, сказал Чурмантеев, — взбаламутит его какая прижимка — зовет всех еретиками, шептунами, сам плачет, говорит немо, невнятно и так от смуты косноязычит, что и привычным не в силу его разуметь. Да и не всем открывает свои способности...

— Скрытен? О! Я угадал!.. Den Nagel auf dem Kopf getroffen[3], гвоздем в центрум попал. Ну, а когда тих?

— В тихости весело и кротко так смеется, — продолжал Чурмантеев, — и — дерзаю доложить — наприклад даже становится забавен... весел, надеется на все и прыгает, аки малый ребенок... а то строит рожи...

— Кто его здесь дразнит? Говори, — поглядев вокруг, произнес государь.

Он достал из камзола инбирную карамельку и, с целью отбить изжогу минувшей бессонной ночи, опустил ее в рот.

---

[1] по-солдатски *(нем.)*.

[2] Рабская сволочь! *(нем.)*

[3] Буквально: попал по шляпке гвоздя *(нем.)*.

— Не усмотришь за всеми, больше солдаты с галереи, — сказал Чурмантеев, — а бывает, кто и выше... Ну, и не стерпит... Горд притом и любит, чтоб был во всем порядок... Неуч иной часовой, у его дверей, ночью начнет вертеться, ногу об ногу чесать либо громко кашлянет, ружьем невежливо стукнет — принц тотчас осерчает, жалуется мне утром, смеет ли, грубиян, тот солдат, так его обижать? Я-де, говорит, вот как его уйму... И в ту пору вновь старается доказать, какова он для всех высокая, важная персона...

— И что ж ты ему на это? — спросил Петр Федорович.

— Говорю: «Полноте, сударь: все то вранье! И лучше вам такой пустоши о себе не думать и впредь не врать...» Куда! Весь почернеет от гнева, клянется, дрожит... Звери вы, говорит, колдуны и еретики! Мучите меня, и Господь вас за невинного страдальца разразит и прах ваш по ветру развеет...

«Так, так! Наклеветал Шувалов! — подумал государь. — В письме истина поведана...»

Он подошел к башне. Из-за дома пристава выбежала с саночками девочка, за нею другая. Увидев нежданных гостей, они в испуге остановились и бросились к крыльцу, у которого ни жива ни мертва стояла Поликсена.

— Ба-ба-ба! Это что? — воскликнул государь. — Юные милые создания и с ними комендантшей фея, прекрасное существо!.. В таких ужасных местах!

— Мои дети и их бонна, — пояснил князь Чурмантеев.

Петр Федорович взглянул пристальнее. Он узнал Пчелкину и ласково, рассеянно ей поклонился.

«Боже, неужели все это через меня!» — замирала тем временем, боясь поднять глаза, Поликсена.

По стоптанным, белокаменным ступеням внутренней лестницы гости вошли налево, в тесные сени государственной тюрьмы. Чурмантеев вынул из кармана большой черный ключ, отомкнул им низенькую, черную, окованную железом

дверь, ввел гостей в другие сени, отворил из них новую дверь, прямо, и отступил. Свита также посторонилась. Унгерн первый вошел в каземат Ивана Антоновича, за ним, сбросив верхние одежды, государь, Волков, Корф и остальные.

Каземат принца Иоанна был аршин в десять длины и в пять ширины. Мрачные подновленные его стены были со сводом. Узкое, с толстыми решетками окно, вправо, невысоко от пола, выходило на галерею. Влево от входа стояла большая, из зеленых кафлей печь, с топкою из сеней. Поперек всей комнаты шла тесовая ширма. За ширмой помещалась постель. Возле окна — стол; у стола скамья. Дрова скрадывали свет, и без того слабо падавший в комнату.

— И только? Oh, über das Elend![1] Какой ужас! Гроб, а не жилье! — сказал вполголоса Петр Федорович Унгерну. — Душно и темно... А Шувалов как расписывал! Nichts als Lüg und Trug!..[2] Ненавидую гнусные интриги, обман... Но где же он в этом каменном мешке?

— За ширмой, — ответил Чурмантеев, — он по статуту... думает, что пришли его комнату убирать... Запрещено его видеть даже слугам...

— Зовите его, — негромко сказал, не сходя с своего места, государь.

Чурмантеев кликнул арестанта. Иван Антонович вышел из-за ширмы. Вид блестящей государевой свиты его ослепил. Он зашатался, чуть не упал и, озираясь, как пойманный жалкий зверек, смешным и неловким движением попятился назад за перегородку.

— Не опасайтесь, сударь! — с напускной смелостью, дрогнувшим голосом сказал Петр Федорович. — Я к вам послом... от самого государя. Подойдите ближе: смелей... вот так... Ну!.. Скажите, что-нибудь вам в этих местах недоста-

---

[1] Какая нищета! *(нем.)*

[2] Ничего, кроме лжи и обмана! *(нем.)*

ет?.. Скажите! Ваши слова примут не инако, как с должным вниманием.

Иванушка бросил беглый взгляд на узкоплечего, плоскогрудого, невзрачного и рябого офицера, в белом, с бирюзовыми обшлагами, кафтане, с доброй улыбкой и грубо-капральской выправкой, стоявшего впереди других. Что-то странное, что-то хватавшее и уносившее куда-то далеко отозвалось, заговорило в душе узника. «Где-то видел, видел... но где?..» — обливаясь кровью, шептало ему бедное, робко бившееся сердце. Он ступил шаг вперед, протянул руки.

— О-о, — начал он, не спуская глаз с Петра, — я... я...

Он упал пред ним на колени.

— Встаньте, принц! — с рыцарскою вежливостью, тронув его лосиной перчаткой по плечу, сказал Петр Федорович. Будьте добры, кураж! Я облегчу... я попрошу государя... облегчить и улучшить вашу участь... Я близок к нему; меня он слушает. Просите, что вам нужно?

Лицо узника страшно побледнело; губы исказились от усилий проронить слово. Речь отказывалась ему служить. Язык коснел. Кровь молотом стучала в голову. Он, озираясь на всех, не вставал.

— Просите, просите милостей! — шептали стоявшие вокруг.

— Я не тот, за кого... Душно! — проговорил узник. — Тут вовсе душно — воздуху нетути.. — продолжал он скороговоркой, сдерживая рукой дрожавший, как в лихорадке, подбородок. — Повидать бы небушко... зелень тоже... походить бы на земле, по цветам!.. От всего за то, все отдам... Я их прошу, а они... подло...

Он не мог говорить далее, робел и дико на всех смотрел.

— Кто вы? — спросил, поднимая его, государь.

Принц медлил ответом.

— Кто вы и как сюда попали? — ласково повторил, улыбаясь, Петр Федорович.

Арестант вздрогнул, вытянулся, стал шептать.

— Я... император, — точно сорвавшись, проговорил он громко. — Божиею милостью... ну, Иоанн Третий, император... царь!

— Кто тебе сказал, что ты император? — нахмурясь и брякнув палашом, спросил Петр Федорович.

— Я не тот, за кого! — ответил, боязливо попятившись, узник. — Да, да! Иоанн давно помер, взят на небо. Я видел его — он здесь, во мне...

— Кто тебя уверил, что ты государь? — спокойнее повторил Петр Федорович.

— Кто сказал? Стойте — вспомнил!.. Учитель сказал... потом караульный...

— Император не сидел бы в таком месте, притом в бороде... — произнес Петр Федорович.

— Меня заперли. Но... я лучше их... чистый дух, а они злюки, еретики.

— Что вы помните о детстве, о прошлых годах? — спросил государь.

— Где помнить! Голова темна, тошнехонько...

— Однако же поведайте, что вспомятовано будет.

— Все мучили... Был я вот какой ребенок, махотка-детка. Разлучили с матерью, отцом... Живы ли, не знаю...

— Ну, ну...

— Стали звать меня Гришкой — ты не царь, а колодник! Отдали в руки аспидов, колдунов. Да, да... колдуны... У них дым изо рта... И начали возить из крепости в крепость. И вот теперь Иванушкин дворец...

Узник смолк. Окружавшие молча на него смотрели.

— Все ли приставленные к вам были злые люди? Не было ли меж них и добрых? — спросил государь.

— Было двое... Один — старик с женой! В Холмогорах выучил молитвам, письму... Другой — помоложе... да, совсем молодой...

— Ну, и что ж этот другой? Не бойтесь, говорите...

— Он меня, ребенка, махотку, провожал от матери и всю дорогу, всю, как это ехали, во как ласкал, жалел и плакал.

— А потом?

— Как приехали это к морю, давал этот-то молодой бегать по берегу, в саду; сад большущий, пахло так — цветы... и от монахов приносил игрушки...

— Где ж он теперь? — спросил Петр Федорович.

— Видно, помер, снится все... В книгах написано... оскудеша... излияся слава во прах...

«Начетчик, все по-словенски!» — подумал государь.

— Помните ли вы имена этих людей? — спросил Петр Федорович.

Лицо арестанта опять исказилось, выражая ужас и волнение. «Он, он! — звучало у него где-то на дне души. — Он... Не во сне ль его я видел?»

Иванушка хотел говорить и не мог.

— Courage prince, courage![1] Я вас слушаю! — обратился к нему государь.

— Первого звали... постойте... ох, забыл...

— А второго?

— Второго... Вспомнил... Корф, да, Корф.

Государь оглянулся. Николай Андреевич Корф, усиливаясь что-то достать из заднего кармана, кривился и хмурился, всячески удерживаясь, чтоб не заплакать. Слезы между тем катились по его вздрагивавшим, морщинистым щекам.

— Merkwürdig, Majestät, o! fabulös![2] — громко сморкаясь, крякнул он в платок.

Государь был искренне, глубоко тронут. Обыкновенно беспечный Нарышкин стоял сердитый и опешенный. Мельгунов и Волков угрюмо смотрели в землю.

«Не малоумный, не дурафья, черт возьми», — думали они. Унгерн не спускал растерянных глаз с государя.

— Бедный, жаль мне тебя, — сорвалось чуть слышно с языка Петра Федоровича, — видите, барон, добрые-то дела!..

---

[1] Смелее, принц, смелее! *(фр.)*

[2] Удивительная история, ваше величество! *(нем.)*

Он хотел еще что-то сказать, но и его круглые, выпуклые глазки замигали. Он странно, по-детски всхлипнул, повернулся и, гремя шпорами и палашом, неуклюже пошел вон из комнаты.

— Государь! О, государь! — закричал вдруг, кинувшись за ним сквозь толпу окружавших, Иван Антонович.

— Как знаешь ты, что я государь? — спросил, обернувшись к нему, Петр Федорович. — Измена! Предупредили? — продолжал он, с гневом взглянув на окружавших.

— По портрету! — объяснил Иван Антонович. — Монета!.. вот, вот!.. это ты.... Мы одной крови... ты дядя мне и ты брат по престолу... Брат! Помоги... Брат! Освободи... в глушь, в Сибирь... только волю...

Петр Федорович остолбенел.

Было мгновение — император царствующий был готов броситься в объятия императора-узника.

— Я подумаю... готов!... О, я свет удивлю! — искренне воскликнул Петр Федорович. — Мучители, бандиты человечества! Истины не упрячешь, сквозь щели тюрьмы, сквозь крышку гроба: везде она пробьется. Николай Андреич, Дмитрий Васильич, — обернулся он, — и вы, господа гарнизонный караул, на пару слов. Ласкаюсь надеждой — взять резонабельных мер...

Он с облегченным сердцем быстро вышел из каземата во двор. Следом за ним вышли Корф, Нарышкин, Волков и тюремное начальство. С принцем остался один Унгерн.

— Проклятый Фридрих, змей, сатана! — завопил, стуча себе в грудь, Иван Антонович. — Это он, через него... —

— Что ты, батюшка, ш-ш! — зашипел на него Унгерн. — Да Петр-то Федорович молится на него... Герр Готт![1] А ты ручку лучше его величеству поцелуй, в ножки поклонись да проси его, проси...

---

[1] Господь Бог! *(нем.)*

Иван Антонович бросился на колени перед темным, старого письма образом Спаса. Длинные, светло-русые волосы его падали на холодный пол при каждом его поклоне. Он крестился большим крестом и торопливо шептал горячие, несвязные молитвы.

IX

ОРАНЖЕВЫЙ ВОРОТНИК

Петр Федорович мерными шагами ходил, взволнованный, перед башней. Рядом, прихрамывая и стараясь попадать с ним в ногу, ходил старший тюремный пристав, князь Чурмантеев. Нарышкин и Волков, перешептываясь, стояли здесь же во дворе, за дровами, Унгерн и Корф — в глубине площадки, у ворот.

На коменданта государь осерчал при выходе из каземата и прогнал его за ворота. Там, у входа на мост, робко жались младшие тюремные приставы, Власьев и Чекин, и прочие гарнизонные офицеры. Далее, у церкви, стояли — подоспевшая посадская полиция, священник крепости и кое-кто из семейств офицеров и именитых горожан.

Между последними был и Мирович. Он узнал императора еще на берегу и, проникнув вслед за посадскими, стоял сильно озадаченный.

«Что бы это значило? — рассуждал он с легкой дрожью. — Как нежданно подъехал государь! Что, как принц выдаст ему о свидании и разговоре со мной?.. Могут найти у него мою бумагу. Надо быть готовым ко всему. Могут потребовать, спрашивать. Не отрекусь ни от чего... Пропадай голова, все расскажу. Ужли мучиться ему доле?»

Император остановился.

— Ну, а послушай-ка, сударь, теперь, — обратился он к Чурмантееву, — скажи-ка ты мне, да опять по чистой правде, была речь принцева и на мой счет?

Чурмантеев замялся. «Как ему сказать? — подумал он. — И что из того выйдет? И действительно ли он желает облегчить участь принца?»

— Увольте, государь, — ответил он. — Не сметь мне, рабу...

— Сказывай, один ведь тебя слушаю! — с детским нетерпением, хлопая лосиной перчаткой по перчатке, настаивал Петр Федорович.

Он вынул из камзола другую инбирную карамельку и опустил ее в пересохший от волнения рот.

— С нового года, как я сюда прибыл, — начал Чурмантеев, — принц ни разу не упоминал про вас; и знал ли он о вашем восшествии, про то не ведаю... А недавно...

— Что же было недавно?

— Точно во сне ему привиделось или слетело на него какое прозрение... в страх даже привел... вдруг заговорил...

— На какой же манер он заговорил?

— Ныне правящий царь — это ведь Петрович, внук Петра, сказал мне намедни принц, да и я-де, как и он, здешней империи принц и ваш государь, только Иваныч... От Ивана царя... И пора бы, говорит, Петровичам с Иванычами мир навсегда положить... Слава-де в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение... Так и сказал... Прояснение на него будто нашло; индо в страх поверг!.. Было бы, говорит, то угодно Господу, и тихость же святая сошла бы на наше царство, и славе о том Петра и моей не умереть бы тогда отныне и до веку...

— Так и сказал?

— Так, доподлинно...

— Да он филозо́ф, saperment! Wahr, sehr wahr!..[1] Правда! Надо в момент, без промедления и ни на какие дела не смотря, конец всему положить... Лицедеи, душегубы! Sklavisches Pack! Банда могильных гиен...

---

[1] Справедливо, очень справедливо!.. (*нем.*)

Петр Федорович повернул спину к Чурмантееву и снова направился ко входу в каземат. Здесь его встретил Волков.

— Одно слово, ваше величество, — сказал, склоняясь, тайный государев секретарь.

— Что тебе? Скорей...

— Умоляю об одном: что бы вы ни решили, не приводите в исполнение теперь же...

Петр Федорович молча нахмурился.

— Письмо, ваше величество... тайное о принце письмо...

— Ну, так что же?

— Не козни ль то, простите, злых советников государыни, вашей супруги?

— Вздор, Васильич! Совсем дурашные, не идущие слова.

Волков оживился, глаза его блеснули твердостью.

— Освободив принца, — продолжал он, — вы создадите себе, государь, клянусь вам, опасного, гибельного соперника! И одни лишь отечества предатели, льстецы могут давать такие антиполитические советы... Да и еще осмелюсь прибавить...

— Говори, ох, уж разумники! Что там еще умыслил и на бобах развел? Не испытывал, видно, сам тюрьмы, оттого и храбришься...

— Обижать изволите, государь... Не в моем праве давать советы о тюремных закрепах да о цепях... Ведать изволите, кто возымел счастье преславный манифест о вольностях дворянства поднести к вашему подписанию?.. Шаг один отныне, сами такожде то сознать удостоили — к освобождению и прочих российских рабов... Но не следует упускать из виду гласа бессмертием одаренных гениев...

Волков помолчал и еще более ободрился.

— Его величество король Фридрих, — сказал он, вновь склоняясь, — неоднова дружески советовал вам остерегаться и покрепче держать взаперти принца Ивана, дабы чья-либо

горячая голова, от мечтательной дерзости и лжемыслия, не вздумала возвести его на престол...

— Пустяки, суесловство! — резко перебил и отвернулся от Волкова Петр Федорович. — О троне речи нет!.. Кто тебе наврал?.. Я один, слышишь ты, один о том могу говорить...

Имя Фридриха, однако, заметно смутило государя. «А ведь, пожалуй, и правду сказал этот бессердечный и ловкий всезнайка-говорун? — подумал он, сердито глянув в продолговатое, сухое, с большим белым лбом и красивым носом лицо Волкова, серые, умные глаза которого почтительно и с строгим вниманием следили за ним. — У таких краснобаев-советников всегда найдутся резоны кстати... Опасно-неопасно, а дело и впрямь надо бы похитрее и ловче обделать... Я уже писал королю, что держу Ивана в надежных руках, взаперти...»

Петр Федорович еще раз бросил взгляд на Волкова, досадливо одернул на себе портупею и не так уж смело взялся за скобу тюремных дверей.

— Господа! — обратился он к свите. — Комендант, сюда, и вы следуйте за мной... Что можно и что политические и штатские резоны позволят, все сделаю, не глядя ни на что. Я не забочусь о его мнимых правах — выбью глупую дурь из его головы, сделаю его человеком, слугой трона... из него выйдет бравый солдат...

Он снова вошел в каземат Ивана Антоновича. Свита, приставы и комендант разместились за ним у порога.

— Князь! — обратился император к принцу. — Скоро день благовещения... В народе принято в этот день выпускать... Вы... вы...

Тут резкий, странно дребезжавший голос Петра Федоровича мягко дрогнул и оборвался. Добрые, искренние слезы выступили на его глазах.

— Я обещал... я слово дал мир удивить! — продолжал он с детски ласковой улыбкой. — Не от своей персоны говорю! И вы ошибались, если меня приняли... думали... Я простой офицер; но меня государь любит и

мне аудиенции дает... Господин комендант, слушайте... Положение арестанта, поистине надо то сказать, ужасно. Поглядите на эти аркады, эти стены! С решеткой окно... Du lieber Gott!..[1] Здесь и при солнце без свечки трудно оставаться... Воздух душен... Государь из одного откровенного письма все узнал... Мне дали комиссию в этих делах убедиться, и я убедился... Содержится принц хуже, чем последний колодник, злодей.... Стыдитесь, господа, фуй, стыдитесь...

Государь остановился. Все взоры были устремлены на Ивана Антоновича. Он стоял, понурившись, и, тяжело дыша, длинными белыми пальцами судорожно разглаживал свою шелковую, каштановую бородку.

— Не в кушанье дело, господин комендант, — в обхождении! — строго крикнул государь Бередникову. — Принца в невежестве оставляют, в дикости, без наук. Вы про то молчать изволили; я от посторонних персон все узнавал. Это должно быть изменено... А потому, господин главный начальник здесь, и вы тоже, старший пристав... Im Namen — от имени государя императора — и в силу данной мне высочайшей резолюции, вменяю вам отныне — над лучшим положением принца наблюдение иметь... Колесо фортуны — гексенмейстерский каприз! — сегодня внизу, завтра вверху. Извольте — слышите ли то? — выводить принца, время от времени, гулять внутри крепости, а там и за стенами. Пусть прогуливается, укрепляется добрым воздухом. Учите его... Читать он знает, но того мало. Сего пункта надо усиливать... Свет науки да засветит его ум... Sind aber hier?..[2] Есть ли в этих местах хорошие учителя?.. Ласкаюсь надеждой, найдете...

Узник бросился к ногам Петра Федоровича. Грудь его вздымалась от сдержанных рыданий.

---

[1] Боже милостивый!.. *(нем.)*

[2] Есть ли здесь?.. *(нем.)*

— О! — визгливо вскрикнул он, хватая императора за полы кафтана. — Петр, Петр!.. Брат мой!.. Все бери себе, все отдаю...

Государь положил ему руку на плечо.

— Выстроить ему, господин комендант, особый, хороший, просторный дом, — продолжал Петр, ласково кивая принцу, — да чтобы окошки были не узенькие и на солнце. А когда здание будет готово, сам я приеду сюда, чтоб персонально его туда перепроводить. К моему... к государеву тезоименитству... чтоб все то было готово!.. А потом мы вас, принц, в военную службу — будете бравым воином, в офицеры, в генералы дослужитесь... Довольны ли вы, принц?

— Сжалься, не уходи, не откладывай! — крикнул, порываясь к императору, узник. — Брат!.. Петр! Не скрывайся, ты ведь государь!.. Зачем отсрочка!.. Смилуйся!

Унгерн и Корф бросились к принцу. Государь их остановил.

— Выпусти меня сейчас, выпусти!.. Призвах имя твое во гробех, — косноязычa и дико озираясь, кричал узник. — Дай жить с нею!.. Видеть ее, слышать!.. (Волнение более и более охватывало его, путало слова.) В леса, в Сибирь... только не здесь... Уйдешь, ни тебя, ни ее не увижу... Брат, брат, помилуй!..

Присутствующие были изумлены, потрясены.

— О ком это? С какою персоной он думает жить? — спросил государь Унгерна. Тот взглянул на Бередникова, последний на Чурмантеева.

— Бредит, знать: из Маргарит что-нибудь вычитал и — простите — врет! — ответил до крайности озадаченный Чурмантеев. — Что ни день, новые, как видите, пустоши, новое вранье...

Иван Антонович плакал, вставал и снова бросался на колени перед императором, хватая его за руки, волочась за ним и целуя ему ноги, одежду. Бессвязной, дикой, молящей его речи нельзя уж было понять. Окружавшие не могли его оттащить, остановить.

— Herr Gott... Armes Kind![1] Сил нет смотреть, пустите его! — сказал государь, замедлясь на пороге и добродушно, глазами, полными слез, смотрел на принца. — Пусть выйдет... пусть свежим воздухом вздохнет... на крыльцо его, на крыльцо...

— Но у него нет теплого, — вмешался Волков, — еще простудится...

— Э, батюшка! Когда я хочу, так ты!!. Колпак! — сердито крикнул и топнул ногой государь. — Вот мой плащ, пусть надевает пока! Auf Wiedersehen!.. До свидания, принц! — торопливо и сконфуженно отворачиваясь от Ионна Антоновича, кивнул ему головой Петр Федорович. — Карл Карлыч! Sagen Sie, daß man...[2] вели ему из кареты мой шлафрок в презент принести... пусть себе, пусть...

Свита, с своей стороны, поспешила вручить узнику подарки — кольца на память, табакерки, часы. Он неумелыми, похолодевшими руками неловко брал эти вещи, тыча их в карманы куртки и шаровар.

Лица, стоявшие на дворе, и в числе их Пчелкина, видели, как у Светличной башни вновь показалась царская свита и как рядом с государем, между Унгерном и Чурмантеевым, вышел на крыльцо высокий, с светло-русыми, монашескими волосами и в голубой гвардейской епанче, бледный юноша. Государь, размахивая перчаткой, что-то с сердцем высказывал коменданту. Этот с рукой у шляпы, вытянувшись, молча стоял перед ним.

«Чем-то решено, какой конец? — мыслила тем временем, жадно пожирая глазами государя, Поликсена. — Освободит ли он бедного, раздавленного судьбой родича? Что говорил он с ним? Что решено? Столько я учила принца, наставляла

---

[1] Господи Боже... Бедное дитя! *(нем.)*

[2] Прикажите... *(нем.)*

и все, все ему рассказывала... Как он жаждал свободы! Как выпытывал о свете, о людях, клялся...»

«Ужли, — рассуждал в то же время у церкви, в толпе других, Мирович, — ужли наконец и мне окажет милость мачеха-фортуна? Не верится! Кто обратит внимание на столь мелкого человека? Но если произойдет чудо, если решат возвратить ко двору принца? Кто лучше его сумеет тогда быть защитником, охраной всех несчастных, сирых всех, оделенных судьбою?.. Тогда и я подам прошение о возврате дедовских имений... Эка, черт, какие мысли! Так вот о тебе, собаке, и подумают! О голштинце каком-нибудь, о лакее подумают, а не о тебе. Боже-Господи! Ну, отчего бы теперь государю, и без принца, не обратить на меня внимания? Что ни говори — проклятые связи! А ведь я был на войне, трудился... Нет! — заключил Мирович, прячась за спины других. — Лучше пусть он, добрый, бессильный, нерешительный, лучше пусть и не заметит меня, еще, пожалуй, узнает, что через меня доставлены пропозиции Панина о продлении войны... Пронеси его мимо, злосчастная судьба...»

— Господин офицер! Эй! Оранжевый воротник! — долетел до него из-за моста громкий, стремительный голос.

Мирович оглянулся. Все взоры были почему-то устремлены на него. Кто-то усердно толкал его под бок. Он подался вперед. Толпа перед ним расступилась. В нескольких шагах от него, вывернув врозь тупоносые ступни тяжелых ботфортов и держа наотмашь огромный палаш, стоял император.

— Kreuz schock-bomben-donnerwetter-element![1] Форм не соблюдаете, — сильно горячась, кричал на кого-то Петр Федорович, — а вот примерный офицер, — прибавил он коменданту, указывая на куцый и узкий, новой прусской

---

[1] Непереводимое немецкое ругательство.

формы кафтан Мировича. — Но это, сударь, жалко — не из ваших! Срам, срам, говорю я... шалберничество, вертопрашие! У того шляпа, как седло на голове, у этого — сукно неуказанной толщины, портупея без бляхи. Не потерплю того — слышите ли? Saperment!.. Не потерплю... У вам самих, господин комендант, епанча не по табели.. кошкиным мехом подбита... Бабам шубки такие носить, а не военным! Служба тут ни ползет, знать, ни едет...

«Великий Боже! — думал тем временем, глаз на глаз перед государем, Мирович. — О люди! Видят ли меня? Чудо чудное! Война, каторга походов не вывезла, вывез новый кафтан... Иные всю забитую, затертую, оплеванную жизнь добиваются, стремятся, а мне легко так выпало на долю... Ужли ж сейчас подойдет, станет, в отличие другим, говорить со мной, расспрашивать?..»

— А это, это что! — шагнув в сторону от Мировича, напустился вдруг Петр Федорович на помощника пристава, выпялившего глаза, солдафона Власьева. — Мало тебе, сударь, что в старой, отмененной форме, да и ту еще небрежительно изволишь содержать!.. Что глядишь?.. Третья пуговка от галстука — ногами вверх пришита... Разве то порядок? Дисциплина? Так по обержам только шляться, а не на службе!.. Чтоб то было все записано и мне доложено! — заключил Петр Федорович, направляясь к выходу из крепости. — Приеду в мае, чтоб все было в аккурате, да не инако, как со старательством... Будьте настороже, господин комендант... узнавайте гарнизонный устав... Вас первого заставлю прометать весь артикул...

Государь подошел к воротам. Унгерн накинул на него снятую с Ивана Антоновича шинель. Петр Федорович глянул к башне, где оставил принца. На опустевшей площадке по-прежнему расхаживал часовой. «Бедный! Опять заперли тебя!» — со вздохом подумал государь. Он отвернулся, взглянул к дому Чурмантеева, где стояла Поликсена, но и ее там уже не было.

«И только? — сказал себе, оставленный отхлынувшей толпой, Мирович. — И для того были ожидания принца, грезы, мечты? Чем порешил он судьбу несчастного? Ужли ничем? Ужли уйдет, и никогда более хоть бы и мне, мелкой сошке, ничтожеству, праху от его ног, никогда более не придется стоять так близко возле него, глядеть на него, его слушать? А я готовился всю правду сказать о принце, просить о себе... Проклятая судьба, проклятая!.. Был один случай, и тот пропустил...»

— Эй! Оранжевый воротник! — долетел до него тот же резкий, далеко слышный голос. — Милости-с, пожалуйста-с. Интересоват вас видеть поближе...

— Вас зовут, вас! — заговорили вкруг Мировича бледные, заискивающие лица.

«Иди, говори, проси!.. Все теперь исполнит!» — жгучей волной пронеслось в голове Мировича. Он встрепенулся, журавлем, в темп отбивая на прусский лад шаги, пошел к воротам и, с рукой у треуголки, вытянувшись, замер перед императором.

— Эссена, бывшего Нарвского полка? — спросил Петр Федорович.

— Точно так, ваше величество...

— Фамилия?

Мирович назвал себя.

— В командировке или в отпуску?

— В командировке был из штаба, теперь по домашним делам в отпуску.

Чурмантеев объяснил императору, что Мирович жених, посватался за его бонну.

Глаза государя весело блеснули.

— А! Очень рад! — добродушно усмехнулся он. — Вкус недурен, шельмовская парочка будет, хоть куда... Aber voyons!..[1] Невесту я, кажись, уже встречал: при покойной

---

[1] Но погодите!.. *(нем. и фр.)*

тетке служила... мы вместе танцами забавлялись... А ты при ком в штабе атташирован был?..

— Генеральс-адъютантом при Панине, — ответил Мирович.

Государь поморщился.

— Пеоемирие, господа, подписано! — сказал он, круто обернувшись к гарнизонным властям и щелкнув шпорами, — Gratuliere, поздравляю! Скоро и вовсе конец войне...

Все молча отвесили поклон.

— Собираясь сюда, — продолжал Петр Федорович, — я в печать отдавал полученные кондиции перемирия; скоро явятся в ведомостях... Довольно из пустяков кровь проливать. А тебя, господин подпоручик Мирович, за добропорядочное выгляденье и молодецкую муштровку даже вне фронта, жалую, не в пример прочим, персональным моим поручением... Отчисляю от Панина в столичный гарнизон...

Кровь бросилась в голову Мировичу.

«Вот когда, вот! — мелькнуло у него в уме. — Боги! Фортуна! Внемлю твоим велениям», — сказал он себе, с забившимся сердцем, опускаясь перед государем на одно колено.

— Явись завтра на вахтпарад! — продолжал Петр Федорович. — Или нет, еще день даю тебе в презент... побудь с невестой, — послезавтра... Рапортуй себя на плацу оберкригскомиссару... Понял? Он уж дальше о тебе доложит... От коллегии курьером поедешь, с дальнейшими негоциями о мире, к Бутурлину... А как возвратишься назад, — глаза императора опять добродушно и весело забегали, — зови, батюшка, на пир, на свадебку... Trés content, trés content!..[1] В память тетки, изволь, сам я и посаженым быть готов... Не просишь?

Мирович был ошеломлен, потрясен. Вокруг него раздавались поздравления. Ему жали руки, что-то ему говорили. Он ничего не понимал. Бессознательно ответив на вопрос тайного государева секретаря, на ходу записавшего объяв-

---

[1] Очень доволен, очень доволен!.. *(фр.)*

ленное о нем повеление, он увидел, что все бросились из крепости на берег за императором, и сам пошел туда же, вслед за другими...

— Herr Du, mein Heiland, ist das ein Volk![1] — садясь в катер, сказал Унгерну Петр Федорович. — Крокодилово отродье! Бедный принц!.. Из ума нейдет... А где ж мы, voyons, господа, важные дела сделавши, нашу солдатскую трубку выкуривать будем?

— Alles ist im Posthause bereit, Majestät![2] — подсаживая государя, ответил барон Унгерн.

На городском берегу Петра Федоровича встретила депутация от крестьян и мещанства. Впереди нескольких, без шапок, старых и молодых, в тулупах и охабнях, бородачей к нему выступил с хлебом-солью высокий, тощий, с тусклыми оловянными глазами, желтолицый и, как юноша, безбородый петербургский мещанин, недавно записавшийся в здешние купцы. Посадский пристав, завидев его с лодки, стал бел как снег. Купчина был тамошний салотопенный заводчик, из толка бегунов, известных в околотке и в столице, скопец Кондратий Селиванов. Он содержал в Шлиссельбурге подворье, где стоял и Мирович.

— Государь-батюшка, второй наш искупитель! — сказал, опускаясь на колени, Селиванов. — Бьют нас, мучат иудеи, злы посадски фарисеи! Ты один наша надежда! Сократился с небеси... Удостой, батюшка, своим заездом верных, хоть и малых, твоих людишек... Завод мой тута неподалечку, в лесу, и тебе, сударь, по дороге...

— Уважь, родимый, уважь, батюшко! — поклонились прочие из толпы.

— Сектант! — вполголоса сказал Унгерн. — Пристав аттестует — раскольщик...

---

[1] Что за народ, мой Спаситель! *(нем.)*

[2] На почте уже все готово, ваше величество! *(нем.)*

— Вероправность... der Glaube muss frei sein[1], — ответил император.

Петр Федорович заехал к Селиванову. Там государь кушал завтрак, было потом курение всею компанией трубок и обильное угощение всей свиты. Доставались и приносились из погреба водянки-холодянки, бархатное пиво, вина и сладкий медок.

Уезжая, государь пригласил Селиванова на свои именины в гости, в Ораниенбаум.

— К попу в крепости не зашел, не заглянул и в церковь, — шептали по курным, темным хатенкам, на рынке и по кружалам в городе, — а к толстосуму-скопцу заехал... Знать, близки последни времена.

На обратном пути с Петром Федоровичем в возке ехали Корф и Волков. Волков дремал. Корф усердно беседовал с государем. Угощения на Селивановском заводе развязали словоохотливый язык старого барона. Он то смеялся, то сыпал забавными, городскими анекдотами. Передразнивая тех, о ком говорил, он сообщил, между прочим, свежие сплетни о недовольстве уволенного на отдых от всех дел графа Алексея Разумовского и о новых любовных интрижках старого и беззубого подагрика князя Никиты Трубецкого. При этом зашла речь и об Орловых... Корф помолчал, что-то подумал и спросил государя, слышал ли он о том, что Шванвич, изрубивший младшего из Орловых, вновь показался в Петербурге?

— Фанфарон и трус этот твой Шванвич! И чего он ретировался! — сказал, нахмурясь, Петр Федорович. — Не худо бы и другого, старшего из Орловых, ему в дисциплину привести... Наш риваль — Григорий — уж больно фанаберит... да не по носу табак... А с женушкой мы еще посчитаемся...

— Обсервирую, ваше величество, обсервирую! — сказал Корф. — Все акции, все плутовства их у меня пренумеро-

---

[1] вера должна быть свободна (*нем.*).

ваны... Момент, ассюрирую вас, момент — и всех накрывать будем...

Государь улыбнулся, весело посвистал.

— И у меня, барон, резонабельный и бравый прожектец изготовлен, — сказал он, — свет изумится! Потерпите только немного...

Поздно за полночь оба возка въехали в Петербург. Волков, уткнувшись в угол кареты, храпел. Корф также начинал подремывать.

— Э, браво́! Тайный мой конференц-секретарь спит, — обратился Петр Федорович к Корфу. — Даешь слово молчать? Ein Wort ein Mann?[1]

— Ich schwöre! Клянусь, ваше величество!

— Так держи ж секрет — вот что мне советуют... И ты, как честный солдат, пособляй мне во всем. В мае или — что то же — в июне возьму я Иванушку из крепости в Петербург, обвенчаю его с дочкой моего дяди принца Голштейн-Бекского и прокламирую — как своего наследника...

Корф помертвел.

— Herr Gott!.. А государыня, а ваш сын? — спросил он под скрип тяжелого возка, нырнувшего в уличный громадный ухаб.

Дремота мигом слетела с головы барона.

— Мейне либе фрау[2], — улыбнулся император, — я постригу в монахини, как сделал мой дед, великий Петр, с первой женою, — пусть молится и кается! И посажу с сыном в Шлиссельбург, в тот самый дом, который для принца Ивана велел построить.. Ну? Was willst du sagen?[3] И дом тот будет им похоронный катафалк, каструм долорис...

---

[1] Слово мужчины? (*нем.*)

[2] Мою любимую супругу (*нем.*).

[3] Что ты скажешь? (*нем.*)

— Lieber Gott, ist das moqlich, Majestät?[1] Чтобы с того не вышла гибель для государства, а то и для вас самих...

— Пустяки! Voque la galère!.. Сдумано — сделано! — сказал Петр Федорович. — Таков мой рыцарский девиз... Не отступать, черт побери, не отступать! Что? Форсировано маленько? Трусишь? Wir wollen, голубчик, ein bißchen Rebellion machen[2].

— Что моей роли касается, можете, ваше величество, фундаментально спокойны быть, — ответил генерал-полицеймейстер. — Meine Ergebenheit, моя преданность к вам, Majestät, из мрамора, из гранита... и тайну эту из моей души до смерти не вырвут...

На другой день, поздно вечером, Корф подъехал с Мойки к апартаментам императрицы, был тайно, по черной лестнице, к ней введен и сообщил ей все слышанное от императора. Но его предупредили.

Волков еще ранее, а именно утром того дня, проник к камер-фрау государыни, Катерине Ивановне Шаргородской, и через доверенную особу, с которой он давно уж вел на всякий случай переговоры, сообщил Екатерине Алексеевне не только то, что говорил государь Петр Федорович, но и то, что было при том отвечено Корфом.

«Петровцы» заметно начинали переходить в лагерь «екатериновцев». Приближались события, так характерно названные в одном из украинских мемуаров того времени *«Похождениями известных петербургских действ»*.

---

[1] Боже милостивый, возможно ли это, ваше величество? *(нем.)*
[2] Мы хотим сделать маленький мятеж *(нем.)*.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«ПОХОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНЫХ ПЕТЕРБУРГСКИХ ДЕЙСТВ»

— Роковая минута приближалась...
А. С. Пушкин. «Арап Петра Великого»

X

ПОМОЩНИЦА ПРИСТАВА

Нежданное посещение императором Петром Федоровичем Шлиссельбургской тюрьмы и посылка Мировича с бумагами в заграничную армию возбудили немало толков и подозрений в высшей столичной петербургской среде.

Голштинская партия еще более подняла голову. Хотя ее вожаки старались соблюдать тайну, но по их лицам, движениям, двусмысленным улыбкам и речам можно было догадаться, что при дворе затевалось нечто необычайное. Представители русской партии — друзья императрицы — с тревогой всматривались в близкое будущее.

Пчелкина из первых узнала о последствиях свидания государя с его несчастным родственником. В участи секретного арестанта, очевидно, готовились новые облегчения. Комендант и старший пристав, князь Чурмантеев, суетились, шептались, готовились приступить к чему-то, что волновало и смущало их всех.

Мирович выехал в Петербург через сутки после отъезда государя из Шлиссельбургской крепости и написал оттуда Пчелкиной, что его снарядили за границу, дали ему щедрое пособие на подъем, а вскоре из Нарвы он сообщил ей, что уж находится по пути к отряду Бутурлина.

Пчелкина старалась собраться с мыслями, обдумать свое положение, успокоиться — и волновалась более. Все, что с нею произошло в последнее время, было так неожиданно, так странно.

Она вспомнила свой приезд в Шлиссельбург, перебирала в уме малейшие подробности первых дней своего пребывания в семье Чурмантеева. Здесь она думала найти мир от треволнений недавней дворской жизни; но, узнав некоторые подробности о неизвестном арестанте, томившемся в соседней с домом пристава Светличной башне, она потеряла душевный покой. Таинственный, незнаемый светом образ несчастного колодника сразу приковал к себе внимание Пчелкиной. Дни и ночи напролет она думала о нем, жадно прислушивалась к малейшему о нем намеку в крепости, старалась по-своему представить себе его незримые, скрытые за стенами Светличной башни, черты. Тогда еще не было случая с пожаром в помещении принца; таинственный, столь оберегаемый узник находился через двор, против квартиры пристава, в особом секретном каземате. Поликсена не спускала глаз с крыльца этой башни, где молча ходил с ружьем часовой и всякий вечер вверху тускло освещалось огражденное черной решеткой узкое окно. Расспрашивать Чурмантеева Пчелкина боялась, но добродушный пристав сам иной раз ронял то или другое слово о заключенном. Он от души жалел порученного ему страдальца и радовался всякому слуху, изредка долетавшему из столицы, о возможности улучшения его судьбы. Перемен, однако, тогда еще не было. Дни шли за днями в той же, давно размеренной, мертвенно тихой и однообразной среде.

Кончив занятия с детьми, Поликсена садилась с работой в их классной и, в то время, когда девочки Чурмантеева

играли в куклы, бегали и резвились, принималась упорно думать о «молчаливом призраке», томившемся в таинственной башне. Каков он да что с ним? Как отразилась на бедном затворнике двадцатилетняя тесная, скудная дневным светом и воздухом, одиночная тюрьма?

Поликсена представляла его себе малосмысленным, изуродованным вечною, медленною пыткой, не по летам слабым ребенком. Все так ясно она обсудила прежде, чем нежданный случай привел ее увидеть заключенного.

«Он едва должен ходить по комнате, — представляла себе Пчелкина узника, — дневной свет болезненно раздражает его и мог бы навсегда его ослепить, если б вздумали вдруг его вывести на воздух. Человеческая мысль и речь вряд ли ему знакомы; а если несчастный арестант и может произнести несколько слов, то они должны походить на крик жалкого зверя или ночной птицы».

Думая о его лице, Поликсена представляла себе его черты чертами одичавшего, больного от рождения, запуганного и всеми нелюбимого дитяти, потерявшего даже сознание о том, что он давно пришел в возраст и стал человеком.

«Нет сомнения, — продолжала рассуждать Поликсена, — он лишился возможности отличать и познавать обыкновенные вещи. Если его выпустить на свободу, он станет протягивать тощие, слабые руки к отдаленным предметам, считая их вблизи себя... Все будет его радовать, занимать и сильно удивлять... Ноги и руки его оставались без употребления, а потому кожа на них и на лице должна быть нежна и бледна, зрение слабо и тупо от вечной, безрассветной, гнетущей полутьмы. Все способности несчастного замерли, спят. Но, — заключала свои мысли Поликсена, — он должен быть кроткого, мягкого, привлекательного нрава, послушен, нежен и ласков, как голубь, как ягненок. И что, если его призвать к жизни, разбудить? Что, если отпереть ему дверь и сказать: «Ты свободен, иди»... Кто на это решится? Кому суждено? И где тот избавитель, отважный Колумб, который пойдет к этому новому, забытому людьми,

полному чудесных спящих сил, девственному миру — и скажет: проснись, живи!»

Поликсена изобретала множество догадок и смелых предположений, как она умолит, увлечет и склонит Чурмантеева допустить ее к посещению арестанта, как начнет тайно действовать на заключенного, воспитает его, просветит его сердце и ум... «С пробуждением мыслей и воображения затворник расцветет нравственно и физически». Она станет ему носить книги, вместе с ним их читать, объяснять ему события мира, героев истории, различие зла и добра.

«Бывали, — рассуждала она, — подобные примеры... Столько смелых людей увлекались судьбой узников, проникали к ним хитростью, мольбами и, воспитав их, давали им средства бежать. Это, очевидно, не простой человек. В то время, как все будет подготовлено, — решала в мыслях Поликсена, — я выберу удобную минуту, явлюсь к несчастному в лучшей своей одежде, в шелковом, придворном платье и в убранных по моде волосах... Он бросится к моим ногам; сердце его заговорит... И мою руку он поставит ценой своей свободы... Мы обдумаем средства к побегу... Я одену его в мундир, плащ и шляпу Чурмантеева; мы в сумерки выйдем под руку из крепости, скроемся на лодке, потом на тройке в ближних финских лесах, а там — в Швецию... Придет срок, и где-нибудь далеко, в чужих краях, он явится свету, его вспомнят и, быть может, возвратят ему его права...»

Мучительным, страстным грезам Поликсены суждено было исполниться ранее, хотя несколько иначе, чем она ожидала. Ночной пожар в каземате принца напугал крепостные власти. Комендант Бередников растерялся более других. Надо было, втайне от главной, секретной экспедиции, произвести починки и переделки в печи, в трубе, перегородке и полу, все заново оштукатурить, окрасить и побелить. Бередников и Чурмантеев условились с подрядчиком. Печников и плотников впускали в крепость ночью; те работали при фонарях. Князь Чурмантеев перевел арестанта к себе, пустив

слух, тот тот заболел и находится в секретной крепостной больнице.

— Сам буду его кормить и смотреть за ним, — объявил он коменданту, — помощник мой на побывке в Ладоге, просил отсрочки, и я, к сожалению, ему написал, что он может остаться долее. Справлюсь пока и один.

И действительно, князь отсрочил отпуск своему помощнику, Власьеву. Наскоро осмотрели и укрепили решетки в окнах цейхгауза, смежного с жильем Чурмантеева. Под видом сбережения в лучшей сухости будто бы перенесенной туда арестантской амуниции и провизии, у наружных дверей поставили особого часового. Такие перемещения в крепости не были новостью.

Чурмантеев мог успокоиться. Кроме гарнизонного фельдфебеля да фельдшера, никто бы и не знал, где именно находится вверенный ему Безымянный арестант. Но, сперва не замеченный, вывих ноги вскоре дал себя знать Чурмантееву.

— Вот, сударыня, одного буйного колодника перевел я под свой кров и фавор, — сказал он Пчелкиной, пробираясь утром с ключами и с чашкой арестантской стряпни через две нежилые горницы, бывшие за детскою спальней и носившие название «старой кладовой». Этих комнат давно никто не видел, и они в последние годы были под замком. Сходил туда Чурмантеев еще раз в обед, потом вечером, в ужин; но к ночи слег и разохался: ни спать, ни сесть от опухшей, ломившей ноги.

— Ох, к Власьеву написать, что ли, в Ладогу, — говорил со стоном пристав, — вызвать бы его... и куда, в самом деле, одному со всем справиться?

— Хорошо сделаете, — сказала Поликсена. — Диктуйте, я принесу бумаги и перо.

— Нет, матушка, подожду уж... Не полегчит ли к утру?

А за ночь хватила лихорадка, жар и бред. Чурмантеев метался в бессоннице, поминутно звал к себе няню-чухонку

что-то все собирался ей сказать и не мог: она была совсем глухая и малопонятливая баба.

«Не догадается, не поймет, — думал о ней, мучась, Чурмантеев, — но другим может прийти в голову, станут ее пытать, и она объявит секрет».

На рассвете Поликсена пришла проведать больного князя. Он лежал с открытыми, горевшими, испуганными глазами.

— Что с вами? — спросила она.

— Тот-то... колодник-то, — прошептал Чурмантеев, поднимаясь и шаря рукой под подушкой. — Свежей водицы б ему, хлеба, молока... дура эта чухонка... фельдфебеля звать не хочется.

— Давайте я ему снесу; дети еще спят.

— И он, кстати, спит... Отнеси, матушка; там перегородка, и опять дверь... отомкни, поставь бережно и скорехонько уходи. Ох, он ведь... за всем следят...

Голова Чурмантеева закружилась. Он не договорил, подал ключи и в изнеможении упал на постель. Поликсена была в красивой ночной блузе. Накинув на голову платок, она пробралась в бывшую кладовую. Няня и дети еще спали. Утренние лучи уже пробивались с надворья. Пчелкина отперла первую дверь, вторую; тихо нажав последнюю дверную ручку, она ступила за порог.

«Кто, однако, этот заключенный? — спрашивала она себя. — Фанатик-раскольник, бунтовщик против власти или важный военный дезертир? И каков он из себя? Где спит? Старый или молодой? Или впрямь это тот самый... таинственный, запрятанный сюда принц, о котором говорят?»

Поликсена помедлила при входе. В комнате было темно. Она отодвинула складной, внутренний, оконный ставень, оглянулась вокруг себя. Вправо от входа, на железной, заржавленной кровати, покрытой старым сбитым войлоком, в посконной мужичьей рубахе и в заношенных, на босу ногу, башмаках, спал худощавый, бледный молодой человек. Русые, длинные волосы мягкими прядями укрывали подушку и

часть красивого, с рыжеватой бородкой, лица. Нежная, женственно-белая рука свешивалась из-под наброшенного на спящего грубого матросского плаща.

«Так молод — и уж колодник, — подумала Поликсена, бережно ставя воду и завтрак на стол, где лежала полураскрытая, почернелая, старой церковной печати, книга, — скорее раскольник, их архимандрит или епископ — и, видно, опасный», — досказала себе Поликсена, отходя к порогу.

Арестант проснулся, вскочил, присел на кровати; его испугало невиданное явление. И никогда, в остальные годы жизни, Поликсена не могла забыть этих кротких глаз и этого изумленного лица. «Принц», — подумала она, чувствуя, как молния пронеслась у нее в мыслях, обдав ее страхом и мучительной радостью. Она окаменела.

Арестант протянул перед собой руки, протер себе глаза и что-то заговорил несмелым, молящим шепотом. Что говорил он в это время и за кого принимал, в полусне, в полусознании, вошедшую к нему гостью — трудно было решить. В его детских впечатлениях остались смутные воспоминания о другом подобном, ласковом и нежном, существе; но то была жалкая высокая и худая особа, с вечно заплаканным лицом, в черном, траурном платье и с глазами, полными ужаса и скорби. Арестанту впоследствии казалось, или ему это говорили, что то была его несчастная, сосланная с ним мать, принцесса Анна Леопольдовна. И он часто, с болью сердца, раздражительно думал о прошлом, приставал к окружавшим с расспросами о ней, старался мысленно себе представить эту далекую, дорогую, заплаканную мать. Нередко, в смутном тяжелом сне, Иванушке мелькал на миг ее неуловимый, скорбный и вместе пленительный, куда-то в безжалостный мрак убежавший образ. И вдруг ему снова теперь показалось, что он спит и во сне нежданно увидел этот образ. Нет, это не она. Той нельзя было разглядеть, как он ни усиливался, как ни мучился. А эта — вон она стоит, у двери; ее светлые, чарующие глаза смотрят на него

с удивлением и участием, легкий стан ее колеблется, яркоцветная блуза шелестит... Щелкнул дверной замок — гостья скрылась...

С того дня Пчелкина стала беспрепятственно навещать арестанта. Чурмантеев хоть и сознавал неудобство этих свиданий, но было трудно их избежать: он лежал больной, неподвижный. В Петербург о его болезни не рапортовали. Притом из столицы неслись утешительные вести; везде сказывались облегчения, послабления.

«Авось вспомнят и нас, забытых, не казнят, — думал пристав, прикованный вывихом ноги к постели. — Бог мне послал помощницу разумную, скромную».

И действительно, Поликсена держала себя так обдуманно, строго. Лишнего слова не скажет: осмотрительна, горда. Сторожей надо ли впустить, убрать комнату принца — она выведет арестанта, запрет в смежную пустую горенку, впустит фельдфебеля к князю за ключами, а сама накинет шубку и стоит у наружных дверей, пока гарнизонные солдаты метут, моют полы и проветривают помещение принца.

Днем Поликсена приносила пищу, питье и книги арестанту, ночью сама читала с ним, учила его писать, чертила ему виды крепости, озера, окрестных мест, рассказывала о Петербурге. Заметив его заикание, а при волнении даже косноязычие, она заставляла его медленно, внятно читать и повторять за нею трудные для него слова. Затворник оказался вовсе не таким малосмысленным, слабым ребенком, каким его представляла себе Поликсена. Он был сметлив, находчив и, когда ничего его не раздражало, быстро усваивал новые понятия и радовался всему безгранично. Эта радость иногда переходила в веселость, неудержимую смешливость. Принц вскакивал, прыгал по комнате, делал забавные выходки.

«Боже, когда бы скорее, скорей! — торопилась и трепетала Поликсена, со страхом приглядываясь к работе, про-

изводившейся в постоянной тюрьме арестанта. — Успею ли все ему передать, рассказать?».

Она видела, как по ночам, через двор, с фонарями, выносили из башни мусор, закопченный кирпич; новая труба поднялась на крыше; вымели кучу щепок с крыльца; устроили у лестницы творило для извести, и под конвоем инвалидов стал ходить в башню, с ведерком и с кистью, посадский маляр. Переделки подходили к концу.

Раз — это было вечером — к больной ноге Чурмантеева, дня за два перед тем, привязалось рожистое воспаление, и он чувствовал себя очень неладно. Поликсена прошла, с корзиной кушанья и новой книгой, к арестанту.

«Пусть себе, — думал, глядя на нее, пристав, — не велика беда: не встану, умру — хоть добром помянут за неповинного, всеми забытого страдальца!»

Поликсена вошла к узнику, замкнула за собою дверь, надвинула оконный ставень, зажгла принесенную восковую свечу и раскрыла книгу. Арестант сел рядом с нею у стола. Она смотрела на него, стараясь проникнуть в его мысли. Что думал о ней принц? Чего ждал от нее, от своей судьбы? Он был не в себе; смотрел сумрачно. Тихо взяв ее за руку и нежно глядя ей в глаза, он робко коснулся этой руки губами.

— Что вы? — спросила, вспыхнув, Поликсена.

— Все ли вы... таковы? — произнес Иванушка.

— Много есть лучше, — ответила Поликсена.

— Имя твое?

— На что вам имя? Зовите — другом...

— Останься, не уходи... будь вечно со мной!

Арестант прижал руку гостьи к своей груди.

— Друг, прикажи меня выпустить, — сказал он, — ведь все тебя послушают.

— Ошибаетесь, я здесь подначальная.

— Ты не человек... дух с неба, планида.

— Человек, и самый последний, ничтожный.

— Нож возьми и их убей! — сказал арестант, сверкнув глазами.

— Одного убить, останется много других, — ответила Поликсена, — терпите, молите Бога, принц! Время придет, вы будете свободны.

Колодник слушал и не мог понять, почему эта стройная красивая девушка, от каждого движения, слова, от каждой складки платья которой веяло таким обаянием, была не в силах дать ему волю, его спасти.

— Меня всего лишили? — спросил он. — Всего?

— Что вы хотите этим сказать?

— Были другие такие мученики?

— Были... Несчастных, как и вас, лишали престола, царства.

— А скажи, кому-нибудь возвращали то, что отнято?

Пчелкина рассказала узнику о французском короле Карле Седьмом и о его избавительнице, крестьянской девушке из Орлеана. Иван Антонович слушал ее с замиранием сердца и, когда она кончила рассказ, схватил ее за руку и, страстно прижимаясь к ней, стал просить, чтоб и она вымолила у Бога чудо, спасла его от гонителей и тюрьмы. Его детски молящая, несвязная речь, слезы и сильные, мужские объятия заставили Поликсену опомниться. Она его отстранила, стараясь его успокоить.

— Вы будьте готовы, если думаете уйти, — может быть, я приду или дам знак, — сказала она.

— Приказывай, зови.

— А если откроют, догонят, убьют?

— Пошли, Боже, муки, смерть! Лишь бы ты... лишь бы с тобой...

Поликсена встала. В ее спокойных, строгих глазах блеснул решительный луч. Она положила руки на плечи узника, растерянно и с робкой надеждой смотревшего на нее; судорожно сжала тонкие пальцы, притянула его к себе и, страстно прикоснувшись губами к его бледной, исхудалой щеке, пошла к двери.

Арестант обезумел, замер.

— Куда, куда? — крикнул он, кинувшись за ней. — Свет... радость!

Дверь захлопнулась, все стихло.

Весь следующий день Поликсена ходила как потерянная. Вечером этого дня, после долгой разлуки, она неожиданно свиделась у священника с Мировичем. Мысль о помощи принцу возродилась в ней с новой силой. Она терялась в предположениях, планах, догадках. И подыскался случай, указавший, как ей действовать.

Ведя детей на исповедь, она впопыхах забыла замкнуть дверь временного помещения узника и тем вызвала нежданную встречу с ним Мировича.

«Судьба!» — сказала она себе, и тут ей пришло в голову откровенным, безыменным письмом побудить государя к посещению Шлиссельбургской тюрьмы. Ее смелый план удался, но не таких она ожидала последствий. Царственный узник оставался по-прежнему в заточении; жених Поликсены был услан за границу, а Чурмантееву к Пасхе объявили, что он заменен другим и переводится, в уважение его заслуг, на покой, в одну из пограничных крепостей, за Волгу.

Князь Чурмантеев, перед выездом, был вызван в Петербург, для некоторых объяснений в особой комиссии — из Нарышкина, Мельгунова и Волкова, которым отныне было поручено ведать дело арестанта Безымянного. Князь уехал, а детей с Пчелкиной на время оставил, вследствие весенней распутицы, в доме священника.

Преемник Чурмантеева, премьер-майор Жихарев, и его помощники, капитаны Батюшков и Уваров, приступили с Бередниковым к обсуждению мер для исполнения личных приказаний императора об арестанте. Им, по поводу этого, из Петербурга писал Унгерн: «Арестант, после учиненного ему посещения, легко может получить какие-либо новые, непод-

ходящие мысли; а потому всячески удерживайте его от новых пагубных врак — о здоровье ж, о воздухе заботьтесь».

Первую прогулку с арестантом сделали после Пасхи, и она прошла благополучно. По пробитии вечерней зо́ри, когда все стихло в крепости, принца одели в плащ и шляпу Батюшкова, а Жихарев вывел его внутренней лестницей на стену куртины. Принц опьянел от свежего воздуха, шатался и то и дело замедлял шаги, хватаясь за сердце, вскрикивая: «Ах, Господи!.. Ах, чудно!.. Что это? Что?» — и жадно вглядываясь через Неву в городские дома и в окутанные весенней мглой прибрежные поляны и леса.

— Ах, господин майор, ну, как здесь хорошо! — сказал он, ухватив за полу шедшего с ним пристава. — Не забуду вовеки... небо какое! А месяц!.. Запах!..

— Пойдемте, пора домой — пока довольно...

— Точно ла́даном пахнет... Ох, не могу, сядем; чуточку б еще туда..

— Нельзя, сударь... в другой раз...

В следующие дни гуляли долее. Жихарев пробовал выводить принца на бастионы, за стены крепости, а спустя некоторое время решился прокатиться с ним по быстрине и по реке.

«Бог его ведает, — рассуждал Жихарев, — комиссия к нему как бы строга, а государь вон как о нем решил... Кого слушать?».

Когда катер, лавируя по озеру, приблизился к пристани, стало видно движение в улицах и послышался говор народа, сновавшего у берега, принц едва не выскочил за борт.

— Что, какова я теперь персона? — сказал он. — Принц Иван хоть и взят живой на небо, но во мне его особа... везде нонче могу... а Чурмантеев, дурак, боялся, не хотел со мной даже говорить...

— Все, сударь, от начальства. Было строго, ныне слабее.

— А где Чурмантеев?

— Уехал.

— И дети с ним?

— Все, как есть.

Принц задумался. «Значит, уехала и та девушка...» — сказал он себе.

В конце Фоминой в крепостной церкви, по совету священника, отслужили для узника особую, без сторонних свидетелей, обедню.

«Шутка ли, столько лет сердечный в Божьем храме не был!» — мыслил отец Исай, вглядываясь в просветленный важный лик юноши, робко стоявшего перед алтарем. Он с чувством, в радостных слезах, молясь за раба Божия Иоанна, дрожащим голосом возглашал пасхальный кант.

— Воскресение день... просветимся, людие...

Барон Унгерн прислал из Петербурга арестанту запас белья, провизии и даже лакомств, причем спросил Бередникова, скоро ли начнут постройку указанного государем дома. К этой постройке приступили.

В крепость стали возить камень, бревна, доски. Перед домом пристава выкопали рвы и начали возводить фундамент. Работа шла спешно. Комендант надеялся все кончить, согласно воле государя, к двадцать девятому июня.

В Николин день принц и его новый главный страж, гуляя по крепостной стене, засиделись на верху куртины, выходившей к городу. Иоанн Антонович, видимо, стал оправляться, посвежел и даже загорел. Вечерело. Жихарев думал о покинутой в Петербурге семье.

«Хоть бы дорога скорей установилась, моих бы сюда перевезти, — рассуждал он. — Экая скука, точно кладбище, могилы...».

Арестант в подзорную трубу пристава смотрел на базарную площадь, где лавочники с посадскими, обрадованные теплому майскому вечеру, играли в орлянку, в мяч и водили хоровод. По воде чутко доносились крики, раскатистый смех играющих и песенные возгласы хороводных запевал.

— Это что? Вот, вот... Движется, ревет? — спросил принц.

— Стадо коров, — ответил Жихарев.

— А те вон, точно мыши... Эк посыпались к берегу! За кем это гонятся?

— Дети, сударь...

— Ах, ваше благородие, кабы и нам к ним? — сказал арестант.

— Нельзя, сударь, что вы! Не такого ранга вы особа, чтоб к черни ходить...

Задумался узник. «Вот она, доля, — мыслил он, — прежде держали, как последнего колодника, теперь чтут, а воли все нет».

Стало темнеть. В городе зажигались огни. Звезды начали вырезываться среди мягких, бежавших над озером, перистых облачков.

— Я все планиды знаю, — сказал вдруг арестант, — все, все до одной.

— Что же вы знаете о них? — спросил, зевнув, Жихарев.

— В окно высмотрел... как и что кому обозначено.

— И что ж на них обозначено?

— Вон та, белая... вон одна-то... видишь?.. Это моя.

— Ну, а те, подалее?

— Голубенькая — государева... Все ночи глядел на них, допытывался... спрашивал их.

— И что ж вы спрашивали?

Арестант замолчал; в досадливом нетерпении молчал и пристав. Ночная какая-то птица в это время налетела на них и, пугливо шарахнувшись, унеслась в сторону, к темному бастиону.

— Не выпустит царь, — продолжал арестант, — не быть ему в счастье...

— Врете, сударь; охота пустое врать!

— Видишь? Голубая планида раньше белой за облак зашла?.. Ну, раньше моей закатится его доля...

— Чепуху, несуразное, сударь, говорите, — строго сказал, оглядываясь, Жихарев. — Не бросите вранья, по на-

чальству отпишу... Вам облегчение, милости, а вы... пора по углам...

Арестант и его страж спустились с куртины, сошли в крепость и церковным садом приблизились к гауптвахте. Из-за распустившихся дерев показался дом священника. Принц взглянул туда, тихо вскрикнул и бросился вперед.

— Куда вы, куда? — сказал Жихарев, схватив его за руку.

За выступом дома, у крыльца священника, стояла Пчелкина.

— Ой, да пусти же ты, грубиян! — крикнул, вырываясь, арестант — Друг, друг!.. Ты здесь? Вот я, спаси...

— Сударыня, уходите, — произнес пристав, — прошу вас, приказываю.

Арестант вырвался, добежал к крыльцу.

— Где была? Где? — задыхаясь, шептал он Поликсене. — Столько дней не слыхал голоса...

— Идите, покоритесь, — проговорила Пчелкина, — и помните, где бы вы ни были — я вас не покину, найду...

Жихарев крикнул стражу с гауптвахты. Караул окружил арестанта, который кидался на солдат и бешено от них отбивался.

— Дикие вы звери! — кричал он. — Кого слушаете? Государь волю мне дал, а вы не пускаете... сам я государь...

— Успокойтесь, сударь, что вам угодно? — спросил Жихарев.

— Не хочу в старую нору.

— Новое помещение не готово.

— К попу переведи, вот сюда...

— Здесь тесно, да и негоже для вас, не пустят.

— Иди, собака, и проси... Знаешь сам, каков я родом человек!

— Слушай, сударь, — ответил, найдясь, Жихарев, — вы, точно, не простая персона, а потому надо по приличности очистить здесь горницы. Пойду к священнику, а пока переждите на старом месте.

Арестант сдался. Жихарев его запер по-прежнему в каземат и поставил к нему у башни двойной караул. Пчелкину наутро выпроводили из крепости. Написав Чурмантееву, она с его детьми перебралась в Шлиссельбургский посад.

Так прошло две недели. Узник впал в безнадежное отчаяние. Им овладели порывы неукротимой злобы и свирепого, зверского бешенства.

Часовые на утренней смене сообщали приставу и коменданту о бессонных ночах, проводимых принцем. Сени и узкий проход перед казематом оглашались раздирающими душу стонами и криками узника. Он бесновался без умолку, с бранью и проклятиями, стучал скобой железных дверей, опрокидывал мебель в комнате, бил стекла, рвал на себе платье и белье.

— Что вам, сударь, надобно? — спрашивали его часовые в дверное, решетчатое окно. — Эвтим манером амуницию искалечите... себе и казне ущерб.

— Ведите Жихарева, его, пса, надо...

— Аспид ты, крокодил! — с пеной у рта кричал узник Жихареву. — Ее приведи... слышишь? Ее...

— Нельзя-с, по статуту, уехала.

— Разлюбит... ведь разлюбит... слово одно, хоть взглянуть!..

Арестант грыз себе руки, хватался зубами за оконную решетку.

«Еще в Питере узнают про экое озорство, — думал, замирая в страхе, пристав, — уж когда бы скорее решали, что с ним и как! Все Чурмантеев натворил! Донести о нем — да жаль бедного, засудят...»

— Скорпионы, аспиды! Запали их, Боже, сокруши! — кричал день и ночь в окно и двери узник. — Змей на них! Камни! Кляни их! Боже, кляни...

«Бес обуял, испортили, сердечного! — шептали в сенях гарнизонные солдаты. — Был тих, а теперь буря бурей...».

Забываясь кратким, тревожным сном, арестант просыпался ночью, и еще тяжелее и горше было у него на душе. Каменный свод давил, как гроб. От молчаливых белых стен веяло холодом. Когда-то рассвет? Иванушка звал Поликсену, слал ей нежные слова. Бросится к форточке каземата, распахнет ее, торопливо привстанет на цыпочки и жадно вдыхает свежий, ночной воздух. Виден край темного хмурого неба. Вон белая и голубая звезды; высоко они мерцают над крепостью, ныряя в налетающих облаках.

«Им вольно в далеком небе, — мыслил он, — а я опять в норе, опять взаперти». Ночь проходит. Загорается бледное утро. Воробьи чирикают, галки взлетают, чистят длинные, жадные носы. Солнце поднимается. Крики жаворонков, соловьев доносятся с полян, из лесистых, просыпающихся тайников. Там радость, там жизнь. А здесь! И кажется Иванушке, что не соловьи и не жаворонки отзываются на берегу, а трубят чудотворные золотые трубы, некогда рушившие стены Иерихона.

— Осанна в вышних! — шепчет узник. — Египет даде руку, Ассур в насыщение их... Но где Египет и где освободитель Ассур?..

Арестант силился взломать ржавую оконную решетку и до крови резал себе руки.

Нет спасения, нет воли... Почернелая, закапанная воском книга разогнута на столе. Слабый утренний свет скользит по ней, и кропят ее горькие, жгучие слезы. Иванушка читает, но нет смысла и отрады в прочитанном. Стены глухи и немы, как могила. Кругом тишина.

«Бысть яко медведь ловяй, яко лев от сокровенных», — читает Иванушка, добиваясь ответа на свои терзания.

— Не лев я — жалкая мошка, комар!., А там, за стеной... тепло, воздух, люди и она... Ха-ха!.. Звери, убийцы! звери...

Дикий хохот, будя утреннюю тишину, несся из темного окна узника.

XI

НАДПИСЬ НА ВОРОТАХ

Мирович оставил Петербург с легким сердцем и полный давно не испытанных, радостных ощущений. Под шум и плеск вешних вод, он несся за границу на перекладной. Вот Луга, Псков, Двина — как море, берега Немана. Весна в Литве стояла во всем разгаре. Тянулись вереницы диких гусей, журавлей. Леса, водные заросли синели в тумане, стонали от птичьих криков и свистов. Пахло березовыми, смолистыми листьями, ландышами.

«Женюсь, все брошу, — думал Мирович, миновав границу, — возьму абшид, выйду вчистую, и уеду на родину — хлопотать о своих правах. Что нам столица, блеск жизни, фанфары, суета сует? Поликсена сказала: когда не Питер, лучше уехать на твою Украйну, в Переяславский уезд, нагулялись бы мы там, по пояс в полевых травах, надышались бы цветом яблонь да груш!.. Повезу ее. Нет своего угла на родине, добьемся его, — не через себя, через добрых людей, а пока погостим у друзей. Никогда, кажись, так не жаждал достатка; а уж для нее... она хочет, и все будет!.. И Михайло Васильич Ломоносов одобрил, когда я ему все рассказал по возвращении из Шлиссельбурга. Там, на Трубеже, возле былого дедовского Липового Кута, где пчелы отцовского кума и где я бегал мальчиком... Вот где рай... Хоть бы клочок родной земли! Пан на загороде равен воеводе... Цела ли та пасека и жив ли старый отцов кум, Майстрюк?..»

Солнце грело. Мирович дремал и видел себя в поле. Золотые волны высокой, спелой пшеницы шуршали и колебались кругом. Он шел где-то нивой, в гору. На горе церковь, в ней пенье, горят свечи. Его ждут венчать с Поликсеной. А золотой пшеничной ниве нет конца. Колышутся и шепчутся душистые волны, он тонет в них, выбивается из сил. Мелькают алые маки, васильки; на них

качаются сизые, с рогами, жуколицы, глазастые, пушистые пауки...

«Что же я-то? У меня ведь крылья есть!» — думает Мирович, распахнул крылья, и летит над шуршащим морем, и не видит колосьям конца. Поспеет ли? Церковь далее и далее. Сердце замирает. Он очнулся. Перед глазами серый балахон, сгорбленная спина и рыжие пейсы возницы. Станция, смена лошадей...

Переговоры с Пруссией о заключении окончательного мира начались еще до приезда Мировича в отряд Бутурлина. С одной из таких экспедиций, в числе других офицеров, попал снова в Берлин и Мирович.

К концу мая он прислал из-за границы презенты невесте: серое тафтяное платье, бархатный алый камзол, черепаховые подвески, браслеты, склаваж и модную, из белой шали накидку — барба́р. Презенты были присланы с оказией, на имя Бавыкиной. Настасья Филатовна похвастала ими Ломоносову.

— Вкусу немало, — сказал, разглядывая жениховы подарки, Михайло Васильевич.

— Так-то так, — произнесла, покачав головой, Филатовна, — только где он, прокурат, денег на все это достал? Ужли в карты опять резаться начал? Как думаете, ваше высокородие?

— Уж и в карты, матушка, экия вы!..

— А и в самом деле, может, не в карты! — сказала, обрадовавшись, Филатовна. — В гору, пожалуй, пошел; ведь смышленый хоть куда, ну, и отличают... гляди-кось, еще с орденом воротится...

«Мне-то только, бездольной, что делать? — подумала, вздохнув, старуха. — Куда деться? Уж ли так-то все торговлей на старости лет по улицам маяться? Видно, и впрямь, в люди наместо идти!»

К первому дню Пасхи император Петр Федорович переехал в новый Зимний дворец. Строитель его, Растрелли, получил голштинскую Анненскую звезду, с надписью

Amantibus justitiam, pietatem, fibem»[1]. Императрицу государь поместил в отдаленном конце дворца; ближе к себе восьмилетнего сына Павла с наставником его, флегматическим и мешковатым, но хитрым и умным Никитою Ивановичем Паниным. На антресолях было отведено помещение Елисавете Романовне Воронцовой, а в особом флигеле дворца государь назначил апартаменты предположенной им невесте заключенного принца Иоанна Антоновича, несовершеннолетней дочери своего дяди, генерал-губернатора Петербурга, принцессе Екатерине Петровне Голштейн-Бекской, с ее гувернанткой, девицей Мирабель.

Обедал и ужинал Петр Федорович с небольшой свитой. Голштинские любимцы окружали его тесной толпой. Императрица навещала мужа изредка, и то больше по утрам.

Заходя на половину к сыну, государь трунил над его прошлым женским воспитанием и, теребя худенького, слабого мальчика, со смехом говорил:

— Из Павлухи выйдет еще целый молодец, лишь бы я успел с ним заняться и сделать из него бравого солдата. А теперь, что он? Телепень, бабий баловень, и только... В поход, сударь, в поход!

Своего учителя на скрипке, итальянца Пьери, Петр Федорович назначил придворным капельмейстером. Во дворце давались концерты из знатных любителей музыки. Братья Нарышкины — один из них андреевский кавалер — участвовали в этих музыкальных состязаниях, рядом с важным звездоносцем Адамом Олсуфьевым, правой рукой гетмана, президента Академии — статским советником Григорием Тепловым и академиком Штелином. Император являлся здесь запросто.

— Музыка у меня будет первый сорт, — весело говорил он партнерам. — Выпишу из Падуи знаменитого ветерана скрипки, Тастини... Ведь он, saperment! между нами-то ска-

---

[1] Любящим справедливость, благочестие, верность (*лат.*)

зать, — одной со мной школы... Specialissime за нежные, ласкательные, а инде маэстозные тоны и переходы... Нигде грубых эффектов, нигде балаганных уверток и штук... Мелодия, одна мелодия!

Голштинцы протирались всюду, захватывали себе и своим «партизанам» главные места.

За два дня до Пасхи в прибавлениях к «С.-Петербургским ведомостям» явилась, обратившая на себя общее внимание столицы и, как полагали, писанная под диктовку посланника короля Фридриха, Гольца, следующая передовая статья:

«С.-Петербург, апреля 4, 1762 года. Всемилостивейший наш государь, с самого восшествия своего на престол, не пропускает ни единого дня без излияния новых милостей или не подавая существенных опытов отеческого своего о пользах подданных попечения и глубокого в государственных делах проницания» и пр., и пр.

Ропот против голштинцев усиливался. Старые слуги Елисаветы не выносили этих незваных пришельцев. Новые преобразования и льготы не искупали грубого и обидного обращения заморских гостей с русскими. Ломоносову приписывали слова: «Капуста и репа еще не взошли в огородах, зато всходят голштинские реформы».

Всяк, просыпаясь в ту весну в Петербурге, спрашивал себя: что объявлено от сената сегодня и что готовится на завтра? Все ходили в чаянии нежданных, негаданных перемен. Даже всезнающий генерал-полицмейстер Корф не раз подсылал тайком во дворец своих адъютантов, говоря им:

— Вызови-ка там, батенька, Карла Иваныча Шпрингера да узнавай от него — hörst du![1] — умненько, чем и с кем ныне занимается государь?

Вслед за уничтожением тайной канцелярии и дарованием вольности дворянству новые фавориты Петра Третьего по-

---

[1] слышишь! *(нем.)*

советовали ему заняться оставленным со времен Петра Великого проектом об отобрании монастырских поместий и о назначении от казны содержания как черному, так и белому духовенству.

Барон Унгерн сказал однажды, за обедом у Алексея Разумовского, Волкову:

— Не худо бы передать архиепископу Димитрию об отмене постов... Ваше постное масло, редька и щи не по желудкам нынешнего света. Да сказать бы ему à propos[1], что пора уже пересмотреть и во многом изменить и весь наш старый монахизм, а духовенству разрешить брить бороды и ходить, как в Европе, в цивильных кафтанах.

— Чей в этом совет? — спросил Волков.

— Ну, да ты уж скажи преосвященному Димитрию, — загадочно улыбнулся Унгерн, — пусть подумает.

Эти слова быстро разнеслись по городу. Не в одних боярских хоромах вспомнили, что государь Петр Федорович, вслед за погребением императрицы-тетки, посетил торжественную по ней панихиду в католической церкви, где исполнялась печальная кантата-реквием сочинения Манфредини, и что после панихиды он завтракал у патеров этого храма.

На Фоминой было приказано приступить к немедленной постройке, для иноземных придворных слуг, лютеранской церкви при Ораниенбаумском летнем дворце.

— Лютеранство вводят в России, — стали толковать в среде русского духовенства. Повторяли даже слова манифеста о веротерпимости, будто бы уж составленного на все готовым генерал-прокурором Глебовым, где в числе других доводов приводились слова Евангелия: «Взгляните на птицы небесные, иже не сеют, не жнут и не собирают в житницы».

— И все-то голштинцы! — прибавляли в народе. — Все они, проклятые нехристи.

---

[1] кстати (*фр.*).

Составилась даже поговорка: «Голштинец даст тебе гостинец».

Ропот усилился, когда прошел кем-то пущенный слух, будто иноземные фавориты готовят указ о вынесении из храмов всех старых, якобы лишенных благолепия, сиречь обезображенных временем икон, и о закрытии в палатах вельмож домовых церквей: «Не подобает-де храм Божий лишать благообразия или держать оный у себя под рукой, на приклад своей бильярдной, кухни и того хуже».

С приездом из Киля дяди государева, принца Жоржа, влияние немцев стало еще сильнее. Повторялись имена столпов этой партии: Ольдерога, Цобельтиша, Катцау, Цеге фон Мантейфеля, Цейца.

— Новая бироновщина настает! — громче и громче толковали обиженные русские. Юные советники государя между тем не унывали. Они ему льстили и предрекали успех всем его ошибочным, проникнутым полным незнанием и непониманием России, намерениям.

На обойной фабрике гобеленов, директором которой был назначен произведенный в камергеры любимец государя придворный парикмахер Брессант, Петр Федорович заказал, для передней в новом Зимнем дворце, два больших стенных ковра, «haute lisse». Один должен был изображать восшествие на престол Елисаветы, другой — его собственное.

В мае были спущены на Неву два вновь построенных корабля. Одному государь дал имя недавнего врага России, своего друга, «Король Фридрих», другому — первого принца крови, нового фельдмаршала и Эстляндского генерал-губернатора — «Принц Жорж».

Приказав учредить в поддержку коммерции и купечества государственный банк с пятью миллионами рублей фонда, Петр Федорович отдал повеление об устройстве, по примеру заграничных «долгаузов», «нарочитого» дома для «сущеглупых», то есть умалишенных. Прогуливаясь как-то вечером по городу, государь чуть не был искусан стаей бродячих собак. Он тотчас объявил повеление об образовании из двор-

цовых егерей «особой команды» для «наискорейшего истребления бездомных собак». Этой же команде было разрешено стрелять на городских площадях и улицах «ворон и прочих безхозяйных птиц». Усердные егеря стали стрелять по улицам чтимых народом голубей.

Уволив графа Алексея Григорьевича Разумовского в отставку, император почасту заезжал к нему в Аничков дворец, где любил в беседе с ним выкурить трубку кнастера или вошедшую в то время в моду сигару «фидибус». Дальновидный граф, ценя по-своему это внимание, сказал по-украински государю:

— А подозвольте мне, недостойному сыну гречкосея и внуку пастуха, снисканному толикою благосклонностью покойной государыни, подозвольте почествовать вашу милость.

И поднес в презент высокому посетителю красивую трость с ручкой из слоновой кости, и в придачу к ней — на воинские нужды государя — миллион рублей.

— Ба-ба-ба! — воскликнул детски обрадованный император. — Potz-Blitz![1] Да ты, Григорьич, Hexenmeister, колдун; как раз угадал, что мои финансы нарочито плохи... Спасибо, голубчик; вспамятовано будет! При случае отблагодарю.

— Гвардия — это нынешние янычары! — не стеснился сказать Петр Федорович гетману Кирилле Разумовскому, командиру любимых великим Петром и Елисаветой измайловцев. — Их вскорости раскассирую, а пока стану их заменять полевыми полками, да помалу, на манер наших бравых голштинцев, реформировать...

Сильно взволновали эти слова весь военный, служилый люд Петербурга.

— Разве мы преступники, изменники? — толковали обиженные слуги Елисаветы. — Окружили государя про-

[1] Гром и молния! (*нем.*)

дажные голштинские колбасники... Дай Бог здравия его сыну и матушке, его жене — те заморских псов не жалуют.

Мир с Пруссией был окончательно заключен и десятого мая торжественно отпразднован. Памятен остался этот день в дворском мире.

В особой зале Зимнего дворца был дан пышно изготовленный обед. С крепости, с Адмиралтейства и судов, стоявших на Неве, до поздней ночи раздавалась непрерывная пушечная пальба.

Было выпущено более тысячи выстрелов из орудий. Пили в честь короля Фридриха и за продолжение «счастливого мира».

Провозгласив тост за собственную высокую фамилию, Петр Федорович послал к императрице-супруге «берлинскую голубицу мира» — Андрея Гудовича, спросить, отчего она при этом не встала? Государыня Екатерина Алексеевна ответила: «Оттого, что вся наша фамилия, кроме его величества государя, состоит лишь из меня да из ребенка, моего сына».

— Передай ей, что она дура!.. — грубо крикнул государь. — Передай, что, кроме нее и сына, есть еще два члена нашей фамилии — дядя принц Жорж и его высочество принц Голштейн-Бекский.

Императрица залилась слезами. Остроумный и находчивый граф Строгонов стоял в это время у нее за стулом. Чтоб развлечь государыню, он вполголоса рассказал ей свежий городской анекдот о некоем влюбленном генерале Бехлешове, который поехал амурничать в Шлиссельбург и чуть, из-за перемены тамошнего начальства, не угодил в каземат крепости.

— Marlborough s'en va-t-en querre...[1] — шептал, нагнувшись, Строгонов.

---

[1] Мальбрук в поход собрался... (*фр.*)

Императрица сквозь слезы улыбнулась. Это заметили. В тот же вечер находчивый граф был выслан под арест в свой загородный дом, на Каменный остров. При этом, через князя Федора Барятинского, был объявлен арест и государыне; Барятинский успел вызвать заступничество принца Жоржа, и распоряжение об аресте было отменено.

Вскоре пронесся новый слух об обеде в Аничковом дворце.

Сидя против датского посланника Гакстгаузена Петр Федорович неожиданно для всех повел речь о том, что Дания — исконный враг России и что он намерен датскому королю объявить войну, за притеснение его родового герцогства, Голштинии. На другой же день в городе стали толковать, что против датчан действительно велено снаряжать две сильные армии и что командир измайловцев, президент Академии наук и гетман Малороссии граф Кирилла Разумовский поведет за границу тридцать казачьих полков. Великий канцлер Воронцов и Волков советовали государю не предпринимать этой войны. Он никого не слушал.

— Нет достойного полководца, фураж для армии не выготовлен, — говорил канцлер.

— Пустяки, с провиантом еще успеем... А что до полководца, я сам стану во главе обеих армий... Герцоги, мои предки, во время войны никогда не сидели дома... И прежде всего, по пути я заеду отдать аттенцию и кордияльный решпект моему брату и государю, королю Фридриху... Я имел честь в его армии служить как простой солдат... И никто из его братьев и подданных не предан ему так, как я. Он опасается за мою жизнь, анонсирует мне секретно, что русские не приспособлены оценить женерозитет посланного им монарха... О-го! Larifari! Посмотрю я, кто посмеет против меня и моих верных бравых голштинских быков! С ними я спокоен... А уехав, оставлю здесь в ариергарде проницательных и зорких надсмотрщиков...

Двор к одиннадцатому июня готовился переехать за город. Было слышно, что государь, по обычаю, думает посе-

житься в любимом своем летнем дворце, в Ораниенбауме, что сына он решил оставить с Паниным в Петербурге, а государыне приказал отвести для житья дворец в Петергофе.

Двор веселился. Прогулки за город и вечера с игрой в бириби и в кампис чередовались с концертами и распеванием, под звуки лютни, нежных и чувствительных немецких романсов и русских песен сочинения придворного музыканта Белиградского.

В насмешку над замолчавшим Ломоносовым иноземные фавориты посоветовали президенту Академии поощрить гуляку-стихотворца Баркова, которому за оду в честь нового государя и было дано звание академического переводчика.

Короноваться государь откладывал до возвращения из похода против Дании.

— Корону заказать надо в Гамбурге, — объявил он Унгерну. — В России нет и порядочных ювелиров, дорого, да и некогда — увенчаемся сперва победными воинскими лаврами...

Об императрице не было почти слуха. Говорили одно, что государыня Екатерина Алексеевна живет совершенной отшельницей, без всякого значения, силы и власти. На нее обращали менее внимания, чем на племянницу канцлера, графиню Елисавету Романовну Воронцову.

— Я люблю дисциплину, я требователен, но даю и льготы! — говорил Петр Федорович. — Пусть народ отдыхает — время строгостей и ужасов в России прошло... Пусть меня в потомстве назовут ласковым Титом...

И действительно, в первые дни своего правления, Петр Федорович возвратил из ссылки множество лиц, сосланных при его тетке, Елисавете Петровне.

На поприще высшего общества Петербурга, что ни день, с весны 1762 года, стали появляться странные, незнакомые и чуждые новому поколению призраки прошлого, престарелые елисаветинские сановники и временщики, которые некогда ворочали судьбами России, а теперь казались мертвецами, вставшими из давно забытых и обвалившихся могил.

В начале июня Мирович был на возвратном пути из Пруссии. Но ему в первом пограничном городе предъявили ордер военной коллегии — остаться на месте, в Петербург не ехать и ждать дальнейших распоряжений от ближайшего начальства. Здесь он получил письмо от Пчелкиной.

Поликсена удивлялась, что он медлит возвратом, и прибавила, что Чурмантеев получил перевод за Волгу, что он уже давно оставил Шлиссельбург и на днях едет с детьми в Казань и далее. Поликсена сперва предполагала остаться у Бавыкиной, но раздумала: как бы из того не вышло для нее, сосватанной невесты, каких вредительных толков и последствий.

«А куда деться, не знаю, — писала она. — Вы же, сударь, Василий Яковлевич, так скупы на вести. Зовут меня Птицыны, и я думаю к ним временно переехать. Пишите туда. У них дача на Каменном, и очень просят. Или посоветуете что иное?»

Ордер военной коллегии и это письмо так смутили Мировича, что он не знал, на что решиться.

«Чурмантеев переведен за Волгу, Поликсена опять в Петербурге, — терялся он в догадках. — Вредительные толки и последствия... Что все это значит? И где принц? Ужели наконец освобожден? В иноземных журналах о том что-то писано...»

Император Петр Федорович, катаясь в первых числах июня по Петербургу, вздумал осмотреть в Петропавловской крепости монетный двор. При этом он сказал окружавшим:

— Сия фабрика мне, господа, нравится больше других; будь она прежде моя, не так бы я аранжировал ход моих финансий: знал бы, как ею пользоваться...

В крепость государь въехал в северные, Кронверкские, ворота, на которых кинулась ему в глаза нежданная, сильно озадачившая его надпись.

Большими, бледными, полинявшими от времени и солнца буквами на верхней перекладине было написано:

«*Иоанновские ворота — 1740 год*».

— Барон! — с чувством почти испуга сказал император сидевшему рядом с ним Корфу. — Взгляните! 1740 год!.. Имя Иоанна! Вот чудо... Везде это слово скоблили, плавили, жгли, а здесь-то, в крепости, и проглядели... Когда придет момент и мой племянник, бывший император Иоанн Третий, с должной помпой опять со мной въедет в Петербург, первое, что я ему укажу, будет это имя.

Случай с надписью даром не пропал.

«Забыл я о нем, забыл, — думал, едучи из крепости, Петр Федорович, — и никто не напомнил! Что откладывать и ждать постройки нового дома? Вывезти его скорее из Шлиссельбурга... И ему станет легче, познакомится с принцессой Екатериной, своей невестой, и задуманное дело помалу начнем...»

Через день в Шлиссельбург от Унгерна была послана эстафета, сильно озадачившая коменданта и нового старшего пристава.

«А ведь белую-то планиду и впрямь вспомнили на нашем горизонте, — подумал Жихарев, идя объявить арестанту радостную весть, — не забудь, о Господи! рядом с ним и нашу долю...»

XII

МОСКОВСКИЙ СТУДЕНТ

В начале июня 1762 года Ломоносов съездил на несколько дней за город, в собственные, пожалованные государыней, мызы Коровалдай и Устьрудица, взглянуть на хозяйство и освежиться на сельском воздухе.

Эти дачи лежали за Ораниенбаумом, в тогдашнем Копорском уезде, в семидесяти верстах от Петербурга, и были

подарены Ломоносову для устройства фабрики разноцветных стекол, бисеру, пронизок и стеклярусу — «как первому в России тех вещей секрета сыскателю». Земля этих имений омывалась глубокой и быстрой рекой Рудицей, на которой, лет десять назад, были устроены мельницы, лесопильня и завод цветных стекол.

Теперь все это было запущено.

Небольшой из еловых бревен дом, с постоянно закрытыми ставнями, одной стороной выходил к сплошным вековым лесам пустынной Ингрии, другою — к холмистому берегу моря. Над почернелой тесовой кровлей со скрипом вертелся заржавленный жестяной Эол. То был значок самопишущей метеорологической обсерватории. Служилые здания вокруг дома, фигурчатый дощатый забор и мост через реку ветшали без присмотра и также были запущены. Одна дорога — берегом моря — вела на Ораниенбаум и Петербург, другая — в гору — к соседям, из которых ближайшим был женатый на внучке фельдмаршала Миниха, владелец мызы Аннентиль, барон Иван Андреевич Фитингоф.

Тридцать лет назад сам крестьянин-рыбак, Ломоносов с своими двумястами крепостных чухонцев, коих по указу «при той фабрике — записали вечно», был заботлив, справедлив, но, как вообще с подчиненными и младшими, требователен и строг. Он любил их, заботился об их нуждах и не смотрел на них как на чужаков, свысока, забавляясь, когда иной заморыш-мужичонка при встрече не снимал перед ним шапки и, по простоте приходя к своему знаменитому барину, садился перед ним и рассказывал о своих нуждушках.

— Дессьянс-академик я — почтение от всех мне указано свыше! Смотри не осрами меня при других! — шутил коровалдайский барин, угощая мужичонку брагой и вином.

Хозяйство Ломоносова, особенно в последние годы, шло из рук вон плохо. Желтоволосый и желтоглазый, но хитрый, туземный бурмистр Адамка Кювейляйнен по мельнице и по прочим статьям давал в настоящее время Михайле Васильевичу такие отчеты, что и шкурка за вычинку не выходила.

Зато Адамка являлся перед барином из хатенки, сколоченной из пеньев, поленьев, мха и коры, не только без шапки, но в доказательство своей убогости и ничтожества нередко даже босиком и называл его не иначе как «рафчик» и «ваше вишкаротие», а его сума и он — толстели не в меру.

И в тот приезд Михайло Васильевич больше занимался проверкой самопишущего Эола, чем учетом ветшавшей лесопильни и покрившившейся набок мельницы. Он поговорил с Адамкой о приведении в порядок дома, кое с кем из крестьян, задумавшись, посидел на крыльце, с которого виднелись вдали готические деревянные башенки Анненталя; полюбовался видом тихого, безбрежного моря и уехал в Петербург лесною глушью, полною птичьих песен и криков и вечернего запаха трав и дерев.

«Доброобычайный народ, — думал он о крестьянах, в помощь болевшему и хиревшему скоту которых он велел и в этот раз, по случаю засухи и бескормицы, раздать лучшие луга, — благородным учтивством и заботой лучше всего им фавор свой приятным и желанным сделаешь... Эх! Надо бы подольше погостить у них, ближе приглядеться к сим, мало еще осмысленным... Да дела, службы склад не допускают... Надо урваться, подумать...»

В дом свой, на Мойке, Михайло Васильевич возвратился обновленный, с легкой, открытой для тихих радостей душой.

— Через недельку, — ласково сказал он жене и дочери, — все на мызе будет готово. Вот вам сюрприз — вы переедете туда на все нынешнее лето.

Дочь запрыгала от радости; жена вздохнула, нахмурилась.

— В городе все становится дорого, — объявил Ломоносов, — там покупать нечего — огород, живность и хлеб свои. И коровы ваши подкормятся на лугах. Одна беда, сударыни мои, доходу при том ни алтына...

— Мы и так, герр профессор, — перебирая фартук, ответила жена, Лизавета Андреевна, — мы и так — что нам! — привыкли сидеть дома...

— И отлично, сударыня, делаете! — с улыбкой, поклонясь, произнес Михайло Васильевич. — Лучше сидеть, с работой или с умной книгой, дома, в дализне от шума и от всяких людских дрязг, чем — Бог мой! — иметь обхождение с пустыми комедиантами и вредными шатателями да пересудчиками... С ними в семьи вкрадываются дурные упражнения, расколы, колобродства и всякие враки... Я — против них, против них!.. Да и вы, фрау профессорин, согласитесь, не наживете гипохондрии на хозяйстве, в заботах о своих нуждах и о своем угле.

Рано утром следующего дня Ломоносов вышел в свой городской сад, подрезал несколько сухих и лишних веток, осмотрел щепы и колировку плодовых дерев. Засучив рукава, докопал начатую грядку для выписанных на пробу семян дикого хлопчатника, asclepias syriaca и, обложенный книгами и рукописями, засел в отдаленной рабочей беседке.

«Ну, теперь не скоро выйдет оттуда! — глядя в сад, подумала Лизавета Андреевна. — Забудет обо всем, даже о еде... O, du, mein Gott! Ist das ein Mensch!..[1] Энтузиаст! фантаст! Не станет умываться, бородой обрастет... И так на неделю, на несколько недель... Ох! И что он пишет?.. О Сибири, об индийских и китайских царствах твердит... А у меня всего одно шелковое платье — всего одно... У академической секретарши Тауберг, у профессорши Винцгейм по пяти, да еще в своих колясках по городу ездят... Мы больше ходим пешком. Были жильцы; а теперь, вон, портной Крих, будто из-за наших перестроек, а я думаю из экономии, из расчета, переехал на Литейную; булочник Миллер метит в Ораниенбаум — двор туда собирается, — да и фрау Бавыкина нашла место у какой-то греческой богатой дамы — в этакую глушь к Калинкину мосту переехала... На мызу! И что там хорошего, среди грубых здешних мужиков! Это не

---

[1] О, мой Бог! Это такой человек!.. *(нем.)*

Марбург — золотая моя родина... О коровах, фантаст, энтузиаст, думает, а о наших удобствах ни слова...»

Лизавета Андреевна ошиблась. Михайло Васильевич на этот раз в должное время, а именно в полдень, покинул беседку, плотно, с удовольствием пообедал, пошутил с Леночкой. — «Ты-де ланито-лилейная и золотокудрая, греческая Елена, и как бы тебя кто еще у меня тут не похитил!» — ушел в опочивальню и заснул там часа полтора. Потом опять занимался в беседке.

Был уже вечер, когда Ломоносов оставил стемневший сад и с портфелью появился на крыльце каменного дома на Мойке, куда в конце мая он перешел с семьей, по случаю переделок в очищенном жильцами флигеле. Михайло Васильевич не стеснялся горожан. Он на виду всех любил по вечерам сиживать у себя на крыльце под тенью берез — без парика и в том самом старепьком китайчатом халате, в котором обыкновенно работал. В этом же халате он раз здесь принимал и знаменитого своего друга и соседа по Мойке, Ивана Ивановича Шувалова, в золотой карете и в ленте в былые дни заезжавшего к нему на беседу прямо из дворца.

Просторное, заслоненное березами, крыльцо выходило на немощеный, поросший травой берег Мойки. Солдатки на плоту мыли белье. Барочники, перекликаясь, тянули на лямках грузную расшиву с кирпичом. Чья-то гусыня, с желтыми гусятами, паслась на траве. Гурьба босоногих ребятишек и девочек с соседних дворов бегала взапуски по зеленому берегу, поднимая столбы густой, желтой пыли всякий раз, как выскакивала на избитую уличную колею. Красно-пегая голландская корова Лизаветы Андреевны, подойдя с поля, ждала у ворот, пока дворник и водовоз, отставной бомбардир Скворцов, отопрет ей калитку. Собственный белый чудской кабан Скворцова, хрюкая, терся у заборов.

Леночка принесла отцу на крыльцо ковш холодного мятного квасу. Он выпил его залпом, поцеловал Леночку, потребовал еще кружку и отпустил дочку бегать на улицу.

Усевшись на лавке, он на круглом липовом столе увидел свой рабочий портфель и два письма.

В одном письме было приглашение из Измайловского полка на девятое июня, от его соседа по мызе барона Фитингофа на вечер, на беседу и на трубку табаку.

«Знаю я эту трубку, — подумал, отодвигая письмо, Ломоносов, — вечеринка в честь возвращенного знаменитого деда, Миниха... Нет сомнения, вся знать будет там перед разъездом дворов на дачи... Ораниенбаумцы и петергофцы... Монтекки и Капулетти... Одиннадцатого июня разместятся до новой стычки оба враждебных лагеря... А до разъезда — эта сходка главных нынешних решителей наших судеб, голштинцев и прочих немцев. Противны пакостных креатур лица и речи!.. Ну их к ляду... не поеду! Стар стал — толкаться меж дворскими, да и ни к чему. А они все ковы точат против Екатерины Алексеевны... Жаль моей разумницы! Душу отдал бы за нее, гонимую, хоть и не знает она этого, не ведает. Вот от кого процветал бы собор драгих наук! Как-то ее занятия, беседы в тишине с гениями веков! Шутка ли, по-русски говорит и пишет, как прирожденная россиянка, — да куда, лучше многих русских... Навестил бы ее, еще осудят. Никуда теперь не езжу, замкнулся и высматриваю, что будет... А будет, кажется, неладное... Любопытно бы только, скоро ли?»

Второе письмо было с почты от Мировича...

«Высокочтимый и истинный мой защитник и покровитель, — писал Василий Яковлевич, — прости за докуку сей моей цидулки. Со мной приключились дивные, прискорбные дела. Первое — мир давно заключен, а меня, временно посланного с комиссией от Нарвского полка, задержали при возврате, якобы для охраны раненых, сперва под Ковною, а потом в другой трущобе, в сквернейшем жидовском городишке, в Шавлях, где и ноне обретаюсь. Ах, многомилостивый патрон и раделец мой, спасите! Писал я неоднова,

при посылке штафет, просил я отрядного и лекарей: ну точно как все глухие. «Не прогневайся, — отвечали мне, — вздор городишь и разума, видно, весьма лишился, ну, нешто можем мы против воли свыше идти? Сиди и жди». Михайло Васильевич! Господа Бога ради, побывайте у кого-либо из сильных голштинцев. Вы их браните, а они, властные, теперь еще более в ходу. Слышно, Бирон да и Миних также, воротились из ссылки и, на приклад коршунов, опять витают над столицей. Попросите их или кого из немцев в вашей Академии, чтобы меня выпустили отсель. Вас послушают. Не то — беда. Истина ужель прогнана из мира? Повышение — в низость, отличие — в страдание и в горе обратились! Живу, как отшельник-монах, поучаюсь терпеть и всякие муки в вящее назидание и в побуждение к внутреннему свету принимаю. По завету учителей великого ордена, совлекаюсь ветхого Адама, готов ратоборствовать против тлена, грехов и сатаны, готов подвизаться среди всяких соблазнов, не касаясь сердцем их суеты. Но станет ли сил? Кругом зависть, злоба, оголтелые пьяницы, моты, вечные ссоры, попойка, картеж. Бросил бы все, бежал бы, да засудят, как дезертира. Подожду еще малость. Не пособите вы мне — беда! Что предпринять, что и мыслить, несведом. Ах, если бы вы видели ту мертвую глушь и дичь, тот хребет тигра, на коем я сижу ныне, между жизнью и смертью!

В. Мирович».

Задумался Ломоносов над этим письмом.

«К голштинцам, к доннерветтерам идти! Эка напасть Божья, натуры издев! — сказал он себе, разведя руками. — А жаль малого! Со смыслом и с душой! Совлекается ветхого Адама... Насочинили врак тупые немецкие головы про масонство, сей и без того противуприродный, светский аскетизм... Жить бы, жить да утешаться... И предмет его, та девица, чай, по правде, тоже не без тоски, в толиком угрюмстве судьбы... И везде-то, во всем такая бестолочь, та-

кие сполохи отворенного во все концы политического и общественного нашего горизонта... Что же делать? Что предпринять?»

Ломоносов открыл портфель, бросил туда письмо, достал рабочую тетрадь, перевернул несколько страниц и задумался над стихотворением «Кузнечик». Он набросал его в последний из проездов через петергофские леса:

Кузнечик дорогой, коль много ты блажен!
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!
Препровождаешь жизнь меж мягкою травою
И наслаждаешься медвяною росою...
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,
Но в самой истине ты перед ними царь...
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен...
Что видишь — все твое, везде в своем дому —
Не просишь ни о чем, не должен никому...

«Не просишь, не должен! — вздохнул Ломоносов. — А главное — свободен! Волюшка, родная воля! Далекое Белое море, отцовский порог... А здесь? Интриги, перевертни-проходимцы и вечная подземная, кротовая война! Великий мой герой, Первый Петр! Для того ль, в торжество ли и избыт иноземной, алчной лжи, затеял ты любимое свое чадо — Петербург?.. Уеду, брошу этот Вавилон, брошу неверные, бурливые дни. В сермягу оденусь, бороду отпущу и навсегда скроюсь в деревенскую тихую глушь... Вышел из народа, в народ возвращусь... Пора!»

Крики и беготня детей на берегу нежданно смолкли. Ломоносов взглянул на улицу.

Шагах в двухстах от его двора, к стороне Синего моста, остановилась наемная извозчичья коляска. Сидевший в ней, склонясь, о чем-то говорил с уличными ребятишками. К крыльцу подбежала Леночка.

— Кто, кто? — спросил Ломоносов.

— Виссен... фон... или как... ну, Виссен... — всилу переводя дух, ответила вся красная от беганья Леночка. — Студент из Москвы... он вам писал...

— А! Вспомнил, зови! — сказал, суетливо запахивая халат, Михайло Васильевич.

«В иностранную коллегию просится... стихи намедни прислал на прочтение!» — рассуждал он, прикрывая голову старым, порыжелым треуголом.

Коляска подъехала к воротам. На крыльцо взошел круглолицый, с румяными пушистыми щеками, пухлыми губками и большими выразительными глазами, восемнадцатилетний, миловидный, хотя несколько мешковатый и не по годам полный юноша. На нем был серый, с иголочки, студенческий, демикатоновый кафтан. Из-под приплюснутой треуголки выбивалась русая, в природных шелковистых букольках, коса. Он улыбался, напоминая движениями беспечность резвого, хорошо откормленного жеребенка-сосунка. С появлением его на крыльце послышался запах вошедших тогда в моду духов киннамона, или петушьих ягод, rosa cinnamonea.

— Лейб-гвардии Семеновского полка сержант и московский студент... — начал гость, добродушно и угловато раскланиваясь. — Четыре года назад, в доме нашего куратора, его превосходительства Ивана Ивановича Шувалова, имел счастье быть вам здесь представленным...

— Да, да... Как же-с, помню. Добро пожаловать.

— И вы меня еще тогда спросили, чему я учился. А я имел честь ответить: по-латыни, — за что и был вами апробован! — продолжал, обмахиваясь клетчатым платком, студент.

— Так, так, господин Фонвизин! И это все припоминаю, — произнес с улыбкой, усаживая гостя, Ломоносов. — И письмо ваше получил, и экстрактец о задуманной комедии одобряю. Что же? Пишете — как бишь вы думаете назвать? — «Бригадира»?

— Начал-с, да не спорится все, — вспыхнув по уши, ответил юноша, восхищенный вниманием великого писателя.

— Что же мешало? Розы удовольствия? Ученья шипы?

— Правду изволили сказать, развлечений премного-с!.. Знаете, в Москве так весело, столько родных... и под Мо-

сквой тоже... у бабушки. Маланья Ивановна, моя бабушка, старенькая, а пребедовая — на арфе играет, любит веселости и вас всего наизусть знает. Вот поступлю на службу, разве тогда...

— Пишите, государь мой, обличайте злые и глупые нравы, — сказал Ломоносов. — Знатный вымысел взяли вы, и сюжет сильно сходствует времени. Сколько таковых бездельнических невежд бременит землю! Да супругу-то задуманного пустозвона, бригадиршу-то, постарательней оболваньте. Всем нашим дурафьям-щеголихам сродни таковая архибестия. Да умненько, батюшка, острой ловкости слово выискав, уязвите притом и наше гонянье за модами, с их бестолочью, развратом и всякою пустошью!.. Вы это сумеете. Имя и отчество ваше?

Гость назвал себя.

— Да-с, Денис Иваныч, пишите. Иначе — грех. Талант Господь Бог дал вам несомненный.

— Стихи же... изволили ль вы пробежать стишки? — пожирая восторженными глазами знаменитого поэта, спросил Фонвизин. — Я вам, Михайло Васильич, послал из Москвы несколько листков...

— Не просто прелесть, а отменная! — с улыбкой ласковых, строгих глаз, откинувшись на лавку, сказал Ломоносов. — Вот ваши писания — здесь, в эту дневную мою тетрадь вложены. Хотел отвечать, да был в деревне. Не расстаюся с ними, любуюсь... Лиса-Кознодей восхитительна. Похвалы ее умершему Льву бесподобны: «...он скотолюбие в душе своей питал!» Ай да утешили... Преметко сказано, но не меньше гуморичны и злы сии протесты Крота:

Трон кроткого царя, достойна алтарей,
Был сплочен из костей растерзанных зверей.
В его правление любимцы и вельможи
Сдирали без чинов с зверей невинных кожи...
И словом, так была юстиция строга,
Что кто кого смогá, так тот того в рога...

Поздравляю, государь мой, поздравляю! Талант! — продолжал с искренним увлечением, похлопывая рукой по рукописи, Ломоносов. — Стрелы Свифта и соль Буало!.. Метите, сударь, прямо в Горации... Выдержка только, выдержка, неоскудевающее терпение и труд. В послании ж к уму своему и благодушие, и острая издевка сатирствуют вместе.

Ты хочешь дураков в России поубавить,
И хочешь убавлять ты их в такие дни,
Когда со всех сторон стекаются они?..
Когда бы с дураков здесь пошлина сходила,
Одна бы Франция казну обогатила...

Именно так, именно! — произнес, расхохотавшись и закашливаясь, Ломоносов. — Ну, мило, да и все тут... едут, стремятся в чужие края — мудрости искать. А глядишь, юный российский поросенок, объездив театры да кофейни чужих краев, возвращается отнюдь не умнее — сущею русскою свиньей!.. Но позвольте, чем же вас, сударь, потчевать?

— Помилуйте, — ответил, вскочив и раскланиваясь, Фонвизин.

Он не знал, куда глядеть. Вспотевшее, миловидное, обросшее пушком его личико выражало детскую растерянность и страстный восторг.

— Э, без того нельзя-с... Леночка, а Леночка! — крикнул Михайло Васильевич. — Моченой морошки нам принеси, с сахарком... Холмогорские земляки, Денис Иваныч, постом в презентец привезли. Не обессудьте, отведайте...

Подали морошку.

Беседа не прерывалась. Солнце село. Берег Мойки стал пустеть. Ушли дети, бабы-матроски, гусыня с гусятами, корова Лизаветы Андреевны и дворников кабан. Хозяин и гость с крыльца отправились в сад. Над соседними кровлями вырезался месяц. И пока он поднялся, осветив чистое, далеко видное небо, академик и студент, разговаривая, прогулива-

лись по извилистым, полным прохлады и смолистой мглы, дорожкам.

— И помните завет друга, — замедлив шаги, сказал с увлечением Ломоносов, — высоко чтите союз добродетелей, аккорды общего блага и добра... Будьте благовестником вечной правды, подальше бегите от несытых в роскоши и всякой подлости креатур низкопоклонной толпы. Чай, знаете, видывали таковых: в голове сквозит, пусто, на теле иного свинопаса сорочки нет, а ходит в бриллиантах, в шелку... нате, мол, каковы-де мы!.. Так вам, сударь, угодно, чтоб я замолвил о вас словцо канцлеру? — спросил, на расставанье, Ломоносов.

— Век Бога заставили бы молить.

— Но чем же моя речь будет сильней речи хоть бы Ивана Иваныча, коему вы были когда-то представлены?

— Фаворит боле не фаворит... а Ломоносов был и век останется Ломоносовым! — с неподдельным чувством и снова вспыхнув до корней шелковистых русых буклей, ответил Фонвизин.

— Так, так, — сказал, замявшись, Ломоносов, — много чести! Только ошибаетесь вы, сударь... не те нонче времена...

— Не ошибаюсь, Михайло Васильич. Канцлер чтит вас и не откажет. А уж мне-то как поможете! Служба даст положение в свете, средства к жизни — родители мои в них, к сожалению, недостаточны, — а с средствами, с поддержкой сочувственных друзей только и можно у нас писать.

— Верно сказано, по себе знаю, — произнес, оживляясь, Ломоносов, — поддержка, друзья — с ними прочней работа... Шумя, пчелы мед несут... Другую правду сказали. У нас на писателя смотрят еще, аки на общего обидчика или шута. Думают, что ученый, подобно Диогену, должен с собаками жить в конуре. Срамословы, злые невежды и высокомерные фарисеи! У меня на приклад, — опять раздражившись, с горечью воскликнул Ломоносов, — как хвороба зайдет, семье подчас медикаментов не за что купить. Фабрика мозаических стекол да прочие эксперименты все доходы

при трудностях домашних надолго поели... Шельма ж, нашей конференции советник Шумахер — главный клеветатель и персональный мой враг — зятю своему, Тауберту, в приданое, почитай, всю академию отдал, а мне — изобретенной мною астрономической трубы на казенные деньги, треанафемская немецкая дубина, никак все не справит... Змеи под травой! И уж как, право, жаль, что доселе их не догадались перевешать...

Гость и хозяин подошли к садовой калитке.

— Так как же, Михайло Васильич, — утираясь платком и опять распространяя запах киннамона, спросил Фонвизин, — удостоите поговорить обо мне с канцлером?

Ломоносов не сразу ответил. Он не спускал глаз с миловидного, даровитого юноши, в русых букольках и в сером, с иголочки, летнем полусуконном кафтанчике, стоявшего перед ним.

«Дай Бог ему, дай Бог! — думал он. — Новая сила родного ума!.. Но как ему помочь?»

Он вспомнил о приглашении на вечер к Фитингофу.

«Давно я не вылезал из своей мурьи! — сказал себе Михайло Васильевич. — Разве напялить парик да форменный академический кафтан и уж заодно на том голштинском сходбище порадеть и о Мировиче».

— Долго ли прогостите в Питере? — спросил он гостя.

— С неделю, а коли нужно, и долее. Отпущен родителями на месяц.

— Где живете?

— У дяди, в Измайловском полку... Вот мой адрес... Позвольте, у меня книжечка, я запишу... Как приедете, спросите болото, за болотом огород, а на огороде, в такой уединенной каменке, — баня или кузница там прежде была, — мне, как наезжаю, и отводят жилье.

— И отлично — сегодня четверг, — решил Ломоносов, — в воскресенье вечеринка в Измайловском тоже полку, у соседа моего по имению, коли слышали, у барона Фитингофа. Канцлера я давно не посещал; никуда не езжу.

А он их сторона... Я справлюсь, и если граф Михайло Ларивоныч будет там, я также туда поеду, и о вас, государь мой, как бы к случаю, понимаете, поговорю.

— Не нахожу слов благодарить! — ответил с поклоном Фонвизин.

— Недреманное бдение грамотных русских людей, а особливо хоть молодых, но столь талантливых, — сказал Ломоносов, — государству нужно... Вон государева жена, Екатерина Алексеевна, — слышали ль, какие подвиги в российском слоге в тайности совершила? Давно ли, на моей памяти, писывала в партикулярных цидулках: «ее мыслы...», «газайн» вместо «ея мысли» и «хозяин». А теперь и нас с вами за пояс заткнет. Достойно подражания... А знаете ли, сударь, кстати, какую опечатку, например, сделали в «Петербургских Ведомостях» при оповещении, в ноябре шестидесятого года, о взятии Берлина!

— Не знаю.

— То была нарочитая и злейшая шикáна обиженных здешних немецких скотов... И я за нее чуть шандалом не съездил в рожу академицкого секретаря Тауберта... Бывшего нашего посла в Пруссии графа-то Петра Чернышева, будто по ошибке, вместо действительный камергер, публично пропечатали — действительный камердинер.

XIII

БАЛ У ФИТИНГОФА

Барон Иван Андреевич Фитингоф, женатый на внучке фельдмаршала, графине Анне Сергеевне Миних, квартировал в большом деревянном доме, выходящем окнами к Фонтанке, у Измайловского моста. Впоследствии на этом месте был дом поверенного Потемкина, известного Гарновского, теперь занятый казармами. Здесь поселился на первых порах, по

возвращении в ту весну из ссылки, Миних, позднее переехавший в дом Нарышкина, у Семеновского моста.

Вечер воскресенья девятого июня привлек к помещению Фитингофа большую толпу зевак.

Набережная Фонтанки и обе стороны огромного, обнесенного высокою деревянною решеткой двора были загромождены экипажами. Раззолоченные и расписанные амурами и цветами кареты, коляски и крытые венские долгуши то и дело восьмериком и четверней проезжали с набережной в глубь обширного двора, где двумя рядами огней горели ярко освещенные, кое-где настежь раскрытые окна.

Подъехала зеркальная, всем известная карета шталмейстера Нарышкина, за ним ландо прусского посланника Гольца. Влетел шестерней, цугом, с арапами и скороходами, светло-голубой, открытый берлин молодого красавца гусара Собаньского, родича «пане коханку» Радзивилла. Управляемый Пьери, гремел оркестр придворной музыки. Его прерывал, расположенный за домом в саду, хор певчих Белиградского. Цветники и дорожки сада были иллюминованы. На пруде, против главной аллеи, готовился фейерверк.

— Бал! Черт с печки упал! Го-го! — хохотали в уличной толпе.

— Кашкады, робята, огненны фанталы будут, люминация! — подхватывали голоса. — Оставайся хучь до утра!

— Орехи, чай, рублевики будут в окна сыпать...

— Дадут тебе, Митька, орехов... Ишь аспиды алстинцы! Траур по государыне не кончился, а они, супостаты, пир затеяли...

С улицы было видно, как разряженные, в цветах и в легких бальных платьях красавицы, порхая из экипажей, взбегали по красному сукну крыльца.

— Эвоси, Петряйка, глянь — графиня Брюсова... Гагарина княгиня... гетманша с дочками...

— А отсуль въехал кто?

— Откуль?

— Да с прешпекту.

— Барон какой-то...

У освещенных люстрами окон появлялись, в звездах и лентах, известные городу голштинские и русские сановники, мелькали напудренные, в косах, головы военных и штатских щеголей, толпились белые, желтые и красные, нового покроя, гвардейские и армейские мундиры.

Был в начале девятый час вечера. В комнатах становилось душно. Танцы из переполненной гостями залы перевели в просторную цветочную галерею, окнами в сад, выходивший в первую роту Измайловского полка.

Менуэт сменялся котильоном, гавот — гросфа́тером, гросфа́тер — режуисса́нсом. Скрипка Пьери стонала горлинкой, блеяла барашком, рокотала и заливалась соловьем. Кларнеты, гобои и флейты подхватывали рев медных труб; контрабасы гудели стадом налетающих майских жуков.

— Генерал-полицеймейстер Корф едет! Корф! Расступись, братцы! — отозвались с набережной.

— Гетман, гетман!

— Где?

— Да вон он, передовые вершники скачут по мосту... фалетор кричит...

— Уноси, Василь Митрич, рыло — скрозь промахнут!..

— Ххо-хоо! — гоготала навалившая с немощеной набережной толпа.

В портретной и кабинете хозяина старики играли в карты.

Лакеи разносили вниз ликеры, оршад и лимонад. Толстый и важный, как меделянский пес, краснорожий швейцар, в большом напудренном парике, с длинными и тоненькими гусарскими косичками на висках, в алом кафтане, с позументом и витишкетами, в чулках и башмаках, стоял с булавой у порога главной гостиной и басом, в жабо, возглашал по новой моде имена входивших важных особ: Опперман, Цейц, Медель, Ольдерог, Буксгевден, Катцау, Унгерн, Фредерикс, Швейдель, Штоффельн, Розен — герба белых роз, Розен — герба алых роз, Шлипенбах и другие.

В числе русских за генерал-прокурором Глебовым вошел еще красивый, с теми же густыми, черными бровями и с бархатными, но уже не смеющимися глазами, казавшийся усталым и сильно похудевший фельдмаршал Алексей Разумовский. За ним — сморщенный, с дергающимся правым глазом, директор недавно закрытой тайной экспедиции Александр Шувалов и Волков. При имени Ломоносова взоры многих, с брезгливым любопытством, обратились на мешковатый, кирпичного цвета, ученый мундир и на суровое и смелое, с желтизной, лицо атлетического плебея-академика, муза которого упорно молчала всю первую половину этого года. Вмешавшись в пеструю, гудевшую говором толпу, Ломоносов сел на канапе у стены между двумя гостиными и стал рассматривать.

Явилась в красном шелковом роброне с длинным шлейфом, блистающая красотой и грацией графиня Елена Степановна Куракина, фаворитка недавно умершего графа Петра Шувалова. Ее тотчас окружил рой молодых и старых куртизанов.

— Виновница вольностей дворянства, — шушукали о ней злые языки, — бриллиантов-то, бриллиантов!

Куракина громко смеялась на любезности вздыхателей и с торжествующей улыбкой, прикрываясь веером, зорко оглядывала наряды прочих записных щеголих.

В сопровождении двух племянников-пажей показалась в синей бархатной робе, на фижменах, с лентой через плечо и в огненно-дымчатом токе, кавалерственная дама Бутурлина. Глаза всех следили за Куракиной. Кто-то вполголоса, подмигивая на последнюю, произнес возле Ломоносова:

— Отбил красотку у покойного начальника Григорий Орлов — да в гору пошел через свою продерзость повыше...

Толстая старуха Бутурлина отыскала глазами хозяйку дома. Пыхтя и переваливаясь с ноги на ногу, она подошла к Анне Сергеевне Фитингоф, неуклюже присела по новому придворному фасону и представила вид, что чуть от того не упала. Баронесса и стоявшие возле нее рассмеялись.

— Фиглярит, шпыняет государев указ! — презрительно указал на нее Волкову Александр Шувалов, проходя мимо Ломоносова.

Михайле Васильевичу было не до того. Он не спускал глаз с лукавой лисы, Разумовского, который любезничал и со слезами на глазах целовался с любимцем государя Унгерном.

— Лобза, его же предаде, — склонясь к уху Ломоносова, шепнул сладенький, шепелявивший Бецкий.

Но что это?.. Выходцы с того света...

Блестящая, разряженная в шелк, в кружева и бархат молодежь засуетилась. Все толпятся, указывают на седых и дряхлых, но еще бодрившихся старцев, которые почти одновременно появляются в глубине гостиной. То были возвращенные ссыльные — Миних из Костромы, Лесток из Углича и Бирон из Ярославля. Толпа расступилась. Ломоносова оттерли в простенок к окну.

Восьмидесятилетний, высокий, с остатками былой величавости и красоты Иоганн Бурхард, или, как его именовали русские, Иван Богданыч Миних, возвратился из Сибири в феврале. Седоволосый, но еще румяный, раздушенный и крепкий здоровьем селадон будто и не был в двадцатилетней ссылке. Об руку с легкомысленной и красивой Еленой Степановной Куракиной и молодою графиней Брюс, он не перестает куртизанить, как куртизанил в царствование Анны Ивановны, целует ручки восхищенных его вниманием очаровательниц, острит и морщится при виде казарменно-вахмистерских лиц и ухваток, составлявших принадлежность новых дворских сфер.

Поодаль от него — семидесятилетний, сосланный этим Минихом, недавний «бич России» — изъеденный геморроидами, на тоненьких, подагрических ножках, с потускнелыми черными «страшливыми» глазами герцог Эрнст Бирон. Возвращенный из ссылки в марте, он идет с хозяйкой, баронессой Фитингоф, брезгливо оттопырив твердую, мясистую нижнюю губу, искоса, несмело, из-под отяжелевших век, по-

глядывая по сторонам и судорожно подергивая большой, точно из гранита изваянной, сухой, холодной и жесткой головой...

Сзади них, прощенный еще в декабре, в оливковом бархатном кафтане и в неряшливом, всклоченном, напудренном парике, скрюченный годами, бедностью и всякими разочарованиями, беззубый, осыпанный нюхательным табаком, хвастливый враль и медный лоб, смелый и наглый авантюрист Лесток.

— Встречаю шестое благополушне царствование — гм! — в благополушня Рюси... — острил он, хихикая и шаркая бархатными штиблетами перед разряженными старухами, некогда первыми красавицами елисаветинского двора.

Ломоносов не верил своим глазам. На него как бы пахнуло могилой. Сердце его сжалось. Он смутно вглядывался в живых, но точно молью и тлением тронутых, грозных старцев, некогда двигавших судьбами России.

«Былые боги немцев на Руси! — так вот они прощены... стадо лютых волков... А нашего-то горетовского ссыльного, Бестужева, и забыли! — мыслил он, притиснутый к окну. — Бирон! Вижу наконец вблизи этого брюхатого, жадного и злого курляндского паука, в оны скорбные дни упивавшегося кровью тысяч русских... А этот, раздавивший и пожравший земляка-друга, старый интриган Миних!.. Памятно ль им ненавистное выражение «слово и дело» и нежданная встреча их на станции, когда одного мчали в Сибирь, а другого, сосланного им, из Сибири! Вон раскланиваются, комплименты говорят, потчуют друг друга табаком, и оба воротят носы от сквернавца-француза Лестока, точно от него и взаправду пахнет кровью замученной фамилии Ивана Антоновича...»

Стали приливать новые гости.

Бирон, шаркая исхудалыми, неверными ножками и подергивая каменною головой, вмешался в толпу. Миних также хотел пройти в следующую гостиную, но его окружила новая волна дам. И опять его зоркие, сторожкие, улыбающиеся

глаза блеснули остротой. Он поднял руку с лорнетом, что-то вполголоса нашептывает Куракиной.

— Да полноте, Иван Богданыч! Ах, ах, ваше сиятельство! Ну, что это вы! — ударяя его веером по руке, смеется счастливая его вниманием Елена Степановна.

«Двадцать лет назад, — подумал Ломоносов, — я стоял в толпе народа, меж Академией и коллегиями, а он, этот беспечный, твердый Миних, высился во весь рост у плахи, рядом с палачом. На нем был красный фельдмаршальский плащ, лысая голова была обнажена, а на дворе стоял трескучий мороз. Выслушав смертный приговор к четвертованию, он шутил с солдатами. "Что, батенька, холодно? — сказал он с улыбкой, сходя с эшафота, полузамерзшему полицейскому офицеру. — Шнапсику бы теперь — адмиральский час!" Да, это будет надежнейший оплот Петра Федоровича».

Гром музыки в цветочной галерее и новое движение пестрой веселой толпы прервали мысли Ломоносова. Он направился к танцующим.

— Господа, кто желает курить, в кабинет или к китайской беседке! — говорил мужчинам по-немецки и по-французски барон Иван Андреевич Фитингоф.

В кабинете толковали о недовольстве Франции и Австрии, о предстоящей войне с Данией. Слышалась одна немецкая речь вперебивку с голштинскими поговорками.

— А знаете, как Нарышкин получил андреевскую ленту? — произнес кто-то в углу. — Надел ее, шутя, вышел в приемную, а потом докладывает государю: «Совестно, позвольте не снимать — все засмеют».

— Ха-ха-ха! — отзывались важные слушатели.

Часть гостей двинулась в сад, к освещенной фонариками китайской беседке.

— Где канцлер? — спросил Ломоносов, встретясь в цветочной с бывшим государевым учителем, академиком Штелином.

— На что тебе? Путь в Индию все думаешь затевать? Не тебе чета был великий Петр, и тот провалился.

— Не при пустоши. Перемолвить надо об одном молодом человеке.

— Ищи в саду, в буфете. Никогда Михайло Ларионович не курил, а теперь, представь, и он модным человеком быть хочет.

— Не укажешь ли, кстати, обер-кригскомиссара Цейца? — прибавил Ломоносов.

— Этот вашей милости для чего? — спросил с улыбкой, распомаженный и чистенький, как сахарная куколка, Штелин. — Вон он, видишь, высокий, у двери, с плюмажем... Не поэму ли или оду в честь голштинцев изволил, Михайло Васильевич, скомпоновать?

— Вздор городишь! — сердито ответил, отвернувшись от коллеги, Ломоносов.

Он подошел к Цейцу, с достоинством отрекомендовался и, для вящего успеха, заговорил с ним о Мировиче по-немецки. Грубый, чопорный и совершенно глупый Цейц внимательно выслушал знаменитого просителя, тревожно задвигал густыми русыми бровями и, думая по-немецки, ответил на ломаном русском языке:

— Вы долг слушебна не знаете, вы диссиплин, извините, не понимаете, а потому... потому отказом не обишайтесь... Bitte um Verzeihung![1] — Сказав это, тощий и длинный, как шест, государев ордонанс угловато и сухо склонил набок костлявый стан, щелкнул огромными шпорами и, молча, покачиваясь, отошел к кружку других генералов.

«Тьфу ты, немецкая, гнусная тварь! — чуть не вслух произнес Ломоносов. — Еще наставления, пакостная тараканья моща, делает! Знал бы — и не просил!»

Но оставалось еще ходатайство о Фонвизине. Михайло Васильевич пошел отыскивать канцлера Воронцова.

---

[1] Извините, пожалуйста! *(нем.)*

Вместо дороги к беседке вправо, Ломоносов с балкона взял влево и попал в малоосвещенную глубь сада. Здесь была полная тишина. Дорожки меж высоких деревьев сходились в извилистый, хитро переплетенный лабиринт.

В конце сада, за прудом, на перекрестке двух аллей стояла старая развесистая липа.

Под липой, на скамьях, вокруг простого некрашеного стола сидели трое из гостей. Их трубки вспыхивали в темноте, как волчьи глаза. Четвертый, разговаривая, медленно прохаживался перед ними. Им было видно всякого, кто шел от дома. Их можно было разглядеть только вблизи. Они удалились сюда и для беседы наедине, и для освежения на чистом воздухе, увлажняемом близостью темного, покрытого легким белым паром пруда. Двое из них, на мировой во дворце, для виду, на днях взялись за бокалы. Но едва государь отвернулся, они разошлись и не захотели пить друг за друга. Здесь они были, по-видимому, друзьями.

— Государь очень недоволен супругой, очень! — сказал по-французски, остановившись у стола, Воронцов. — Все тормозится от этой размолвки; фуражный подряд для похода не роздан до сих пор... поставщики потеряли головы...

Старчески ворчливый хрип и покряхтывание отозвались в ответ на эти слова. Все под липою опять замолкло.

— Куда идем? Чего ждать? — продолжал то по-французски, то по-русски великий канцлер. — Прихода ожидается пятнадцать миллионов, расхода шестнадцать с половиной. Чем покрыть дефицит в полтора миллиона? А тут эта война с Данией! Всюду ропот! — в собственной фамилии государь отнюдь не ассюрирован. Ни о чем нельзя просить, не на что надеяться...

— Племеннис ваша, Элиза Романовна, утешийт его! — ответил по-русски, попыхивая из витой трубки, Лесток. — Женушка будет, обвеншался можно тихим маньер...

— Опасно! — сказал Воронцов — В марьяж играть — не в дурачки... Не простят нам того наши персональные

враги... И без того суппонируют... Положим, племянница моя так близка государю... Но за Екатерину Алексеевну — шутка ли — гвардия, народ... везде неспокойно, подглядывают, следят...

— Постричь немножко!.. В монастырь на хлеб и вода! — прошамкал сквозь зубы былой пособник императрицы Елисаветы, также когда-то выехавший на монастыре. — Пусть узнает пословис — как это? как?.. вот тебе, бабушка, Юрич день...

— Жаль, жаль бедную! — сказал, с сильным немецким акцентом, Миних. — Она грациозна, деликатен так, тиха... Плутарх шитает, хронику от Тасит, энсиклопедию Бель и Вольтер... Разумна головушка...

— Каприжесна и лукав! — презрительно и грубо проворчал третий собеседник, молча сидевший на скамье. — Ребе́ллы и конспирато́ры! Машкарат!.. Бабе спустил, сам бабам будешь...

— Но что же, ваше высочество, делать? — обернувшись на голос этого третьего, мягко спросил Воронцов — Dites-le au nom de Dieu! Votre expérience et puis...[1] Ваша опытность и предусмотрительность....

— Аррест и вешна каземат! — прозвучал железный голос из темноты.

— Mais... excellence, ecoutez![2] Кто нас заверит? Из тюрьмы ведь люди тоже выходят, — возразил Воронцов, — а заключенного — сколько примеров? — могут отбить из-под всяких закреп и замков...

— Метод есть кароша другой! — отозвался тот же голос из-под дерев.

— Какой? — спросил с невольною дрожью канцлер.

— Плаха и топор! — кругло и уж совершенно по-русски выговорил Бирон.

---

[1] Скажите ради Бога! Ваша опытность и к тому же... *(фр.)*
[2] Но... послушайте, ваше высокопревосходительство! *(фр.)*

По аллее, за ближними кустами, послышались шаги. Воронцов оглянулся, состроил лицо на ласковый, добродушный вид и, беспечной развальцой, пошел навстречу давнему приятелю Ломоносову.

Они остановились поодаль от липы. Канцлер нетерпеливо и рассеянно вертел в руках табакерку. Ломоносов, видя его смущенное и как бы провинившееся лицо, подумал: «Уж не пройти ли мимо? Какой-то секретный тут консилиум.. Нет, нечего терять времени».

Он пересилил себя и в кратких словах передал канцлеру просьбу о студенте Фонвизине.

— Все тот же мечтатель, добряк и хлопотун за других! — утирая лицо и сморщившись, сказал Воронцов. — Рад тебя, дружище, видеть, рад! Давно пора явиться... Но время ли, батенька, согласись, об этом теперича, да еще на балу? Ты знаешь, я тебя люблю, всегда готов, но... смилуйся, Михайло Васильич, посуди сам...

— Я, ваше сиятельство, домосед, берложный медведь, не шаркун, — с зудом в горле, сжимая широкие руки, сердито пробурчал Ломоносов, — но вас, дерзаю так выразиться, на этот раз трудить моей докукой не перестану...

— Но, cher ami[1] и тезка! Ваканции в коллегии нонче нетути. Образумься, пощади! И высшие рангами, смею уверить, как след не обнадежены... Куда я заткну твоего протеже? Чай, лоботряс, мальчонка-шатун, матушкин московский сынок?

— Не лоботряс, государь мой, — обидчиво ответил Ломоносов, — а за шатунов я отродясь просителем еще не бывал. Место переводчика прошу я, граф, этому студенту. Он басни Гольберга перевел, Кригеровы сны, «Альзиру» Вольтера... И первая книга издана в Москве коштом благотворителей... Усердные к наукам у нас не знают, как им и ухвалиться. И я прямо скажу — таковыми людьми, а особ-

---

[1] дорогой друг *(фр.)*.

ливо русскими, в отвращение вредительных толков и факций, брезгать бы не следовало...

— Вредительные факции и толки! Бог мой! — досадливо перебил Воронцов, оглядываясь к липе, где впотьмах, как глаза шакалов, по-прежнему вспыхивали трубки оставленных им собеседников. — Ecoutez, mon brave et honorable ami![1] Правду-матку отрежу... О ком ты говоришь? О каком-то студентишке, о мизерном писце каких-то там книжонок, не больше... Ну, стоит ли? И вдруг вспылил! И все эвто ваша запальчивость! До того ли нам теперича? То ли у всех на уме? Впрочем, изволь, — прибавил он, подумав, — разве сверх штата и без жалованья, да и то пусть прежде выдержит при коллегии экзамент...

— Но, милостивый государь мой, — потеряв терпение, возвысил голос Ломоносов, — где видано?.. Он московский, словесной и философской факультеты студент... а немцев у вас принимают!.. Да когда же наконец столь роковой и пагубной слепоте увидим мы конец?

Он не кончил. С пруда, с громким свистом, взвилась ракета. По берегу вспыхнуло несколько разноцветных огней. Дверь на балкон из цветочной распахнулась настежь. Грянул голштинский, с барабанами и трубами, марш. И сквозь искры шутих и бураков было видно, как впереди блестящей военной свиты, на крыльце, рядом с Гудовичем, в белом с бирюзовыми обшивками голштинском мундире, с аксельбантом и эполетом на одном плече, показался император.

— Так как же, граф? Будет ли наконец уважено? — надвинувшись плечом на растерявшегося Воронцова спросил Ломоносов.

— Ах, батенька! Точно Цицерон: quousque tandem?[2] Недостает еще Катилины! — торопливо, трусцой исчезая в

---

[1] Послушайте, мой добрый и почтенный друг! *(фр.)*

[2] доколе? *(лат.)*

боковой аллее, проговорил великий канцлер. — Коли согласны, экзамент и сверх штата...

— Гунсвоты! Каины! — проворчал взбешенный Ломоносов, шагнув за ним, и чуть впотьмах не задел парик Лестока. — Этакого юноши и не оценить... Рвань поросячья! Куда ни глянешь, одна рвань...

— Quel môot de chien![1] — послышалось под липой.

— Ребеллы и конспираторы! nichts weiter![2] — презрительно заключил, вставая на жиденьких, трясущихся ножках, герцог Бирон. — Бедне России конец... punktum!..[3]

Ломоносов завидел в гущине березок китайскую беседку. Здесь теперь было пусто. Курильщики и любители пива отправились смотреть фейерверк. Михайло Васильевич присел к столику. Нервная дрожь его не покидала. Он сидел без мысли, без движения, прислушиваясь к музыке и к одобрительным возгласам толпы, смотревшей на иллюминацию.

«Боже-Господи! Да что же это? — сказал он себе. — Куда я попал? И нужно было мне лезть сюда?!»

Он вышел из беседки.

Первая часть фейерверка была кончена. Танцы в доме возобновились. Освеженные на воздухе, дамы и мужчины возвращались веселыми группами в комнаты. Готовились начать бесконечный, так называемый «саксонский», или нарышкинский, гросфатер.

Цветочная галерея была переполнена. С приездом государя для танцев отворили новую, запасную, надушенную куреньями залу. Ломоносов, мимо напудренных, в цветах и жемчуге женских голов, мимо гвардейских мундиров, эполетов и палашей, тоненьких, в длинных перчатках, девичьих

---

[1] Какие непристойности! *(фр.)*

[2] не более того! *(нем.)*

[3] точка!.. *(нем.)*

рук и низко обнаженных, пышных дамских плеч и спин, боком протиснулся в эту залу. Он еще раз хотел найти Цейца и, при помощи гетмана, президента Академии, уговорить его оказать хоть какое-либо внимание Мировичу.

Суета и давка, предшествовавшие любимому, всех увлекавшему танцу, отодвинули Михайлу Васильевича к трельяжу из цветов. За перегородкой в оркестре он увидел перед пюпитром, со скрипкой в руке, императора.

Петр Федорович, ладя струны и чему-то громко, беззастенчиво смеясь, разговаривал с баронессой Фитингоф. Под руку с нею, обмахиваясь веером, стояла среднего роста, полная, прозванная городскими остряками «трактирщицей» Лизавета Воронцова. Лев Александрович Нарышкин, в бархатном, вишневого цвета кафтане, с андреевской лентой и крупными брильянтами на пуговицах, суетился, бегал, останавливался, махал платком и опять бегал, устраивая танец, в музыке которого вызвался принять участие государь.

«Они веселятся, — сказал себе Ломоносов, — фаворитка у всех на виду, все ей поклоняются, льстят... А она, Екатерина Алексеевна, умница моя, прячется, книги читает, навещает свежую могилу покойной императрицы... Сегодня я встретил ее... В трауре, в плерезах и в печальной, точно монашеской, шапочке ехала в дрожках молиться в крепость...»

На другом конце залы внимание Ломоносова привлекло бледное, строгое, встревоженное лицо сухощавой стройной девушки.

Опершись на руку другой, румяной и веселой, и как бы окаменев, она, с вытянутой шеей и сжатыми губами, не спускала робких, молящих глаз с государя. Перед ней в белом доломане, с барсовым мехом на плече, стоял лихой польский гусар, родич Радзивилла, Собаньский. Улыбаясь, он давно ей что-то говорил, очевидно, приглашая ее на гросфатер. Но вот она опомнилась, подала руку, обернулась к подруге. Что-то знакомое встретилось Ломоносову.

«Где я ее видел или кто мне о ней говорил? — подумал Михайло Васильевич. — Лицо вижу как бы впервые, а между тем... точно где-то ее встречал!.. Мушки и ямочки на щеках, серые, как у сфинкса, миндалиной, будто бесстрастные глаза, — и сколько в них вдумчивости, тайны и глубины... Тафтяной палевый роброн, низан перлами, алый бархатный камзольчик и коралловые браслеты — склаваж... Жениховы заграничные презенты... Бавыкина их показывала... Неужели ж это невеста Мировича — Пчелкина?.. Он ее так описывал... Но она была в Шлиссельбурге... Как же и с кем попала сюда? Вот случай... Может, сообщить о нем?»

Гром музыки прервал мысли Ломоносова.

Вертящийся гросфатер оттеснил его к оркестру. На толстых, упругих, обтянутых в белый шелк икрах, во главе пестрой вереницы, плыл, отбивая хитрые батманы и пируэты, Нарышкин.

— Веселимся, — сказал он кому-то близ Ломоносова, качнув головой.

«Веселимся», — подтвердили глаза его и прочих танцующих, легким роем пролетавших мимо оркестра.

Не успел Михайло Васильевич посторониться, опомниться, не успел взглянуть в ту сторону, куда упорхнула с гусаром худощавая стройная девушка, как его обдали волны зеленой, с золотыми блестками, кисеи, и он почувствовал запах горошка и резеды. Перед ним, с головными уборами в виде корзин цветов, улыбаясь, стояли красивая хозяйка дома и толстая, краснолицая Лизавета Романовна Воронцова. Баронесса представила его последней.

— Давно, давно наслышались, — несколько грубым голосом и нараспев обратилась к нему по-русски фаворитка. — Что пишете, Михайло Васильич?

Кровь бросилась в голову Ломоносова. Ему вспомнилась государыня Екатерина Алексеевна, на дрожках, в трауре.

— Ничего не пишу... болен был, — ответил он с судорогой в горле.

— Быть того не может! Что ж замолкла, никуда не является ваша муза?

— Юбка у ней кургуза, — думая, что говорит про себя, вслух сказал Ломоносов.

Обе дамы с удивлением взглянули ему в лицо.

— Мы читали вашего «Кузнечика», — сказала, желая его задобрить, баронесса. — Voilà un vrai génie... delicieux![1]

— Если б я был, сударыня, стрекозой, — произнес, насупясь, Ломоносов, — я бы давно ускакал отсель, скрылся бы в глушь, в бурьян...

— Ни одной оды, помилуйте! — жеманясь, вертясь и оглядываясь по сторонам, продолжала тоном капризной властительницы избалованная фаворитка. — Были ведь какие торжества! Мир с Пруссией, фейерверки, спуски кораблей... Вы же стихотворец, академик...

— На то есть другие, — еще грубее, с дрожанием губ и рук, пробурчал Ломоносов, — напишет сахарный Штелин, переведет Барков... его ж, кстати, посадили и в дессиянс-академию, другим назло...

Кто-то выручил дам. Они отошли, пожимая плечами.

— Неуч, грубиян, и все тут! — с тревогой глядя к оркестру, прошептала Воронцова.

XIV

АУДИЕНЦИЯ

За перегородкой, между музыкантами, уже не было государя. Петр Федорович сыграл первое колено гросфатера и передал скрипку Олсуфьеву. В глубине залы он обратил внимание на девушку, танцевавшую с польским гусаром. Ед-

[1] Вот истинный талант... прелестно! *(фр.)*

ва они кончили фигуру и стали у двери, туда подошел государь.

— Ваше величество! — сказала, склонясь перед ним, Пчелкина. — Уделите минуту несчастной...

Видно было, как Петр Федорович ласково улыбнулся, подал ей руку и, выпрямившись по-военному, вежливо отошел с ней мерным шагом к стороне.

— Кто говорит с государем? — спросила, в сером шелковом молдаване, румяная дамочка.

— Птицына... Майора Птицына дочь, — ответила ей другая дама, в зеленом корнете.

— Нет, ма шер, не Птицына; guelle idee![1] Та повыше и полнее.

— Так кто же?

— У Оппермана спросить бы... Где барон?

— Ах, посмотри, какая кривляка... Ну беспримерная ужасть! Глазами-то, глазами! А плечами как выделывает...

— Притом и бледна... — прибавила зеленая дамочка, — ах, как бледна!

— Да не бледна же, что ты! — перебила дама в сером. — Желта, ну, как мужичка, желта и черна...

— Ах-ах! Посмотри... И ведь туда ж с декларасьонами!

— Э, полно, радость! Божусь, даже смешно слушать — с декларасьонами! Этакую-то... Не думала я, ма шер, что ты такой педант...

— Господа, господа! Вам начинать! — крикнул с средины залы красный и в поту, выбившись из сил, Нарышкин. — Tournez á gauche, balancez... chaine![2]

И опять свивался и длинным, пестрым змеем скользил бесконечный, балансирующий, приседающий и, в хитрых батманах и плие, порхающий гросфатер.

---

[1] вам показалось! *(фр.)*

[2] Повернитесь влево, балансе... цепочкой! *(фр.)*

Государь и Пчелкина отошли к плюшевому трельяжу. Свободные от танцев гости, по правилам этикета, полукругом, стали поодаль от них.

— В чем же ваша просьба? — спросил император.

— Я невеста, — робко, молящим шепотом, сказала Пчелкина, — моего жениха, по вашему повелению, услали в армию...

— Жениха? А куртаги, ха-ха, менуэт в костюме нимфы, помните? — спросил Петр Федорович, смеясь.

— До того ль теперь, простите, умоляю, ваше величество...

— Не терпится? Хотите поскорее его видеть? Но ведь теперь пост — свадьбы нельзя... Э!.. Подождите конец месяца, ну, моих именин... Я обещал тогда, и ваш марьяж, верьте, сыграем. Согласны?

— Слышно о новом походе, ваше величество, — поборов волнение, продолжала Пчелкина, — вы уедете... Я искала случая еще об одном лице вас просить; вновь его все забыли. Я хотела пасть к ногам вашего величества... в церкви, в манеже, на площади у дворца... Ах, государь, помогите, окажите вашу милость... вы так добры...

— Не вам быть у чьих-либо ног, — лукаво улыбнувшись, сказал Петр Федорович, — я виноват... Но mille pardons[1], о ком вы еще просите?

— Вы, государь, обещали к маю приехать, освободить... принца Иоанна; а теперь июнь... Простите, ваше величество, безумной, дерзкой... Я жила у тамошнего пристава; его сменили за некое письмо; но не он вам его писал... Казните — я решилась тогда напомнить... и теперь дерзаю...

Поликсена не кончила.

Государь оглянулся. Перед ним, с бледным от негодования и ревности лицом, стояла Воронцова. Багровые пятна проступили на ее лбу и на трясущихся от волнения щеках.

---

[1] тысяча извинений *(фр.)*.

— Пару слов, ваше величество, — с хрипом злости сказала она по-французски, — дело весьма серьезное...

— Ну, ну, что там за спех? Через минуту, и к вашим услугам, — обернулся государь, благосклонно кивнув Пчелкиной.

Он подал руку Воронцовой. Толпа перед ними расступилась. Они вышли в соседнюю залу.

— С кем вы сейчас говорили? — спросила, подавляя бешенство, Воронцова. — Удостойте ответить, я все вижу, все...

— С одной девушкой; она... просила о женихе.

— О женихе? А вы не видите, не слышите, что вокруг вас делается? Спросите моего дядю. Он верный вам слуга; но вы его не слушаете. Смелость врагов зреет не по дням, а по часам... Вы уедете, меня заточат, казнят, — заключила, сквозь слезы, Воронцова.

— Ай, Романовна, как все это скучно! — перебил с нетерпением Петр Федорович, обернувшись к двери, за которой оставил Поликсену. — Ты по колени в библии ходишь, всяк то знает... Но вы с дядюшкой да с Гудовичем какие-то мрачные пифии. Ах! ihr alte Russen alle auf einen Schicht![1] Все-то у вас ковы да конспирации. Вспомнишь невольно о Швеции... вот тихий, цивилизованный народ... Зачем меня сюда привезли?

— Ваша супруга, — продолжала Воронцова, — что-то готовит; говорят, все роли розданы... Если не с дядюшкой, поговорите с Бироном, спросите Миниха, все скажут... К народу она является, в монашеской шапочке, угождает духовенству, черни...

— А вот погоди, Романовна, как через пару деньков переедем в Ораниенбаум...

---

[1] вы, старые русаки, все на один манер! (*нем.*)

— Но вся молодежь, слышите ли, вся молодежь за нее! — топнув ногой, произнесла Романовна. — Спросите — поэты на ее стороне, без ума.

— Nicht, als Eifersucht, mein Kind[1]. Ничего, как ревность! — беззаботно усмехнувшись, ответил Петр Федорович. — Даже литературщиков, стихоплетов вон вспомнила... Стыдно, фуй! А погоди, перед походом венец устроим, тебя регентшей оставлю. Тогда что скажешь? Ну, будем же философы, как великий Фридрих... Это что? — помолчав, сказал государь. — Канонада ракет, финал фейерверка... Пойдем в сад. Но á propos[2] ты вспомнила о писателях... Я тут приметил одного придирщика... Погоди-ка, надо с ним пару слов сказать.

Музыка смолка. Гросфатер кончился. Все двинулись на балкон.

За прудом, отражаясь в воде, пылала хитро устроенная брильянтовая колоннада. На столбах горели урны; из каждой вылетали звезды и били разноцветные огненные фонтаны. И над всей этой картиной, в дыму, как на облаках, обозначился щит с буквами П и Е.

— Петр и Екатерина, — пояснил кто-то по-немецки своей даме, проходя аллеей мимо Ломоносова.

— Петр... и Елизавета, Лизка Воронцова... — сердито проворчал им вслед по-русски другой голос из темноты. — На какой только вербе оную метреску повесит свет-матушка наша, Екатерина Алексеевна!

«Э-ге-ге! Да Бог не без милости! — сказал себе Михайло Васильевич. — Друзья-то нашей разумницы есть и здесь, в самом лагере ее супостатов...»

Ломоносов вздохнул. Ему вспомнилось в это мгновенье время за двадцать лет назад, празднества и фейерверки в честь императора Иоанна Антоновича. Тот же блеск, шум

---

[1] Всего-навсего ревность, дитя мое (*нем.*).

[2] кстати (*фр.*).

и суета, но где все это? И где теперь сам виновник тех торжеств?

Последний сноп ракет с треском взлетел и рассыпался в воздухе. Призыв к танцам опять раздался в доме.

Распоряжался теперь голубой лихач-гусар, Собаньский.

— A votre place, messieurs et mesdames![1] — щелкал он шпорами и хлопал в ладоши, поглядывая, куда делась приглашенная им Пчелкина, и думая о ней: «Сто дьяблов! Как хороша, а когти — тигрицы...»

Молодежь собиралась в пары заключительного режуиссанса. А между тем уже слышался звон столовой посуды. В портретной, цветочной и угóльной накрывали столы к ужину.

Все столпились в зале, спеша попасть в танец, в котором старые и молодые наперебой стремились к одному — быть как можно ветренее, забавнее и шаловливей.

Ломоносов протискивался сюда также, ища глазами Пчелкину, с которой не успел поговорить. Но Поликсена, в тщетном ожидании государя, приметила круглую фигуру и напряженно установленный на нее взор как из-под земли выросшего генерала Бехлешова, сослалась на усталость, поручила кому-то из знакомых извиниться перед гусаром и уехала с Птицыной.

«Не судьба! — подумал, опять выбираясь из залы, Ломоносов. — И пакостной цапли Цейца не видно... Делать нечего; примечательная неудача! Так обоим просившим и сообщу...»

— Его величество вас требует на аудиенцию, господин профессор! — сказал, подходя к Михайле Васильевичу, генерал-адъютант императора Гудович. — Пожалуйте... Государь в саду, с балкона налево. Если дозволите, вас провожу...

Ломоносов преобразился.

---

[1] На места, господа и дамы! *(фр.)*

«Веди, голубица берлинского спасенного ковчега, веди!» — подумал он, идя за Андреем Васильевичем Гудовичем и смело, гордо глядя на почтительно расступавшихся перед ним немцев и русских.

Та же глубь сада и та же липа на перекрестке двух аллей. Под липой, где два часа назад с канцлером беседовали Миних, Лесток и Бирон, без шляпы и со стаканом лимонада в руке сидел, обмахиваясь платком, император. Перед ним стояли Унгерн и Корф. Завидя Ломоносова, государь всех отослал к стороне.

— Давно тебя не видел, Михайло Васильич, садись! — сказал Петр Федорович. — Ты меня совсем забыл. Тетку поддерживал, в одах воспевал. Меня, как вижу, меньше любишь. А на тебя все смотрят, ждут, что ты скажешь.

Ломоносов, почтительно стоя, молчал.

«Вспомнил! — пронеслось в его уме. — Господь, видящий сердце грешных, вразуми меня и просвети...».

— Voyons... вот прошел слух, — с улыбкой продолжал Петр Федорович, — будто ты составил прожектец всех немцев из России выгонять... Правда ли это?

— Сущая клевета и несообразность, — вспыхнув по уши, ответил Ломоносов, — и я такими ребяческими колобродствами не занимаюсь. Бываю я, простите, особливо в час гипохондрии, резок на слова... Но не в том наши пользы и нужды, государь... Хорошие иностранцы — наши учителя; а я, нижайший, сам у них же, на их родине, свет истины спознал. Не о Варфоломеевской ночи против чужеземных наставников думать нам, а о возвышении и произрастании родных наук. Поумнеем, наезжие менторы нам не будут нужны...

«Расположу его к себе, — насмешливо подумал Петр Федорович, — российский Малерб и Пиндар. Вот он стоит передо мной. А по-моему, просто ворчун и выдохшийся с годами бумагомаратель и пересудчик...»

— Слушай, Михайло Васильич, — сказал государь, — я, как все, как и дед мой Великий Петр, имею много не-

приятелей... Мне предсказывают разные беды, затруднения. Те советуют одно, эти другое. Не знаешь, кому и верить. Слушай... Проси у меня чего хочешь, все сделаю... только подумай получше и дай мне совет. У нас нет публичных ораторов, как в Англии, нет смелых энциклопедистов, как во Франции. Мне хочется, ну, пришел каприз, выслушать тебя. А ведь ты, слушай, и надо то признать, первый гений, слава моего трона. Итак, слушаю, Михайло Васильич... Primo — проси, secundo[1] — советуй.

Что-то едкое, жгучее подступило к горлу Ломоносова. Он хотел говорить и не мог.

«Денег сейчас попросит», — пробежало в весело настроенных мыслях Петра Федоровича.

— Ни энциклопедистов, ни верхних и нижних парламентов у нас нет, то правда! — сумрачно ответил Ломоносов. — Есть зато у тебя, государь, песнопевец, газет гремящий!.. Газет гремящий против злых, припадочных людей, против врагов и завистников родины... Лично за себя просьб не имею... В роды родов перейдет как твое имя, государь, так и твоего песнопевца. И никто не скажет, чтоб былой рыбак, а ныне известный всему свету, природный русский ученый и поэт, Михайло Ломоносов, чтоб он продавал свои оды за подачки от рук его государей.

— Да я и не говорю! Что ты? Помилуй!..

— Пел твою тетку, пелося, — продолжал Ломоносов, — и тебя, обозрев твоих начинаний черты, встретил радостно... Теперь молчу...

— Совет, совет! — нетерпеливо застучав рукой по столу, сказал Петр Федорович.

— Совет? Изволь, государь, только не прогневайся. Ты мягкий душой, прямой и добрый человек. Все это знают. Но страна, данная тебе, не аллеманское курфиршество....

---

[1] Первое... второе... *(лат.)*

Она — Россия!.. Тебе нужны мудрые, гением одаренные советники.

— Кто они? Где? — спросил, двинувшись на скамье, император.

«Уж не себя ли хочет предложить в советники?» — подумал он брезгливо.

— Помирись с твоей супругой, — сказал, почтительно склонившись, Ломоносов, — лучшего советника и друга тебе не надо.

«То же и Фридрих советует, — подумал Петр Федорович, — но в этом, и только в этом, он ошибается, — не знает мадам "La Ressource"».

— Нет, нет! — ответил с раздражением государь. — Жена непослушна, упорна, дерзка; скажу откровенно — не уважает лучших и верных моих хранителей, голштинцев. Клерикалы на ее стороне; вся гвардейская молодежь, слышно, в нее влюблена...

— И я, государь, прости, из ее жарких поклонников, — произнес, опять склонясь, Ломоносов.

«Точно сговорились», — с досадой подумал Петр Федорович.

— Ты ее обижаешь, теснишь, — продолжал Ломоносов, — а оторванные от недр близких поневоле ищут чужой поддержки и защиты... Таков естества и натуры чин!

— Дальше, дальше! — нетерпеливо перебил император.

— Загладь тяжкую ошибку государыни — твоей тетки, — сказал Ломоносов, — освободи несчастного узника, бывшего императора, Иоанна Антоновича... Двадцать лет вопиют из тюрьмы о его доле... Не приблизишь его к своему трону, отпусти в чужие края...

Петр Федорович сделал опять движение.

— Унгерн и дядя принц Жорж то же говорят, — произнес он, — да можно ли то, послушай?.. Ну, как его освободить? Ведь он претендент!

— Можно. В том прерогатив и величие твоей власти. Дай ему кончить жизнь человеком... Воспитай его, укрепи

здоровье бедного, просвети благами веры и разума... Искупи прошлое... Иначе суд Божий и людской, истории приговор — тебе не простят. Отошли его за границу к родным...

Петр Федорович встал. Сильное волнение его охватило.

Он порывисто оправил на себе шляпу, взялся за портупею, выпрямился, хотел говорить и несколько секунд не находил слов. Шпага дрожала в его руке.

«И та девушка, — подумал он, — и она сейчас о том же просила... Я помню обещания, надо слово сдержать...»

— Спасибо, — сказал император, — часть того, что ты изложил, сущий резон... После узнаешь, я давно, и прежде тебя, думал о том же. В остальном, извини, ошибаешься. Впрочем, будь покоен, отныне я за тебя. Верю тебе и на тебя надеюсь!.. Но ты ничего не просил?.. Voyons... Не хочешь о себе, проси за других... Слушаю...

Ломоносов собрался с мыслями и передал ходатайство о Мировиче и Фонвизине. Государь подозвал Унгерна, которому тут же сообщил ордер о своем согласии на обе просьбы.

— Студиозус твой, как видишь, будет принят... А за офицера, — произнес, улыбаясь, Петр Федорович, — mill pardons, не один просишь... И его невеста, ха-ха, момент назад, меня здесь о том же весьма бомбардировала. Ein Teufels Mädel! чертовски миленькая, умная девушка...

Не слыша ног под собой и не покидая гордой осанки, Ломоносов прошел анфиладой комнат, мимо опять подобострастно склонявшихся перед ним голов, от ужина отказался, простился с хозяевами и, найдя шляпу и трость, пешком отправился восвояси, на Мойку. Глаза его были увлажнены, сердце билось горячо. Длинная тень от луны падала с той стороны улицы, где, шепча какие-то слова, умиленный и растроганный, шагал «газет гремящий».

По уходе Ломоносова Воронцов отыскал Миниха и долго, под руку с ним, прохаживался по отдаленным дорожкам сада. Разговор шел о том же, об упадке

финансов, о колебании всех дел и о фуражном подряде для армии.

— Je conjure, votre Excellence[1], — говорил Воронцов. — Напрягите ваше влияние, чтоб государь оказал мне этот фавор...

— Но что я могу? — спросил Миних. — Was kann ich, mein liebster[2] Михайло Ларионыч?

— Ecoutez, — шептал канцлер, — je vous offre encore une d'être en moitié avec moi dans ce négoce...[3] мы поделимся — вам половина, мне другая, — прибавил он по-русски. — Только осмотрительней, по одной эхе могут пронюхать и перебьют...

Миних подумал, молча покровительственно сжал под локтем руку канцлера и с важностью вышел с ним из сада.

— Самый опасный — Григорий Орлов, — вполголоса сказал за ужином император Корфу, — надо приставить кого-нибудь в тайности за ним наблюдать.

«Слушаю», — ответил глазами генерал-полицмейстер.

— Над Дашковой, — продолжал государь, — будет лучший аргус — Романовна, ее сестра... Кто ожидал? Сколько притворства! Недаром я не жаловал ученых; во дворце ни одной латинской книжки в моей библиотеке не велел ставить...

Утром император призвал Гудовича, долго с ним совещался, и в тот же день был послан новый секретный гонец в Шлиссельбург.

«В военную службу принца, — рассуждал Петр Федорович. — Я его перевоспитаю, выбью у него дурь из головы, и он бросит бредить...»

---

1 Я умоляю, ваше высокопревосходительство (*фр.*).

2 Что я могу, мой милый (*нем.*).

3 Послушайте, я вам отдам вдобавок половину моей коммерции... (*фр.*)

В половине июня, поздно вечером, к даче Гудовича в лесной глуши на Каменном острове подъехала, с опущенными шторами, запыленная извозчичья карета. Из нее вышли озабоченный, пожилой, в синем гарнизонном кафтане офицер и длинноволосый, бледный, в голштинском плаще, с подплетенными в косу волосами молодой человек.

Кроме государя, хозяина дачи и еще двух-трех сановников, никто не знал о прибытии этих путников. Они заняли пустой флигель в глубине Гудовичева двора и первые дни никуда оттуда не выходили.

XV

ПЕЛЬМЕНИ

Прождав день и другой Фонвизина, Ломоносов отправился его отыскивать.

«Кстати, навещу и былую мою жилицу, Бавыкину, — решил он. — Пока пошлют приказ в армию, узнаю от Настасьи Филатовны его верный адрес и сам его обрадую приятною вестью».

Бавыкина квартировала теперь у Калинкина моста. Дом дяди Фонвизина был невдали у озера или, скорее, у болота, между светлиц пятой роты Измайловского полка.

Ломоносов заехал прежде к Фонвизину. Среди двора его встретила, с чашей и с грудой тарелок в руках, какая-то здоровенная, но еще молодая с виду стряпуха. На вопрос о Денисе Иваныче она переспросила: «Чяво?» — и, с досадой ткнув тарелками в сторону небольшой каменки, стоящей между верб и акаций, прибавила:

— Эвоси! Тут аны и живут...

Был еще десятый час дня. Из окон каменки между тем уж слышался стук ножей и вилок и вкусно пахло жаренным с луком мясом. У крыльца валялись палки и большой шерстяной избитый мяч для игры в лапту. Смех и говор не-

скольких молодых голосов слышался из-за низеньких, покосившихся и вошедших в землю дверей.

«Рано, однако, обедают на болоте!» — подумал, взявшись за дверную ручку, Ломоносов.

Его глазам за порогом представилась крохотная, светлая комната, загроможденная амуничным, книжным и всяким хламом. Сор в ней, очевидно, не выметали по неделям. Пахло табачным дымом. У раскрытого в обширный зеленый огород окна стоял тесовый стол. За столом, перед батареей пустых и недопитых пивных бутылок за блюдом дымившихся, плававших в масле пельменей с добродушными, вспотевшими от еды лицами, в рубахах и без шейных платков сидели трое смеявшихся военных молодых людей. Одного Ломоносов тотчас узнал. Прочие двое — круглолицый, долговязый, румяный, с крупным носом и карими, весело глядевшими глазами, и другой — постарше, невысокий, широкоплечий и в очках, — были ему незнакомы.

— Куда же это вы, Денис Иваныч, запропастились? — спросил Ломоносов, вваливаясь своим плотным, здоровенным станом через порог горенки. — Заехали, околдовали собой домоседа и как в воду канули... Я с хорошими вестями...

— Михайло Васильевич!!! Батюшка! Великий наш... — вскрикнул и заметался оторопелый и донельзя растерявшийся Фонвизин. — Господа, господа! — обратился он к вскочившим и также, в смущении, не знавшим, что делать, приятелям. — Позвольте вам отрекомендовать... тьфу! Что я! Смею ли?..

— Да полно ты, Денис Иваныч, — обратился к нему Ломоносов, садясь на безногую, на каких-то смешных подставках, прикрытую ковриком кровать, — назови, кто твои друзья, и все тут.

— Не сюда, не сюда, упадете... ах, в кресло! тьфу ты пропасть! и оно ведь сломано... не могу! о! да знаете ли, други сердечные, кто это? знаете ли? — произнес Фонвизин, указывая на гостя. — Наш первый, великий и единственный поэт, Михайло Васильевич Ломоносов.

Молодые люди бросились к своим галстукам и кафтанам, продолжая, с раскрасневшимися лицами, смущенно и безмолвно смотреть на гостя.

— Вот я и нарушил дружескую конверсацию, — сказал, поднявшись с кровати, Ломоносов, — знал бы, и не зашел... Оставайтесь, господа, как есть, или я сейчас ретируюсь вспять.

— Помилуйте, как можно! Ничуть-с... — восклицали, натягивая камзолы и прочее, оторопелые приятели Фонвизина.

— Мы играли в мяч, умаялись и закусываем, — объявил, глядя на приятелей, Денис Иваныч, — они зашли с ученья... А теперь позвольте: вот этот-с (он указал на круглолицего и долговязого, с крупным носом) — старый знакомец дядюшки по Казани, преображенский рядовой и мой друг по любви к словесности, скромный писец любовных и всяких веселых стишков Гаврило Державин... Не красней, брат, не красней!.. А этот (указывая на плечистого и полного, в очках) его и мой приятель, капитан того же полка Петр Богданыч Пассек. Он-то и придумал сегодня пельмени... И оба они, Михайло Васильич, как и я, ваши поклонники...

Глаза Ломоносова радостно блеснули. Он отменно вежливо поклонился и, ласково глядя на упаренные, цветущие здоровьем лица молодых людей, рассказал Фонвизину о своем предстательстве за него у канцлера и у самого государя. Денис Иваныч хотел было броситься к покровителю на шею и остановился.

— Михайло Васильич! — воскликнул он. — Как вас благодарить! Вот осчастливили, помогли...

— Резолюция канцлера, — заключил Ломоносов, — была, впрочем, сверх штата; государь, однако, велел вам дать жалованье... Только экзамент, друг мой, экзамент, без этого нельзя...

— Пустяки, — сказал, махнув рукой, Фонвизин, — съезжу в подмосковную, попрошу денег у бабушки или тетушки — богатая бабушка там у меня, да какая! всего вас

знает наизусть! — и не далее конца месяца выдержу всякое испытание... Не хотите ли трубочку, Михайло Васильич? Вот пенковая, а вот и табак...

— Ну, и дело... С испытанием мешкать нечего... А вы, сударь, тоже любите слагать стихи? — обратился Ломоносов к преображенскому солдату,

— По ночам-с, как улягутся в казарме, — несмело и запинаясь ответил Державин, — по ночам-с... мараю так себе, без правил, на рифмы кладу. У нас тесно, опять же солдатство не тем занято, амуниция, смотры — больше в карты или в свободные часы за вином...

— Что же пишете? — спросил гость.

— Триолеты о красавицах, — произнес, ободрясь, Державин, — побаски насчет то есть разных полковых дел... А впрочем, пробовал перекладывать Телемака и Геллерта...

— На какой же лад вы пробовали их?

— На образец, извините, вашему штилю подражал.

Ломоносов стал набивать трубку. Румянец выступил на его суровом исхудалом лице. Фонвизин делал знаки приятелям.

— А ну-ка, да ну же, из побасок что-нибудь, — сказал он, подмигивая, Державину. — Хоть это:

Я на то ль тебя спознал,
Для тово твой пленник стал?

Или это:

Ходит Бергер, — злы минуты,
Ко двору моей Анюты...
К вахтпараду припоздал,
В кордегардию попал...

— Ну, полно... охота! — перебил его, не зная, куда глядеть, растерявшийся Державин. — Такой ли пустошью занимать дорогого гостя?

— Трудитесь, государи мои, трудитесь, — сказал, раскурив и отставя трубку, Ломоносов, — вы наше наследие, преемники! Не давайте заглохнуть бедному, еще соломенному нашему царству... Пробуждайте, воскрешайте мертвую

землю... Да чтобы в вашу душу не вкрались дурные какие упражнения и колобродства... Главное — труд! А без него ничего не поделаете. Хлеб, господа, за брюхом не хаживал. И много терки вынесет пшеница, пока станет белым калачом...

Разговорились о науках, о литературе; от них перешли к городским и дворским новостям. Пельмени были забыты. Мундиры и галстуки, по просьбе Ломоносова, снова сняты.

Вошел еще гость, лет восемнадцати, среднего роста, с большим покатым лбом, бледный, с черными, задумчивыми глазами и робкою улыбкой на добрых, мягко очерченных губах.

— Также ваш поклонник, — произнес, указав на него, Фонвизин, — измайловский солдат и постоялец здесь во дворе дядюшки, Николай Иваныч Новиков. А этот? — обратился он к Новикову, — верно, знаешь? Наш бессмертный Михайло Васильич Ломоносов... Ну, какие новости, друг? В сборной был? Что говорят?

— Да, времечко! — сказал негромко, поглядывая на Ломоносова, Новиков. — Нечего сказать... Попались в перекрестную... Клади весла и молись Богу: вниз — вода, вверх — беда...

— А что? Да ты не стесняйся, — обратился к нему Фонвизин, — начистоту; ему можно... Он стойкий, наш...

Новиков снял перевязь, утерся и присел на стул. Несколько мгновений все молчали.

— Так все натянуто, так, — сказал Новиков, — что и незаряженное ружье, гляди, выпалит... А иначе мыслить, лучше лишиться жизни...

— Да вы о чем это, господа? — вмешался, потягивая из трубки, Ломоносов.

Приятели переглянулись. Фонвизин кивнул головой.

— Мы, измайловцы, — тихо и глядя куда-то вдаль, проговорил Новиков, — все, то есть, как один человек, ну, все пойдем за нее в огонь и воду.

— За нее, матушку нашу, богиню, — подхватил, вставая, Державин, — и мы, преображенцы, жизнь отдадим...

— За надежду, радость и спасенье отечества! — произнес, схватив стакан с пивом и чокаясь с прочими, Пассек. — Восемнадцать лет ведь она живет в России! Узнала ее, полюбила и стала, почитай, лучше всякой русской. Покойная царица Елисавета Петровна с Бестужевым ее, одаренную свыше, помимо ее мужа, прочила себе в преемницы, да не успела совершить и объявить... помешали Шуваловы, Бестужева сослали...

«Эге-ге, вон оно куда!.. Вон молодежь-то! — подумал, глядя на собеседников, Ломоносов. — Правду сказал Петр Федорович... Ничем еще себя не заявили; скромные, как грибки сыроежки под дуплом, в лесной глуши... Никто их не знает и не подозревает, а все они ее друзья. Все в нее влюблены, и от нее, добросклонной да внимательной, без ума!»

— А все-таки, в чем же дела суть, государи мои, не понимаю? — спросил Ломоносов.

Фонвизин взглянул на Пассека, тот на Державина, оба на Новикова.

— Да что, сударь, порицайте нас, судите! — сверкнув черными большими глазами, с засветившимся, бледным лицом, сказал Новиков, поднимаясь со стула. — Наше солдатство, измайловцы, решили сегодня — говорю это по секрету — не слушаться выдумки голштинцев, нейти в поход в Данию... Притом же лютеранство думают ввести, кирку во дворце в Ораниенбауме строят...

— И наши преображенцы за вами! — отозвался от окна раскупоривавший новую бутылку пива Державин. — Выбрали меня товарищи артельщиком на этот самый бестолковый поход... Ну, только вряд ли быть затеянной войне...

— Почему? — спросил Ломоносов.

— Порешило капральство, — сказал Новиков, — как только выйдем в Ямскую, за Калинкин мост, станем и спро-

сим, куда и зачем нас ведут? Зачем покидаем нашу матушку, государыню-надежду, Катерину Алексеевну?

— Коей все мы рады служить по гроб, — прибавил Пассек.

— Еще каноник Менгден, слышно, — отозвался опять от окна Державин, — предсказал в детстве Катерине Алексеевне, что на ее голове будут три короны...

— Московская, Казанская и Астраханская! — чокнувшись с Фонвизиным, сказал Новиков. — Ура, наша радость, виват!

— Ну, словом, нейдем в Данию! — заключил, наливая всем стаканы, Державин. — Нейдем за голштинцев, да и баста...

— Но позвольте, господа, — обратился к ним Ломоносов, — вас за то, чай, ведь не пожалуют... узнают, откроют.

— Не попадемся, — ответил, глядя на него поверх очков, Пассек. — Я первый — ни в жизнь...

— Ну, поручиться трудно, — произнес Ломоносов, — напрасные, безвременные жертвы, да еще с примесью лучших, как вижу, сил и умов...

— Нет, извините, лучших и нет худших! — ответил, подняв руку, Новиков. — Человек от природы получил право на равенство со всеми и на свободу. Равенство убито собственностью, свобода — слепыми узаконениями невежественных обществ... Бог, материя и мир — одно и то же...

— Те-те-те... знакомые хитросплетения не новость! Да вы, молодой человек, как вижу, розенкрейцер, иллюминат? — сказал, глядя на оратора, Ломоносов. — Измайловскому рядовому это, простите, хоть бы и не подобало...

— Да здравствует великий Адам Вейсгаупт, Велльнер и Сен-Жермен! — не унимаясь и потрясая стаканом, воскликнул Новиков.

— Вы, сударь, столько насчитали великих, да еще чужеземцев, — сказал, поморщившись и вставая, Ломоносов, — что нам, нижайшим, в сей юдоли и тесно... Прощайте... Однако не можете ли, прошу вас, сказать, где

нынче обретается восхваляемый вами алхимик и фокусник, сей якобы живший десятки веков, caro padre[1] Сен-Жермен?

— Граф нынче в Питере, — нехотя ответил Новиков, — желающие его видеть могут справиться у артиллерийского казначея Григория Орлова... бывает и в австериях Дрезденши и Амбахарши.

— Граф! О-го! — заметил, презрительно усмехнувшись, Ломоносов. — Португальскую жидовскую скотину зовут графом!.. А вся его магнизация и сверхнатуральное состояние не больше как примешанный к пуншу либо к кофию, на заседаниях масонов, опиум... Доподлинно то знаю! Что ж до химии, государи мои, так в ней, верьте мне, он сущий невежда и дурак... Шарлатанит с философским камнем, воскрешает аки бы мертвых и растит на лысине волоса! Впрочем, расстроенным фанатизмой в нервных узлах барыням зело нравится и за то порядком и поделом их обирает...

Ломоносов простился с молодыми людьми и вышел. Фонвизин проводил его до ворот.

— Какая жалость! Мой дядя на охоте в Ропше, — сказал он, расставаясь с знаменитым гостем, — двадцать восьмого июня день его рождения; я хоть и уеду в Москву, но к этому дню беспременно возвращусь... Не откажите, Михайло Васильич, на пирог... дядя и тетка очень будут рады вас видеть. Они так вам благодарны за меня; двадцать восьмого — не забудете?

Ломоносов сперва отказался; двадцать девятого июня, в день Петра и Павла, в Академии было назначено торжественное заседание, и ему поручили изготовить и сказать в этот день хвалебную в честь государя латинскую речь. Но, подумав, он взглянул на юношу, ласково пожал ему руку и дал слово быть у него на пирог дяди, после академического заседания.

---

[1] дорогой патер (*итал.*).

Разговор в каменке долго не выходил у Михайлы Васильича из головы.

«Недобрые затеи, недобрые, — размышлял он, — сущие воробьи! Переловят их, коли хуже не будет, пропадут ни за что ни про что... А тот-то, в очках, Пассек! Ни в жизнь, говорит, не попадусь... Экие шустрые, чиликают, топорщатся, прямо воробьи...»

Дня через три Ломоносов справился в коллегии и узнал, что приказ с разрешением Мировичу возвратиться подписан накануне и уже послан в армию. Он хотел ехать к Калинкину мосту, отыскивать Бавыкину, как увидел на лестнице коллегии Ушакова, с которым познакомился весной, провожая Мировича в Шлиссельбург. Ломоносов ему сообщил справку о его приятеле и прибавил:

— Кстати, замените меня, съездите к общей нашей знакомке, Бавыкиной; что-то недомогаю, а надо бы узнать адрес вашего друга и скорее его обрадовать.

Ушаков отправился к Калинкину мосту.

Комната у грекени Бунди, где жила теперь Филатовна, была пропитана запахом домашней птицы. По соседству, за дверью, помещался, очевидно, хозяйкин курятник. Сильно исхудалая, с недовольным и опечаленным лицом Бавыкина, прикрытая старенькой кацавейкой, лежала на сундуке, под образами.

— Что с вами, матушка? — спросил Ушаков. — Здоровы ли? Как жаль, не дали о себе слуха: охотно бы навестил...

— Ну, уж ты-то навестишь! Одна ягода с другом своим. В гроб давно мне пора; откройся, мать сыра земля, — чуть взглянув на гостя, сумрачно и с замешательством проговорила Филатовна. — Вот она, доля-то бабы Настасьи... в птичницы да в огородницы в экие годы пошла!.. Что ж, парень, не осуди: хлебушка всякому хочется жевать. И воду сама ношу... Да чуть с лихоманки

не померла, как его-то, твоего прокурата, проводимши, сюда переехала.

— А я к вам, Настасья Филатовна, с доброю вестью, — сказал, садясь, Ушаков, — не у всех дела хороши, и я вот в тесноте поистратился опять. От Василия ж намедни была получена цидулка — просил похлопотать о его возврате; иначе, писал, без спросу, на гибель свою, готов стать дезертиром. Ну, ему сильные люди и выхлопотали апробацию! Вчера, поздравьте, написано Бутурлину и в его Нарвский полк...

Бавыкина подняла с подушки голову. Ее глаза тревожно забегали по комнате, с испугом остановясь на ситцевой занавеске, протянутой от печи к посудному поставцу. Губы что-то шептали.

— Что вы, матушка? Не слышу, — сказал, нагибаясь к ней, Ушаков.

Филатовна, качая головой, не спускала испуганных глаз с поставца. «Что бы это значило?» — подумал Ушаков. Он встал, тихо приподнял положок.

У печи, схватившись за волосы, в забрызганных грязью шинели и высоких дорожных сапогах сидел, понурясь, Мирович.

— Боги праведные... что вижу? Ты ли? — вскрикнул Ушаков. — Как и когда? Отпуск только что послан.

— Без отпуска, уходом...

— Но ведь это дезертирство! Как ты мог решиться?

— Что спрашивать, полно! Невидаль какая! Не стерпел — ну и все тут! — грубо ответил Мирович. — Значит, была причина.

— Когда приехал?

— Сегодня ночью, великолуцкими фурлейтами.

— И не боишься? Не подождал! Ну, как выдадут?

— Не выдадут. Не все ж Каины, предатели. А донесут — э, черт! Туда и дорога! — резко сказал Мирович. — Офицер, нашей ложи масон, провожал амуницию из Митавы; ну, и провез через рогатки, в тюках.

Ушаков не мог прийти в себя. Превосходивший его нравственным складом и умом Мирович ему казался в эту минуту жалким, ничтожным.

— Что же теперь? — сказал Ушаков. — Ведь военный суд, ведь гибель над головой... А он сидит... Ах, Василий, припомни встречу у Дрезденши, твои слова о силе воли, о советах разума! С Иисусом Навином солнце собирался остановить, с пророком Илией хотел отворять и затворять небо — а не мог выждать из-за границы увольнения в отпуск по команде! Шреклих!..[1]

— Э, убирайся, черт! Советы еще! Пропадать, так пропадать. Все ложь и обман, — мрачно и злобно проговорил Мирович, — все подлецы, самомерзейшие твари, и ты первая из них... Одна в свете истина, одна, — любовь... Вот разве, впрочем, и она... да наплевать!.. Хоть бы скорее этому решение, конец...

— Успокойся, друг Василий, успокойся, — сказал, мигнув Филатовне, Ушаков, — объясни лучше, как это случилось. И с предметом своим теперь скоро — ну, хоть и сегодня — встретишься, я видел ее... Девица отменно достойная и, вероятно, ждет не дождется... А уж от суда, Вася, как-нибудь, в столь необычайной факции, постараются тебя спасти сильные друзья...

Мирович, презрительно зевнув, ничего не ответил.

Ушаков дал знать о приезде приятеля Ломоносову, прося замолвить о нем слово гетману, и напомнил Мировичу о весеннем его знакомце по дому Дрезденши, о Григории Григорьевиче Орлове, куда тот на другой день и отправился.

— А!.. Дивно губительная пятерка! — вскрикнул при виде Мировича цальмейстер гвардейской артиллерии Григорий Орлов. — Как дела с фараоном и с бильярдом?

— Плохо, Григорий Григорьевич! Весь, как есть, прогорел.

---

[1] Ужасно *(нем.)*

— Что же, денег надо?

— Нет, не их. Раз помогли вы, за что по гроб благодарен, — еще в одном пособите... отслужу...

— В чем же дело?

Мирович рассказал о своем уходе. Орлов опустил руки.

— Плохо, брат, примечательно плохо! — сказал он, покачав головой. — Ты масон? Да говори, не бойся — и я масон...

Мирович сделал особый, странный знак рукой.

«Отлично, я так и думал, пригодится, — сказал себе Григорий Орлов, — вольный каменщик и охотник до карт! Степана Васильевича Перфильева за нами приставили наблюдать, а мы в соглядатаи за ним поставим этого гуся. Перфильев в пикет собаку съел — зато в лямуш ему не везет... Вот ему разом и дистракция, и отместка... Этот его уж, без сомнения, забьет с первых ходов!»

— Приходи завтра, — произнес Орлов, — обсудим твое дело.

Мировича одели, ссудили деньгами. Чтоб избавить его от ответа в самовольной его отлучке из армии, Орлов устроил так, что рапорт о нем спрятали, в Нарвский полк дали знать, что он временно назначен по артиллерии, в комиссию о «пересмотре шуваловских голубиц», а ему велели сидеть с Перфильевым и носу никуда не показывать. В этом помогли и масоны, одной ложи с Орловым.

Василий Яковлевич украдкой увиделся с Пчелкиной. С отъезда из Шлиссельбурга она жила на Каменном, у Птицыных. Встреча их была странная. Поликсена будто обрадовалась, даже как-то порывисто, нервно расплакалась. Мирович, однако, увидел нечто другое, не то, чего он ожидал. Сам не давая себе отчета, в чем дело, он молча, угрюмо сел и все время исподлобья смотрел, слушая Поликсену.

«Сущий волчонок, — подумала о нем Птицына, бывшая при этой встрече, — и как она его не бережется! Глаза — острые ножи!»

Устроитель гвардейских веселостей Орлов свел Мировича в масонской ложе с Перфильевым. Новые знакомцы как засели за стол, так уж и не вставали. Дни шли, ночи напролет — они без отдыха играли, изредка лишь переменяя место игры, да когда подходили другие охотники, садились вкруговую за бириби или в фараон. Опиум масонства, слившись в Мировиче с хмелем карточной игры, вконец поработил его мысли, сердце, волю.

Двадцать третьего июня Мирович, исхудалый, с впалыми щеками и с блуждающим, потухшим, сердитым взглядом, приехал к Ломоносову, прошел к нему в сад и, присев у него в беседке, прерывающимся, сильно взволнованным голосом спросил его:

— Знаете, что случилось?

— Не знаю...

Мирович не поднимал глаз. Сгорбившись и нахохлившись, он просидел несколько секунд молча, с отвисшею нижнею губой и упавшими с колен руками, злобно выжидая, что еще скажет ему Ломоносов.

— Я только что с Каменного, — начал опять Мирович, нарочно цедя слова, — вчера Поликсена гуляла с детьми Птицыных... ну, гуляла и забрела в рощу к Невке...

— Что же там увидела? — спросил Ломоносов.

— Дети собирали грибы; Поликсена читала книжку... ха-ха!.. В это время — книжку!.. Вдруг слышит шаги; поглядела — идут двое...

Сказав это, Мирович судорожно повел плечами, точно его знобило, и нервно зевнул.

— И кто же, думаете, были эти двое? Угадайте, — спросил, как-то неестественно улыбнувшись, Мирович.

— Не знаю, — ответил Ломоносов, — почем знать?

— Принц Иоанн Антонович и с ним, должно, новый шлиссельбургский пристав, — с презрительно-гордой усмешкой проговорил Мирович.

— Что ты, Василий Яковлич! Быть не может... Ужели принц?..

— Он! Поликсена не ошиблась, узнала... Он! Вторую неделю в тайности живет на даче Гудовича в лесу.

Ломоносов, через голову Мировича и верхушки дерев, взглянул на вечереющее, залитое дымчатым заревом небо и с чувством, медленно перекрестился.

— Но есть и другое дело, — продолжал, торопясь и переминаясь, Мирович, — то, о чем я сведал случайно — ну, играя с одной тут компанией, — так о том страшно и вымолвить...

— Что же ты узнал?

— Не нынче-завтра ожидают смуты, волнения, — ответил, уставясь в Ломоносова черными, без блеска, глазами, Мирович, — всё, уверяют, готово, и вернейшие, близкие к монарху люди передаются, если уж не передались, его врагам.

Произнося это, Мирович покраснел и замолчал.

— Полно, мало ли что болтают! — сказал Ломоносов, вспоминая беседу у Фонвизина. — Упаси Господи от злых, крамольных дней! Все пойдет вверх дном.

— Не верите? — спросил, вставая, Мирович.

Он выпрямился, судорожно оправил волосы. Черные, затуманенные волнением и бессонницей, его глаза глядели сердито. В них начинал светиться злой и дикий огонь. Скопление всякой горечи, ненависти и мести вызывало чрезмерное возбуждение.

— Покажу им, — сказал он с холодной злобой, — спознаю ближе и все, как есть, открою. Я терпел ужасную, неисходную бедность, нужду, нищету, а приятели мои были богаты и знатны. Пора выбиться... И уж коли за то не получу сатисфакции во всех моих бедствиях — нет правды на земле!..

Мирович вышел. Шаги его затихли в конце сада.

Ломоносов ему ничего не ответил и его не проводил.

Он продолжал из беседки смотреть на темнеющее над деревьями, в последних отблесках заката, небо и думал о другом. Изможденный тюрьмой, кроткий и важный видом юноша не отходил от его мысленных глаз...

XVI

НА ДАЧЕ ГУДОВИЧА

День двадцать четвертого июня был жаркий, душный. Его сменила тихая, вся залитая голубоватым лунным блеском ночь.

Душистая, болотно-луговая мгла, не расходясь, наполняла каждую поляну, каждый укромный, древесный тайник. Воздух был недвижим. Длинные столбы обрадованных теплу мошек, то свиваясь, то развиваясь, шевелились, плыли над вершинами погруженных в дремоту невских лесов.

Белый туман, как саван, подползал с запада, с поморья, где на краткий отдых спряталось багровым шаром горевшее солнце. Запахом елей и трав, точно ладаном, тянул по пустырям чуть заметный утренний ветер. Он проснулся за синим гребнем леса, там, где вскоре должна была заняться полоска ранней зари, и чуть шевелил стеблями лопухов и папоротников, гоня мошек и будя залетных, недолго поющих здесь соловьев.

В темных озерах и заводях отражался полный месяц, просеки, сады и дома там и здесь одиноко разбросанных дач. Летучие мыши, шныряя за мошками и всякою комашней, беззвучно мелькали в лунных лучах.

Дача Гудовича стояла на берегу безыменной речонки, отделявшей Каменный остров от Крестовского.

Высокий дощатый забор окружал дворовое и садовое места. Главный, со стекольчатой теплицей дом, где летом проживала семья любимого государева слуги, выходил на большую дорогу. Запасной новый флигель был расположен в глубине двора, к саду, примыкавшему к реке. Молодечня, конюшня, коровник и прочие службы шли вправо и влево

от главного дома. Сам хозяин изредка наезжал сюда на отдых и чтоб взглянуть на лошадей, до которых был большой охотник.

Вторую неделю Гудович неотлучно находился при государе в Ораниенбауме, но известил, что вскоре приедет. Старуха мать и сестры-девицы поджидали его с часу на час и допоздна не ложились спать. Долго светились огни в большом доме и рядом с ним в молодечне, где почему-то, с недавней поры, чередовался секретный ночной караул из полицейских и крепостных инвалидов. Два хожалых с мушкетами ночевали — один на крыльце флигеля во двор, другой — в саду, на балконе. Дворня поглядывала на окна и двери флигеля и качала головой, видя, как шепчется старуха барыня с барышнями.

Во флигель носили кушанье, чай, кофе и десерт; ходили в него цирюльник, сапожник и портной. Принесли туда, дня три тому назад, кому-то новый голштинский кафтан, зеленый, с серебряным шитьем и красными воротником и нарукавниками, желтый камзол, такие же панталоны, лаковые с пряжками башмаки, треугол с галуном и лосиные перчатки. Из флигеля вела особая балконная дверь в сад, на калитках которого висели замки.

Было далеко за полночь.

В большой, обшитой новым тесом комнатке стояли две кровати. На одной спал прикрытый военной шинелью, усталый, плотный, пожилой человек; на другой — длинноволосый, с небольшой каштановой бородкой юноша. Белье и платье, разбросанное по стульям и софе, раскрытые чемоданы и погребец, ружье в запыленном чехле на стене показывали, что жильцы этого флигеля не успели еще устроиться.

Они с вечера долго гуляли по саду, выходили особою калиткой в гущину леса, ко взморью и на луга, ловили удочкою рыбу и собирали грибы и цветы. Это были пристав Жихарев и принц Иоанн.

Жихарев бережно запер калитку и балконную дверь, ключи от той и другой взял к себе, после ужина в постели

вспоминал Робинзона Крузо, о котором слышал от Чурмантеева, поговорил несколько с принцем и, видя, что тот стал дремать, задул свечку и заснул.

Жихарев видел во сне, как Робинзон, уезжая с пустынного острова, где жил двадцать восемь лет, взял с собой на память козий зонтик, такую же шапку, слугу Пятницу и одного из попугаев, который отчетливо твердил: «Бедный Робин, бедный! Куда занесла тебя судьба?»

Приставу грезилось: «И я бедный! И я!.. Столько лет в Кронштадте отдежурил, добрался до Питера, устроился с семьей, думал век кончить в столице, и вдруг перевели, заперли в Шлюшин. Почетное доверие, да какова ответственность! Теперь сюда выписали. Ужли освободят принца? Ужли и меня в таком разе отпустят вчистую, на покой?.. Без сумнения, при столь верной оказии, дадут пенцион, а может, на корм детишкам и деревнишку где-нибудь на Волге или в степи за Москвой... Уеду, стану жить-поживать, ни горя, ни муштры, ни начальничьих распеканий не знать...»

Принц Иоанн спал тревожным, лихорадочным сном.

Ему грезился мрачный, могильный каземат, бессердечные, грубые стражи и вечная, каждый день и каждый час, однообразная, непреоборимая, неумолимая и немая, как гроб, неволя Светличной башни.

Он во сне метался и дышал тяжело. Крупный пот проступал на миловидном, детски добром лице. Что-то страшное, давящее, каменное налегло на его грудь.

«Смерть, — пронеслось в мыслях принца, — вот она наконец... Боже! Дай ее скорее! Унеси меня, прими, успокой...» Он глухо застонал, вздрогнул и проснулся.

Глядит — незнакомая, просторная, чистая комната. Не слышно запаха гнили; не видно плесени на каменном своде и в углах. Пахнет цветами, душистой сосновой смолой. Лампадка у образа, мерцая, чуть теплится. Окно закрыто. Дверь на замке. Но вот и лампадка, мигнув раз и другой, погасла. Лунные лучи врываются, скользят с надворья, мерцают по

комнате. Душно. Одеяло сброшено. Сердце тревожно бьется, щемит. Непонятные речи, клики, звон и шум в ушах...

Слышатся соловьи, жаворонки, звенят колокольчики, трубы отдаются вдалеке. Тинь-тинь... и смолкнет... И опять песни, клики, праздничный звон и гул... Где-то радуются, ликуют, кого-то зовут и манят.

«Трубы Иерихона! Гремите, звучите! Осанна в вышних... падут грешные стены, падут... Аз есмь альфа и омега, первый и последний, начало и конец...»

Вновь тишина.

Голубые лучи сыплются в окно. Кто-то будто ходит, шелестит по комнате. Что-то белое уселось на стуле, глядит из мрака и растет — высокое, безголовое, в складках и с протянутыми руками. За шкафом — косматый, завернутый в черное, с хвостом и острыми, длинными шпорами. От шпор по полу тянутся светящиеся полосы. Они шевелятся, как змеи, скользят и меркнут в углу. Что-то нахлобучилось у двери и, покачиваясь, приближается к кровати.

«Иродиада, зверь седьмиглавый, бесы...»

Иоанн Антонович приподнялся, всматривается в ужасе... Где он? Куда его занесла судьба?

Те же призраки, те же страхи и звуки, что столько лет, каждую долгую, бессонную ночь ему мерещились и слышались взаперти. Но место, где он теперь, не похоже на тюрьму. Призраки меркнут, уходят. А там, за окном — настоящие, вольные соловьи.

Жихарев наморился за неделю в прогулках по диким тропинкам, у взморья и по лесам и крепко спит.

«Уйти! — думает принц. — Нагуляться досыта на пахучем свежем раздолье! Нынче, сказывают, Иванов день, — так и есть! Мое тезоименитство... Нет! Еще поймают, прикуют на цепь, как зверя... И не увижу я более, в замурованное окно, ни синего неба, ни моря, ни цветов, ни ее... Где она? Во сне ли? Да! Я ее видел, видел здесь, невдали; помню место, куда она, испуганная, скрылась... Что если бы...»

Иванушка слушает. Опять мерещатся колокольчики, трубы.

«Глас гуде́ц, и мусикий и ниска́телей...»

Звенит и щемит, и обдает жаром и холодом...

«Дщи Идумейска, живуща на земли! И на тебе приидет чаша Господня, и, не упившася, не веселися... Евфразия! — мыслит принц. — Златокудрая! Пахнет ладаном, смирной и розой... Где она? И как низошла?.. Спал я, грезились смертные страхи... И явилась она, облеченная в виссон, пурпур и солнце! Луна под ногами, на главе венец из звезд, и на нем написано — тайна... Что, кабы воля, кабы уйти?..»

На балконе послышался шорох. Кто-то с надворья склонился к окну, будто глядит в сумрак комнаты, поскреб ногтем раз, другой по стеклу.

«Боже, зовут меня, зовут...»

Арестант вскочил, подошел к окну, взглянул в сад. Виден балкон, усыпанная песком площадка и ближние деревья и кусты. Полицейский хожалый спит, растянувшись поперек крыльца. А под окошком, вертя хвостом, сидит и вежливо ласковыми глазами щурится мохнатый, белый хозяйский пудель. Иванушка пошарил по раме, нашел задвижку, раскрыл окно. Собака беззвучно вскочила в комнату.

«Накормить ее, накормить беднягу! Не ела...» — решил, нежно ее гладя, арестант. Он отыскал в шкапу, отдал собаке остатки ужина. Свежий, напоенный смолой и речными испарениями воздух щедрой волной ворвался в комнату. Он дышит лесным затишьем, волей и манит во мрак.

Пудель, прижав уши и хвост, принялся лакать из блюда. Иванушка постоял над спящим приставом, наскоро обулся и дрожащими руками стал надевать на себя новое, справленное ему платье.

— Сюда, за мной! — шепнул он собаке, целуя ее в морду и в весело игравшие глаза. — За мной! О! Совсем вспомнил — знаю дорогу, подглядел, — мостик, и прямо... дом под березками — башня и крыльцо...

Пудель прыгнул в окно. Иванушка за ним. Они миновали полицейского инвалида, прошли в глубь сада и остановились перед калиткой в лес. Калитка заперта. Черными великанами высятся за оградой росистые ели и сосны. Пудель, с поднятой лапой, глядит на Иванушку. Все тихо; только слышится плеск рыбы в соседнем прибрежье, да высоко, в предрассветных сумерках, свистя крыльями, тянутся с болот ко взморью стаи резвых нырков.

Арестант взялся за ствол старой березы, поднялся на дупло. Но не влезть на забор: он высок и доски гладко вытесаны. Иванушка обошел несколько дорожек, оглянулся — нет собаки. Он бросился ее искать. Слышит — пудель шибко гоняется, вспугивая спящих птиц по тот бок ограды. Где же выход? Трава притоптана: старая водоточина извивается в глуши лопухов. В конце ее — лаз под нижней доской забора. Иванушка нагнулся. «Не раскопать ли земли?» Он разрыл перегной, просунул голову, туловище, прислушался и вылез из сада...

«Боже! Какое приволье! Что воздуха, что простора, свободы...»

Темные стены лесов идут вправо и влево. Острова их точно плавают в надвигающемся тумане.

«Аз, цвет польный и крин удольный! — думает узник. — Яко же крин в тернии, тако искренняя моя посреди дщерей... Яко же яблонь — посреди древес лесных!.. А если обманет? Что сказано о женах?! Аще убога, злобою богатеет, укоряема — бесится, ласкаема — возносится... Нет! Она не Далила, не Иродиада... не изменит, не продаст!»

Иванушка поднял голову, выпрямился и сперва робкими, неловкими, потом твердыми и смелыми шагами пошел без оглядки от дачи Гудовича...

Мгла еще не расходилась. Сумерки окутывали окрестность. Высокий и тощий, с неубранными, распущенными волосами, путник напрямик шагал по лесной чаще. Ни кочки, ни вереск, ни мхи не останавливали его. Ветви цеплялись за мундир, сбивали обшитый галунами треугол. Он бережно,

как зверь, приглядывался, прислушивался, замедлял шаги, бросаясь в сторону, и, вытыкая из кустов голову, ждал и опять без устали шел и шел.

Поликсена спала в верхней комнате Птицыных, выходившей окнами в лес. С вечера были городские гости. Легли спать поздно. Едва она забылась первым крепким сном, услышала, что ее будят. Перед нею, босиком в рубашонке, стояла испуганная, полусонная девочка, дочь ключницы.

— Что тебе, Лизутка?

— Там на галдарее, барышня... ой! Что-то страшное, против самой гостиной, ходит... Ну, идите, взгляните.

— Да где? Что ты?

— Ой, боюсь... Да от лесу-то — страшенное ходит по галдарее; отойдет на дорогу и глядит в ворота, на забор.

Поликсена взглянула в окно и обмерла. У опушки стоял бедный призрак. То был принц Иоанн.

— Иди, Лизутка, иди, голубушка, Бог с тобой, ложись. Тебе пригрезилось. Никого нетути...

Уговорив полусонную девочку идти, она уложила ее, перекрестила, сама оделась, прошла в гостиную и отомкнула дверь на крыльцо.

— Вы ли это, сударь? — спросила Пчелкина, подойдя к принцу. — Какими судьбами?

— Я... я... вот, дорогая, видишь, нашел тебя! Пойдем, да пойдем же... — сказал он, схватив Поликсену за руку.

— Но куда? Что вы? Услышат, набегут.

— Жизнь моя! Бросим все, уйдем, — продолжал, задыхаясь, Иванушка, — увидел тебя... Все пришло, воля, жизнь...

— Такая ли воля? Ах, вы не простой, не заурядный человек. Вас не пустят охотой, вы опасны, — будут следить, найдут, на дне моря, под землей.

— Друг, друг!.. За что же, за что?..

«Вот он, проченный столь великой империи, — думала Поликсена, глядя на узника, — в его избавление затевались бунты, трон считался непрочным, пока он жив. Посылались лазутчики, поднимался его именем раскол... Его замышляли похитить в Берлин, целой войне через него диверсию думали сделать... И память о нем угасла, все его считали в могиле... Но вот он здесь, передо мной, гонимый злой долей, молящий... И мне, ничтожной, неведомой, мне, новой избраннице, ужели суждено совершить святой подвиг, возвратить престол несчастнорожденному?.. Спрятать его, а утром отвезти ко дворцу... Государя ждут из Ораниенбаума — будет развод...»

— Не бойтесь, сударь, — сказала Пчелкина, — теперь вас не отнимут от меня!.. Я вас спасу... да, возвращу вам счастье, свободу и все... А когда вы будете в силе и славе...

Она не договорила. Арестант вдруг ее обхватил, страстно-дико прижался к ней и стал ее осыпать жгучими, порывистыми поцелуями. Руки его дрожали, дыхание прерывалось, он шептал несвязные, бессмысленные слова. Поликсена попыталась от него вырваться. Он увлекал ее от дороги к чаще дерев.

— Что вы, куда? — прошептала Поликсена, когда они очутились у лесной опушки.

Арестант бессознательно, испуганно оглядывался. Речь отказывалась ему служить. Начинало светать. Вправо виднелось плёсо реки.

«Что с ним? — в страхе подумала Поликсена. — Понимает ли, слышит ли он, что я ему говорю? Медлить нечего...»

— Там опять давят, бьют, теснят, — сказал вдруг узник, — а вот и воля... Да боюсь я кого-то потерять, кого-то не видеть...

— О ком говорите? — спросила Пчелкина.

— Виноват я перед нею! Как бы не разлюбила! — шептал узник, мучительно-радостно вглядываясь в лицо Поликсены и трогая ее за руку.

— Скоро утро, — сказала Пчелкина, — вас спохватятся; поднимут погоню. Здесь не укроетесь. Надо в город, к государю. Его ждали с вечера. В нем одном спасение. Но со мной вас тотчас узнают... Вам надо одному... Сумеете ли вы?

Иванушка молчал.

— Вот тропинка, — продолжала Поликсена, — она ведет к реке. Там мост, но нет, лучше в лодке. Согласны? Я вас провожу. Доедете в город, и прямо к крепости; там опять в лодку и ко дворцу. Да идите же... Вашу руку... Все успею рассказать. Идите, а вот монеты на перевоз.

Поликсена провела принца к окраине Каменного острова. С берега, через Невку, в утренней мгле уже виднелось предместье Колтовской. От пристани отваливал челн.

Беглец и его провожатая остановились.

— Слушайте же... первою улицей, и все прямо; и ни слова ни с кем... помните — ни слова.

— Буду помнить... буду...

Они простились.

— Не подвезти ль, сударь? — окликнул принца с берега седой, как лунь, в войлочном капелюхе, подслеповатый лодочник.

— Подвези... только я вот... — сказал и заикнулся узник, оглядываясь к деревьям, за которыми оставил Поликсену.

— Да куда те, Христова душа?

— Ко дворцу... царя мне нужно... царя...

— По службе, что ль, надобеть? К разводу спешишь? Садись, — эх, утречко! Или не здешний? Не заблудился бы, Христов человек...

— Эх, пыты пытает, — сердито, резко кашляя, отозвался из-под тулупа другой, помоложе лодочник, лежавший у шалаша. — Ты уж вези, дедко, что растабарывать? Вон махают с берега, ждут, Митрич те шею-то накостыляет...

— Не накостыляет, нам что! Дело свое знаем! — ответил, подсадив Иванушку в лодку, старик. — Похожено, поношено, повожено... Под тремя царицами, под третьим царем хлебушка-то едим. У яго, ваша честь, лихоманка, — прибавил дед, — он и грызется, дурашный, лается... Видывали вас, пшенников... пра, пшенники, блохари...

Иванушке не сиделось. Ему хотелось говорить, спрашивать без умолку; но он помнил наказ Поликсены. Боясь оглянуться назад, он с шибко бившимся сердцем всматривался в низменный, плывший ему навстречу, с домишками, садами и пристанями берег Колтовской. Сойдя на берег, он неловко сунул старику данную ему монету, еще постоял, робко оправился и без оглядки пустился по улицам и закоулкам пробуждавшейся Петербургской стороны. Прохожие указывали ему дорогу. От церкви Спаса он вышел к Сытному рынку у крепости...

Странный, с угловатыми движениями и длинноногий, как заяц, пешеход, в новом нараспашку голштинском примаранном землей и листьями кафтане, обратил на себя внимание ранних торговок. На вопрос о дворце они переглянулись меж собой, пошептались и указали ему на крепость.

— Ишь долговязый немец, несуразно как говорит! — сказала одна торговка ему вслед. — Из дворцовых, видно, либо заморский чей-нибудь слуга. У красоток, должно, белобрысый немчура припоздал. Ковыляй теперь пятками....

Солнце поднялось над ветхими, серыми лавчонками и шалашами рынка, когда Иоанн Антонович вошел на широкий зеленый пустырь, окружавший бастионы кронверка.

Через канал был мост, за мостом вход в крепость. Надпись «*Иоанновские ворота — 1740 год*» бросилась принцу в глаза.

Он остановился, снял шляпу и долго, смешавшись, стоял, глядя на знаменательные слова и что-то соображая.

«Вот! Я царствовал... так, мое имя, след...» — сказал себе Иванушка, отирая лицо и несмело входя в крепость.

В то же время на берег Каменного острова, где лежал у шалаша молодой лодочник, выбежала из лесу, громко лая, белая собака. За нею, в сопровождении конюха, прискакал пожилой, в синей гарнизонной форме, всадник. На вопрос, не проходил ли здесь и куда направился такой-то, в зеленом кафтане, господин, лодочник, покашливая из-под шубы, указал на Колтовскую и прибавил:

— К царю, сказывал, пошел... во дворец.

Всадники помчались к понтонному мосту, бывшему выше, между Каменным и Аптекарским островами.

Иоанн Антонович вошел в крепость.

Слепая нищая старуха, низко кланяясь ему, отворила дверь в собор.

— Войди, батюшка, войди, свет, помолись: никого нетути, один дьячок! — сказала она. — Все цари земные и царицы-владычицы тут схоронены... спаси тебя Господь... И великий осударь Петра Ликсеич вправо-то, батюшка, первый, и царица табе Анна Ивановна, и Лизавета свет матушка, андельская...

Жутко забилось сердце беглеца при этих именах. Чуть слышно войдя под темные, подавляющие своды храма, накуренного ладаном, он постоял над свежим, еще не отделанным склепом Елисаветы Петровны, думая: «Иродиада! Вот теперь, у моих ног... сама ничтожество, прах!»

Бегло взглянул на пышную, с вензелем гробницу Петра Великого, принц опустился на колени перед могилой тетки, Анны Иоанновны.

— Видишь ли, — замирая, шептал он, — видишь ли, ласковая, добрая к нам, назначенного тобой в преемники? Вот я... Мучили меня, обижали... назвали Григорием... вот твой племянник, Иванушка... Двадцать лет, день и ночь, двадцать лет, с колыбели в тюрьме... Но если Богу угодно, если... не убьют, как царевича Димитрия... клянусь...

Мысли узника смешались. Он упал крестом на холодные каменные плиты и долго, без слов, горячо молился.

— Никто, как я, никто, — повторял он коснеющим языком, — сведал я страшную неволю, кровью выплакал... Где спасительница, где солнце, счастье?.. Привел еси день, воскресил еси время... Не отринь молитвы моей от лица своего...

Дьячок загремел ключами.

— Пора, сударь, благоволите, — сказал он.

Иванушка подумал: «Хоть бы в этой церкви сторожем быть! — тихо так, иконы, светло...»

Он вышел на паперть, спросил опять старуху и в Невские ворота спустился к реке, думая: «Умру, не схоронят меня с царями-предками...»

Широкая, синяя, вся празднично залитая солнцем Нева, с плывущими по ней многовесельными галерами и белопарусными гальотами и бригами, открылась перед ним. На том берегу — ряд высоких, в зелени садов, с балконами и фигурными карнизами, домов. А выше всех зданий — с ярко горевшими в утренних лучах рядами окон и со множеством статуй на крыше — новый каменный Зимний дворец.

«Там... туда!.. К самому царю!» — думал беглец, спускаясь с пристани в ялик.

— Да тебе к тальянцу, альхитектору, что ли, в новый дворец? — спросил его бородатый, в красной рубахе, яличник.

«К нему, туда!» — повторил мысленно принц, указывая с лодки за Неву.

У дворцовой пристани собралась куча зевак. Их заняли двое верховых, на взмыленных конях, прискакавших из-за батарей Адмиралтейства. Пока конюх проваживал лошадей, его барин договорил извозчичью коляску и не спускал глаз с ялика, плывшего от крепости ко дворцу.

С берега ясно был виден этот ялик и среди него, в светло-зеленом, с серебряным шитьем мундире и в желтом

камзоле, высокий молодой человек. Треугол он снял и ладонью прикрывал от солнца глаза. Длинные, не завитые в косу волосы развевались по плечам.

— Ваше высочество, — произнес, встретив Иоанна Антоновича, пристав Жихарев, — куда же вы это ушли? Ах-ах, можно ли? Государь вас ждет к себе; вот и коляска.

Беглец испуганно взглянул на пристава. Лицо последнего было так приветливо, ласково.

— Как? Не обман?

— С чего же, полноте!

— А где государь? Ох, кружится голова...

— Его величество на даче, в Рамбове; пожалуйте, сударь.

— Как, еще не приехал? Да ты верно ли знаешь? Где Рамбов?

— Недалеко; духом доедем.

Беглец недоверчиво сел в коляску. Было мгновение, он готов был крикнуть, сопротивляться. Но возле собралось столько прохожих. Все с любопытством глядели на него, перешептывались. Он смешался, неловко поднял ногу на ступеньку коляски и сел, прошептав:

— Да ну уж скорей; не опоздать бы...

Коляска понеслась.

— Кого это повезли? — спросил Гудовичева конюха высокий, плечистый господин, в парусинном балахоне и со свитком бумаг, шедший мимо дворца с прогулки из Летнего сада.

— А хто е зна! Наутек было, сущеглупый, с-под кравулу... да его изловили...

— Кто изловил?

— Майор гвардии, Жихарев.

Ломоносов бросился на набережную. Но коляски уже не было видно. Она скрылась за бастионами Адмиралтейства. Вот выскочила на мост, съехала на Васильевский остров, огибает шляхетный кадетский корпус и несется обратно к Колтовской, на остров.

XVII

МУХА НА РОГАХ ВОЛА

Утром двадцать шестого июня, по пути из Ораниенбаума в Петергоф, ехала взморьем небольшая, с придворным в желтой ливрее лакеем и с гербами красная карета. В ней сидела невысокого роста, с подвижным, оживленным лицом, несколько взволнованная, лет девятнадцати, нервная особа. С нежной, тонкой шеей и выпуклою красивою грудью, на которую падал локон высоко взбитых, напудренных волос, она привлекала блеском больших и умных глаз, приветливо и гордо смотревших из-под широкого белого лба.

То была сестра графини Воронцовой, княгиня Екатерина Романовна Дашкова. Она в то утро встретилась у сестры с государем, и ее мыслей не покидали слова, слышанные от него.

Петр Федорович был ее крестным и, посадив ее рядом с собой, вдруг сказал ей с обычною своею откровенностью:

— Ах вы изменница! Знаю, знаю о вас... Милости-с пожалуйста!

— Что же вы знаете, государь? — вспыхнув, спросила Дашкова.

— Все знаю, все! О! Не вскакивайте. Все ваши альянцы с моими противниками мне известны. Вы живете больше в городе, избегаете двора, наших мирных удовольствий, забав. A propos скажите-ка: чем вас банда некоторых людей приколдовала? Чем? Что на медведя с рогатиной ходят да ночи напролет играют в карты и кутят? Только и слышно бакханалии, буянство, скачки с песнями на рысаках... Шалберники, взбешенные сорвиголовы и атлеты! Ваши прочие партизанты — разоренные дворянчики, мелкие офицеры, плохие на службе и обитающие по закоулкам. Что?.. видите?.. Все знаю и на все пока смотрю сквозь пальцы... Это ли идеалы, которые вы с моей женой у Даламбера, Дидро и у Руссо вычитали?

— Клевета, ваше величество! Простите, не могу слышать таких речей, уйду! — закрыв лицо руками, сказала Дашкова.

— Порох, о! Порошок! Уж и бежать? — произнес, опять ее усаживая, Петр Федорович. — Ваша преданность моей жене понятна и почтенна... Saperlot! Кого она не заколдует! Но вы, Катерина Романовна, имеете сестру, простое и доброе создание. Дорожите ею больше... Ее, по достоинствам, ожидает другой завидный менажемент... Узнаете о том после...

Государь помолчал.

— Mein holdes Kind![1] — продолжал он. — Уважьте один благонамеренный мой совет... Je voux dirai tout franchement...[2] Не повредило бы вам помнить, что дружба честных простаков и даже колпаков, как ваша сестра... да и ваш всеодолженнейший слуга... гораздо безопаснее, чем великих умников, которые из апельсина выжмут сок, а корку бросят под стол.

— Да в чем же дело? — спросила Дашкова.

— О, все знаю, все, — повторил Петр Федорович. — Эх-эх! Советую, чтоб после не пришлось каяться...

«Что же он узнал? И успею ли ее предупредить? — думала Дашкова, едучи парком в Петергоф и нетерпеливо высовывая бледное, покрывшееся пятнами лицо то из одного окна кареты, то из другого. — Очевидно, ему снова донесли; но о чем и на кого? Скоро десять часов. Императрица, наверное, уже оделась или кончает туалет. Все ли мои известия, записки доходят до нее? Наши враги не дремлют, частые свидания опасны. Но теперь, по пути, авось успею...»

Красная с гербами карета стала подниматься от взморья на лесистый косогор. Повеяло смолистой прохладой.

Дашкова вышла из экипажа, распустила желтый с бахромою зонтик и пошла в тени развесистых густых сосен и

---

[1] Мое дорогое дитя! *(нем.)*

[2] Скажу вам откровенно... *(фр.)*

лип. С холма обозначились ближайшие дачи, службы и крыши старого Петергофского дворца.

«И все я, одна я! — думала Дашкова, прищуренными, близорукими глазами отыскивая в зелени нижнего сада знакомую черепичную кровлю и окна старого петровского Монплезира, в котором теперь жила Екатерина. — Пугают, что друзья через меру взволнованы, не выдержат и вызовут взрыв. Пустяки, все спокойно... Панин стоит за легальный переход, за регентство и шведскую форму правления. Я в этом мало смыслю! Но время идет... Что с Екатериной? Она как бы устраняется. Роется в своих книгах, робка, как дитя, идеальна, как пансионерка, и практик жизни ни на волос не знает... Пьемонтец Одар, ее секретарь, все суетится, впопыхах... Великие готовятся события. И неужели мне, слабой и скромной, суждено занять такую роль в истории? Неужели мое имя? Не верится, точно во сне...»

Дашкова остановилась, свернула зонтик, села в карету и поехала к Петергофскому дворцу.

«Нерешительная! — думала она об Екатерине, спускаясь парком в нижний сад. — Приглашена сегодня на обед в Ораниенбаум, завтра на праздник в Гостилицы. А там грозят, что-то замышляют решительное... Но где ж ее экипаж? Не видно. Или я с нею уж разминулась?..»

Особый невысокий павильон Монплезира передними комнатами выходил ко взморью, внутренними примыкал к березам и липам нижнего сада.

В передней павильона, на вылощенном годами, резном дубовом ларе, сложа руки, сидел и под плеск окрестных фонтанов дремал гардеробмейстер государыни Василий Григорьевич Шкурин; через комнату от него, в цветочной, смежной с кабинетом императрицы, у раскрытого на взморье окна, в чепце и с огромными, серебряными очками на носу, в старинном кожаном кресле вязала желтый шелковый чулок любимая камер-фрау государыни Екатерина Ивановна Шаргородская. Тишина в комнатах, во дворе и в саду и на нее сильно действовала.

Шаргородская то и дело клевала носом, спускала петли, зевала, крестила рот и, опять зевая и вздыхая, принималась вязать. Она изредка, сквозь дремоту, поглядывала в окно, из которого сквозь пахучую зелень дерев виднелись мраморные статуи на крыльце, паруса дальних судов и залитое солнцем, тихо плещущее море. Колыхнувшись чепцом еще раз-другой, Шаргородская подумала:

«Да, не скоро еще... ох, давно пробило девять... когда-то позовет?» — особенно сладко и широко зевнула и угнездилась в кресле. Руки с чулком упали на фартук. Голова в чепце склонилась на плечо. Она заснула.

Небольшая веселая горенка за цветочной служила кабинетом и вместе спальней императрицы. Высокие березы и липы за окном не мешали сюда врываться щедрым утренним лучам.

Все здесь было уютно, домовито и чисто. На окнах цветущие розы, лакфиоли и гелиотропы. За ширмой — под белым одеялом — постель. У изголовья столик; на нем, под зеленым экраном, две восковые, сильно обгорелые свечи. У печки на стеганом шелковом тюфячке две крошечных собачки, подарок какой-то английской леди. По этот бок ширмы несколько кресел, шкафчик, софа, трюмо и письменный стол. На креслах, на диване и на софе накрахмаленные белые, точно лишь сейчас вымытые и выглаженные, чехлы. На выгибном с ящиками столе чернильницы, возле — куча книг и бумаг. Между ними томы Буало, Монтескье, Беля и Вольтера. Между софой и ширмой дверь в уборную, бывшую под наблюдением другой прислужницы государыни, помоложе, камер-юнгферы Мавры Саввишны Перекусихиной. Все на месте, нигде ни сору, ни пылинки.

У двери в уборную — табуретка; на ней лохань, на полу кувшин. В лохани что-то моет, с засученными по локоть руками, лет тридцати двух-трех, среднего роста, полная, белокурая, красивая женщина.

Серый кот Багадур, лениво раскинувшись на софе, пошевеливает пушистым хвостом и сладко щурится на солнечный луч, играющий на полу, по мебели и цветам.

Во дворе прогремели колеса.

«Неужто уж подали?» — подумал гардеробмейстер Шкурин, в недоумении взглянув на стенные, с кукушкой, часы. «Нет, видно, чужой», — сказал он себе, вставая.

Быстро вошла Дашкова.

— Что государыня? — спросила она. — Едет? Оделась?

— Должно, оделись... пожалуйте! — ответил, отворяя дверь в следующую комнату, Шкурин.

Дашкова вошла в столовую. Удивленно подняв брови на спящую Шаргородскую, она миновала ее, постучалась в дверь кабинета.

— Herein![1] — послышалось оттуда.

Дашкова ступила за порог.

— Что это? — вскрикнула она, всплеснув руками.

— Как что, Бог мой? Мою свои маншеты и воротнички, — ответила, обернувшись к ней, императрица.

Екатерина была в утреннем белом пикейном «корнете» и в кружевном простеньком чепце поверх русых, невысоко убранных волос. Две стоячих букольки были взбиты у маленьких, без серег, красивых ушей. Голубые, усмехавшиеся глаза смотрели приветливо и весело. Румяное, полное, с прямым носом и круглым, крепким подбородком лицо дышало свежестью и здоровьем. Бархатные синие ботинки на высоких каблуках обтягивали короткую и плотную, с крутым подъемом ступню. Голос Екатерины был грубоватый. Желая его смягчить, она говорила протяжно, с заметным немецким акцентом и несколько нараспев.

— Такое занятие, когда дорог каждый час, каждый миг? — произнесла Дашкова.

---

[1] Войдите! (*нем.*)

— Так у меня заведено; так, сударыня, извините, и делаю! — ответила флегматически Екатерина, внимательно выжав и покрасневшими проворными пальцами встряхивая вымытое, причем от возни крупные капли испарины собрались у нее над верхней губой.

«Вот она, подите! — подумала Дашкова. — Собирается царствовать, а занята мытьем воротничков...»

— Но для того, простите, есть другие руки, — сказала гостья.

— Те-те-те, пойте мне! — ответила Екатерина. — С этой частью я люблю ведаться сама. Времени сколько у нас свободного... кстати, вчера я дочитала «Annales ecclésiastiques...»[1] Барониуса, стихами перевела оду Вольтера к вольности... А знаете ли, друг мой, его «Pensées sur l'Administration»?[2] Какая прелесть! «La liberté consiste à ne dépendre que des lois...»[3] Вот ум, вот мысли и штиль...

— Да разве книгами теперь заниматься? — воскликнула, пожав плечами, Дашкова. — Мы на волкане, слышите ли, на пороховой бочке. Миг — и последует взрыв!

Екатерина взглянула на нее.

— Мешок нерешительный, Панин, мямлит, — продолжала Дашкова, — этот мужик-гетман твердит хохлацкие поговорки: моя хата с краю да скажи — как там? — гоп, когда перескочишь... А государь что-то узнал, намекает, не на шутку грозит... Простите, вы медлите, медлите!..

На глазах Дашковой навернулись слезы.

Екатерина подумала: «Слава Богу, ничего верного не знает!», ласково взяла ее за руку и посадила рядом с собой. Ей вспоминались слова мужа Панину при гробе покойной Елисаветы: «Ототкну тебе уши, как взойду на престол, за-

---

1 «Церковные анналы...» *(фр.)*.

2 «Мысли об управлении» *(фр.)*.

3 «Свобода заключается в том, чтобы подчиняться только законам...» *(фр.)*.

ставлю себя получше слушать». Панин не мог тянуть, долго ждать.

— Вы отчасти правы, — сказала она, — муж действительно мог проведать немало промахов с нашей стороны. Сколько толков, пустых разговоров! Точно орден ждут за суету и болтовню...

— Вы не дарите нас своими указаниями, — ответила Дашкова. — Ах, сколько упущено! В декабре, в ту ночь, когда я вам открылась, я просила у вас наставлений, полномочий. Вы ответили: «Надо надеяться на провидение».

— То же скажу вам и теперь.

— Но ведь дело не ждет! — с чувством искреннего отчаяния сказала Дашкова. — Не о себе говорю — о вас.

— Да, милая, — ответила Екатерина, — незавидна судьба вашего бедного друга. Я, русская в душе, искренно полюбила мою вторую родину, и — что бы ни случилось — без борьбы не уступлю этой любви... Как царь Иван, я не стану думать об убежище меж англичан, останусь здесь...

— Но надо действовать, не говорить! — перебила Дашкова. — Иначе, клянусь, будет поздно...

— Действовать, но осторожно, — произнесла Екатерина, — и особенно от вас, мой друг, я жду резонабельных мыслей и мер...

Дашкова взглянула на императрицу.

— Не понимаете? — спросила, улыбнувшись, Екатерина. — Вот что, не сердитесь только, к добру ведь говорю... Пятнадцать записок, с конными и с пешими гонцами, от кого я получила в эту неделю? И на всякую вашу цидулку изволь отвечать — и я отвечала... Ну это как, сударушка-голубушка, по-вашему, не суета?

Екатерина обняла Дашкову и крепко ее поцеловала.

— Нет, воля ваша, нет! Что хотите — не могу! — с хлынувшими слезами проговорила Дашкова. — Ваша нерешительность, ваш взгляд на дело сгубят всех нас и прежде всего вас самих.

Екатерина не возражала. В ее глазах также выступили слезы. Одна рука ее была на руке гостьи, другою она обнимала Дашкову. Несколько минут обе любящие, связанные недавней дружбой женщины молчали. Лица их были увлажнены искренними слезами.

— Простите, ma bonne et chère amie[1], — сказала, целуя Дашкову, Екатерина, — несчастье мой удел; вы меня жалеете, но мы несогласны во взглядах. Вы ждете помощи от друзей — я считаю, что она может прийти только свыше.

— И вы готовы покориться судьбе, вынести насильное пострижение в монастырь или — что того хуже — отдать себя голштинцам заточить, вместо принца Иоанна, в Шлиссельбург?

— Ну, до того авось вряд ли еще дойдет! — ответила, сверкнув голубыми глазами, Екатерина.

Дашкова встала. Последние слова императрицы ее окончательно взорвали. Глаза ее помутились. Лицо покрылось пятнами. Побелевшие, сердитые губы некрасиво усиливались что-то сказать. Екатерина взглянула на гостью — и ей стало ее вдвое жаль, и в то же время почему-то было весело. Круглый подбородок ее дрогнул.

«Трусиха! — подумала она. — Вот трусиха; любит, а как жалка... Какое сравнение с теми — римляне, орлы!..»

— Ну, поведайте, что вы еще слышали? — спросила Екатерина. — Мне пора уж и на обед.

Дашкова передала о своем заезде в Ораниенбаум и о разговоре с императором. Пробило десять часов. Екатерина позвонила. Вошла Перекусихина, за нею Шаргородская. Они внесли парадный траурный костюм императрицы. К подъезду, погромыхивая, подъехала тяжелая, шестерней, карета.

---

[1] мой лучший и дорогой друг (*фр.*).

— Что ж наконец делать? — спросила по-французски Дашкова, когда Екатерина с нею вышла, в черной флеровой шапочке, на крыльцо.

— Терпение, милая тезка, терпение и осторожность, — ответила вполголоса, крепко пожимая ее руку, Екатерина. — Вы — Катя, и я — Катя, будем обе Кати умницами...

«Ну, сударыня, уж извините, — подумала Дашкова, глубоким, по всем правилам, реверансом раскланиваясь от крыльца с уезжавшей императрицей, — придет срок — не поцеремонимся с вами...»

«Муха на рогах вола! — отвечая на поклон княгини Дашковой, подумала Екатерина. — Бегает, суетится... и все, Бог мой, чтоб только сказать: и мы-де орали, мы-де пахали пашеньку... Думает, что ее приняли в согласие, что ей открыт заговор... она не в заговоре, а только в разговоре... Нет, — прибавила себе Екатерина, — я неправа, я — esprit gauche![1] несносная страсть к сатирничанью!.. Княгиня преданная, пылкая и женерозная особа, и много у нее, с ее мужем, друзей... Преданность, пылкость! Не в них одних сила — нужно притом и нечто другое...»

Мысли Екатерины унеслись далеко — к тем дням, когда она, приглашенная императрицей Елисаветой, впервые въехала, через Ригу и Псков, в Россию и приглядывалась к ее пустынным равнинам, одиноким селеньям и нескончаемым дремучим лесам, и когда ей грезилось, что она некогда будет царствовать в этой бедной, обширной стране.

Карета императрицы на полных рысях миновала последнюю просеку Петергофского парка. Стали видны у взморья высокое крыльцо и окна Ораниенбаумского дворца.

Желтые, синие и белые голштинские мундиры мелькали уже здесь и там за сквозною чугунною оградой. Скакали вестовые. Отъезжали экипажи спешивших из столицы гостей.

---

[1] ум набекрень! *(фр.)*

XVIII

АРЕСТ ПАССЕКА

Обед в Ораниенбауме отличался особенною пышностью.

Стол, на пятьдесят кувертов, был сервирован в японской зале. Служили в желтых куртках и красных тюрбанах арабы и с страусовыми перьми на шапочках скороходы. Императрица сидела рядом с Минихом. Государь во время обеда был сильно не в духе. Изредка перешептываясь с Александром Шуваловым и с Гудовичем, он изредка вопросительно поглядывал на императрицу. К вечеру на маскараде, в оперном театре, он видимо повеселел. На слова Воронцовой: «Взгляните, государь, ваша супруга без екатерининской звезды: не оттого ли, что я по вашей милости в этом ордене?» — он ответил:

— Ба! Пустяки, Романовна! Я спрашивал... она нечаянно сломала звезду и отдала в починку Позье...

На другой день, двадцать седьмого июня, в четверг, Петр и Екатерина встретились вновь на великолепном празднике, данном в честь высокой четы графом Алексеем Григорьевичем Разумовским и его братом — гетманом, в Гостилицах.

Здесь были первые красавицы из обычной дворской свиты императора. Все были веселы, катались с музыкой по озеру. Тосты сопровождались пушечной пальбой. Оба Разумовские, особенно любимец государя — гетман, наперерыв старались угодить императору.

«Лобзание Иуды», — думали некоторые из знающих тайны, глядя на них.

— Завтра надеюсь у вас обедать и обо всем, без вредительных иллюзий, поговорить, — сказал государь императрице, уезжая вечером в Ораниенбаум. — А мои именины, послезавтра, проведем, не правда ли, у меня?

Императрица молча вздернула за собой по ступенькам экипажа траурный шлейф. Дверцы захлопнулись. Карета по-

мчалась в Петергоф. Более в жизни Петр с Екатериной не виделись...

«Боже мой, Боже! — думала Екатерина, подавляя слезы и прислушиваясь к топоту лошадей. —Что меня ждет? Развязка близка. Никто и не подозревает, что Панин и гетман готовы... Терпеть или предупредить удар? Свобода — и заточение, корона — и монастырь?.. Не сдамся, как правительница Анна... Лучшие умы призову к трону, буду править кротостью, голос всякой правды слушать. Обновлю, воскрешу эту забытую, бедную и вместе богатую, мне одной понятную страну. Стану матерью отечества... Умру или буду царствовать...»

Возвратясь в Петергоф, Екатерина отпустила прислугу, заперла двери и открыла окно. Море тихо плескалось у Монплезира.

«Дашкова! Друг мой! — думала императрица. — Нет тебя возле меня в эти минуты, а ты мне теперь так нужна... Что если ты права, если мы опоздали и нет уже возврата?»

Екатерина порылась в ящиках, отложила и сожгла несколько бумаг, засучила до локтей рукава блузы и стала в волнении ходить взад и вперед по комнате. Малейший звук у взморья и в саду бросал ее в холод и жар.

Петр Федорович позже выехал из Гостилиц. Он также был неспокоен и возбужден.

«Постой, матушка-голубушка! — думал он, приглядываясь к стемневшим полям. — Не долго ждать... Послезавтра, в субботу, мой праздник. День Петра и Павла надолго останется памятен. Все готово — и Лизавета Романовна согласна, и принц Иоанн под рукой... Гетман обещает полнейший успех. Покажу принца народу, провозглашу наследником и обвенчаюсь... Жену и сына запру в Шлиссельбурге, устрою временное регентство — из князя Никиты Трубецкого, Гудовича и дяди-принца Жоржа... и с армией в поход! Все готово... Они и не ожидают.

Какая тишина, какая! — сказал себе Петр Федорович, подъезжая к Ораниенбаумскому дворцу. — Мир и не по-

дозревает, что́ ему готовится... Воздух и не шелохнет, кругом ни звука... О! Сколько величия и сколько силы в душе зоркого, осторожного и решительного человека. Панина пошлю в Швецию — раздавить тамошние своеволия, гетманом сделаю Гудовича... Но главное, главное... Свет загремит от нежданной вести, и новая великая страница прибавится к истории Третьего Петра».

За полчаса до возврата государя с предательского пира, любимый его арап, Нарцис, пришел к нему в рабочий кабинет и положил на письменном столе письмо, присланное с тайным гонцом от бывшего государева парикмахера Брессана. На письме была по-французски надпись: «Весьма секретное и нужное». То был донос о заговоре.

Петр Федорович, отыскивая сигары, увидел возле них пакет, хотел его вскрыть, но, чувствуя усталость, рассеянно повертел его в руках, бросил на этажерку в кучу других, заготовленных на утро бумаг, прошел в спальню, стал раздеваться и задумался.

«Концерт природы — концерт душевных страстей», — сказал он себе слова Стерна из книги, читанной накануне. Его манило из комнаты на воздух.

Император снял со стены любимую скрипку, подарок виртуоза Тастини, вышел с нею на балкон — и долго в тишине, покрывшей взморье, дворец и сад, раздавались звуки нежных каватин и пасторалей. Петр Федорович играл, размышляя: «Все идет отлично... И какая полная, поэтическая тишина!.. Да! Свет изумится новой странице в истории Третьего Петра».

Было за полночь, когда он возвратился в спальню.

«Волков изучает французскую хартию, советует ввести в России сословия... Всяк станет волен... Всяк будет счастлив, всяк станет жить под своей смоковницей!» С этими мыслями он обернулся к стене, услышав жужжание комара, стал следить за его песней и полетом и заснул.

Ожидания императора не сбылись. Не через день и не в субботу, а того же двадцать седьмого июня, в четверг, в Петербурге произошел важный, хотя, по-видимому, ничтожный случай.

Преображенский гренадер, заслышав толки, что государыня в опасности от голштинцев, зашел к своему капитану, Петру Богдановичу Пассеку, узнать, правду ли говорят в народе. Пассек ответил, чтоб не врали и что государыня в безопасности. Гренадер решил глядеть в оба; ночью не сомкнул глаз, ломал голову, а потом зашел к преображенскому майору Петру Петровичу Воейкову.

— Ваше высокоблагородие, — сказал он, — явите Божескую милость. Как бы после за них не отвечать.

— За кого?

— За голштинцев.

— А что?

— Да все ли то есть в благополучии насчет матушки царицы?

Воейков насторожил уши.

— Пустяки, — ответил он.

— Спрашивал я по тайности их благородие Петра Богданыча, — сказал гренадер.

— Ну, и что же он? — спросил Воейков.

— Передай, говорит, солдатству, чтоб до времени попусту не чесали языков. Нужно будет — объявят через капральство.

Воейкова как варом обдали эти слова. Он понял, что дело неладно, задержал гренадера и арестовал Пассека.

«Вот и ручался в осторожности», — подумал Ломоносов, узнав о том и вспоминая встречу с Пассеком у Фонвизина.

Пособники Екатерины потерялись. В грозной тишине перед ними как бы взлетела первая вестовая ракета...

Панин узнал об этом от Орлова, играя вечером у Дашковой в карты. Дашкова посоветовала Орлову немедленно

скакать в Петергоф и обо всем уведомить Екатерину еще до рассвета. Панин послал наставления гетману Разумовскому, командиру Измайловского полка. Дашкова надела мужской плащ и, не доверяя Орлову, пошла узнать подробности к Рославлеву. Все были в ожидании чего-то необычайного, рокового.

Мирович вторую неделю играл в карты у Перфильева. Игра шла в доме генерала Возжинского, бывшего лейб-кучера Елисаветы Петровны, на Невском, у Гостиного двора. Мировичу везло, но он выбился из сил, стал раздражителен, придирчив и груб.

Вечером двадцать седьмого июня, когда партнеры Перфильева сидели за карточным столом, к ним, после некоторого отсутствия, вновь явился Григорий Орлов. Он высыпал на стол груду золота. Игра пошла с новой силой. Разносили вина, прохладительные.

Был второй час ночи. Мировича вызвали на крыльцо. Какой-то мужик подал ему записку. То было письмо Пчелкиной. На дворе рассветало. Мирович вскрыл и прочел следующие строки.

«Что вы делаете? — писала Пчелкина. — Вы забыли всех и все. Узнав, где вы скрываетесь столько дней, спешу сообщить то, что сейчас узнала от заехавшего к нам в поисках за вами Ушакова. Город в опасности. Каждое мгновение ждут взрыва. Вы просили услуги мне. Вот она. Арестован Пассек; враги государя боятся его показаний и готовы действовать. Поезжайте к Ушакову. Он все вам объяснит».

«Подлый я, гнусный!» — с бешенством сказал себе Мирович. Он бросился в переднюю, схватил шляпу и шпагу, кликнул извозчика и поехал к Смольному, где в переулке жил Ушаков.

«Вот она, решимость, долг совести! — рассуждал он. — Все забыл, все. У меня были средства предупредить госу-

даря, его спасти, и я тем пренебрег. Христос великий и единый, слава нашего ордена, и я тебе изменил! Многое думалось, и все низвергнуто. Опять я погибшая натура, подлая и дикая тварь. А сравняться думалось, по слову братьев масонов, с Моисеем, с Гирамом-Апифом... Изменник, картежник, мот!..»

Скрипя зубами, Мирович сжимал кулаки, тихо и злобно смеялся над собой.

«Кто есть свободный каменщик? — спрашивал он себя с дрожью негодования. —Человек, умеющий сдерживать свои порывы, покорять волю свою разуму. В храм истины входят только премудрые; гордость и бесчиние изгоняются оттуда. А я не исполнил долга в такое время, сидел за карточным столом, слушал ревение пирных песен, служил с такими вертопрахами Бакху... К кому заповедано милосердие? — к бедствующему... Сострадание? — к виновному... Прости ж меня, Господи, прости слабому ученику, символ которого — неотесанный, грубый камень. Дай мне искупить мою провинность... заслужить... Попущение падения — в плане горней твоей любви...»

На квартире Ушакова Мировичу сказали, что Аполлон Ильич с вечера нанял ямских и уехал за город.

«Новое горе, — подумал Мирович, — от кого ж теперь узнать?»

Он поехал обратно, и на Литейной вспомнил о Брессане. Дом камергера-парикмахера был ему по пути, на Фонтанке, у Симеоновского моста.

«Разве попытаться к нему? — подумал Мирович. — Он друг государя, знал меня по корпусу».

Окно в верхнем этаже дома Брессана было освещено, дверь на улицу — отворена. Отпустив извозчика, Мирович взошел по узкой деревянной лестнице.

Взволнованный и до крайности растерянный француз сперва не признал гостя, потом принял его со слезами и с распростертыми объятиями.

— Mon Dieu, quelle misère![1] Какое горе! — вопил разбитым голосом, колотя себя в грудь, нечесаный, в халате и туфлях на босу ногу, старик. — Бедный, жалкий государь! Oh, il est perdu![2] Я писал, я послал, но, видно, он мой раппо́рт не читал... полдня — и оттуда ни слуха...

Брессан в подробности рассказал Мировичу о случае с Пассеком, о сходках и приготовлениях сторонников Екатерины, Панина, гетмана, измайловских и преображенских офицеров.

— Повозку и лошадей! — вскрикнул, выпрямляясь, Мирович.

Лицо его вдруг засияло, точно он открыл нечто необычайно великое, мировую тайну.

— Ссудите ваших лошадей, — повторил он, — не все еще потеряно. Я мигом долечу и, хоть голова с плеч, все передам, предупрежу государя.

— Нет лошадей, всех разослал, — жалобно ответил Брессан, — к compte Шовалов, к пренс Трубецкой[3], остался одна расхожий водовоз.

— Давай водовоза, — да ну же — черт возьми! Vite, vite!..[4]

Но и расхожая лошадь оказалась в отсутствии, на рынке. В исходе четвертого часа Мировичу подали наконец коня. Он набросал какую-то бумагу, спрятал ее на грудь, пожал руку Брессану, вскочил в седло и понесся вдоль Фонтанки.

«Не знаю, как и что, — мыслил он, — но верю, что сделаю всем наперекор, всем...»

У Калинкина моста, где жила Филатовна, Мирович придержал поводья, миновал заставу шагом. Полная тишина царила окрест. Предместье, пробуждаясь, еще молчало. Ни

---

[1] Мой Бог, что за убожество! *(фр.)*

[2] О, он погиб! *(фр.)*

[3] к графу... к князю... *(фр.)*.

[4] Скорей, скорей!.. *(фр.)*

конных, ни пеших. Слева в Измайловском полку прогремела чья-то запоздавшая карета, но и та вскоре затихла. От ближних садов и огородов тянуло запахом росистой листвы. Где-то над крышей поднялся ранний дымок. Мирович миновал предместье и во всю прыть помчался по пути в Ораниенбаум, думая про себя: «Гетман изменник, не диво еще, — сластолюбец; но Панин... видно, чем больше идеализма, тем загребистее лапа...»

Но в то же утро и ранее отъезда Мировича, благодаря Дашковой, случилось непредвиденное событие, которому добродушный летописец того времени дал скромное и меткое название: «Предприятие господина Орлова».

В Петергоф, далеко до рассвета, скакал на лихой, собственной тройке Алексей Орлов.

XIX

«ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСПОДИНА ОРЛОВА»

Был в начале пятый час утра двадцать восьмого июня. Полная тишина покрывала петергофский сад, дворец и парк. Солнце поднялось, хотя туман от взморья еще стлался по садовым низам, кое-где точно облаком дыма захватывая террасы и дороги верхнего сада.

К опушке парка подъехала взмыленная тройка. С телеги встал присланный Дашковой большого роста, в преображенском кафтане офицер. Отпустив ямщика, он прошел к лесной караулке и послал сторожа на ближнюю мызу. От последней вскоре подъехала двухместная коляска, четверней.

Оставив коляску у ограды парка, офицер спустился к Монплезиру, поглядел на окрестные аллеи, на окна и крыльцо еще погруженного в дремоту старого павильона, подошел к его галерее и склонился к окну. Из-под опущенной занавески нельзя было разглядеть внутренности комнат. То было помещение камер-фрау государыни Шаргородской. Офицер

постучал в окно, но, видя, что его не слышат, вошел с черной лестницы в сени и в небольшой полуосвещенный коридор. Дверь направо вела в помещение гардеробмейстера Шкурина; налево — в комнаты Шаргородской, смежные с собственными покоями императрицы. В павильоне, очевидно, все еще спали.

Офицер вошел в комнату налево.

Собачка Шаргородской залаяла и разбудила свою хозяйку.

— Что вы, Алексей Григорьич? — спросила, испуганно выглянув из спальни, Катерина Ивановна.

Офицер объяснил причину нежданного своего посещения. Шаргородская стремглав бросилась к опочивальне императрицы.

— В чем дело? — спросила гостя из-за двери Екатерина.

— Не медлите, ваше величество, ни минуты! — ответил Орлов. — Надо решиться, ехать.

— Но ради Бога, что произошло?

— Пассек арестован, — сказал по-французски Орлов, — вам грозит Шлиссельбургская крепость или, как первой жене Великого Петра, монастырь...

Екатерина более не расспрашивала.

— Одеваться! — сказала она Шаргородской и через несколько минут вышла в простом темном платье, в ленте и звезде — под мантильей. Легкая дрожь пробегала по ее членам; лицо было бледно, но совершенно спокойно. Глаза смотрели бодро и светло.

— Готова! — произнесла она Орлову. — Но под каким видом мы пройдем мимо сторожей и часовых?

Силач и гуляка, не знавший колебаний и ходивший в одиночку с рогатиной на медведей, Орлов затруднился ответом. Смелость начинала его покидать.

— Под видом вашей жены, — решила императрица, взяв зонтик и вуаль и подавая руку Орлову.

Они вышли из павильона.

— Если бы я была солдатом, — произнесла Екатерина, минуя первую аллею, — я никогда не дослужилась бы до генерала.

— Почему? — спросил Орлов.

— Меня бы убили еще капралом...

Нижний сад благополучно прошли. По берегу стлался туман. Море тихо плескалось о пристань, оттуда неслась песня:

Ох, ты, волюшка, свет печаль!

Начался верхний сад, смежный с парком. За решеткой, на улице, слышалось уже движение. Шли бабы на рынок, садовники с тачками. Отставной елисаветинский солдат-сторож у ворот парка вытянулся и отдал честь офицеру.

Екатерина спокойно села в коляску, припасенную накануне по распоряжению гардеробмейстера Шкурина. Орлов сел к кучеру на козлы. Другой, будто случайно наспевший офицер, капитан корпуса инженеров Василий Ильич Бибиков, беседуя с ними, поехал сбоку коляски, покуривая трубочку. Все имело вид утренней прогулки. Лошади бежали легкой рысью. Обогнув опушку парка, путники остановились. Орлов предложил Бибикову занять место с Екатериной, кучеру велел взять его коня, сам взял вожжи и погнал четверню вскачь.

— Знаменательный день, — сказала Екатерина Бибикову, глядя на выходившее им навстречу солнце, — ровно восемнадцать лет назад, также двадцать восьмого июня, я торжественно приняла в Москве православие... Еще помню, покойная государыня-тетка и все были удивлены, что я, недавняя гостья этой страны, так отчетливо прочла вслух символ веры...

Рощи и долины, там и здесь разбросанные домики и мосты мелькали по сторонам. Густая пыль столбом взвивалась от колес.

Встречные путники, солдаты, чухны на двухколесных таратайках, косцы сторонились, оглядываясь и недоумевая, что́ за особу мчал в коляске лихой и рыжий преображенский сержант.

Вот Стрельна. Близятся сады Сергиевой пустыни. За ними лес, яровое поле и избушки села Лигова. Новые луга и лес, деревушки, Горелый и Красный кабачки.

У спуска на мост, не доезжая Красного кабачка, из рощи навстречу коляске выскочил на рыжем, толстоногом коне всадник. То был Мирович. Он еще издали приметил и мчавшийся стремглав с лесистого пригорка четверик, и фигуру рослого гвардейца, гнавшего вскачь лошадей.

«Кто б это был?» — рассуждал Мирович, следя за облаком густой пыли, летевшей ему навстречу.

Коляска с опущенным верхом, мелькающие копыта и морды лошадей, грохот колес по бревнам моста и раскрасневшееся, запыленное лицо мундирного возницы со шрамом на щеке — все это быстро мелькнуло и пронеслось мимо Мировича.

«Орлов! Ужели он? — спросил себя, оглядываясь, Мирович. — Нет, я того оставил с прочей компанией у Перфильева!» В это мгновенье ему бросилось в глаза еще одно обстоятельство: с задней оси коляски, очевидно, была обронена гайка. Колесо чуть держалось в бегу.

— Эй, эй! — крикнул Мирович вознице.

Коляска мчалась по тот бок моста.

— Эй, колесо! Колесо! — громче крикнул и замахал шляпой Мирович.

Дама под вуалью выглянула из экипажа: возничий начал сдерживать. Коляска скрылась у Лигова, в овражистом, лесном круглячке.

Мирович подождал. Четверня не выезжала из леса.

«Так и есть, услышали, заметили колесо! — сказал себе Мирович. — Любовишка, видно, похищение дамы сердца... и кому это я услужил?»

Он пришпорил коня и, взобравшись на пригорок, опять оглянулся.

Коляску бросили в лесу. Кроме колеса, помешал дышловый загнанный конь — он упал бездыханный. Путники шли по дороге пешком. А от недальнего и уж видного в утренней мгле предместья навстречу им шестерней мчалась городская карета. Вот она их достигла; они сели и еще быстрее понеслись в Петербург.

«Что бы я дал, что дал бы за то, чтоб путники приметили, кто именно оказал им эту услугу! — думал впоследствии Мирович не раз, под тяжкими ударами жизни до мелочей вспоминая все роковые, все горестные события того дня. — И нужно же мне было подать голос, остановить! Не обрати я их внимания, бешеных коней не удержали бы, и от кого ныне зависела бы моя судьба, участь миллионов — неизвестно...»

Встречная карета принадлежала князю Федору Сергеевичу Барятинскому, тому самому, который в мае от Петра Федоровича получил было приказ арестовать императрицу. С ним, навстречу Екатерине, примчался и Григорий Орлов.

— Наше море не волнуется, входит только в свои берега, — сказал последний.

— Пить хочется, страх душно! — ответила Екатерина. — Больше версты спешили вам навстречу пешком.

Братья Орловы стали на запятки. Барятинский и Бибиков были приглашены государыней в карету. Лошади понеслись, и вскоре карета уже гремела в улицах предместья.

У Калинкина моста дорогу переходила высокая, в мужском камзоле, седая старуха с полными ведрами.

— Минуту, ради Бога, пить! — сказала Екатерина.

Экипаж остановился. Старуху подозвали к дверцам. Екатерина, стоя на подножке, ухватила обеими руками влажное, полное ведро и медленно, жадно напилась.

«Миг — и калейдоскоп обернется! — думала, видя себя в воде, как в зеркале, Екатерина. — Миг — и исчезнут грезы, ожидания тяжелых восемнадцати лет...»

— В долгий век тебе, в добрый час! — приговаривала старуха, кланяясь и разглядывая необычную путницу. — Никола в помощь, Христос по дорожке!

— Спасибо, милая, — сказала Екатерина, оторвавшись от ведра и отрадно вздохнув. — Как тебя звать?

— Лейб-кампанша Настасья Бавыкина; здравствуй и много лет живи, матушка-государыня, во святой час, в архангельский.

— Где живешь?

— У грекени Бунди.

«Лейб-кампанша, слуга тетки, — подумала Екатерина, — не забуду... это ведь первая...»

Бич щелкнул. Карета миновала ближние роты Измайловского полка и остановилась на зеленом пустыре, у полковой съезжей. Здесь еще было тихо.

Под сигнальным колоколом, у моста через ров, ограждавший полковой двор, с ружьем на плече стоял часовой. Екатерина вышла из кареты. Часовой сразу ее узнал. Не спуская с нее загоревшихся изумлением, страхом и радостью глаз, он вытянулся у входа на мост и молча взял на караул.

«Пропустит ли? — подумала Екатерина. — Что, как заступит дорогу, подаст неурочный сигнал к тревоге?»

Лицо ее покрыла краска.

Не спеша и не глядя на караульного, она мерным, спокойным шагом твердо направилась от кареты к мосту.

Часовой не шелохнулся. Только грудь его высоко поднималась да молодое, замиравшее сердце билось шибко и горячо.

«Вот спустит на перилы мушкет, ударит в колокол!» — мыслила Екатерина, в холоде и трепете неизвестности, смело и бодро ступая по серым, стоптанным горбылинам мостовин.

«Проходи, умница, радость! — думал тем временем, смотря на государыню, часовой. — Угадываю... Вон они, орленки, сподвижники твои, смельчаки... Иди... Не на утеснения, не на гибель и бесцельную трату наших сил... На славу, честь и свободу патриотов шествуешь царствовать...»

Екатерина беспрепятственно прошла за канаву, спутники следовали за ней.

— Имя твое? — на миг замедлясь и взглянув на бледное, умное лицо рядового, спросила Екатерина.

— Обожатель и верный раб вашего величества, Николай Новиков! — ответил, брякнув ружьем, в честь давно жданной гостьи, часовой.

Старший Орлов вошел в сборную. Оттуда выскочил полураздетый солдат, за ним еще несколько рядовых. Глухо и несмело загремел барабан. Бодрее вторя ему и будя утреннюю тишину в смежных ротных дворах зарокотали другие барабаны. Екатерина стала у окраины съезжей площадки. Справа и слева сбегались старые и молодые солдаты. Привели под руки бледного, растерявшегося священника с крестом. Вынесли из полковой церкви и поставили среди двора аналой.

— Присягать! Присягать!

— Ура, услышала нас матушка-царица! — кричали гренадеры.

Взвод за взводом и рота за ротой, сбрасывая по пути узкие, нового образца, и надевая старые, отнятые в цейхгаузе лизаветинские кафтаны, сбегались в гудевший и переполненный радостною толпою двор. Началось целование креста.

Когда наспела последняя рота, офицеры Вырубов, Рославлев, Всеволожский, Ласунский и Похвиснев замахали шляпами. Крики смолкли. Екатерину окружили.

— Я к вам явилась за помощью! — раздался в тишине ласковый и звучный, как бы мужской, далеко слышный голос. — Опасность вынудила меня искать среди вас спасения...

Новиков, оттесненный навалившейся толпой, поднялся на цыпочки. Невысокая, полная, с румянцем тревоги, Екатерина стояла в десяти шагах от него. Руки ее были протянуты, на лбу и над верхней губой выступили крупные капли пота, затуманенные глаза робко искали вокруг опоры.

— Советники государя, моего мужа, — продолжала она, — решили без промедления заточить меня и моего единственного сына в Шлиссельбургскую крепость...

— Смерть голштинцам! Смерть! — загудела толпа.

— От врагов было одно спасение — бегство, — сказала, утирая слезы, Екатерина. — Бежать могла я не инако, как к вам... На вас надеюсь, вам верю. Окажете ли помощь сыну и мне?

— Всех веди! Жизнь положим — не выдадим! Смерть супостатам!..

— Никого не трогайте, — произнесла Екатерина, — слушайте начальников, Бог за нас.

Солдаты и офицеры бросались перед Екатериной на колени, целовали ей руки, платье. Вынесли полковое знамя.

— К семеновцам! В Казанский! — кричали одни.

— К преображенцам! Они матушку Лизавету ставили на царство! — кричали другие.

— В конную гвардию... по всем церквам!.. Карету! Где же гетман?

— К Панину, в Летний поскакал.

— А Алексей Орлов?

— За архиереем Дмитрием...

— В Казанский! В Казанский.

Роты строились.

— Что мешкаете, ротозеи? — кричал Рославлев.

— Живо знамена вперед, барабаны! — командовали Обухов и Ласунский.

— Спасительница наша! Мать родная! Виват! — не умолкали солдаты.

— Пушки вывози! Стройтесь! — кричало капральство. — Священника вперед! В Казанский!

Вправо и влево, во все концы скакали вестовые.

Под напором ломившейся вперед, кричавшей и махавшей шляпами и мушкетами толпы императрица снова села в карету. Приземистый, с крестом в руке и с дрожавшей белокурой бородкой священник, покашливая и испуганно путаясь

в голубой, полинялой рясе, двинулся вперед. Выстроившийся полк, окружив карету государыни, последовал за нею.

Предводимые Вадковским, Федором Орловым и другими офицерами, семеновцы также принесли присягу. С загородного проспекта шествие двинулось по Гороховой, своротило в Мещанскую и стало приближаться к площади Казанского собора.

Окна и двери раскрывались настежь. Горожане присоединялись к шествию и также кричали виват и ура.

XX

ЯВЛЕНИЕ ФЕЛИЦЫ

Утром того же двадцать восьмого июня Ломоносов проснулся ранее обыкновенного. Ему предстоял окончательный просмотр хвалебной латинской речи, которую он, по наряду, должен был завтра, в день государевых именин, прочесть в торжественном заседании Академии наук. Сверх того, он помнил слово, данное студенту Фонвизину, быть в Измайловском полку.

— Ох уж эти разъезды да именные пироги! Одна времени трата! — ворчал он, поднявшись на утренней прохладе в оконченный поправками рабочий кабинет флигеля.

В девятом часу кухарка просунулась в дверь с чашкой кофе и с только что занесенной академическим рассыльным тетрадкой «С.-Петербургских ведомостей».

На заголовке газеты стояло: «№ 52, пятница, 28-го июня». Далее была статья:

«Из Рима, от 27-го мая пишут... Езуиты купили для братии своей дом маркиза Д'Оссоли. Слух носится, что намерены уничтожить сие братство...»

«Вела речь свинья! Черта с два! — подумал Ломоносов. — Как раз уничтожат этих аспидов...»

Он бросил газету на стол, раскрыл окно в сад, вынул из ящика набросок речи и задумался над фразой: «Hic festus Petri, patrae, dilectissimae patris et filii, dies usque in aeternum redivivus recurrat...» и проч. По-русски фраза означала:

«Сей день Петра, отца отечества и сына — с удвоенным торжеством, да возвращается навсегда более радостным, более счастливым, и да принесет в позднейшее потомство общее нерушимое веселие...»

Ломоносов опять сел к столу. Но едва он взялся за перо — с улицы послышались громкие, нестройные голоса. В окно было видно, как берегом Мойки, влево к Синему мосту, в беспорядке бежала густая толпа: мужики с барок, фабричные, бабы и мастеровые. Часть бежавших замедлилась и, в облаке поднятой пыли, с бранью и криками, толкала какого-то долговязого, в голштинском мундире, офицера.

«Попался немец, — подумал Ломоносов, — чем-нибудь, грубиян, насолил».

Толпа продвинулась. Берег очистился. Но опять где-то раздались голоса. С ближних и дальних церквей начинался странный, не по времени перезвон.

«Не пожар ли?» — пришло на мысль Ломоносову. Он взглянул на часы. Было с небольшим восемь.

— Батюшки, светопреставление! — послышался снизу, под лестницей рев кухарки. — Злодеи! Масло!.. Масла целую крынку... Банку с ваксой стащили... Изверги! Погубители!

Ломоносов спустился во двор. У ворот шла суета. Шныряли какие-то фризовые шинели: расстегнутые, с красными лицами, матросы заглядывали в калитку у ворот. Незнакомый священник, испуганно шмыгнув с улицы, о чем-то расспрашивал дворника. А дворник, торопливо выпрягая из тачки лошадь, похлопывал ее по спине, подрагивая разутыми, в подвернутых шароварах ногами, точно собирался вспрыгнуть на коня и куда-то ускакать.

— А-а-а! Ура! — донеслись от Синего моста раскатистые громкие крики.

«Нет! Не пожар! — сказал себе Ломоносов. — Ужли ж перемена, нежданный, всякими бедствами грозящий мятеж?»

Он взял трость и шляпу, вышел на улицу и, обгоняемый пешими и конными, направился влево по Мойке.

— Сполóх, ребятушки, сполóх! Даржи, Сысойка, даржи... У-ах! — галдели обрызганные известкой и глиной штукатуры и каменщики, гуськом выбегая из соседнего двора.

— Где сполох? Эка, врут, идолы! — сердито огрызнулся пузатый рыжий кабатчик в кумачной рубахе и фартуке, на босу ногу, стоя с стаканом сбитня на крыльце погребка.

— Чтоб те перекосило с угла на угол! — сказал кто-то.

— Вот постой, толстошей! Ужо всем вам будет расплата! Всех порешат! — крикнул костлявый, в веснушках верзила-маляр, с ведерком и кистью спеша вслед за другими.

У Красного моста Ломоносов всилу уже мог подвигаться вперед. Из глубины Гороховой доносилось громкое ура. Там двигались солдаты и развевались знамена. При въезде на мост скучилось несколько экипажей. В одной из карет был виден бывший фаворит Иван Иванович Шувалов, торопливо и растерянно говоривший с кем-то из подъехавших знакомцев. Из другой, заторможенной кричавшей и напиравшей со всех сторон толпой, выглядывало искаженное страхом, с помутившимися, дико уставленными глазами и с дрожавшею, отвислою губою мертвенно-бледное лицо герцога Бирона...

С трудом протискавшись через мост, Ломоносов попал в такую давку, что не мог уже идти по желанию. От Красного моста его унесло на Невский к Зеленому, или Полицейскому. Дом полиции был окружен народом. Ворота его были взломаны, стекла в окнах выбиты. Перед тем только что арестовали и куда-то отправили генерал-полицмейстера Корфа. Толпа запыленных, освирепелых фабричных и солдат с криками: «В воду его! Всех их, чертей, немцевых слуг, туда!» — кулаками и прикладами толкала в Мойку перепуганного, в изорванном бархатном кафтане и в большом всклоченном парике старичка иностранца.

Какой-то офицер, всилу отбив у рядовых полумертвую измятую фигурку, втолкнул ее в лодку и велел везти в крепость.

— Лешток! — послышалось в толпе.

— Какой Лешток?

— А мало ли их дьяволов, немцев... Вон и дядюшку Жоржа исколотило солдатство, порвало на нем одёжу...

«Sic transit gloria mundi![1] — подумал Ломоносов. — Но откуда все и в чем дела суть?»

У Казанского собора он узнал наконец причину общего волнения.

Не успело шествие показаться в Мещанской, от Гостиного двора послышались крики и прерывистая барабанная дробь. У чугунной соборной ограды показались бежавшие по Невскому в светло-зеленых елизаветинских кафтанах, с мушкетами наперевес, преображенцы. Офицеры, вожаки движения, Бредихин, Баскаков, Протасов, Ступишин и Чертков всилу сдерживали и равняли их мешавшиеся ряды.

— Виноваты, матушка, поздно пришли! — кричали государыне гренадеры.

Не успели преображенцы выстроиться в ограде, на Невском опять раздались звуки труб, стук подков и ближе, и ближе переливавшиеся крики ура. Стали видны скачущие, тяжелые ряды зеленых, в золотых галунах, рейтар. На полном карьере, с палашами наголо и с распущенным штандартом, гремя подковами по мостовой, неслась от Аничкова конная гвардия.

— Матушка! Солнце ты светлое! Спасительница! Не выдадим! — восторженно кричали конногвардейцы, предводимые Хитрово, Несвицким, Ржевским, Черкасским и

---

[1] Так проходит слава мирская! *(лат.)*

Мансуровым, строясь между собором и садом гетмана Разумовского (ныне Воспитательный дом).

На паперти показался окруженный «всем освященным собором и синклитом» в полном облачении новгородский архиепископ Димитрий Сеченов. Он осенил крестом Екатерину. Солнце светило на белый глазет, малиновую парчу, седые головы и бороды духовенства. Траурное платье Екатерины сиротливо отличалось в этой смеси бархата, золота и ярких солнечных лучей.

— Присягать! Присягать! — раздавались восклицания. — Правительницей! С сыном Павлом! Регентшей...

— Одна, одна! Да здравствует самодержица, матушка наша, Екатерина Алексеевна! — крикнул Алексей Орлов и за ним передние ряды.

— Ура! — подхватили остальные. — Самодержицей! Крест целовать! Ура!..

Быстро примчалась шестерней золотая придворная карета. Из нее вышел бледный, старавшийся скрыть радостное волнение Никита Панин, об руку с своим питомцем, встревоженным, робко шагавшим, худеньким великим князем Павлом Петровичем.

Архиепископ спустился с паперти и стал обходить ряды войска. Офицеры кидались на колени перед Екатериной, восторженно махая шпагами и шляпами. Окна, балконы и двери окрестных домов переполнились зрителями. Кто не попал на площадь, взбирался на смежные крыши, на деревья Невского и гетманского сада.

— Где императрица? Где? Позвольте! — спросил, силясь взглянуть из-за спин других, невысокого роста, круглощекий юноша с вспотевшим, миловидным лицом, подъехавший на извозчике с Мещанской.

— Вон она, батюшка, вон, а возле нее великий князенька, Павел Петрович, — ответил в мещанском зипунишке старик.

— Да где же? Позвольте, не видно.

— На паперти, сударь, эвоси, прямо глядите; в печальном-то платье... в черной шапочке, со звездой.

— Эк, глаза, дедушка, куда дел? — отозвался голос из толпы. — Проворонил... с преосвященным ушла в собор.

— Молебствует! На царство венчается! — слышалось здесь и там.

— А Панин-то не оставлял великого князя, с ним эти ночи, сказывают, спал, оберегал царское детище...

Давка на площади стала стихать.

Щеголеватый юноша, оправляя букольки и примятый треугол и распространяя запах петушьих ягод, протискался в церковную ограду.

Здесь Фонвизин увидел своего знакомца, рядового Державина. Последний, размахивая руками, что-то рассказывал преображенцам и как бы на кого-то жаловался.

— Что с тобой? — спросил его Фонвизин. — И каково происшествие?

— Представь случай! — обратился к нему Державин. — И в такое время... Вчерась, из подголовка, одна бестия выкрала все деньги — больше ста рублей...

— Кто выкрал?

— Да слуга одного солдата-помещика... И смех, и жаль, — такова судьба! Родительница сколотила и прислала последнее. Веришь ли, всю ночь не спал...

— Ну, теперь зато утешен.

— Еще бы.

— А где ваш баталионный Воейков, что Пассека арестовал?

— Представь, вздумал на Литейном гренадер, чтоб не шли сюда, бранить и по ружьям рубить. Те рыкнули и кинулись на него со штыками...

— И что ж?

— Ускакал — по брюхо коня — в Фонтанку, не достали.

— А эти кто?

— Дашкова... Панин... гетман Разумовский...

К собору наспевали известные городу вельможи и жены сановников. Фонвизин также протискался на паперть. Голова его кружилась. Он слушал и не верил своим ушам. В раскрытую дверь церкви были видны ярко горевшие лампады и свечи. С клубами дыма доносились громкие возгласы протодиакона:

— Еще молимся о благочестивейшей, самодержавнейшей, великой государыне... императрице Екатерине Алексеевне... и о наследнике ея Павле Петровиче...

Хор певчих подхватывал. И никогда клирное пение не казалось Фонвизину так сладко, как теперь.

«Боже! Какие события! — думал он, со слезами восторга не видя вкруг себя никого. — Чаял ли, ожидал ли кто так скоро?»

Он вынул платок, отер глаза и раскрасневшееся лицо — и оглянулся.

У зеленой, развесистой липы на Невском, стиснутый задыхавшеюся от жары и давки толпой, стоял близ церковной ограды знакомый, атлетического вида господин. Плотные плечи высились над устремленными к церкви головами; поярковый, порыжелый от ветра треугол был сдвинут на затылок; суровое, в морщинках, лицо изображало недоумение и радостный испуг.

«Михайло Васильич! Он ли это?» — подумал Фонвизин, вспоминая последнее свидание с Ломоносовым, тосты в честь императрицы и приглашение на именины дяди.

«Боже! Какое совпадение! — сказал себе юноша, протискиваясь из ограды на Невский. — Как раз в этот день...»

Под липой действительно стоял Ломоносов.

— Карету государыни, карету! — крикнули в это время от собора.

Ряды войск, тесня и сдерживая народ, раздвинулись.

— Место, место!

— Куда поехала?

— В новый дворец! В короне!..

— Врешь!.. Что рот раскрыл? Пушка вкатит! Да не толкайся, желтоглазый, ребро сломаешь!..

— Эх, люди, право! Лезут!..

— Ой, руку отдавили! Ноженьку...

Толпа, хлынув от площади, разорвалась на два течения. Одно, волнуясь и кружась, захватило и повлекло влево по Невскому тех, кто стоял у сада гетмана. Другое потащило вдоль Конюшенных тех, кто находился правее против собора.

Фонвизин, приплюснутый меж бородами, пахнувшим ворванью и москателью лавочником и толстою, красной как рак попадьей, увидел издали, в облаке пыли, раз и другой мелькнувшие плечи и шляпу Ломоносова. Он попробовал освободиться, но тщетно. Бурный народный поток, сжав его, как в тисках, уносил его дальше и дальше вперед. Ломоносову бросилось в глаза взволнованное лицо Пчелкиной. Она стояла на чьем-то крыльце, сумрачно, недовольно глядя на бежавшую мимо нее толпу...

Екатерина проехала в новый, еще не освобожденный от лесов Зимний дворец. Здесь, окруженная свитой, она показалась народу с сыном, в верхнем и теперь существующем фонарике, над правым крыльцом.

— Манифест пишут, совещаются, — стало слышно в толпе. — В старый дворец созван сенат и синод.

Подъезжали новые экипажи, скакали верховые.

Глухо гремя тяжелыми колесами и лафетами, на площадь въехала артиллерия. Пушки разместились по углам площади и у въездов в ближние улицы.

Ломоносов стоял у Адмиралтейства. Он видел, как с портфелью под мышкой, трусцой, на длинных, юрких ножках прошел в дворцовые ворота любимец гетмана — президента академии, Григорий Теплов.

«Вот чье перо понадобилось в столь важный момент! — с горечью подумал Ломоносов о своем давнем недруге. — Напредки сведом буду... Немного хорошего предвещают негоции с таким конфидентом... Пора, знать, и восвояси».

Он сходил домой, наскоро пообедал и опять вышел на улицу. Но не успел он добраться до Гороховой, как народ снова откуда-то хлынул и его увлек ко дворцу. Вечером площадь огласилась новыми громкими криками — Екатерина села в карету. Провожаемая войском, она ехала к старому Елисаветинскому дворцу.

Унесенный волнами народа, Ломоносов очутился у фонарного столба в Морской, на углу разъездной дворцовой площади. Перед ним по Невскому равнялись шеренги преображенцев, семеновцев и конной гвардии; направо, по Морской, — измайловцы, артиллерия и армейские полки.

Кто-то тронул Ломоносова за плечо. Он оглянулся: перед ним стоял Фонвизин.

— Каковы события, каковы! — сказал Денис Иваныч.

— Да, смуты и всякой сутолочи немало! — досадливо ответил Ломоносов, вспоминая о Теплове. — Мах-мах, и увезли, начали новое царение. Все это больно уж скоро...

— Не понимаю вас, — удивленно произнес Фонвизин.

— Не понимаете? А как те-то, сударь, одумаются и пойдут сюда из Рамбова?

— Да кому идти?

— Как кому? У Петра Федорыча, друг мой, с голштинцами, помните, более пяти тысяч войска.

— Отстоим, Михайло Васильич, что вы, отстоим! — сказал Фонвизин. — Город оцеплен, и к государыне то и дело подводят языков... слышали, сколько уж явилось с покорностью!.. Оба Шуваловы, Трубецкой, Воронцов; в Кронштадт послан адмирал Иван Лукьяныч Талызин — привести флот к присяге.

— А Миних? — сердито подняв брови, произнес Ломоносов. — Он один, сударь, чего стоит!

— Что Миних! Старый немчик!.. Мы и его...

— Ну, не суди так зазорно! Минихами, брат, не очень-то шутят... Они...

Ломоносов не договорил.

Дворцовая площадь, как по манию волшебного жезла, вдруг смолкла. Взоры всех обратились к крытому парадному подъезду, выходившему на Морскую. Был девятый час вечера, но на улице было светло. Ломоносов опять где-то в толпе увидел Пчелкину.

На подъезде в кругу сенаторов, генералитета и первых чинов двора показались два, невысокого роста, в лентах и светло-зеленых гвардейских кафтанах, офицера: один живой и худенький, другой плотнее и с виду представительный и важный.

— Батюшки, да ведь это государыня и Дашкова! — произнес, прикипев на месте, Фонвизин. Он ухватил мягкою, теплою рукой похолоделую, жилистую руку Ломоносова и более не мог промолвить ни слова.

Екатерина была одета в преображенский, старой формы кафтан капитана Петра Федорыча Талызина; Дашкова — в такой же кафтан лейтенанта Андрея Федорыча Пушкина. Придворные рейткнехты подвели к крыльцу белого, в темных яблоках, и светло-гнедого коней.

— Садится, садится верхом! — пронеслось в толпе. — Откушала, пресветлая, у окон-то: с улицы было видно...

— Да куда же это?

— В поход, видно...

— В какой?

— Отстаньте, что вы, право!..

Екатерина села на белого, Дашкова — на гнедого коня. Обе отъехали несколько шагов к Невскому и остановились. Волосы Дашковой были подобраны под шляпу. Развитые, светло-русые косы Екатерины густыми, волнистыми прядями падали из-под треугола на зеленый с красным воротом кафтан. Через плечо императрицы была надета андреевская голубая лента.

— Слу-шай! На кра-ул! — раздались слова командира.

Ружья звякнули. Войско отдало честь государыне.

Екатерина, с улыбкой взглянув на Дашкову, ловко вынула из ножен шпагу, хотела ее поднять и смешалась. Краска залила ей лицо. Шпага оказалась без темляка.

— Темляк, темляк! — пронеслось в ближних рядах.

Из передней шеренги конногвардейцев, на большом, раскормленном вороном коне, вылетел и подскакал к императрице моложавый и, как девушка, застенчивый, близорукий, круглолицый вахмистр. Он снял с собственного палаша темляк и, приподняв шляпу, дрожавшей рукой почтительно подал его государыне.

— Благодарю! — сказала Екатерина, сдержав лошадь и ласково кивнув ему через плечо.

— Кто это? Кто? — заговорили в рядах.

— Батюшки светы! — произнес, всплеснув руками, Фонвизин. — Да ведь это наш кандидат в архиереи...

— А ты нешто его знаешь? — спросил Ломоносов.

— Как не знать! За леность и повседневное нехождение в классы, вместе с Новиковым, выключен из наших московских студентов, а теперь масон и друг Орловых.

Кандидат в архиереи в эту минуту был в большом затруднении. Его молодой вороной, став рядом с белым конем императрицы, решительно не хотел отъезжать прочь. Он тронул его шпорами, — конь подался вперед, фыркнул, но, помня манежную езду, замотал головой и осел назад. Он дал ему шенкеля, конь взвился на дыбы, и опять ни с места.

— Не судьба, сударь, — желая одобрить растерявшегося вахмистра, с улыбкой сказала Екатерина. — Ваша фамилия?

— Потемкин! — вспыхнув по уши и заморгав большими близорукими глазами, ответил с рукой у треугола белолицый и чернобровый вахмистр.

Екатерина прикрепила темляк, подняла шпагу и смело, одобрительно-приветливо взглянула на окружавших, на публику и генералитет.

Это была уже не жалкая, в траурном платье, гонимая женщина, а величавая, гордая орлица, готовая взмахнуть

крыльями и подняться в недосягаемую высь. Она, глядя все так же смело и приветливо, как бы салютуя, повела шпагой, тронула поводом и шагом двинулась вправо по Невскому. Свита, волнуясь разнообразными мундирами, лентами и звездами, верхами последовала за ней. Кто-то, проезжая мимо Ломоносова, сказал соседу, указывая на императрицу:

— Перст Божий, промысел...

«Увидим еще, увидим! — думала невдали от него, глядя на общее ликование, Пчелкина. — Дашковой тоже припомню, выйдет иной фантом... о нем забыли... но он воскреснет, жив!..»

— Смирно! Фронт готовьсь! Мушкет на пле-чо! — раздалась по полкам разноголосая, на тогдашний лад, команда начальников пеших и конных частей.

— Через плутонг, направо, ряды вздвой... Левое плечо вперед, кругом... скорым шагом, прямо, марш!

Колонны двинулись, стали равняться. Загремели барабаны, засвистели флейточки. Хор трубачей впереди полков, предводимых гетманом и князем Волконским, заиграл походный марш Великого Петра.

Сперва гвардия, пешая и конная, потом армейские полки пошли вслед за императрицей. Они обогнули от Морской по Невскому и миновали зимний Елисаветинский дворец. Екатерина въехала на Полицейский мост. Невский, в последнем отблеске заката, глядел празднично. Трубы и барабаны гремели. Знамена развевались. Екатерина издали вся была ясно видна, на белом в яблоках, статном коне — в ленте, со шпагой в руке и с пышными русыми косами, падавшими на зеленый с золотом кафтан.

«И это она! — мыслила, едучи рядом с Екатериной и поглядывая на нее, Дашкова. — Она, та самая, что третьего дня мыла рукавчики... а сегодня, а теперь?.. Как нежданно, как чудно она, она, мой идеал, мой друг, переродилась! Кто ожидал? Сколько смелости, отваги! История отметит. И мне одной она обязана своей свободой и этим, даже мне самой непонятным и необъясненным, перерождением!..»

— Куда это, куда? — окликнул кто-то из опоздавшей знати Ивана Ивановича Шувалова, который у дворцовой площади торопливо и неуклюже влезал, при помощи слуги, на подведенного коня.

— В поход, князенька! — неохотно ответил, махнув рукой, Шувалов.

— Как в поход? Куда?

— В Ранбов, батюшка! И что пристаешь? Mille diables[1], некогда, — еще досадливее сказал Шувалов, неумело болтая толстыми в чулках ногами и догоняя шествие.

Мимо Ломоносова двигались роты за ротами, эскадроны за эскадронами. Он не отходил от угла разъездной площадки.

— Вот бы, Михайло Васильич, вам воспеть нашу радость, нашу богиню! — кто-то восторженно крикнул ему из двигавшихся пехотных рядов.

Ломоносов оглянулся. Мимо него, в темп поспевая за товарищами, с ружьем на плече, по разъезженному булыжнику быстро шагал в пыли раскрасневшийся, длинноногий Державин.

— Видели? — спросил он, равняясь и меняя ногу. — Этот конь, эта шпага и эти распущенные косы... Не правда ли, героиня древности, Минерва! Фелица!

Войска шли, клики не умолкали, барабаны гремели по Невскому.

Преображенский рядовой, будущий певец этой самой Фелицы, забыл в эти мгновения бессонницу ночи, пропавшие деньги и то, что он с утра не пил и не ел, и все... Он не спускал глаз с длинных русых кос, развевавшихся вдали из-под треугола, и лихо, бодро шел, не чувствуя под собою ног, и в трепете зарождавшегося вдохновения желая, чтобы это сказочное шествие было нескончаемо вечно...

---

[1] Тысяча чертей (*фр.*).

Чтоб шлем блистал на ней, пернатый,
Зефиры веяли власы...
Чтоб конь под ней главой крутился
И бурно бро́зды опенял...

— Воспеть! Да, друг мой, стоит ироической, в потомство идущей, громкой оды! — сказал Фонвизину, смигивая слезы, Ломоносов. — Сказка Шехерезады, сон...

Оба они пошли с народом за войском, но не видели ни войска, ни народа. В их глазах как бы намечались и дивно строились очертания чего-то великого, нового и непостижимого. Придя домой, Ломоносов порвал и сжег латинскую речь в честь Третьего Петра и начал новую оду:

Внемлите, все пределы света,
И ведайте, что может Бог:
Воскресла нам Елисавета!..

«Да, — мыслил он, бродя по саду, — новую, светлую эру начнет она, лишь бы призвала разумных и честных, прирожденных стране советников... А тот заключенный? Господи, сил! Преклони в этот миг сердце ее к несчастному. В торжестве и в счастье да вспомянет она его своею милостью...»

XXI

ВЫСАДКА В КРОНШТАДТЕ

Мирович оставил притомленного коня под Петергофом и с каким-то садовником доехал в Ораниенбаум в седьмом часу утра. Дворец еще был погружен в тишину. Худощавый, плечистый, в веснушках голштинский офицер, в белом колете и лосиных в обтяжку штиблетах ходил в ожидании смены у гауптвахты, близ главных ворот.

— Zurück, zurück![1] — крикнул ему голштинец, видя, что тот направляется к дворцовому крыльцу.

---

[1] Назад, назад! (*нем.*)

— Мне, сударь, важное дело, — не останавливаясь, сказал Мирович.

— Aber du, tausend Teufel![1] — кинувшись к ослушнику и хватая его за плечо, прохрипел освирепелый драбант.

— Да слышишь ты, собака, дело говорю! — ответил, оттолкнув его, Мирович. — За грубость после расчет: видывали таких... а теперь, говорят тебе, пусти...

— O, Herr, Je... du Taugenichts, Schweintreber! Hein wer ist da?[2] — крикнул, хлопнув в ладоши, голштинец.

Из караульни выбежало несколько человек солдат.

Напрасно Мирович доказывал, клялся и грозил. Ему указали смежный внутренний двор, где помещалась канцелярия дежурного генерал-адъютанта. Там было также тихо. Дверь в канцелярию была заперта. Мирович присел на крыльце, обдумывая, как он упросит Гудовича или Унгерна и предупредит государя. Дворцовый мир начал пробуждаться. У кухонного флигеля показался в белом колпаке заспанный поваренок. Где-то скрипнула дверь, простучали подковы лошади. Из служительской казармы вышел, в халате и в башмаках на босу ногу, лысый тафельдекер. Он умылся у бочки, утерся и, позевывая, начал молиться.

«Царство спящей царевны, — подумал Мирович, — и не подозревают, что их ждет...»

На внутреннем дворцовом крыльце показался с платьем в руках, недовольный и хмурый любимый государев арап Нарцис.

«Терпение, терпение, — сказал себе Мирович. — Государь скоро проснется...»

Он прошел к пруду, к катальной горке, также умылся и привел в порядок свой запыленный и примаранный костюм. Его давила роковая, величественная, как он думал, идея. Она была ему не под силу. Он под нею изнемогал. Возвратился

---

[1] Ну ты, тысяча чертей! *(нем.)*

[2] О, ты... дуралей, свинопас! Кто-нибудь есть здесь? *(нем.)*

Мирович через конюшенный двор. Здесь уже шла суета. Рысью вели с водопоя лошадей. У каретника сновали конюхи, скороходы. Выкатывали экипажи, несли сбрую.

— Что это? — спросил Мирович рейткнехта. — Разве так рано едет куда государь?

— В Петергоф — кушает нынче там.

Мирович возвратился к главным дворцовым воротам. У гауптвахты стояла уже другая команда.

«Подожду здесь, — сказал он себе с внутреннею дрожью, сердито присев на выступ решетки. —Тупицы, скоты — тиранят медленностью и не подозревают!»

Не долго он ждал на этот раз. За древесною клумбой, скрывавшей парадный подъезд, послышался конский топот. К воротам, повернувшись в седле и отдавая назад кому-то приказания, приближался курц-галопом пасмурный, не в духе Гудович. Открытое государево голубое ландо, шестерней цугом, ехало ему навстречу — к крыльцу, где в ожидании выхода императора толпилось несколько придворных, офицеров и молодых разряженных дам. Оттуда доносились веселые возгласы, смех.

— Mais finissez donc, cher baron![1] — хлопая Унгерна по руке, говорила певучим голоском полная, краснощекая, с усиками брюнетка, графиня Брюс.

— Et puis quaud je dor...[2] — продолжал кто-то.

— Ти-ти, та-та, — щебетала на крыльце веселая компания...

«Озадачу их, побледнеют модники! Разгромлю! — с злобою, радостною дрожью подумал, пропустив ландо, Мирович. — Откладывать нечего... Была не была... Начну с этого...»

Он стал на пути Гудовича — и, когда последний выехал за ворота, подошел к нему и с поклоном протянул заготов-

---

[1] Но кончайте, пожалуйста, дорогой барон! *(фр.)*

[2] И потом, когда я сплю... *(фр.)*

ленный у Брессана рапорт. Гудович мельком взглянул на бумагу, счел ее за обычное прошение, опустил в карман и, подобрав поводья, с легким кивком, тем же курц-галопом поскакал по дороге в Петергоф.

«Что я сделал! Скотина, мямля, баба! — вспыхнув, подумал Мирович. — Надо было самому государю...»

В ворота стали подъезжать другие экипажи. На крыльце явились фаворитка Воронцова, Измайлов, Бецкий и прусский посланник Гольц. В дверях показался белый, с бирюзовым воротом и такими же обшлагами, мундир, небольшой треугол с плюмажем и голштинская красная лента. Государь вышел в сопровождении Миниха. Он добродушно улыбался.

— И с такой разиней сам вороной станешь, — сказал Петр, отвечая на слова собеседника. — Готово? — спросил он, обернувшись к свите.

— Готово, — склонившись, ответил Унгерн.

На дворе было весело, тепло. Солнце светило так приветливо. Государь приподнял всем шляпу, живо, покачиваясь, спустился по ступенькам и сел в экипаж. Воронцова и графиня Брюс, веселые, улыбающиеся, en robe de cour[1], распустив цветные зонтики, сели с ним на переднюю скамью; молоденькая принцесса Гольштейн-Бекская — рядом с государем.

Голубое, с красными выносными жокеями ландо, объехав фонтанную клумбу, пронеслось мимо Мировича на дорогу. Следом выкатил ряд других экипажей. Защелкали бичи. Заклубилась пыль. Вновь поставленный голштинский караул в лосине и в узких белых колетах, вытянулся, с барабанною дробью, у ворот.

«Не пустили, собаки, а я все-таки в подробности и, кажется, первый передал обо всем!» — подумал Мирович, следя от ограды помутившимся, злобным взором за убегавшими вдаль экипажами веселой компании.

---

[1] в одеждах придворных (*фр.*).

Вскоре Мирович узнал, что все его рвение и все хлопоты опоздали и остались ни при чем...

Государева коляска миновала колонию. В свежем утреннем воздухе, над вершинами парка, развернувшегося у взморья, стали видны кровли Петергофского дворца. И вдруг красный жокей замедлил на передней паре и обернулся. Навстречу государя, из парка, мчался во весь опор Гудович.

Андрей Васильич подскакал, склонился к экипажу и начал что-то шептать государю. Петр Федорович побледнел. На Гудовиче тоже не было лица. Оба несколько мгновений молчали.

Император вышел на дорогу. Глаза его смотрели испуганно, по лицу бродила странная, растерянная улыбка.

— Так это, Андрей Васильич, не сон? Ее нет?

— По видимости, ваше величество, государыня ретировалась.

— Просто скажи: сбежала! Зачем смягчать? Но куда?

— Никто не знает.

— Всех спрашивал?

— Всех.

Наспели другие экипажи. Петр Федорович сел в коляску с Гудовичем, Унгерном и Минихом и велел ехать к Монплезиру. Дамам предложили отправиться ко дворцу парком.

Государь бросился в павильон, обошел все комнаты — Екатерины не было. На столе, в ее уборной, лежало готовое на завтра бальное цветное платье.

— Вздор, вздор! — сказал Петр Федорович. — Она здесь где-нибудь спряталась. Не иголка — найдем!..

Он заглядывал в шкафы, под кушетки, велел осмотреть ближние здания, берег, кусты...

— Ну, Романовна, — обратился государь к Воронцовой, подъехавшей с дядей-канцлером. — Ты права!.. Жена моя нас предупредила, ушла...

— Хуже того, ваше величество, — произнес, склоняясь, канцлер. — Не знаю, как и доложить.

— Говори, говори — что еще там?

— Сейчас проехавшие крестьяне сообщили, что вся столица в восстании, народ и войско стали за государыню и с нею направились ко дворцу.

Петр Федорович взглянул на окружавших. Взоры всех были потуплены.

— Отпустите меня в Петербург, — сказал Воронцов. — Я постараюсь уговорить вашу супругу и привезу ее к вам обратно.

— И мне дозвольте, — произнес Александр Шувалов.

— И мне! — прибавил князь Никита Трубецкой.

Все трое уехали в Петербург — и не возвратились. Стали приходить вести одна другой тревожнее. Подъехавший фейерверкер сообщил, что Панин, Дашкова, князь Волконский и гетман руководят движением, Петербург оцеплен, Екатерина провозглашена самодержицей, и ей принесли присягу сенат и синод.

Окружавшие Петра Федоровича не выказали мужества. Но прежде всех и в большей мере потерялся он сам. Окруженный молодыми, плаксивыми женщинами и себялюбивыми, изнеженными царедворцами, он ходил большими шагами по аллеям нижнего сада, делал множество разных предположений и не выполнял ни одного. Были посланы лазутчики на Нарвскую дорогу — узнать, не проезжал ли гонец в заграничную армию. Поехал предупредить коменданта в Кронштадт на шлюпке адъютант государя граф Девьер.

Осыпая Екатерину горькими, жесткими укоризнами, Петр Федорович то грозил, что всю дорогу до Петербурга уставит виселицами и перевешает на них всех ее пособников, то диктовал Волкову проекты бесполезных распоряжений и воззваний к народу. Были посланы в Петербург четыре солдата с манифестами к народу, причем каждому было дано по сто червонцев. Но в то время, как Волков писал манифесты в Петергофе, Теплов писал подобные же в Петербурге.

Пришел час обеда. День был тихий, жаркий. Все общество столпилось на взморье, у Монплезира. Здесь накрыли

стол и сели обедать. В конце обеда послышались звуки труб и барабанов. То подходили из Ораниенбаума приведенные Измайловым голштинские полки. Был седьмой час вечера.

— Верные слуги вашего величества явились, — сказал фельдмаршал Миних. — Мужайтесь! Станьте в их главе и идите на Петербург. У вас там еще немало друзей. Столица одумается и возвратится к своему долгу. Я первый положу седую голову за моего государя...

Слова старого победителя при Ставучанах произвели удручающее, смутное впечатление. Дамы стали шептаться, мужчины — переглядываться. Все чувствовали, что нечто привычное, покойное и приятное уходило от них и заменялось неприятным, тревожным, грозным.

Голштинским отрядам велели идти к зверинцу и там по взморью строить батареи. Миних чертил места для окопов, Измайлов занялся списками батарейных команд. Стало вечереть.

Но подоспела новая грозная весть. В Гостилицы прискакал мажордом Разумовского и объявил, что государыня и с ней больше пятнадцати тысяч войска выступили из столицы и на полном марше идут на Петергоф. Дамы расплакались, подняли крик. Кто-то вполголоса сказал, что уж если ждать атаки, так лучше возвратиться в Ораниенбаум — там крепость. Эти слова произвели общее замешательство. Все предлагали советы, один другого несбыточнее, спорили, и никто никого не слушал.

— Ваше, фельдмаршал, мнение? — обратился государь к Миниху. — Что скажете о предложенной ретираде?

Миних задумался. Суровое, смелое его лицо осунулось; в глазах было выражение жалости, гнева и стыда.

— Ретирада? — произнес он, покачав головой. — Что торопитесь? Еще успеете... А впрочем, эти увеселительные места... тут нас всех, пожалуй, переловят, как мышей...

— Так куда же, милости-с пожалуйста, куда?

— В Кронштадт! — сказал Миних. — Он еще в вашей власти. Комендант Ливерс — надежный слуга... И если мы

вовремя туда поспеем — его корабли и пушки иначе заставят говорить и вашу ослушную супругу, и ставший на ее сторону Петербург.

— Хорошо, что мы догадались! — ответил государь. — К коменданту послан Девьер, готовить десант...

Предложение Миниха было принято. Послали в Ораниенбаум за яхтой и галерой. Пока их привели, стало смеркаться.

Был десятый час вечера. Все общество в шлюпках переехало на суда.

На государеву яхту, в помощь матросам, попросились некоторые из гвардейских и армейских офицеров. Между ними был и пришедший с голштинскими полками Мирович.

Потянул было легкий береговой ветер, но, когда окончательно стемнело, он затих. Паруса не вздымались. Яхта и галера шли на веслах. Волны чуть колыхались. Море затянуло мглой.

Был на исходе первый час ночи, когда путники приблизились к Кронштадту.

«Ну, что-то мне подарит наступающий день моих именин? — думал, сидя у борта на палубе, Петр Федорович. — Как-то распорядились в Кронштадте Ливерс и Девьер?»

В то время, как яхта и галера плыли по морю, в Петербурге уж ходил в списках первый именной указ Екатерины сенату:

«Господа сенаторы! Я теперь выхожу с войском, чтобы утвердить и обнадежить престол, оставя вам, яко первому моему правительству, с полною доверенностью, под стражу, отечество, народ и сына моего...»

Снабженный инструкцией сената, вице-адмирал Иван Лукьянович Талызин приплыл в Кронштадт на шестивесельном рябике перед вечером. Велев гребцам молчать, он пошел к коменданту Ливерсу, сказал ему, что в Петербурге неладно и что, вследствие того, он счел долгом поспешить к флоту. От Ливерса Талызин отправился в казармы. Там он собрал более надежных офицеров и матросов, рассказал им о паде-

нии голштинской партии и о присяге Петербурга и предложил флоту стать на сторону новой императрицы. Все крикнули «виват» и отправились за Талызиным к коменданту.

— Что за шум? — спросил, встретив их, Ливерс.

С комендантом стоял и присланный за десантом адъютант императора граф Девьер.

— А вот что, государи мои, — ответил щепетильный и вежливый в обхождении Иван Лукьянович, — вы не имели столько духа, чтоб догадаться и меня арестовать, так извините, я вас при сей оказии арестую...

С Ливерсом и Девьером был заключен под стражу и капитан над портом, крикнувший было матросам:

— Что вы смотрите на него? Вяжите бунтовщика!

Талызин привел всю команду к присяге, ко входам в гавань отрядил надежные караулы, пушки батарей велел зарядить ядрами и вышел на пристань.

Море тихо плескалось о низменный берег, о сваи и камни дозорной каланчи.

«Людей в Кронштадте всемерно мало, чтоб обнять столь обширную гавань, — рассуждал Талызин, ходя взад и вперед по взморью, — пришлют ли, как я просил, сикурсу с солдатами из Питера? А то как бы не наехал сюда недобрый гость из Аренбóга» — как тогда звали Ораниенбаум, или нынешний, по-народному, Рамбов.

Наведя зрительную трубку в море, Иван Лукьянович тревожно вглядывался, не плывет ли из Аренбога недобрый гость.

Мгла над морем не расходилась. Месяц не показывался. Иван Лукьянович обошел всех часовых.

— Кто на стрелке? — окликнул он караульного, стоявшего у входа в гавань на узкой песчаной косе.

— Трифон Аверьянов, — ответил из-за пригорка голос молодого часового, шагавшего в сумерках по влажному песку.

— Гляди ж, Аверьянов, да поглядывай гостей, — крикнул ему Талызин, — а наедут, давай голос, чтоб ехали прочь... стрелять-де будем... Есть рупор?

— Нетути.

— Ну, малый, гляди же, а я пришлю...

А гость из Аренбога как раз и наехал.

В мглистом сумраке обрисовывались черные мачты и реи двух медленно, на веслах, подплывавших судов. Что-то зашуршало и шлепнулось в воду.

«Якоря опускают», — подумал, затаив дыхание, Талызин. Он дал условный сигнал на соседние батареи. С вышки было ясно слышно, как на приплывших судах кто-то тихо отдавал команду, как с яхты, а потом и с галеры спустили шлюпки и как шелестя платьями и пища от страха при виде колебавшихся темных волн начали с борта в лодки спускаться дамы.

Восьмивесельная, а за нею четырехвесельная шлюпки выделились из мглы и медленно, беззвучно стали подплывать с залива к песчаной косе. С ближней лодки на берег бросили доску. Император, за ним Миних и Гудович готовились выйти на пологий, белевший в сумерках мысок.

— Кто идет? — раздался в тишине бойкий оклик матросика Аверьянова.

— Император! — ответил Гудович.

— Нет у нас более императора, — отозвался тот же голос.

— Вот я сам, ваш государь! — произнес Петр Федорович, сбросив плащ и в белом мундире выступая к носу колыхавшейся лодки. — Приказываю пропустить меня и мою свиту.

— У нас государыня, матушка Катерина Алексеевна, а не государь! — ответил Трифон Аверьянов. — И коли вы, господа ахфицеры, не уйдете отсулева, начальство будет бонбы пущать...

— Вперед, ваше величество! Руку! — сказал Миних. — Не слушайте этого олуха. Никто не посмеет противиться своему государю... Гарнизон увидит вас, и Кронштадт через час будет у ваших ног.

Гудович и Унгерн поддержали слова Миниха. Петр Федорович готов был спрыгнуть на берег и медлил.

«Ужели я, любящий войско, я, в душе стоик и солдат, окажусь малодушным трусом, не решусь?» — думал он, чувствуя, как сильно билось его сердце. Темные волны глухо плескались о берег. Очертания города и фортов неясно обозначались во мгле.

У каланчи послышалась артиллерийская команда. На скрытой в сумерках ближней батарее сверкнул зажженный фитиль. С лодок, с залива доносились испуганные дамские голоса.

— Нет, — сказал Петр Федорович, — за себя не боюсь. Но я не один... Ядра не разберут, кому нести гибель, кому пощаду...

Он и его провожатые возвратились. Галера и яхта так скоро снова ретировались в море, что не успели даже поднять якорей; их канаты, в суете и толкотне, обрубили топорами.

Было два часа пополуночи. Потянул заревой ветерок. Ожила темная морская зыбь. Белое утро шло навстречу белой июньской ночи.

Государь сидел на палубе. Свита отдельными кучками перешептывалась в стороне. Лица всех были сумрачны, печальны.

«Не успел я тебе дать полной свободы, не успел! — думал Петр Федорович, глядя с борта в туманную даль. — Прости, брат! Прости... Не жильцы мы здесь... Непонятно и странно поставила нас обоих судьба. Я был оторван от шведского, ты от русского престола. Мы свиделись... Ты был императором четыреста дней, сколько мне суждено царствовать?»

Яхта плыла. Петр Федорович не спускал глаз с моря.

Ему грезилось, что у борта, чуть освещенная дремотным рассветом, его провожала чья-то тень. Стройный и бледный, с длинными волосами юноша несся над волнами, обок с ним... Петру Федоровичу вспомнилось, как принц Иоанн плакал и как молил не откладывать его освобождения.

«В глушь, в леса, — думал Петр Федорович, — и зачем я тогда не послушал его, зачем сам, как решил, не вывел

на волю из душной тюрьмы?.. Гудович сегодня должен был за ним ехать, а я полагал его тотчас помолвить и провозгласить... Вон сидит и его нареченная невеста. Что-то с ним? Уж хоть бы вырвался он теперь, куда-нибудь ушел с дачи Гудовича...»

Берег близился. Рассветало.

— Куда прикажете? — спросил Гудович государя. — В Петергоф или в Ораниенбаум?

Император обратился к Миниху.

— Ну, фельдмаршал, — сказал он, — вижу теперь ясно и каюсь, что не вполне слушал ваших советов... Научите, непобедимый и храбрый, как выйти из нашего теперешнего положения?

— В верный Ревель, к эскадре! — ответил Миних. — Оттуда к заграничной армии. Войско встретит вас, гонимого, с восторгом. Возвращайтесь с ним, и, я вам ручаюсь, Петербург и все государство опять будут ваши...

— Но ветру нет! — вмешались дамы. — Неужто на веслах все? Гребцы устанут... До Ревеля! Ужас... Что делать тогда?

— Э, пустяки! — сказал фельдмаршал. — А наши руки на что? Сами возьмемся за весла и станем гресть...

Император видел перед собой лицо решительного, стойкого, железного старика и растерянные, испуганные, молящие лица молодых женщин и не знал, с кем согласиться и кого слушать.

Свежий воздух моря и напряженность тревожной, без сна проведенной ночи раздражали государя, сердили его. Он взглянул на недальний, плывший навстречу яхте берег, оттуда уже тянуло знакомым смолистым дыханием зеленых холмов и лесов. Запахло утренним дымком. Петр Федорович почувствовал приятный позыв к завтраку, к трубке. Его любимый табак вышел еще в Петергофе. Он вспомнил о шипящей в масле бараньей котлетке, о крылышке цыпленка с горошком и свежими грибками, о партии старого бургонского, присланной ему кем-то в презент из Голштинии, и о

пачке длинных сигар «фидибус», забытых им утром во дворце, на куче не просмотренных с вечера бумаг, и отдал Гудовичу приказ править в Ораниенбаум.

Яхта и галера вновь приплыли к берегу. Мирович придерживал трап, по которому государь сошел на пристань. Видя, как дрожали щеки и все тело Петра Федоровича, Мирович вспомнил завет масонов: «Величие земное — прах, нетленна одна вечная непреложная истина» — и подумал: «О, если б я мог быть ему полезен в это время!..»

Талызин разглядел возвращение путников в трубу с кронштадтской каланчи, снял шляпу, отер лицо и перекрестился.

Он пошел в город, но своротил с дороги и зашел на песчаный мысок, где все еще, забытый ночною сменой, шагал по влажной, белесоватой косе Трифон Аверьянов.

— Молодец! — крикнул ему охрипшим, усталым голосом Талызин.

Аверьянов вздрогнул и взял мушкет на караул.

Жутко было на душе бойкого, шустрого матросика. Родом суздалец, он недавно попал во флот. Серые простые его глаза смотрели робко. Веки вспухли от бессонницы. Сухой с горбинкой нос тревожно вглядывался в серую утреннюю мглу, в которой скрылись ночные гости,

И никогда потом, в долгую, сурово проведенную жизнь матрос Трифон Аверьянов, в монашестве старец Трифилий, умерший восьмидесяти лет келейником московского митрополита Филарета, никогда потом он не мог забыть ни этой ночи, ни своего ответа невысокому, плоскогрудому, в белом мундире человеку:

— У нас не император, а государыня; не уйдете прочь, начальство будет бонбы пущать...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ КАТАСТРОФА

Гряди, воздвигнися пред людьми сими, творяй суд пришельцу.

Второзаконие. X, 11—18

XXII

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЦАРСТВОВАНИЯ ПЕТРА ТРЕТЬЕГО

Мирович видел суету, которая поднялась у пристани Ораниенбаумского дворца, когда к ней приблизилась государева яхта. Он видел, как огорченный и пораженный событиями, робкий Петр Федорович с Минихом и с Гудовичем, проехав на шлюпке по каналу ко дворцу, взошел на берег, как он был бледен, как дрожали его щеки, руки и все тело и как его добрые, усталые глаза беспокойно следили за группами голштинцев и дворцовых слуг, рассеянно спешивших к нему навстречу, пока Петр Федорович проходил берег, отделявший Дворцовую пристань от моря.

Набережная и площадь перед дворцом гудели от переполнившей их разнообразной, смущенной толпы. Стало слышно, что государь заперся в своем кабинете, позвал вице-канцлера Голицына и послал с ним к императрице письмо, которое застало ее у Стрельны. Не дождавшись через него ответа, Петр Федорович написал карандашом второе письмо

и послал его с гофмаршалом, генералом Измайловым. Впоследствии говорили, что чопорный и толстый, с большими ушами и губами, Измайлов встретил Екатерину на походе у Сергиева монастыря, откуда тогда же Панин, боясь, что Петр поплывет в Петербург, поскакал в столицу берегом с двадцатью четырьмя кавалергардами. Измайлов, встретив войско императрицы, быстро подъехал к ней, бросил поводья ординарцу и с картинной изысканностью, подав государыне пакет, стал перед новой Беллоной в дорожную пыль на колени. Пока Екатерина читала письмо, где Петр Федорович выражал намерение кончить дни в мирном, философском от всяких дел уединении, для чего и просил отпустить его в Голштинию, Измайлов, с непокрытой головой, пыхтя и шевеля бровями, собирался с мыслями.

— Считаете ли вы меня, о монархиня, за честного человека? — спросил он, когда Екатерина прочла письмо.

— Считаю.

— Коль великое счастье служить умникам! — произнес, ударив себя в грудь, Измайлов. — Дозволяете ли, повелительница?.. Дозволяете ли?.. Я упрошу государя формально отречься от престола, более того: даю слово — беспродлительно привезти его к вам. Этим отвратятся коловратства, всякий алярм и бедствия грозящей междоусобной войны. Уполномочиваете ли меня на это?

— Охотно, — ответила Екатерина.

Измайлов отвесил глубокий поклон, сел на коня, поднял его в галоп, но, отъехав несколько шагов, опять возвратился.

— Ваше величество! — сказал он, пригнувшись с седла перед Екатериной. — Могу ли рассчитывать на одно, из особой аттенции не в пример прочим, милостивое внимание?..

— В чем дело, генерал?

— Могу ли всерабственно уповать на уступку мне, токмо из крайности и лишь для поддержки сносной жизни, села Деднова, на Оке?

— Усердные и любезно верные нам слуги могут всегда быть обнадежены нашими милостями.

Обрадованный всадник, салютуя, подобрал коня, поднял его лансадами и, меж рядов безостановочно, в зелени дерев, шедших колонн, марш-маршем поскакал обратно в Ораниенбаум.

— Не Миних, — прошептала, презрительно отвернувшись, Екатерина, — того не купишь...

Петр Федорович подписал формальное отречение и, в сопровождении Гудовича и Воронцовой, секретно, в карете Измайлова, выехал в Петергоф. Там, в отдельном павильоне дворца, окруженном тремястами гренадер, он отобедал, во время стола был в духе, даже шутил, а после десерта послал Екатерине третье письмо. В нем он просил уступить ему для жилища дворец на мызе в Ропше и отправить с ним туда арапа Нарциску, собаку Мопсиньку, доктора Лидерса, скрипку, бургонского вина и табаку, немецкую библию и недочитанный им французский перевод романа Стерна «Тристрам Шенди».

Весть об отъезде и отречении императора быстро разнеслась по Ораниенбауму. Высшие дворские сановники спешили тихомолком, под шумок, также пробраться в Петергоф или окольными дорогами в Петербург и в окрестные мызы и дворцы. Мирович видел переполох, охватывавший всех более и более, беготню прислуги, сновавшей без толку, и искаженные страхом, бледные лица военных и гражданских чинов. Голштинский рыжий офицер, день назад так кричавший на него и дерзко схвативший его за воротник, теперь сидел у ворот на чьем-то вынесенном голубом сундучке и, ухватясь за растрепанную голову, горько, по-бабьему, хныкал. Кто-то сообщил слух о предстоящей атаке казаков и гусар на гнездо ненавидимых народом голштинцев.

«Но где же Унгерн? Ужли и он скрылся туда ж, куда все бегут?» — подумал Мирович, проходя через внутренний опустелый двор. Здесь он увидел карету, увозившую чьи-то пожитки, недолго думая, вскочил на запятки и слез у Петергофского парка. Он вспомнил о брессановском коне, которого два дня назад он оставил в чухонском выселке за

Петергофом. «Конь отдохнул, — решил он, — возьму его и до ночи еще поспею в Петербург... Не удалось предупредить государя, спасу его иной диверсией... Войско покинуло столицу; принц Иоанн на Крестовском; отобью его у слабой стражи, выставлю в тылу бунтовщиков, и тогда... тогда посмотрим...»

Мирович углубился в лес, в обход Петергофа, переполненного и шумевшего войском.

Близился вечер, но было еще жарко. Пот градом катился с лица Мировича. Ноги путались, вязли в высокой цепкой траве. До него долетали звуки уличной езды, ржание лошадей, крики и песни толпившихся на площадях и у дворца военных команд. Но вот все стало замолкать. Он отдалился от города. Лесная чаща охватила его тенью и прохладой. Только подорожники да жаворонки заливались на усеянных цветами полянках; дрозды с резким, звонким щелканьем перелетали под нависшими кустами; пахло сосновой смолой, да солнце наискось, из-под ветвей, освещало толстые мшистые стволы.

Влево проглянула полоска взморья. До поселка оставалось версты две-три. Мирович завидел его с пригорка, распознал и крайний двор, где бросил пегого. «Скорей, скорей!» — торопил он себя. Но едва он пересек дорогу, шедшую из Петергофа в Гостилицы, сзади от парка послышались звуки колес, рессор и переливистое, тонкоголосое, далеко слышное выкрикивание форейтора:

— Па-а-ди!

«Видно, рыдван, — подумал Мирович, — знатный барин какой-нибудь спешит убраться от этой передряги в свое поместье».

Он сошел с дороги и углубился в ближние деревья.

Снизу, с долины, пыхтя вспотевшим, упаренным восьмериком и врезываясь по ступицы в разрыхленный серо-глинистый грунт, под хлопанье кнута и понукание возниц, забирая рыси, на дорогу грузно въехала большая, цветом оливковая, четырехместная, с придворными гербами карета.

Вид кареты был необычным. Зеленые шторки в ее раскрытых окнах были опущены. На козлах, на запятках и даже на откинутых подножках, стояли с мушкетами гренадеры. По бокам и несколько поодаль, впереди и назади, вперемежку с гусарским конвоем, ехали верхом несколько гвардейских офицеров. Между последними Мирович с удивлением разглядел виденных им не раз, в минувшие дни в ресторанах Дрезденши и Амбахарши, князя Федора Барятинского, Баскакова и Пассека. Из-под качнувшейся гардины он распознал в карете и лицо, со шрамом на щеке, Алексея Орлова — «le balafré»[1].

«Что бы это значило? — подумал Мирович, сквозь ветки дерев следя за странным, по рытвинам и обнаженным на взбитой дороге корням удалявшимся кортежом. — Орлов, Барятинский... и Пассек! Этот каким образом? Он был арестован! Да и все они?.. Их ли везут или они кого сопровождают? Притом куда и какого рода особу?»

Мирович вышел из чащи. Карета и ее конвой скрылись. И в то же время из-за дерев, куда они уехали, снова послышался стук колес. На дороге показалась рогожанная кибитка. Сидевший в ней поспешно вылез у поворота к Петергофу, взошел на бугор и, наставя руку над глазами, о чем-то говорил с кучером. В желтолицем, обрюзглом и безбородом хозяине кибитки Мирович узнал салотопенного купца Селиванова, к которому в марте государь заезжал близ Шлиссельбурга и которого приглашал в Ораниенбаум.

— Видели, видели? — обратился к подошедшему Мировичу Селиванов. — Его, батюшку-то, радельца нашего, повезли...

— Кого повезли?

— Да государя-то, нашего спаса и милостивца.

Мирович вздрогнул.

— Быть не может! — сказал он.

---

[1] «меченый» (*фр.*).

— Йон, ваша милость, йон! — продолжал Селиванов. — Занавесочка-то колыхнулась в ейную сторону... а йон, родной, как есть табе, в уголочку сидит и глядит... Этакое окаянство, обида всему белому свету, смертный смут... Говори же, ваше благородие, каки-таки супостаты?

Мирович сообщил Селиванову о перемене, происшедшей в тот день.

В оловянных, дико устремленных глазах сектанта изобразилось крайнее смущение и испуг. Он снял шапку, двуперстно перекрестился и задумался, шевеля отвисшими, бледными губами.

— Спаси его Исус Господь и помилуй! — сказал он, подтягивая на себе пояс и с мрачной злобой глядя вниз на долину. — Лишились верного спаса, другого, видно, ждать. Разрази, ох, развей прах; а уж все то ись, все, кажись, как один... Объяви он, раделец, надежа верных рабов, слово только вымолви...

— Могу ли вас просить об одолжении? — произнес, заторопясь, Мирович.

— Меня-то? Проси, барин. Каки табе дела?

Мирович объяснил, как и зачем попал сюда, и попросил подвезти его за конем, в выселок.

— Ну, ваше благородие, про коня свово лучше позабудь, — сказал Селиванов, — сам говоришь, эки войска тут прошли и сколько было всякого наянства, озорников. Лучше садись, прямо в Питер подвезем. Надо бы в Кронштадт, да и там, чай, сполох... в Галерной у землячка пока что остановимся... Так ли? Только не почтовою, сударь, а возьмем-ка еще поправей, проселками... Ох, ох! Отцы святые, белы голуби, угоднички! Исусе сладчайший! Пришли, знать, остатни последни времена...

Мирович сел в кибитку Селиванова. К ночи они, с остановками, по взморью и в объезд почтового тракта, достигли Петербурга и направились к Галерной гавани, где был дом кожевника, приятеля Селиванова. В то же время в Нарвские ворота началось торжественное обратное вступление войска из

петергофского похода. Солдаты обвили шляпы и мушкеты дубовыми ветвями. Музыка не умолкала в течение всего пути. Екатерина на том же белом, в яблоках, запыленном коне, во главе пеших батальонов, вступила в столицу. Колокольный звон сливался с звуками победного марша и с криками бежавшей за войском толпы. Двери церквей всюду были настежь растворены. В их глубине, перед ярко освещенными алтарями, в полном облачении стояло духовенство, правя молебны за победителей, «утверживших и упрочивших престол».

«Ликуйте, — с лихорадочной, злобно-радостной дрожью думал Мирович, едучи Петербургом и прислушиваясь к крикам и шуму радостного народа, — час пробьет... недолго ждать — выдвину вам такое, что все опомнятся, ответят, как на Страшном суде... Вы цепляетесь за живое: я поставлю вам фантом, грозного и мстящего мертвеца...»

Перед отъездом из Петергофа Екатерина, еще двадцать девятого июня, послала Никите Панину указ: без замедления принять в его распоряжение все те секретные и высших политических интересов дела, которыми после Унгерна заведовали Нарышкин и Волков, а генерал-майору Силину быть взамен Жихарева старшим приставом при шлиссельбургском арестанте.

Бумага уже была запечатана и сдана к отсылке. Екатерина велела задержать фельдъегеря и вручила ему еще другой, особой важности указ на имя Силина, с собственноручной надписью на пакете: «самонужнейшее и безотлагательное».

XXIII

ЗАБЫТЫЙ

Столичные происшествия, казалось, не коснулись обитателей мызы Гудовича. О них, по-видимому, забыли.

«Ужели не знают, где принц? — рассуждал пристав Жихарев. — Что мудреного в таком переполохе и суете!» Он

расставил караульных у всех входов и выходов флигеля и, строго подтвердив страже — быть наготове и глядеть в оба, вторые сутки не выходил из комнат. Малейший звук извне заставлял его вздрагивать.

Судьба арестанта не выходила из его головы. Мать Гудовича, с дочерьми, утром, накануне возвращения Екатерины, наведалась в Петербург и навезла таких вестей, что на особое усердие инвалидов Жихарева уж трудно было и рассчитывать. Хозяйки не успокоились, после обеда велели опять запрячь берлин и поехали в город, но к вечеру не возвратились. Дворня по-своему стала судачить, что, видно, постылую хрычевку, с ее длиннохвостницами, взяли на съезжую и уж все им теперь припомнят. На барской кухне и в молодечне слышались грубые, дерзкие возгласы, брань и угрозы бросить мызу и идти туда, куда, мол, все идут.

— Как бы еще, братцы, не ответить?.. Матушка-то ведь наша зорка... гляди, во как взыщет! — ворчал седой, помнивший Первого Петра и его казни, повар. Убрав посуду, он скинул фартук и колпак, надел старый зипунишко и, понурившись, вышел за ворота.

— Она, гляди, всех перепишет... — надумал и в свой черед всем объявил с полатей охотник до сказок и карт, певец и весельчак, выездной конюх, — то ись кто, значит, опоздал и по какому резонту?.. А каки раньше придут, тем, братцы, и воля навеки нерушимо сказана будет!

Кухонный мальчик подмигнул форейтору, тот водовозу, а этот лакею. Молодежь гуртом вывела со двора лошадей, будто, как всегда, на водопой, и была такова. Кто постарше, подождали несколько и в одиночку, друг за другом, также шмыгнули за ворота.

Смеркалось. Жихарев прошелся по саду и, возвратясь во флигель, присел к столу. Ему пришло в голову написать рапорт к генерал-полицмейстеру, спрося его об инструкциях касательно принца. «Этим хоть напомню о себе», — подумал

он и вдруг остановился. До его слуха долетел стук большого подъехавшего экипажа. Кто-то разговаривал у ворот, шел к крыльцу. «Кто бы это был? — смущенно подумал Жихарев, взглядывая на дверь. — Ужели вспомнили забытого? И к лучшему или к худшему?»

На крыльце послышался звон шпор, торопливые шаги. Впопыхах вбежала бледная, растерянная горничная Гудовичей Гаша.

— Какой-то господин приехал, — сказала она, — карáул снимают... вас спрашивают... гусары верхами...

— Кто приехал?

— Незнаемые все люди, — ответила Гаша.

Жихарев схватил шпагу, бросился в приемную. Там, ровняя приведенную эскорту, стоял рябой и, как киргиз, плосконосый, в генеральской форме кавалерист.

— Вы майор Жихарев?

— Так точно-с... А вы, позвольте?

— Генерал-майор Силин... Где арестант Безымянный?

— Вам он зачем понадобился? И по чьему повелению изволите, ваше превосходительство, его у меня требовать?

— Ах, Бог мой! Какие еще конверсации да экспликации! — сказал, нетерпеливо пожав плечами, Силин. — Именем ныне царствующей государыни нашей императрицы спрашиваю я вас, где здесь содержится вверенный вам известный секретный колодник?

— Указ, государь мой, письменный указ, — ответил, бледнея, с дрожью обнажая шпагу и отступая к порогу, Жихарев, — мало ли в свете колебаний! И кто нынче начальники — не всяк сведом!.. А как я разума еще не весьма лишился, то уповательно и по довольной тому причине, как главный и персональный здесь пристав, прошу вашу милость удалиться...

— Эка врать, батенька, горазды! Читайте! — презрительно, вполоборота, сказал Силин, подавая указ. — Видеть изволите... не вы, милостивец, а я отнынче главный пристав при оной, тайно здесь содержимой, персоне...

Жихарев пошатнулся. Гаша бросилась в коридор, оттуда в сад.

— Еще угрáживать, братишка, вздумал! — продолжал, чванливо фыркая, Силин. — А у вас тут, как вижу, все по-семейски, по простоте... Окна без положенных закреп и женский пол, видно, для поговорки — от скуки, тут же, поблизости арестантских светлиц... Обо всех сих злостных и вопреки регламенту послаблениях и аппрошах будет доведено до сведения свыше...

— Ничего без указу и супротив статута! — всилу одолевая бешенство, прохрипел Жихарев. — А неучтивых выскочек, какого бы ранга они ни были, да шумных протеже сильных мира сего мы видывали и унимали... что пугаете!.. Ответить сумеем.

Он вынул из кармана ключ и положил его на стол. Силин прошел в смежную комнату, отпер дверь к узнику. Появление вооруженных, враждебно смотревших людей испугало, ошеломило принца.

— Ах, да что же вам? Ну! — произнес он, отступая и бросаясь к окну.

— За вами, сударь — пожалуйте! — возвысил голос Силин. — Приказ новой монархини, извольте ехать со мной...

— Врешь ты, врешь! — крикнул арестант. — Шаг ступи, голову разнесу...

Он подхватил тяжелый, обитый кожей стул.

Силин попятился к двери, дал знак. Солдаты, придерживая палаши, бросились с двух сторон к арестанту.

— Все то вранье, не смеете! — размахивая стулом, с пеной у рта, кричал узник. — Шептуны вы, еретики, меня зашептали... Я здешней империи принц и ваш государь...

Гаша видела из сада, как уговаривал узника Силин, слышала его угрозы, новые возгласы принца. И вдруг все стихло. Окна принцевой комнаты заслонились зелеными, порывисто двигавшимися кафтанами солдат.

— В вас жалости, сударь, нет! — раздался срывавшийся, всхлипывавший возглас Жихарева. — Вспомните, генерал, кто он...

— А, жалостники! Черти! Вот я вас! Бери его! В мою голову вяжи... — командовал солдатам Силин.

Послышался стук падавшей мебели, звон разбитых стекол. Чья-то худая, бледная рука мелькнула поверх солдатских голов. Костлявая, в бархатной штиблете нога судорожно поднялась и скрылась между скученных плеч. Раздался глухой, нестройный топот тяжело удалявшихся солдатских шагов. С кем-то в комнатах и на крыльце боролись, кого-то унимая, с угрозами и бранью торопливо несли.

Шум затих. Гаша опомнилась, бросилась во двор, за ворота. По лесной, стемневшей просеке, поднимая пыль, мчалась большая, шестерней, ямская карета. За нею скакал кавалерийский отряд. Ни в доме, ни во дворе, ни около — не было видно ни души. Полицейских стражников Силин, прибыв сюда, отправил в город, а Жихарева, не дав ему времени опомниться, как и его арестанта, увез с собой. Гаша вспомнила о ближней мызе Птицыных, накрылась платком и бросилась туда. Хмурая облачная ночь надвигалась кругом. У огорода, близ сада Птицыных, Гаша оглянулась и всплеснула руками. Над деревьями, в той стороне, откуда она пришла, поднялось что-то яркое, дымно-багровое. Отблеск пожара всходил выше и выше, далеко освещая Каменный и соседние острова.

В тот же вечер от пристани у Колтовской отчалили паром. На нем толпились рабочие с соседних, стеклянного и порохового, заводов, огородники и несколько мещан. Здесь же стояла извозчичья коляска. Седоки из нее не вставали. Всех занимало зарево, видневшееся впереди.

— Таперича, значит, и без фонаря всяк проедет, — отозвался кто-то от каната, — иголку мамзель и то найдет.

В толпе засмеялись.

— Фу, милые! Вот жарит! Полыхать стало, — проговорил сутуловатый, в веснушках, солдатик, — гляди, Миколаев, искры-то... а дым! Вот закурило... лихо!..

— А что горит? — решился спросить один из сидевших в коляске.

— А Бог е зна...

— Немцев-иродов чествуют, луминация христопродавцам и ихним угодникам, — пояснил первый голос из толпы, — хлебать, жеребцы, во как дюжи, налопаются...

— А что, братцы, ведь это Гудовичева мыза, — сказал опять солдатик, — ишь ты, у заводей! Она и есть.

Все надвинулись к канату:

— Эх, эх, вот полыхает!

— Аполлон! Ужли ж мы и тут опоздали? — вполголоса в коляске спросил Мирович своего приятеля Ушакова.

Тот молча смотрел в направлении пожара.

— И всем то же будет, всех, постой, порешат! — пробурчал плечистый, оборванный мужичонка, корявыми, в мозолях руками натягивая бечеву.

— Да чем же он, хоть бы Гудович-анарал, провинился? — отозвался слабым, почти детским голоском седой огородник. — Барин милостивый, тишайший, видывали его сколько разов...

— Потому немцам, все одно, черту брат.

— Да ты вот, слышь, дедушка, не то ишшо будет! — откликнулся с другого конца парома чей-то певучий, бархатный голос. — Завтра виселиц перед сенатом наставят и всее-х супостатов, погубителей наших, вешать будут.

— Алырники, песьи души! Значит, решилась, пошла таперича Рассея: держись вверх тормашками!

— А-а! у! — вздрогнула и раскатисто над водой заготала толпа.

Паром причалил к берегу. Коляска своротила в просеку, уже полную запаха гари. Подъехав к прибрежной поляне, путники встали, велели вознице ждать, и с-над ветра лесной чащей направились к пожарищу.

На месте обширной, богатой усадьбы торчали одни обугленные, шипевшие древесные стволы. Рабочие с тоней и кое-кто из наспевших окрестных жителей, стоя поодаль, с тупым любопытством следили за громадными догоравшими кострами.

— Чья мыза сгорела? — спросил, подойдя к ним, Мирович.

— Гудовича.

— Все ли спаслись?

— А хто е зна...

— Но куда ж делись жившие здесь? — спросил Ушаков.

— Попеклись, видно, на картошки, а може, к своим в Неметчину — смоленые нехристи — побегли.

Ушаков оглянулся. Мирович кого-то приметил в толпе, с кем-то говорил. На траве, горько плача о погибшем добре, сидела с птицынскими людьми прибежавшая на пожар Гаша.

— Увезли его, спасли, — повторяла она, — а добро-то, добро все погорело.

Начинало светать. Вдали слышались звуки бубенчиков и колокольчиков. Скакала не ко времени пожарная команда. Впереди нее несся казачий разъезд.

XXIV

ДОКЛАД ПАНИНА

Новые яркие светила всходили на горизонте нового двора. Все стремились согреться в их пышных, много обещающих лучах. Все ловили внимание этих счастливцев, их улыбку, взоры, слова; низко им кланялись, совались с предложением дружбы, услуг. Имя неведомых дотоле и небогатых братьев Орловых, рядом с именами Никиты Панина, Дашковой и нового секретаря императрицы, Григория Теплова, не сходили с языков петербургского общества.

Пятого июля, на шестой день своего царствования, Екатерина назначила, вне очереди, особый доклад воспитателю своего сына, Никите Иванычу Панину, ведавшему теперь в числе прочих важных дел так называемые секретные.

Близился полдень. Императрица, отпустив генерал-полицмейстера, гофмаршала и двух-трех из военных лиц, привела кое-как в порядок кучи бумаг, которыми в эти дни успели загромоздить ее письменный и два вспомогательных ломберных стола в кабинете Летнего дворца на Фонтанке. Накануне, в один из корпусов этого дворца, для ускорения всех дел вообще, по именному указу новой монархини, совершенно неожиданно было переведено присутствие правительствующего сената. В ожидании Панина Екатерина умыла примаранные чернилами руки, покормила бисквитами собачек, подаренных ей кем-то в эти дни и лежавших на атласных стеганых тюфячках у кровати, в ее спальне, и села к столу.

Сорокалетний, флегматический, добродушный и ленивый от природы блондин, Никита Иваныч Панин, несколько лет провел на дипломатическом поприще в Дании и свободной Швеции, а теперь второй год состоял блюстителем воспитания «порфироносного отрока», сына императрицы, стремясь готовить сердце его «ко времени зрелого возраста» — как было ему указано в инструкции — «в простоте, добронравии и отдалении от всяких излишеств и ро́скошей, а также от ласкателей, для коих довольно еще впереди остается».

Чином генерал-поручик и александровский кавалер, Никита Иваныч редко пудрил свои густые русые волосы, нося их в небрежно сбитых и путавшихся на висках и у косы крупных природных буклях. Ходил он на мягких, полных и вежливо ступавших ногах тихо, слегка покачиваясь, точно ныряя; носил голубой, с блестками, мешковатый бархатный кафтан, говорил неохотно, скрашивая, впрочем, медленную и подчас рассеянную речь умною улыбкой ласково и спокойно наблюдательных глаз. Подышав воздухом счастливых в то время норманнских народов, завоевавших себе упорным трудолюбием и умеренностью широкие муниципальные вольно-

сти, он грезил о перенесении этих вольностей и в Россию, и в душе был искренний либерал.

При покойной царице-тетке Екатерина, ценя ум и сердце пестуна своего сына, уважала его, искала его сочувствия, но не особенно его любила, а скорее боялась. Теперь, видя его в числе своих первых, усерднейших, умнейших и опытнейших помощников, она ему выказала отменное свое внимание, хотя внутренне стеснялась сознанием громадной услуги, оказанной Паниным ей и ее счастливо конченному делу.

В городе упорно носилась молва, что Екатерина приняла престол лишь до совершеннолетия сына и что Панин оказал ей поддержку под условием введения в России шведской формы правления...

«Шведский прожект» Никиты Иваныча был теперь модным предметом всех разговоров внедворской среды. Во дворце о нем почтительно умалчивали.

Было без четверти двенадцать. В приемной зале, пред кабинетом императрицы, толпилось несколько вельмож. Между ними в глубине у камина стояли: с кучей бумаг под мышкой Олсуфьев; жевавший губами и пыхтевший от мысли добиться на бумаге подаренного ему Деднова Измайлов; в новеньких башмаках с красными каблуками Бецкий и простудившийся в минувшие, хлопотливые дни, в сильном насморке гетман Разумовский. У окна, смотря из него на кипевший праздничной толпой Летний сад, переговаривались несколько гвардейских офицеров, в том числе Бредихин, Хитрово и герой пережитых дней — Алексей Орлов.

— Живем, однако, в сумнительные времена, — сказал, усмехнувшись и не спуская глаз с окна, Орлов.

— Что так? — спросил небрежно Бредихин.

— Красавицы ноне вовсе обмелели. Вот сколько времени гляжу на щеголих, ни одной, точно ветром их разнесло. За невестами, видно, в Москву.

— А эта, эта? — указал в окно Хитрово. — Глаза, что ли, Алексей Григорьич, запорошены? Гляди, какова краля.

— Где?

— Да вон, в розовом, арабчонок несет зонтик; уж эта будет моя...

Офицеры стеснились к окну.

— А примечено многое, многое, — шептал у камина Олсуфьеву Измайлов, — примечен уж и новый триумвират.

Олсуфьев поднял вопросительно брови.

— Мы малы, те знатны; мы останемся в низости, те зато рангами и всем будут обнадежены.

— Да о ком ты это? — спросил Олсуфьев.

— Эй, батюшка, ужли не видишь? Стою я вчера на выходе. Начался «безмен». Подходит чертова голова, шведский прихвостень Панин... Переглянулся с Орловым и с гетманом и говорит государыне: «Дерзаю утруждать всерабственно — об увольнении из крепости Волкова...»

— И что ж?

— А всенепременно освободят. Отблагодарить будет ведь чем. И зачинщик всему — тот же первый гипокрит, каких не бывало, Панин.

— Ну, не все ври, что знаешь, — проговорил, косясь в сторону, Олсуфьев.

— Да клянусь, лопни глаза, да я все ему, песьей душе, прямо и самолично...

Измайлов не кончил. Он увидел, как взоры всех вдруг обернулись и головы почтительно и дружески склонились навстречу медленно, вперевалку, с портфелью входившего толстого, высокого, слегка бледного Панина. Он поздоровался с гетманом, с прочими, обменялся парой слов с Бецким и, тяжело морщась от усталости, сел в кресло. Его глаза досадливо и вяло смотрели на часы над камином и на кабинетную дверь, близ которой у шелковой ширмочки стоял дежурный камер-лакей. «Как устрою, на манер Швеции, высший имперский выборный от народа совет, — подумал он, презрительно поглядывая на придворных, — ограничатся случайности и капризы, выслушается голос страны».

— Если взять за известное, — сказал, низко склонясь и заискивающе лебезя перед Паниным, Измайлов, — ваш

шведский прожект, можно чести приписать, обессмертит имя создавшего. А ваших врагов — я упователен, и довольная тому есть причина, — не щадите за оскорбительные вашему превосходительству разговоры и умыслы. Все одним гребнем чесаны. Я уж, как верный патриот, и по вся дни с рабским ее величеству благодарением...

Панин молчал.

Часы, зашипев, громко прозвонили двенадцать. В кабинете послышался тоненький, серебристый звук колокольчика. Туда вошел и, опять выйдя оттуда, обратился к Панину камердинер. Тот, просияв, весело встал.

— Итак, cher ami[1], ты все за свое! Фолькстинг и совет высших чинов по выбору? — произнес, подмигнув и дружески тронув Панина за руку, гетман.

— Все, что в силах... и чем могу служить к славе... все откровенно будет доложено ее величеству! — произнес Панин, взяв портфель, торжествующим взором окинув присутствовавших и, с гордо поднятой головой, уверенно и спокойно проходя в кабинет государыни.

Екатерина сидела спиной к двери, в небольшом, обитом белым штофом кресле, у выгибного, стоявшего перед окном письменного стола.

— Ну, Никита Иваныч, — послышался ее твердый и мужественно ласковый голос, когда Панин, притворив за собой дверь, с поклоном подошел к другому боку стола, — садись, голубчик. Как дела? Господа сенат, чай, не очень довольны, что я их перевела к себе в запасной павильон?

Панин, слегка нахмурясь, что-то промычал, неловко торопливыми приемами толстых пухлых пальцев усиливаясь отпереть навязанный ему полный докладов, с хитро устроенным замком портфель Теплова.

---

[1] дорогой друг (*фр.*).

— Да ты не трудись, Никита Иваныч, — сказала с улыбкой, следя за его пальцами, императрица, — а вот что лучше... прислушай-ка... бумагами займемся после...

Панин тяжело, плотной грудью, перевел дух и, скривясь и потянув шею, точно от плотно завязанного платка, обратил к Екатерине моргающие, затуманенные от натуги и внутренней досады глаза.

— Знаешь ли, каковы дела мне достались в наследство? — вдруг спросила императрица, вынув из-под бронзовой накладки клочок бумаги, мелко исписанный карандашом.

— Не знаю, государыня, — ответил, недовольно склоняясь к столу, Панин, — высокий сенат, по должности и приличию, изготовляет своему монарху доклад обо всех важных государства нуждах и делах...

Екатерина раскрыла крошечную, с финифтью, табакерку, взяла щепотку любимого бобкового табаку и, медленно понюхав, протянула табакерку Панину.

— Обратимся хоть к иноземным делам, — начала Екатерина, глядя и будто не глядя на Панина, неуклюже сидевшего против нее с поджатыми длинными ногами по другой бок стола, — сухопутная армия наша в Пруссии, победители-то, слыхано ли? — не получали жалованья больше, чем за полгода... Хорошо ли это? А? Да еще на виду недругов, в чужих-то краях!.. А в статс-конторе, сударь, именные указы не выполнены о производстве уплат почти на семнадцать миллионов... Это каково?

Панин нетерпеливо шевельнул бровями и, с усилием согнувшись, опять отставил к креслу на пол тепловский толстый портфель.

— Ну-с, а вот это как вам сдается? — продолжала Екатерина. — Шестьдесят миллионов монеты, считающейся в обращении, — все двенадцати разных чеканов, проб и цены... Легко ли народу справляться с делами в таком финансовом дезабилье? А внутри империи, внутри?.. Заводские и монастырские крестьяне все почти в явном бунте... Ты скажешь, пожалуй, помещичьи-де тихи? Э, постой, — и об

этих мы имеем верные, печальные вести... И они местами уж явно сближаются с первыми, готовы знамя восстания поднять.

— Императорский совет, монархиня, — возразил Панин, — как первое место, мог бы, на приклад Швеции, или... потому, что пренебреженный в последнее время сенат...

— Опять сенат! Эх, Бог мой! — произнесла, сухо поведя глазами, Екатерина. — Ты извини меня, друг! Сам ты хоть и сенатор, но я отнюдь шиканством и издевкой какой не хочу тебя умышленно обижать... Надо правду сказать: ты больше с моим сыном возился, его только ведал, и великое тебе спасибо за Павла (Екатерина слегка поклонилась) — мальчика маво ты сохранил, соблюл. Но что греха таить? Как и чем доныне занимались у нас господа сенат? Маремьяна старица за весь мир печалится... а на деле? Из репортов генерал-прокурора вижу, шесть недель кряду высокий сенат всем департаментом слушал... что же?.. чтение дела, да не в экстракте, а целиком, о выгоне города Мосальска. Бог мой! Да и то бы еще ничего... К чему только не привыкла бедная русская страна! А то плохо, сенаторы лишь междоусобствуют, вражду и ненависть питают друг к другу, не терпят чужих мнений, оттого и партии, а дела в руках канцелярии. Не диво же, что ваших решений и указов нигде не выполняют, а по нажитой в таком неряшестве пословице от правящего-то сената ждут — третьего указа... Ну, посуди, Никита Иваныч, каково?

Панин отер лоб, крякнул, принял менее хмурое, более внимательное выражение лица и, угомонив длинные непослушные ноги, ближе придвинулся с креслом к столу.

— Тяжело править провинциями из петербургской, столь отдаленной, столицы, — сказал он внушительно, — ошибка, впрочем, в этом не наша... исправить допущением добрых и опытных советов можно бы...

— Петра-то Великого с тобой, Никита Иваныч, будем винить и уличать? — возразила с улыбкой Екатерина. — Шутишь; не тут корень злу — в нашей, извини, общей

недоросли и лени. Правоправящий сенат — слыхало ли? — определяет воевод, а числа городов в Российской державе... не знает... Намедни — тебя не было — спрашиваю в заседании у Глебова реестр городов: признался, не имеется при сенате. Карты империи — ну, посуди — ландкарты в сенатском здании не оказалось... Вот она, наша-то не к месту гордыня и нерадение. Люблю русские простые поговорки: «Напала на кошку спесь — не хочет и с печки слезть»... «Мирская шея толста»... Подумала я, погадала и послала Теплова через речку, в Академию наук, он мне купил в тамошней лавке, а я тут же и поднесла сенаторам в презент Кирилловский печатный России атлас...

Панин несмело взглянул в твердый, слегка насмешливый взор Екатерины и, как бы против воли решив тяжелый, давно его томивший вопрос, расставил руки и, с торжественным, по-придворному, поклоном, воскликнул:

— Мать государыня! Тебе и книги в руки! Учи нас, будем слушать.

— Забыли мы про дубинушку Великого Петра! — продолжала, опять понюхав табаку, Екатерина. — Всем нам надо еще учиться. Красна, голубчик, пава перьем, а человек ученьем. Поговори с моей кумой садовницей — баба разумная. Вчера говорит: «Зелен виноград — не сладок, млад человек — не крепок». А ты вон, прости, все о шведской системе правления твердишь. Верю твоей искренности. Только всуе законы писать, когда их не исполнять... Советы монархам! А сами-то советчики, гляди, еще каковы? Как наши баре о своих подданных пекутся! Разорения, поборы, правежи через полицию и даже оружием, бегства тысяч семей, а рядом — криводушие и лихоимство судов... Земледельческий класс безмерно угнетен, разорен. А сам знаешь: не будет пахотника — не будет и бархатника... Все, все безобразия, по мере сил, думаю устранить... Издам сельский, городской и торговый уставы... А там, помоги Бог, Никита Иваныч, — сказала Екатерина, поднявшись с кресла и как бы вдруг выросши перед также вставшим Паниным, — уп-

равясь на черном, и на белый двор!.. Созову тогда и сословия для начертания общей государственной хартии...

— Цепь великих, громких дел, нет сумнения, ожидает увековечить ваше царствование, монархиня! — произнес, отирая лицо и опять склонясь перед императрицей, Панин.

— Елисавета и отрекшийся император, ее племянник, копили деньги, — продолжала с улыбкой Екатерина, в то время как ее крепкая, с крутым подъемом нога, высунувшись в синей туфле из-под серого атласного молдавана, нетерпеливо и судорожно шевелилась на ковре. — Они, ты знаешь, держали казну при себе, считая сбереженные деньги своими. А я вам, господа, скажу иначе: на правду немного слов: все мое и я сама — принадлежим государству... Между выгодами моими и моей страны не должно быть разницы...

— Великие слова, государыня, изволили поведать! — произнес, еще ниже склонясь и невольно следя за ногой в синей туфле, Панин. — Золотом на скрижалях записать их в поучение веков...

Екатерина снова села и понюхала табаку.

— Ну, какие дела теперь у тебя, господин докладчик, на очереди? — спросила она, приготовясь слушать.

— Дела секретной комиссии, — опять доставая из-под кресла тяжелый портфель, сказал Панин, — о принце Иоанне...

— А! Ну, что же? Как довезли и поместили Иванушку?

— В Шлиссельбург — благополучно, а по пути в новоназначенное ему место, в Кексгольм, — не совсем.

— Что же случилось?

— На Ладоге, у Кошкина мыса, буря их захватила и разбила трешкот. Насилу спаслись.

— Ах, бедный! Вот уж судьба! Где же они теперь?

— Вчерашний день Силин, из деревни Морья, с полдороги доносил, что они сидят у озера и ждут новых судов из Шлиссельбурга. А сегодня уж из Кексгольмского шлосса эстафету прислал.

— В каком же положении арестант?

— Неспокоен был всю дорогу: грозил, бранился, буйствовал и даже в драку лез. Дважды Силин его вязал, сажал в трюм, а во время бури, как сломало мачту и стало заливать трешкот, — вырвался принц на палубу, стал возмущать матросов: я-де не простой человек — царской крови. Звал себя императором, бесплотным духом, а в виду Морьенского мыса бросился в воду — насилу матросы успели его поймать и вытащить из воды. И теперь пристав доносит, что он неспокоен после дороги: плачет, всех клянет, призывает святых в помощь, тоскует и просит дозволить ему носить подаренное бывшим государем парадное платье.

— Дозволь, — сказала, подумав, Екатерина.

— Книг тоже просит арестант, о прогулках молит.

— Книг? Разве он грамотен?

— Разумеет.

— Дозволь и книги — что ж! — произнесла, отвернувшись, Екатерина. — Уж очень его теснили.

Панин взглянул на нее. Его поразило, что она, так недавно еще спокойная и уверенная, будто смешалась и не знала, что говорить.

— А насчет прогулок на воздухе, вне шлосса? — продолжал Панин. — Инструкции крепости того не разрешают.

— Пусть выходит, пусть, разреши... Ах, Никита Иваныч, сердце разрывается. Посуди... и жаль его, да и сам ведь знаешь — главное наше больное место столько лет... Ты видел его при отправлении, скажи, каков он с виду?

— У Смольного, при высадке его в барку из кареты, инкогнито я его рассмотрел. Симпатичен он и жалок; от природы же, как видно, любознателен ко всему, что упущено небрежением его тюрьмы, с каждым заговаривает, вглядывается, хоть и выведен был из себя неожиданностью и страхом нового тогдашнего ареста.

— Никита Иваныч, не поверишь, может быть, — дрогнувшим голосом, с чувством сказала Екатерина, — тяжело не только говорить — думать... Что делать? Научи... Чем могу быть полезна для бедного? Вот что... Отцу его думаю

предложить вольный возврат за границу. Слепнет он, говорят, в Холмогорах... Да уж посоветуй, друг, — помолчав, вполголоса прибавила императрица, — не отпустить ли вместе с отцом и сына?

Панин опять взглянул на Екатерину, стараясь уловить в ее глазах, лице, чего именно ей желалось в это мгновение и что ближе было ее помыслам — облегчение ль судьбы узника или иные, высшие государственные расчеты?

— Соблазну будет много, и могут выйти скорбные, тяжелые потрясения, — ответил он, чувствуя, что говорит не то, говорит против себя, и сам удивляясь бессердечию и жесткости своего ответа.

— Так не пускать?

— Боже вас упаси о том и думать. Трон ваш еще не прочен, требует укреплений.

— Империум мой... всегда будет крепок с такими слугами, — опять оживясь и подходя к китайскому шкапчику, сказала Екатерина.

Она отперла потайной ящик и достала оттуда небольшой распечатанный пакет.

— От батюшки Алексея Петровича из Горетова, — продолжала Екатерина, возвратясь снова к столу и указывая на пакет. — Лучшим моим другом, известно тебе, был великий канцлер тетки, и враги наши за то без сожаления свергли графа Бестужева... Вспомнить — душа стынет!.. Ты тогда был далеко. Его разжаловали, публично объявили бездельником, клятвонарушителем, состарившимся в злодеяниях, изменником отечества, приговорили даже к смерти. Три тяжких года жил он в курной, дымной избе, отпустил бороду, ходил в нагольном мужицком тулупе. Но гений графа не померк... Он явится, — одушевленно, с засветившимся взором продолжала Екатерина, — он должен, в подобающих ему силе и блеске, явиться у моего трона... Вот письмо... Знаешь ли, что он ответил мне с курьером на первые строки, посланные ему в день моего воцарения?

— Где знать, государыня! Умница ведь граф Алексей-то Петрович, что и говорить, — орел умом... Не обронит на ветер слова... А в горетовском плачевном одиночестве и заперти, чай, надумал немало достойных высокой своей гениальности мер и помыслов.

Екатерина посмотрела на Панина, как бы в свой черед стараясь понять: говорит ли в нем ловкий и чуткий ко всяким случайностям и положениям царедворец или искренне разделявший ее взгляд, твердый в собственных убеждениях государственный делец?

— Батюшка Алексей Петрович советует, — сказала, не спуская глаз с Панина, императрица, — первее всего советует... подумать о давнем нашем узнике, о принце Иоанне.

— Совет мудрый, объясняющий доброе сердце.

— Отменные заботы рекомендует он положить к его воспитанию, к смягчению одичалости нрава, упрямства и грубости судьбы; а затем, приведя его в человеческий, разумный и ласковый образ, показать его двору и народу.

— Это зачем? — спросил неспокойно Панин. — Какие тут могут быть высшей политики виды?

— Граф предвидит возможность... примирить и как бы слить в принце две священные народу отрасли одной великой, ныне расторженной, семьи — потомков Первого Петра с потомками брата его, царя Ивана...

— Но какое же тут может быть примирение и слитие? — сказал, не в силах скрыть волнение при таком известии, Панин. — Где исход и узел всей такой негоции?

— Отрекшийся государь, — ответила Екатерина, — известно тебе, просится в Голштинию. Не в Шлиссельбурге ж его содержать. Надо будет разрешить. Состоится при этой оказии, без сомнения, и развод. А у меня, сам ты знаешь, всего один сын. Разумеется, все то лишь прожекты. Но для блага страны, для вящего упрочения и обнадежения престола...

— Гибельное ослепление! Прости, матушка государыня! — не выдержав, перебил императрицу Панин. — Что

ж, разве Иванушку призвать в принцы крови? То ли советует граф? Юноша заброшенный, одичалый, почитай, зверь! Бог мой! Монархиня! — сказал он, встав, с несвойственным ему одушевлением. — Ужли вы решитесь низойти, пожертвовать благами собственной семьи? Беспримерное, пагубное приношение себя и своих интересов в жертву ошибок других.

Голос Панина дрожал и обрывался: в нем слышалось искреннее увлечение. Екатерина протянула ему полную, с короткими пальцами, твердую руку.

— Спасибо тебе за чувство ко мне и к сыну, — сказала она, — о том же, что здесь говорено, — чур, никому ни слова. Политические специменты сегодня одни, завтра — другие, и мы, государи, не всегда властны ими править. Наша страна, согласись, дом великий и хороший, да исстари наполнен... ну, тараканами. Вот их-то и будем стеречься... Какие там еще у тебя доклады?

Панин сообщил несколько рапортов комиссии об арестованных. Екатерина положила на них резолюции. Послышался звук барабана. То малолетний Павел Петрович в своих апартаментах бил отбой ученью оловянных солдатов.

— Надеюсь, откушаешь со мной? — сказала, ласково отпуская докладчика, Екатерина.

Панин вышел в приемную. Лицо его было красно, взволнованно; движения угловаты и рассеянны. «Вот, — думал он, отираясь и окидывая привычным, рассеянным взором переполненную придворными приемную, — задала баню, упарила!..»

— Ну, ну? Что прожект? Как принят? — спросили его, подходя, гетман и Дашкова.

— Не успел доложить...

— О чем же было трактовано?

— О чем же трактовано? — произнес, подняв и благоговейно закрыв глаза, Панин. — Не я ли предрекал?.. Ума и всех даров палата. И тут, и здесь, и там, настоящее, прошлое и будущее... на сажень насквозь под землей все видит. О сенате, представьте, — список-то городов...

Дверь в кабинет опять быстро растворилась. Вышла и тремя равными, на три стороны, милостивыми поклонами всем поклонилась Екатерина.

— Напоминаниями прошлого мы отнюдь не хотим отдалять спокойствия настоящего! — несколько напыщенно сказала она, обаятельно-ласковым взором обводя присутствовавших. — Да будет все горестное и раздражающее забыто. Мы сейчас шлем приглашение к графу Алексею Петровичу Бестужеву — возвратиться и украсить наш престол своим опытом и гением.

Сказав это, Екатерина в сопровождении Григория Орлова, Дашковой, гетмана и Панина, среди склонявшихся лент, звезд и напудренных голов прошла в столовую.

«Шведский прожект» Панина, как хорошо поняли в это мгновение все присутствовавшие, был теперь отсрочен, если не отменен окончательно навсегда.

XXV

ДОНСКОЙ ОРДИНАРЕЦ

Дворский мир волновался и не утихал. Толки об одном, нынче всех увлекавшем событии завтра сменялись толками о другом, столь же нежданном и выходящем из общей колеи. Новую государыню, под шумок, осаждали просьбами о чинах, деревнях, орденах и других наградах новые, а еще более старые друзья.

Последние сторонники и защитники бывшего императора, как овцы, прыгающие по дороге через соломинку, один вслед за другим передались Екатерине. Сам Петр Федорович, как о нем выразился его друг Фридрих, допустил себя свергнуть с престола, «подобно ребенку, которого отсылают спать».

— Вы, граф, настаивали против меня сражаться? — спросила императрица Миниха, когда старый друг ее мужа

ей представился после своего неожиданного плена в Ораниенбауме.

— Так, всемилостивейшая, — ответил со спокойным достоинством, склоняясь, старый фельдмаршал Анны и Елисаветы. — Я хотел жизнью пожертвовать за монарха, возвратившего мне свободу и жизнь... Теперь мой долг сражаться, божественная... за вас!

— Ну, Богдан Крестьяныч, мне до божества далеко, — произнесла, улыбнувшись, Екатерина, — а ценя ваш гений и службу бывшим государям, объявляю: отныне дверь моего кабинета всегда с часа, когда я отдыхаю от работ, отворена для вас...

Даже заведомые, личные, недавние враги новой императрицы стремились завербовать себе фавор и случай при новом дворе. Екатерина писала новому своему секретарю Елагину: «Перфильич, сказывал ли ты Лизаветиным (фаворитки Петра Третьего) родственникам, чтоб она во дворец не *размахнулась*; а то боюсь, к общему соблазну, завтра прилетит». Ему же Екатерина писала вскоре на домогательства о пособиях бывших сподвижников: «Имеешь сказать камергерам Ласунскому и Рославлевым, что, понеже они мне помогли взойтить на престол, для поправления порядков в отечестве своем, — я надеюсь, — они без прискорбия примут мой ответ, а что действительная невозможность раздавать ныне деньги, тому ты сам свидетель очевидный».

Хвалебная ода Ломоносова в честь новой императрицы была принята холодно. Ее нашли слишком откровенною и смелою и почти о ней не говорили. Увидели неуместный намек в стихе:

Дражайший Павел наш, мужайся

— и не понравилась строфа:

Услышьте, судии земные
И все державные главы:
Законы нарушать святые
От буйности блюдитесь вы.

Предметом общих разговоров Петербурга стал, объявленный на сентябрь того же 1762 года, отъезд императрицы и двора на коронацию в Москву.

Мирович всем, что так нежданно-негаданно произошло с ним и вокруг него, был ошеломлен, раздавлен. Все планы, надежды, все его смелые предположения были опрокинуты, разбиты вдребезги. Ему не удалось — как он ни смело и ловко это задумал — предупредить печальной участи бывшего императора, от милостей которого он столько ждал. Принц Иоанн, свобода которого, по-видимому, была так осуществима, близка и образ которого «мстящий фантом» — как казалось Мировичу — было так легко вызвать из мрака в общей сумятице и грозно, воочию народа, перед всеми поставить в тылу победителей — этот несчастный узник был снова и уже теперь, вероятно, безвозвратно и навсегда увезен, скрыт и заточен. И во всем том — Мирович чувствовал это и упорно, против воли, сознавал — он один был виною: невольно спас Екатерину от гибели, при ее въезде в Петербург, не умел лично и в должный момент сообщить Петру Федоровичу о затеваемых против него ковах, не успел, наконец, и с последней услугой принцу, которого увезли с острова от Гудовича обратно в Шлиссельбург. «Доля ты, каторжная, злая! — в бессильном негодовании и бешенстве повторял и клял себя Мирович. — Да когда ж ты будешь ласковой матерью, а не бьющею злою мачехой?..»

У Василия Яковлевича оставалась одна надежда, слабая тень надежды, — на свидание с Пчелкиной.

Чего он ждал от этой встречи, и сам он не мог себе объяснить. Жажда теплого участия, жалости к себе, обмена с любимым существом мыслью об утерянном, угасшем навсегда, — мучила его, манила и, дразня, жгла несбыточной, дикой мечтой на поправление и спасение чего-то.

Аполлон Ильич Ушаков, провожая его с пожара дачи Гудовича в Галерную гавань, к Селиванову, сообщил ему, что зашевелились столичные масоны и что в Петербурге на днях затевалось тайное общее собрание многих, разрознен-

ных до той поры, членов этого братства. Он узнал, у кого и где именно это будет, и дал себе слово явиться туда. «Свободные мыслители, борцы и мученики за правду! Я им все открою, все расскажу... Возбужу в них негодование. Сольемся, сплотимся для общего блага и еще померяемся со слугами преисподней, с темными и злокозненными торгашами, наполняющими созидаемый нами священный Соломонов храм. Вон злых язычников, вон кощунных и наглых оскорбителей!»

В течение двух дней, после заезда на Каменный остров, Мирович не решался явиться к Пчелкиной. Голштинцы стушевались. Их брали под арест кучами и высылали на кораблях в Кронштадт и далее, за границу. Мирович знал, что общая неуверенность, а главное — пожар на даче Гудовича заставили Пчелкину с Птицыными поспешно перебраться в город. Сознавал он и то, что ему необходимо, и чем скорее, тем лучше, побывать у Бавыкиной, которой он не видел с кануна переворота. Все это он понимал хорошо и между тем, как дезертир, не решаясь вернуться в город, безвыходно сидел в грязном, деревянном домишке Галерной гавани, где Кондратий Андреевич Селиванов тайно приютился с ним у некоего тоже безбородого, как и он сам, своего приятеля кожевника. Мирович им рассказал о своем прошлом, о претерпенных обидах и горестях своих предков и родителей, о бедных сестрах, живших по людям в Москве и которых он восемь лет не видел, — и без движения, сгорбившись и задумавшись, сидел либо лежал в душной, полутемной «боковушке», где пахло рыбой и дублеными кожами. Забыв обо всем, о еде и питье, он думал мрачные, щемившие душу мысли и с холодной, неотвязчивой злобой прислушивался к шороху, топоту и затаенному говору за прокоптелой, черной стеной. А в соседней комнате, как порой смутно он разбирал, являлись, о чем-то толковали, спорили, а не то, возясь и как-то в лад топчась ногами, негромким, дрожащим голосом жалобно запевали какие-то неизвестные люди унылую, на церковный лад стихиру.

«Старцы, нищуны! Приятели моих-то...» — с презрительной усмешкой, в лихорадочной, прерывистой дремоте думал Мирович.

В третью ночь, перед рассветом, за стеной стало как-то еще люднее, а пение раздалось громче, точно находившиеся там забыли о присутствии в смежной комнате постороннего. Мировичу явственно слышались слова:

— В Москву — мать градов... там поищем спасения... На Волгу-свет, на Дон... Гибнет отчая земля, гибнут души... батюшка наш, владыко-защита, покинул нас... отрекся...

С рассветом чей-то гортанный, как бы сдавленный плачем, унылый голос затянул молящий, с переливами, точно погребальный, кант. Его подхватили другие. Целый многогласный хор незримых старцев, то затихая, то дико возбуждаясь, пел за стеной:

Уж ты, белый голубок,
Наш сизенький воркунок,
Аще с Господом спасусь,
Лишения не убоюсь;
Не убоюсь такой страсти,
Избавит Бог от напасти.
При батюшке искупителе,
При втором спасителе.

— Помилуй нас, матушка, Царица Небесная, Богородица Акулина Ивановна! И ты, названный наш искупитель, Кондратий Андреевич, помилуй! — с плачем, стуча ногами и как бы двигаясь вокруг чего-то, восклицали старцы.

Мировичу с ужасом вспомнились рассказы сослуживцев и начальства о новой страшной секте, замеченной в недавнее время в армии, при следовании ее от границы. Он с омерзением вскочил, еще прислушался, оделся, вышел из избы и заглянул в окно. Среди небольшой, освещенной восковыми свечами, горницы, сидели на скамьях с всклоченными бородами мужики, торговцы-мещане, в отставных мундирах солдаты, матросы. В их кругу, босой и без рубашонки, перед какою-то миской, стоял бледный, испуганный, с русыми во-

лосами ребенок... Оловянные, дикие глаза Селиванова были устремлены на дитя. Он держал в руке нож... Освирепев в чаду радения, сектанты пели, качали головами и руками и, полузажмурясь, мерно покачивались... Мирович, не помня себя от страха, перелез через забор и без оглядки бросился из гавани в Петербург.

Уж ты, белый голубок,
Наш сизенький воркунок... —

слышалось за ним пение изуверов, готовившихся пролить кровь нового, нужного им агнца.

Светало, когда он дотащился до квартиры Ушакова. Денщик ему сказал, что Аполлон Ильич дома не ночевал и что «вас самих» ищут и требуют по начальству. Мирович подумал: «Вот люди! И что им надо от меня, когда я главного не сделал?» — вместо всякого ответа, упал на кровать приятеля, в болезненном, тяжелом изнеможении, завернул голову в одеяло, сказал денщику:

— Ах, дай ты мне ради Бога вздремнуть; измучился, тошно! — и как убитый заснул.

«Голубок... воркунок...» — звучало у него в ушах.

Спал Мирович тяжелым, гнетущим сном. Снилась ему, с бессильно опущенными, точно мертвыми, парусами, яхта, колыхание темных, свинцово-холодных волн, шлепанье длинных весел и бледные, омраченные тревогой и страхом лица; мчанье в кибитке, гул и крики празднично переполненных улиц и площадей; свет в домах и храмах, музыка и колокола; а за рекой дым и страшное, далеко раскинувшееся над островами, зарево пожара. Он пробуждался, открывал и опять закрывал глаза; в его ушах без умолку раздавались звуки колоколов, грохот барабанов, трубы марша и клики «виват» без конца щедших и шедших к Петербургу, увенчанных дубовыми ветками колонн.

Мирович проснулся уже перед вечером. Его разбудили мухи. Он наскоро, по просьбе денщика, чем-то закусил и, шатаясь как больной, как раненый, бессознательно поплелся к Бавыкиной.

С крыльца, в комнате Филатовны, он услышал быстрый оживленный разговор. Кто-то спорил, смолкал и опять уносился, вскрикивая, плача и в сердцах даже топая ногой. Он переждал, прислушался и обомлел: ему вдруг стало ясно, что то была Поликсена, никто более, — она, с горячею, заносчивою, без удержу, в минуту огорчений, речью. Мирович взялся за скобку дверей. Голоса в комнате мигом смолкли.

Филатовна, без чепца, вся багрово-красная и вспотевшая, с растерянным видом, с середины комнаты смотрела в соседнюю дверь. При входе Мировича она двинулась было туда, но только развела, замахала руками. Что-то сверкающее, гневное, как буря, ворвалось в тот же миг в комнату. Бавыкина заговорила и смолкла. Сжав странно губы и придерживая распустившуюся косу, Поликсена молча схватила со стола шляпку и какой-то узелок, скомкала его под мышкой и злобно кинулась, мимо Мировича, к выходу. Он заступил ей дорогу.

— Как? — вскрикнула она, отшатнувшись. — Вы решаетесь? Вы? Настасья Филатовна! Он еще с объяснениями... Уйдите, уйдите, позор!..

— Ну, ну, помиритесь, уладьте промеж собой свои-то дела! — сказала, ступив за порог, Филатовна. — Я говорила, придет, не все в ус да в рыло; полает собака и приласкается...

— Поликсена Ивановна, я ль не старался? — произнес, подходя к Пчелкиной, Мирович. — Клянусь вам... да слушайте же!

Поликсена швырнула узел, сложила руки, выпрямилась и несколько мгновений, с расширенными ноздрями, презрительно и холодно смотрела в лицо Мировича.

— Пять дней, о! Теперь я все узнала, — тихо, чуть роняя кипевшие в горле слова, проговорила Поликсена, — пять сряду дней без устали, вы, ничтожный картежник, вертопрах, играли в карты, и все вы погубили, все!.. Как назвать это? Как вас считать?

Она перевела дыхание.

— Единой услуги — помните ли? — я ждала от вас и вам ее указала. Как вы ее исполнили? Были у дворца, видели государя — Ушаков все рассказал — и не отдали ему своей бумаги! Ее нашли у Гудовича и вас, бестолкового, неумелого, зовут теперь на расправу...

— Нашли бумагу? — бессознательно проговорил Мирович.

— Слабый, ничтожный и ни к чему не пригодный человек! — крикнула и топнула Пчелкина. — А я на вас понадеялась, от вас ждала... Мне бы самой лететь тогда без памяти... что молчите, смотрите? Женщина, девушка вас укоряет... Долг службы, подданного, любимую вами все забыли вы в картежном вертепе... да вы и не любите, не любили! Так ли любят! О, не знала я, не знала!..

Поборая слезы, горечь обиды, Поликсена с бешенством отвернулась к окну.

— Казните, клеймите, разрывайте сердце! — сказал, склонясь, Мирович. — Но вам ли быть столь безжалостной? Я терзаюсь сам. Ну, дайте совет; вместе обдумаем, найдем выход... Эка невидаль — брань... а вы — совет; сомкнемся, дружно поправим дело... Ведь вы знаете мою преданность к вам, я враг нежностей, черт с ними! Но клянусь...

— Что мне ваши чувства? Глупо и смешно! Слышите, глупо! — дерзко в лицо Мировичу крикнула Поликсена. — Жалкий вы, тряпка!

Мирович вздрогнул, выпрямился.

— Это лишнее! — произнес он болезненно-гордо. — Слышите ли? Лишнее, замолчи! — продолжал он, возвысив голос и покраснев. — Мои чувства... не карты... ими не играют, замолчи!

— Ах он, бедный, бесталанник, неумелец! — проговорила, хватаясь опять за узелок, Пчелкина. — И из чего я на него напала? Ни в чем-то он не повинен... Прощай!.. Да пойми только, пойми, — крикнула она, — не пара ты, Василий Яковлевич, мне, жадной, не забывающей обид! Не пара злому найденышу, нищенке, сорочью дитю...

Поликсена толкнула дверь ногой, ступила за порог и на мгновение замедлилась.

Мирович, не шевелясь, следил за нею.

— Еще слово — вы искали мира, отрады в семейной жизни? — сказала Поликсена, подняв на Мировича серые, вызывающие, гневные глаза. — Я же хочу, ищу бури! Слышите ли, бури! Вам люб покой — его нет на свете... Мести, расплаты за зло! Вот чего молите обидчикам, погубителям доли вашей и людской. Мы бедны, бессильны... Любовь все может... Могла ж хоть бы Дашкова... Что смотрите? Прощайте. Не ходите за мной, добрый, слабый человек, не ищите меня. Иначе... я вас возненавижу, прокляну...

Пчелкина ушла. Мирович стоял с пылающим, засветившимся лицом. «Добрый, сказала... ведь любит! — думал он, замирая в оскорбленной гордости. — Упомянула о Дашковой... Понимаю! Ты ею быть могла бы! Да я-то был ли бы Орлов или гетман? — прибавил он себе, глядя перед собой черными, без блеска, строгими глазами... — Ты, однако, мне эти все свои слова, все до единого, выкупишь...»

— Тебе повестка, — сказала, тронув его за плечо, Филатовна, — опять из фартала; пришли вон, зовут.

— Повестка? — спросил Мирович, обводя комнату сердитым взором.

В тот же вечер Мирович был отведен в ордонансгауз, а наутро под караулом отослан в талызинскую комиссию в Кронштадт. Его освободили по личному за него представительству извещенного Ушаковым Григория Орлова. О дезертирстве не было и помину. Отпущенный из комиссии, он добрался на рябике в Ораниенбаум, дошел до парка, вспомнил, что́ так недавно произошло в этих опустелых местах, и громко, болезненно расхохотался. Он хотел нанять подводу в Петербург, но раздумал — денег у него не было. Он пустился в столицу пешком. К ночи Мирович добрел до лесной сторожки у Горелого кабачка. Его мучили голод и жажда. Ноги отказывались ему служить. Встречные передавали печальные вести о бывшем императоре.

Шестого июля Екатерина принимала доклад генерал-фельдцейхмейстера Вильбуа. Дело шло о новой, вызванной обстоятельствами, дислокации войск. Оба корпуса заграничной армии, Чернышева и бывший румянцевский, в день воцарения императрицы переданные в команду Петра Ивановича Панина, ускоренным маршем приближались к столице от границ Пруссии. Вильбуа сообщил, что легкие передовые, донские и яицкие казацкие полки давно миновали Курляндию и, по всей вероятности, в это время были уже по этот бок Луги.

— Разместить их на временные кантонир-квартиры в ближайших к Петербургу уездах, — решила Екатерина, — урожай трав в здешних окольностях изрядный. Пусть отдохнут, оправятся, чтоб в лучшем виде поспеть с гвардией к коронации в Москву...

Седьмого июля был обнародован манифест о кончине бывшего императора. Через три дня происходили его похороны в большой церкви Невского монастыря. Тело Петра Федоровича — впоследствии, тридцать четыре года спустя, вынутое из склепа его сыном, императором Павлом, и торжественно опущенное в могилу, рядом с прочими государями в Петропавловском соборе, — было одето в голубой голштинский мундир, в белые лосиные панталоны и большие, с раструбами, ботфорты.

Народ «без злопамятствия всего прошедшего», как говорилось в манифесте, стремился в церковь, где, по бокам черного с серебром, открытого гроба горели четыре светильника и бессменно стояли на часах гвардейские офицеры. Все спешили в лавру проститься с телом усопшего.

Накануне похорон по Нарвской дороге к окрестностям Петербурга приблизился казацкий полк Ильи Денисова, бывший в передовом отряде графа Захара Григорьевича Чернышева.

В лаврскую церковь вслед за другими вошли в тот же вечер два донских казака. Один, лет двадцати пяти, чернобородый, плечистый, скуластый и смуглый, состоял ординарцем при Денисове. В Познани за Одером, в местечке Кривом, при стычке с прусским кавалерийским разъездом у этого ординарца ночью была угнана полковницкая лошадь. Денисов вспылил и сильно, езжалой плетью, наказал за оплошность своего приспешника. Дикий и дюжий донец воспылал к начальнику местью. Да его и на волю из постылой Неметчины манило — на Дон, в древле-благочестивые, раздольные степи, луга. По пути от границы донцам объявили весть о восшествии на престол новой государыни. Шли ускоренным маршем, дневки сократились. Миновав Лугу и подойдя к Гатчине, Денисов расположил полк постоем в окрестных деревнях и отрядил двух посланцев в Петербург к начальству, с запросом, в форме рапорта, где ему расположиться окончательно.

Ординарцы доставили бумаги куда следует, получили дислокацию и, перед возвращением к полку, видя, что все идут в лавру, сами заехали туда ж. Привязав коней к ограде, они оправились, сняли серые шапки и, двуперстно крестясь, протолпились в церковные двери.

Долго чернобородый, пробравшись в храм, не отходил от ступеней траурного катафалка, на котором под черным балдахином, с скрещенными в замшевых перчатках руками лежало тело почившего монарха.

— Ну, Иваныч, пора, — шепнул, дернув его за кафтан, невзрачный, с воспаленными, слезившимися глазами белокурый товарищ.

— Не трожь, — обернувшись, сумрачно ответил чернобородый.

Из-за высоких, блестевших фольгой свечей, сдерживая плечом напор вздыхавшей и набожно шептавшей молитвы толпы, он продолжал взглядывать в лицо покойника.

«Да, — сказал, вздохнув, про себя чернобородый, — не доля!.. Вряд ли схож! Набрехал на границе беглый солдат-

гвардионец... Ну, да уж коли Господь восхощет, — прибавил он, переводя быстрые, карие глаза к иконам, — коли милостью взыщет — ослепит очи гордыни, сокрушит выю злых... чудо и без сходствия въяве окажется...»

Посланцы вышли из церкви, отвязали коней и трусцой пустились по Нарвскому тракту.

— О чем, Иваныч, шепчешь? Про что твои думы? — спросил белокурый чернявого, когда, миновав заставу, очутились в поле.

Смерклось. Было душно. Темная, змеившаяся молниями туча надвигалась от взморья.

— Не твое дело! Не спрошен, не суйся, — грубо отгрызнулся чернявый. — Вон каки знамения, — прибавил он, протянув руку, — сполохов ожидать, лихих Господних испытаний, чудес...

— А что? — не утерпел спросить белокурый.

— Сказывают... не государя хоронят, — как бы про себя проговорил чернобородый, — а простого офицера, государь же будто жив...

Казаки въехали в лес, за которым дорога направо шла в Петергоф, налево в Гатчину.

«На Украйну бы уйти, в село Кабанье, в Изюмский полк, — мыслил под вспышки молний чернявый, — сговор был с парнем знакомца, казака тамошного Коровки, как переходили границу; а не то бы — в Польшу, в наши древней веры слободы, — назваться выходцем из Неметчины... Не кнутьем да батожьем токмо сыту быть. Пройдет время, забудут все про беглого... В те поры сызнова на Дон, за Волгу... либо на Яик... Ох, терпит мать сыра земля, старо благочестие, подневольный народ... Стонет родима сторонушка, вся как есть Рассея... Больше вытерпу нет! Ох! С Иргиза, с Берды, с Лабы-реки, с Узеней, со всех скитов да уметов — стекутся, сбегутся невольнички, попранной веры стадо... Я-де, православные, ваш владыко и царь!.. Господь спас, верный офицер выпустил из Питера... Показался гвардионцу, покажусь и всему честному Христову народу,

всей голытьбе, готовой за волю, за дедовский, изначальный закон на всяку погибель...»

— Ваше благородие, а ваше благородие, — стал будить чей-то голос Мировича, заснувшего под деревом близ Горелого кабачка, у перекрестка петергофской и гатчинской дорог.

Он открыл глаза. Перед ним, в сумерках, перегнувшись с коня, стоял без шапки чернобородый казак, другой виднелся вдали.

— Это ли дорога на Гатчину? — спросил казак.

— Она самая.

— Спасибо, ваше благородие...

— А ты, стой, откуда? Из Питера?

— Так точно.

Мирович вскочил.

— Схоронили государя? — спросил он. — Схоронили?

Казак покосился на офицера, надел шапку, ответил:

— Жив! Хоронят другого! — и, хлестнув нагайкой по коню, поскакал вдогонку товарища.

«Новые смутные толки, шевелится серый народ! — подумал Мирович. — Сектанты, темная чернь волнуется, ковы готовят во тьме... Да что, лапотники, глупые волы. За рога их мигом и в новое ярмо... Истина — в сердце масонов... Они — светильники, вожди... им одним ее обрести!»

Предположенное заседание масонов окончательно раздавило и увлекло Мировича. Его туда ввел Ушаков. Там он слышал горячие речи, клятвы не отступать от добра. Он стал готовить какую-то записку. Но в это время Нарвский пехотный полк, в котором он числился, получил назначение с марша от Митавы двинуться безостановочно на Тверь, к коронации в Москву.

Мировичу объявили приказ: догнать полк под Новгородом, куда он должен был отвезти из коллегии бумаги. В день выезда он получил из Москвы письмо от старшей се-

стры, Прасковьи Яковлевны. Слух о коронации и о скором ожидании в Москву полка, где он служил, радовал его близких.

«Уж так-то, ненаглядный братец Вася, — писала Прасковья Яковлевна, — соскучились мы по вас. Сам повидишь ноне, своими глазами, несносности и бедства трех неимущих горемык, ваших сестриц. А мы все еще, братец, в горьком сиротстве, маемся на чужбине, не имея за тяжкий, ах, тяжкий грех, слышно — за измену отечеству злосчастного и вредного нам предка нашего, бывшего генерального бунчужного, Федора Ивановича, — ни одежи, приличной званию, ни верного куска хлеба, ни сносного в наши годы угла. Помоги, Василий Яковлевич».

«Боже! Да где ж твоя правда? И там наклеветали! Никакой измены не было, никакой!» — сказал себе, скомкав письмо, Мирович. Он кликнул извозчика. «Все безбожники! — думал он. — А если для них нет Бога и нет природного государя, Третьего Петра, — то где же Бог и где счастье на земле?»

Он поехал на Литейную, к Гудовичам. Вызвав Гашу, Василий Яковлевич узнал, что семья графа в горе: за непринесение присяги, а потом за отказ от службы новой государыне граф был выслан безвыездно в свои черниговские деревни. Поликсена, по словам Гаши, оставила Птицыных и за неделю назад неизвестно куда уехала.

Догнав полк, Мирович в августе приблизился с ним к окрестностям Москвы.

XXVI

НОЧЬ В ПЕЛЛЕ

С начала июля двор заняла новая весть. С часу на час ожидали возврата некогда главного пособника Екатерины, бывшего канцлера Бестужева-Рюмина.

Граф Алексей Петрович прибыл в Петербург «во всяком здравии и благополучии» вечером двенадцатого июля. Государыня навстречу ему выслала, за тридцать верст вперед, нового действительного камергера Григория Орлова, а также собственный придворный парадный экипаж. «Батюшку» Алексея Петровича, «с обнадежением всякого монаршего к нему благоволения», отвезли в летний ее величества, на Фонтанке, дворец, а оттуда, «по августейшем приеме, в нарочито для него приготовленный изрядный дом, где определили ему от двора стол, погреб и прочее всякое довольство».

Сподвижник в дипломатии великого Петра, пятнадцать лет первый министр Елисаветы Бестужев был разжалован и сослан за смелую мысль удалить племянника последней за границу, а престол упрочить за Екатериной.

Семидесятилетний, сильно исхудалый, с длинной седой бородой и глубоко поставленными, острыми глазами старик, войдя с Орловым в кабинет новой, напророченной им государыни, безмолвно у порога опустился перед нею на одно колено.

— Immobilis in mobili! — неколебимому среди смятенных! — дрогнувшим голосом, по-латыни, сказала Екатерина, вновь прикалывая графу снятую с него Елисаветой Александровскую звезду.

— Пресветлая, пресветлая! — произнес Бестужев, старчески всхлипнув и костлявой рукой ловя и целуя украшавшую его руку.

— Semper idem! — всегда одинаковому! — продолжала Екатерина, взяв со стола цепь Андрея Первозванного и склонясь с нею к Бестужеву.

— Чем возблагодарю? Чем отслужу? — восклицал, безнадежно махая руками и склонив голову, худенький, с жидкой косичкой, старик.

— Возвращаю вам чины, — произнесла, приподняв графа, императрица, — с переименованием вас в генерал-фельдмаршалы, но тем не ограничусь... Манифест о вашей невинности — она мне доподлинно известна — будет обна-

родован беспродлительно... Не государыня, покойная моя тетка, — бесстыдный нрав ваших завистников и клеветников во всем прошлом виновны...

— Великая! Великая! Спасительница, матери отечества титло присуще тебе... я предложу, внесу, объявлю...

— Э, батюшка Алексей Петрович, много еще допрежде того поработать надо нам с тобой во благо народа... Садись-ка, потолкуем о вашем здоровье. Сына тебе маво покажу; вырос... Позови, Григорий Григорьич, его высочество...

Орлов ввел белокурого, курносого, с миловидным лицом, робкого мальчика.

— Худенек, ох, худенек он у тебя, матушка государыня! — произнес Алексей Петрович, разведя руками и пристально оглядывая робкого бледного ребенка.

— Чем же, батюшка граф, он худ? Дитя как дитя...

— Худ, ох, худ и тонкогруд! — ощупывая холодными костистыми пальцами шею и руки Павла Петровича, продолжал Бестужев. — Кто, позволь, у тебя глядит за ним из лекарей-то, из лекарей?

— Фузадье и Крузе...

— Des tumeur dans les parties glanduleuses... et puis cette paleur...[1] о, поработать следует, — воздух, приличный моцион... Да я ничего, матушка! Что ты! Иди и ты, сударь, играй... Вырос молодец, былинкой встрепыхнулся. А ухо, пресветлая, востро надо держать, востро... Que Dieu bénit, ce délice de l'auguste mère, de l'Empire et de nous tous...[2]

— Вы, батюшка Алексей Петрович, уж известны дарами в медицине, — перебила его не ожидавшая с этой стороны натиска Екатерина, — бестужевские, сударь, капли ваши в моду везде вошли, и я сама ими с успехом пользовалась. Но в чем видите опасность сыну?

---

[1] Распухли железы... и к тому же эта бледность... *(фр.)*

[2] Помилуй Бог, это отрада августейшей матери империи и нас всех... *(фр.)*

— Худенек, матушка, худенек и в оспе, сказывают, еще не лежал, — продолжал, не спуская острых, внимательных глаз с императрицы, старый хитроумец Бестужев.

Пятнадцатого июля на Пе́лловских порогах Невы, в тридцати пяти верстах выше Петербурга, разбилась барка с казенным хлебом. Эти пороги образовались выступами крепких известковых подводных камней, между деревнями Ивановским и Большим Петрушкиным. Против них, на левом берегу Невы, в то время находился, принадлежавший генералу Ивану Ивановичу Неплюеву, чухонский поселок Пе́лла.

— Имя столицы древней Македонии, месторождения Александра Великого, — сказала Екатерина, при докладе Олсуфьева о происшествии в Пелле.

— Притом восхитительная местность, — заметил Адам Васильич, — скалы, смею доложить, озера и вековечный кругом лес: мы у Ивана Иваныча не раз там охотились, с Григорием Григорьичем, на глухарей.

— А что, Григорий Григорьич? — отнеслась Екатерина, обернувшись к Орлову, бывшему при докладе. — Не худо бы и нам туда, при случае, вояж сделать для развлечения от городского шума и духоты? Возьмем фельдмаршала Миниха, Елагина, графа Строгонова...

Екатерине вспомнилось еще одно лицо. Она дослушала бумаги Олсуфьева; решение ж о барке, затонувшей в порогах, отложила до другого раза.

— Забавы забавами, — сказала она, — а дело этого места таково, что о нем надо нарочито и крепко подумать.

Наутро к императрице были позваны на особое совещание Панин и владелец Пеллы Неплюев. В деревнях по Кексгольмскому тракту выставили усиленные смены лошадей.

После обеда 25 июля государыня отъехала взглянуть на Пелловские пороги. Господам свиты было предоставлено кстати поохотиться. Путники прибыли к месту до заката солнца. Их ожидал чай в палатке, на берегу Невы. Теплов

и Строгонов стреляли ласточек на лету, и оба промахнулись. Звук выстрелов громко раздался в окрестности, всех оживил, развеселил. Сели в катера и лодки и ездили осматривать фарватер с порогами. Обратно прибыли к берегу при фонарях. В виду флотилии, пригорком, мимо Пеллы к лесу проехал крытый, четверней, фургон. Его провожали всадники.

— Вот и охота, — сказал Панин, — утром, кто хочет, на тетеревей, а то и мишку какого в берлоге застукать не худо бы...

Сумерки сгустились.

Путники шли к экипажам. Неплюев рассказывал прошлое этой местности. Миних делал предложения об отходе порогов, причем вспоминал молодые свои годы, постройку Ладожского канала, наезды на его работы Великого Петра.

— Что, готово? — спросила Панина Екатерина.

— Готово, у лесника...

Императрица оглянулась, отыскивая взглядом отставшего Бестужева.

— Господа, — обратилась она к свите, когда все, мимо поселка и барского невзрачного и запустелого двора, поднялись вслед за ней на пригорок, у окраины темного, дремучего леса, — Иван Иваныч нас не ждал и, без сомнения, извинит, коли не он, а мы будем у него хозяйничать. На берегу не без сырости. Мошки и комары. Просим всех откушать в роще.

Рог затрубил. Все разместились по экипажам. Слуги и рейткнехты зажгли факелы, сели на коней. Первая коляска двинулась. За нею другие. Длинный, сыпавший искры поезд помчался лесной, темною чащей на полных рысях.

— Да это не просто прелесть — сказочная! Кортеж сильфов и саламандр! — крикнул кому-то граф Строгонов. — Как отражается свет на траве и на косматых деревьях!..

— Все гномы, в золотых хламидах и в алмазных коронах, выползли из щелей и будто встречают нас! — ответил ему

голос из догонявшей его коляски. — Помните балет «Esprit follet»?[1]

— А туман, туман! Точно друиды в саванах...

Кортеж выехал к озеру, за ним, между стен вековых, громадных елей, — на просторную зеленую лужайку. В ее глубине, под деревьями, путники увидели освещенную разноцветными фонариками палатку. Из-под откинутых дверей светился уставленный посудой и яствами стол. Сели ужинать.

После ужина, оживленного анекдотами Миниха и спором о духовидцах Елагина, Теплова и Строгонова, Екатерина велела подавать свой экипаж. Бестужев сел с нею. Панин поехал вперед. Прочие остались наутро охотиться.

Возвращалась императрица другим, более кратким путем. Огибая Неву, карета поехала по песку шагом. Ночь была теплая, звездная. В раскрытые окна кареты были видны мелькавшие впереди по дороге огни факельщиков.

— Как вы полагаете, граф, — спросила Бестужева Екатерина, — не лучше ли, я все думаю вот, отпустить принца Иоанна, со всей его фамилией, обратно за границу?

— Нельзя, многомилостивая! На пропятие себя отдадим чужестранным, противным языкам... да и пригодится.

— Кто пригодится?

— Да заточённик-то.

— Не понимаю, Алексей Петрович.

Бестужев крякнул в темноте. Нева то исчезала за стеной дерев, то опять сбоку развертывалась белою, туманною пеленой.

— Вот, матушка, гляди, — сказал Бестужев, склонясь к окну, — вон одинокая сосенка, край долины; стройна и раскидиста она, да сиротлива, одна... А эвоси, приглядись, дружная, густая купочка сосен разрослась. Ну, тем под силу и ветры, и всякая непогодь; а этой ой как тяжело!

— О чем вы, граф?

---

[1] «Домовой» *(фр.)*.

— Да все о том же: ненадежен, в оспе еще не вылежал! — продолжал, смотря в окно, Бестужев. — И ты, пресветлая, на старого за правду не сетуй. Меры надо принять...

— Какие меры?

Бестужев пожевал губами.

— Павел Петрович-то, милостивая, даст Бог, окрепнет, вырастет... Да все это токмо гадания... Ну, а как, упаси Господи случая, корень-то, древо твое, с таким слабым отростком, да пресечется?

— Все в руце Божьей.

— А вот выход-то и есть, и есть! — сказал, быстро, из-под кустоватых бровей, устремив к ней глаза, Бестужев. — Другая-то августейшая отрасль, другая... О прочей фамилии его не говорю — он страстотерпец один.

— Вам доподлинно, Алексей Петрович, известно, — сказала Екатерина, — я всей душою болею о принце Иоанне... Заботы советуют, снисхождение. Но то одни лишь слова. Не слепа я, сама вижу. Да что делать-то, вот задача. Будь Павел девочкой, можно б было подумать хоть бы и о соединении этих двух отраслей, о браке...

— Брак возможен, — произнес Бестужев, тихо поскребывая ногтем о сухой свой подбородок, — осуществим! Ты только отечеству, его покою жертвующая, того захоти...

— Как возможен?

— И не такие из могилы-то на свет Божий, к помрачению гонителей, обращались! Меньше месяца назад, — как бы кому-то грозя и глядя в окно мчавшейся кареты, сказал Бестужев, — и я проживал сермяжным, посконным колодником, в горетовской курной хатенке... Ну, а теперь, всемилосердная, возблагодарив тебе, еще померяемся с врагами-то... Что глядишь, мол, рехнулся старый?.. Ну-ка, бери мужества, да, благословясь, всенародно и обвенчайся с бывшим российским императором, с Иоанном Третьим Антоновичем...

— Кто? Я?! — воскликнула Екатерина, отшатнувшись в глубь кареты.

— Да, богоподобная, ты, мудрая, не похожая на других, — спокойно, с сложенными руками, глядя на нее, ответил Бестужев.

— Возможно ли? Шутите, граф. Лета мои, отношения...

— Благослови только Господь, — набожно приподняв шляпу и перекрестясь, продолжал граф, — годов самодержцы не знают, Лизавету за Петра Второго, слияния ради, ведь сватали ж?.. А ему было всего тринадцать годов... Да и что же? Вам, государыня, тридцать третий; принцу Иоанну двадцать два исполнилось... На десять лет, разница, согласитесь, не велика. Решитесь... Сольются две близких, кровных линии. Павел останется наследником... А на случай — Господь волен во всем — наготове будет и другой, любезный народу отпрыск...

Лошади неслись. Спутники молчали.

«Так вот что созрело в тайнике твоей смелой, непроницаемой, как морская бездна, души! — думала Екатерина. — Я угадала... В тишине ссылки ты обдумывал все это, готовил. Ужли ж из корысти, чтоб воскресить только, усилить этим новым, смелым по дерзости прожектом прежнее свое влияние, прежний фавор? Посмотрим... хорошо ли, что я затеяла?»

Чаща леса поредела. Передовой факельщик замедлил, остановился. Карета поравнялась с купой дерев. Между них виднелась изба лесника. Возле стояли экипаж Панина, ямщики, лошади и виденный у Пеллы фургон.

— Перемена почтовых, — сказал, подойдя к дверцам, Панин.

— Кажись, посторонние, — произнесла, оглянувшись на фургон, Екатерина. — Узнали?

— По делу в Питер какие-то, кормят лошадей.

Императрица с Бестужевым через сени вошла в небольшую опрятную комнату. С ними встретился вышедший оттуда пожилой военный. За столом, перед свечой и тарелкой

жареного, сидел длинноволосый, в темном кафтане, худой и бледнолицый юноша. Он жадно, с торопливым удовольствием ел, почти не заметив вошедших.

Екатерина, присев с Бестужевым у двери, несколько минут робко и пристально вглядывалась в незнакомца, неряшливо и молча, крепкими выдающимися челюстями жевавшего вкусный кусок.

— Куда, сударь, изволите? — ласково спросила императрица.

Рассеянные, усталые и будто глядевшие внутрь себя глаза проезжего тупо и дико уставились в вошедших особ.

— Издалека ль едете? — повторила Екатерина.

— Вот... и.. — заикнулся и перестал жевать незнакомец, — опять взяли... опять повезли... Чуть не утонули на озере, у Морья... барку разбило! В Кексгольме держали, опять сюда тащут...

— Куда же ваш путь?

— А нешто я сведом? — ответил, сердито нахмурясь, юноша. — Возьмут и повезут. Новая, видно, царица потребовала на эко диво поглядеть. Что им, владыкам-то, — резко и громко засмеялся он, — что полгода, гляди, и новые... И меня велено звать Гервасием, а не Гришкой, да не хочу — а хочу зваться Феодосием... притом... бесплотный...

— Уйдем, пьяный неуч, — шепнул Екатерине Бестужев, — либо сущеглупый — я их смерть боюсь.

— Вы же сами кто будете? — спросил незнакомец.

— Мы здешние помещики...

— Муж и жена?

— Верно сказали.

Юноша еще громче во все горло захохотал и вдруг смолк.

— Старенек муж-то ваш, — сказал он, злобно упершись глазами в Бестужева, — горох бы тебе стеречи или с огорода воронье гонять... скрючился, скомсился, злюка, шептун...

Проговорив это второпях, путаясь, точно его прорвало, юноша опять осекся и бешено, дико захохотал.

— Да уйдем же, матушка! Охмелел он! — шепнул, привстав, Бестужев. — Вишь как дерзостен, сквернословец, шатун...

— Так вы ехать от меня? — вскрикнул, с искаженным лицом вскакивая, незнакомец. — Скоты, звери, гарпии, колдуны! Кровь высосали... Жизни вам, вертограда моего? Злыдни, еретики, — кричал он, поддерживая себя за подбородок. — Я креститель, слышите, дух Иоанна.... Трубы, тимпаны, гудцы... Ха-ха! Проклинаю... шептуны, скоты! Аз в мире альфа и омега, последний и первый... Виват! Виват!..

— Не могу, не могу! — сказал, бросаясь к двери, Бестужев. — Сил нет; сущеглупый ведь он... видите, видите!..

Екатерина вышла за ним. Подали экипажи. Факелы освещали бледные, встревоженные лица.

— Что? — спросил вполголоса Панин.

— Сверх всякого ожидания... невыносимо! — ответила императрица.

Кареты помчались в том же порядке. Екатерина молчала. Не отзывался и ее спутник. Он сопел носом и изредка фыркал, сердясь на Панина, что тот не отвратил от монархини столь неподходящей и лишенной всякой аттенции встречи.

— Так худ? Худенек? — вдруг обернувшись к графу, спросила Екатерина.

— О чем, матушка, изволите? — не поняв вопроса и склоняясь к ней, произнес Бестужев.

— Так ненадежен мой сын? Ненадежен?.. А знаешь ли, батюшка граф, кого мы с вами только что видели?

Бестужев вздрогнул. В томящей тоске предчувствия, забыв всякий этикет, он ухватил жесткою, холодною рукой руку императрицы.

— Мы видели бывшего императора Иоанна Антоновича, — проговорила Екатерина, — из Кексгольма нарочно его привозили... Где ж правда? Пятнадцать лет вы, батюшка Алексей Петрович, при покойной императрице, держали кор-

мило власти, и в вашей полной воле была судьба принца... а теперь этого бедняка, нравственно больного, мертвеца, вы, вы, — пощадите! — прочите мне в женихи... в мужья...

После пелловского свидания принца Иоанна вновь отвезли в Шлиссельбург. Панин в таком виде подтвердил его приставам старую инструкцию Елисаветы: «Буде явится столь сильная для освобождения Иванушки рука, что спастись будет не мочно, то арестанта Безымянного — умертвить, а живого — никому в руки не давать».

— Как же с ним долее быть, ваше величество? — спросил Панин Екатерину, отослав это подтверждение.

— Мое мнение: из рук не выпускать, — ответила императрица, — надо его постричь и отвезти в не весьма отдаленный монастырь, где стороннего богомолья мало или вовсе нет — в муромские леса, в Вологду или в Колу... Впрочем, о сей материи мы еще поговорим...

XXVII

У НОВОГО ФАВОРИТА, В ШАБОЛОВКЕ

Осень и часть зимы 1762 года Мирович провел с полком в окрестностях Москвы. К началу 1763 года полк выступил на стоянку к границам Польши, в раскольничьи слободы Черниговской губернии. Свидание с сестрами не принесло Мировичу утешения. Помочь им он не мог, так как и сам едва перебивался в тяжелой бедности. В полку тоже ему не везло. Молва о прошлом Мировича, о самовольной отлучке из Шавель и о передрягах с его арестом и допросом в Кронштадте, от которых он спасся лишь протекцией важных патронов, все-таки сильно вредила его службе. Начальство на него косилось. Товарищи-фрунтовики, от празднокутежной компании которых он теперь держался в стороне, относились к нему холодно или презрительно-враждебно. Он вспоминал недавнее свое положение в числе штабных кениг-

сбергского губернатора Петра Панина и, замкнувшись в себя, в неисходной тоске, тянул лямку караулов, пеших переходов по глухим, занесенным снегом деревушкам, учений, опять караулов и новых переходов.

Средина февраля застала Мировича в Черниговском наместничестве, в раскольничьей слободе Добрянке. Полк был расположен в ней и возле на винтер-квартирах, а его, с командой, послали к Днепру, в слободу Радули. Здесь, принимая фураж, он провалился на подтаявшем льду, схватил горячку и пролежал у соседнего мельника-слобожанина до начала апреля. Встал от болезни не похожий на себя — страшно исхудалый, слабый, раздражительный и злой на всех и на все. Его выздоровление совпало с возвратом на Украйну тепла и весны.

Яркий луч южного солнца вызвал Мировича на завалинку. Он давно слышал в низенькой тесной избе крики прилетных гусей, журавлей, возгласы чаек, шум и журчание всюду бежавших ручьев. Его неудержимо манило дохну́ть свежею, гулкою в этом шуме и гаме, струей вешнего воздуха. Он вышел, взглянул...

С береговой кручи, со двора мельника, вдруг перед ним открылся безбрежный, с лесами в виде темных островов, голубой, затопивший окрестности Днепр. Правее — белела где-то церковь, левее — через сероглинистый яр, на высоком бугре, с красной крышей, виднелся большой помещичий дом. Весь он потонул в саду. Сад сбегал и по взгорью к речному затону. «Родина, милая родина, — заплакал от радости Мирович. — Вот где истинное счастье, рай! Вот где врачевание сердцу, разбитому в душных городских вертепах! Боже! Недаром я стремился к достоянию предков, недаром во сне и наяву моей душе виднелись родные, привольные долы, холмы, тихие сады. Там — скопленные в больших городах не люди, а звери; здесь — простой, землю пашущий селянин исполняет завет Бога, природы...»

Оправясь, но еще все слабый, Мирович начал спускаться к реке, сидел у Днепра и однажды от берега зашел в по-

мещичий сад. Имя владельца ему называли, но он, в болезненном равнодушии и рассеянности, не обратил на то внимания. Помнил он только, что речь шла об опальном вельможе, никуда не выезжавшем и целые дни, с книгой или газетой, лежавшем на диване в своем кабинете. Сад окидывался зеленью. Вишни и яблони пышно цвели. Пчелы гудели на ивах и черемухах. Кукушка отзывалась в ракитнике. Дятел звонко щелкал в дупло оголенного, корявого дуба.

Приглядываясь к каждому окинутому первой зеленью кусту, к каждой вырытой у корней и на лужайках свежей норке, к букашке, цветку, Мирович прошел одну аллею, другую. Тепло было, как в мае, напоенный запахом чебреца воздух не шелохнулся. Кое-где виднелись беседки, гроты, мосты. Под огромным, еще безлистым осокорем, на скамье у обелиска из бледно-зеленого, местного гранита, в старом треуголе, с звездой на епанче, сидел, сгорбившись, с книгой, изжелта-смуглый, задумчивый военный. Мирович приподнял шляпу, хотел пройти мимо и чуть не упал: перед ним был генерал-адъютант покойного императора, бывшая «голубица мира» берлинского ковчега, Андрей Васильич Гудович. Он молча стоял несколько минут.

— Так вы тот самый, тот самый, что тогда? — разглядев его и заторопясь, сквозь слезы, спросил Андрей Васильич.

Они разговорились. И сколько было говорено! Больше недели пробыл после того Мирович в Радулях и каждый день ходил на прогулку от мельника к Днепру и в цветущий, покрывавшийся пышными уборами сад. Здесь он еще раз или два встретился с Гудовичем. И хотя ссыльный, недавно могучий вельможа держал себя с ним, как и со всеми, холодно и строго, но, беседуя с случайным гостем о пережитых памятных днях и сообразив его поведение в роковое время, не утерпел и поведал ему кое-что, долетевшее к нему в Радули.

От него Мирович узнал подробности о деле Хрущова и двух Гурьевых, приговоренных к казни, публично ошельмованных и сосланных в Камчатку за намерение освободить принца Иоанна. «Пора-де вспомнить, — говорили эти смельчаки, — что есть фамилия царя Ивана Алексеевича; пора узнать, где содержится Иванушка; не пойдем в караул, пока его не вызволим». Здесь же услышал Мирович и о недавней опале, о сложении сана и о предположенной ссылке в Корельский монастырь ростовского митрополита Арсения Мацеевича. Государыня, узнав о провинности Арсения, ответила на предстательство о нем Бестужева: «Прежде, сударь, без всякой церемонии и не по столь важным делам, преосвященным головы секали». А провинился владыко не столько протестом против отобрания монастырских крестьян, сколько тем, что говорил своим ближним: «Надлежало быть на престоле не государыне, а принцу Иоанну... Государыня не природная и не тверда в вере». Еще же пророчил Арсений, что будут в России царить два юноши, Павел да Иоанн, и что они выгонят из Европы турка и возьмут Грецию и Царьград. «И уж лучше бы, — сказывал Арсений, — государыне вступить в брак с Иоанном Антоновичем: она с ним не в близком родстве, в шестом колене; не сменять же царского отпрыска на поддержку картежников и мотов, вроде Григория Орлова».

— Как, на Орлова? — обомлев, спросил Мирович.

— Поедешь, все узнаешь, — спохватившись и оглядываясь, на прощанье с ним сказал владелец Радулей.

В конце мая Мирович отправился проведать сестер. От полка же, кстати, встретилась жалоба по фуражному делу к гетману, бывшему со двором в Москве. Мировичу дали инструкцию, рапорт и прогоны, и он уехал.

Одна мысль засела в его голове, неотвязно нашептывала ему, манила его. Он все думал, соображал и терялся в догадках. Уже по пути к Москве заслышал он сперва робкие, потом более ясные намеки на затею бывшего канцлера — в угоду Орловым — устроить замужество государыни с Гри-

горием Орловым. В Москве же, куда он ни заходил, к сестрам, к знакомым, в трактиры, только и было речи что о новом прожекте «седой, нераскаянной лисицы» — Бестужева. Говорили, что государыня с Орловым съехала в ростовский Воскресенский монастырь, к переносу мощей святого Димитрия, и что без них граф Бестужев составил всеподданнейший адрес за подписью высшего духовенства и генералитета о том, чтобы ее величеству выйти за принца Иоанна, а буде не угодно, то, по примеру предков, бывших российских царей, избрала бы она в супруги кого-либо из своих верноподданных. Но встретилась преграда.

Первый помощник и недавний друг Орлова, Федор Хитрово, как верный патриот, подобрал партию недовольных. В союзники с ним стали оба Рославлевы, Пассек, Ласунский, за ними Баскаков и Барятинский — словом, чуть не все главные вожаки и «партизаны» бывшего переворота.

— Григорий Орлов глуп, — толковали в Москве, — и больше все строит брат его, дубина Алексей, да старый черт Бестужев, но все может случиться, — одна надежда на Панина.

«Вот случай, — подумал Мирович, — другого не будет. Орлов... посетитель Дрезденши, и я с ним был во дни оны близок, даже обыгрывал его на бильярде... Ничтожный, безвестный офицеришка готовится взойти на такую ступень... Попробовать разве, попытать? Или и его — к дьяволу, лучше не трогать?..

Бродя без цели, без мысли по Москве, он опять невольно вспомнил об Орлове, расспросил кое-кого, собрал нужные сведения и отправился к нему на Шаболовку.

Пышный, хлебосольный и всюду уже гремевший дом графа Григория Григорьевича был на фронтоне украшен лепным гербом, с надписью: «Fortitudine et constantia»[1]. Москва, знавшая хоромы старой знати: Шереметьевых и Нарышки-

---

[1] «Стойкостью и постоянством» *(лат.)*.

ных на Воздвиженке, Трубецких — на Покровке, Куракиных — на Басманной и Салтыкова — на Дмитровке, ездила теперь, с рабским решпектом, на поклон, на недавно глухую, мещански пустынную Шаболовку, где новопожалованный «граф Римской империи» на беговых дрожках объезжал рысаков или платком в слуховое окно гонял голубей. Над улицей и садом кружились стаи дорогих турманов: двуплекие, сероплекие, полвопегие, с подпалиной и без подпалины, ногатые, мохнатые и всякие. Голубиная потеха графа сменялась медвежьей либо волчьей травлей, травля — кулачным боем, а бой — чтением изданий Жоконды, древних писателей о сельском хозяйстве или исполнением во дворце нежных менуэтов и гавотов.

Мирович застал Орлова за бритьем, в халате. Доложив о себе, он вошел сурово, поклонился с достоинством.

— А! Дивно победная пятерка! — вскрикнул по старине Григорий Орлов. — Вот не ожидал. Извини, братец, что так принимаю. Сам люблю бриться... Садись. Тороплюсь к приему. Но, говори: просьбишка, чай, какая? Денег? Да что похудел? Болен был? А?.. Вот как! Жаль, жаль...

Мирович прямо приступил к делу: в кратких словах рассказал о своем прошлом, о случае с предком и с низким поклоном стал просить Орлова о содействии к возврату ему и сестрам хотя части неправильно конфискованного имения бабки.

— Ты меня извини, — кончив брить щеку и занявшись подбородком, сказал граф Григорий, — это другим, братец, пой, а не мне. Я — стреляный волк. Ну, что плетешь тут хоть бы о предках? И какой, так-таки скажи по совести, резон, чтоб отдать тебе вон когда, еще при Первом Петре, отписанные ма́етности твоих дедов? Из каких, например, благ? Не сердись, слушай и с толком, смирнехонько рассуди. Сядь, не вскакивай... Ведь поместья те, чай, тогда еще пожалованы в другие руки, а там, смотри, перешли и в третьи?

— Верно говорите, ваше сиятельство... — с досадой, побороя в себе желчь, ответил Мирович. — Но все же во

власти монархини исследовать, узнать корень истины и возвратить внукам неправильно отнятое, а нынешних владельцев тех имений ублаготворить чем иным...

— Да из-за чего, разбери ты? — сказал, отведя бритву и взглянув на гостя через зеркало, Орлов. — Для каждой милости нужны причины, отличье, права...

Злость взяла Мировича. «Так вот он, любимец фортуны, — думалось ему, — в золоте по горло сидит, вымытый, выхоленный, сытый, опрысканный духами. Одно вон белье какое... с кружевами, сквозит... А нам-то каково? Удался бы мой тогдашний умысел, был бы я на твоем месте. Ишь как теперь поглядывает бесстыжими, смелыми глазами».

— Услуги и мои права, ваше графское сиятельство, — сказал он, пересиливая обиду и гнев, — в действительности, видно, не примечены...

— Какие услуги? Это любопытно, voyons...[1]

Граф нагнулся к зеркалу, пробривая место вокруг темной, пушистой родинки, на левой румяной щеке.

— Известно вам, граф, с Перфильевым в те последние дни, перед предприятием, я, по вашему указанию, играл в карты... Изволите вспомнить, какой вышел авантаж...

— Ах ты, потешный! Да ты же, припомни, был тогда в выигрыше и все его ремизил — пять робберов, помнишь, девятка опять же, все бубны у тебя... ну! Одним махом заграбастал, чуть не сорвал у Амбахарши весь банк...

Мирович с холодною злобой улыбнулся.

— Была тогда и другая, более важная причина, — мрачно сказал он, — да вы не поверите... скажете: вымышленно, с расчетом...

— Говори, братец, слушаю, — искоса взглянув на него и опять начиная бриться, произнес Орлов.

Мирович просветлел и, точно переродившись, стал в необычайную, напыщенную позу.

---

[1] посмотрим... *(фр.)*

— Я был спасителем государыни, в числе прочих... я главную оказал услугу... облегчил ей престол! — проговорил он, окидывая гордым, подавляющим взором Орлова.

— Как, что? — спросил и заикнулся Орлов.

Мирович подробно рассказал о случае с колесом в коляске государыни при ее уходе из Петергофа.

Орлов так и покатился со смеху.

— Ай да козырь-хохол! Молодец! — вскрикнул он, бросив бритву, махая руками и заливаясь на все лады. — Вот так одолжил, придумал! Всех, молодчина, всех льстецов, искателей фавора разбил в пух, заткнул за пояс... никто так не нашелся, — всех!.. Так *тебе* троном обязаны? Тебе? Ну, клянусь, это сто́ит, по чести сто́ит... ха-ха...

— Но позвольте, граф, — с краской стыда и оскорбления перебил его Мирович, — вы вправе отвергнуть, пренебречь, но я истину сказал... Издевки обидны... черт! Можете осведомиться у своего братца или у господина Бибикова — они, если не видели, то слышали... как я тогда...

— Ой, пощади, пощади! — восклицал, катаясь по софе, Григорий Орлов (его звонкий, раскатистый смех далеко разносился по комнатам). — Изволь, наведу справки... беспременно наведу... Ха-ха! И семи мудрецам того не придумать... ой, убил, разодолжил...

— Разумеется, что вам стоит учинить дознание, расследовать! — сказал степенно Мирович. — На бумаге все объяснится, как и что-с, хоть бы и насчет отнятых имений моих предков...

— Ах вы, хохлы, архивное семя! — произнес, вставая, Григорий Орлов, и Мирович заметил неприятное, общее братьям, нагло-решительное выражение его красивых, как он выразился в уме, «бесстыжих» глаз. — Все-то вы, извини, с челобитьями да с попрошайствами! Нет того, чтоб терпеливо трудиться, смирнехонько ждать, служить. Все-то твои соотчичи измышляют да подводят... Ну, станем мы из-за тебя рыться в древних ваших хохлатских шпарга́лах, бумагах? — сказал, посмотрев в сторону и думая уж о другом,

Орлов. — И может ли быть, чтоб в бозе почивающий Великий Петр так неправильно решил дело твоего деда?

— Честью уверяю честью! — возвысил голос Мирович, чувствуя, как слезы подступали к его горлу. — И не о себе токмо прошу... у меня, граф, сестры-девицы проживают в убожестве... а мои предки были из первых на Украйне, служили верой и страдание приняли за родину и за ее права...

— Хорошо, — небрежно ответил граф Григорий, даже не совсем расслышав последние слова гостя, — увижу гетмана, наведайся — поговорю с ним, попрошу...

«Ужели опять к нему идти? — рассуждал Мирович, кончив поручение, данное ему от полка. — Дьяволы! Что толку?.. Станет снова издеваться зазнавшийся бильярдщик да трактирный мот... Где ему, с этакой хоть бы вышины, разглядеть горе да бедность других? Правду о нем сказал мученик, архиепископ Арсений: “Не его чести и рыла затеянное дело”».

Срок командировки истекал. Надо было возвратиться к полку. Весна и лето в то время стояли холодные. Дул северный ветер, и каждый день шел дождь. Но Москва веселилась.

Народные гульбища в апреле и в мае были оживленны. Под Новинским какой-то силач швед вызывался помериться в единоборстве с русским. Все стремились туда.

С возвратом государыни от богомолья на московских улицах и площадях, при барабанном бое, был опубликован «манифест о молчании». Тетрадка «Московских Ведомостей» от четвертого июня, с этим манифестом, зачитывалась нарасхват. В нем воспрещались всякие толки «развращенных нравами, праздных людей», «кои дерзкими ухищрениями, всюду порицают правительство и все нерушимые, гражданские права», развращают и других «слабоумных и падких на вредную болтовню людей».

Прочтя эту публикацию, Мирович окончательно раздумал идти к Орлову.

«Ну его к бесу! — размышлял он. — Еще сочтут опасным, притязательным критиканом, недовольным судьбою, хулителем государственных мер. Новый фаворит, Орлов, отвернулся, пренебрег... Не вспомнить ли *старого*?.. Разумовский — земляк и когда-то, при покойной царице, благоволил ко всем нашим и ко мне...»

XXVIII

У РАЗУМОВСКОГО, НА ПОКРОВКЕ

В воскресенье восьмого июня Мирович пошел к графу Алексею Григорьевичу Разумовскому. Погода была, как и все те дни, пасмурная, невеселая. То смолкал, то опять моросил дождь.

Разумовский, с приезда со двором в Москву, жил в своем доме на Покровке, рядом с церковью Воскресения в Барашах, купол которой с тех пор, в память венчания в ней царицы Елисаветы с графом, украшен золотою короной. Иконостас этой церкви перевезен впоследствии в Почеп.

Мирович приоделся, даже завился в цирульне и пошел к обедне на Покровку. Он располагал подойти к графу в церкви, где Алексей Григорьевич любил пленять москвичей хором собственных певчих и где он сам, бархатно-певучим, звонким, несколько в нос голосом читал Апостола. У обедни граф не был. Мировичу сказали, что он простудился на придворной охоте, был не совсем здоров и около недели не выходил из дому.

Мирович, на всякий случай, решился зайти в графские хоромы и велел о себе доложить. Сверх ожидания, его не заставили долго ждать с ответом.

— Пожалуйте, — тихо, с улыбкой и южным акцентом сказал степенный, залитый в золото галунов, неслышно двигавшийся по ковру, украинец-камердинер, по знаку швейцара

показавший гостю дорогу вверх, по разубранной цветами лестнице.

«Увижу прежнего, всесильного, бывшего в таком высоком случае человека! — думал Мирович, подходя к кабинету Разумовского. — Он старался быть патроном не только моим, но и моей семьи. Не забывал когда-то Алексей Григорьевич земляков-малороссов, хоть и вышел из черни, из лемешовских пастухов».

Прошлое, далеко улетевшее время мгновенно встало, ожило в мыслях Мировича. Он вспомнил свой приезд с покойным отцом, на волах, в Петербург, прием в Аничковом саду у графа, плясание «трепака» и пение хвалебного канта перед императрицей Елисаветой, определение в кадеты, игру на театре в Гостилицах, встречу с Пчелкиной и многое, теперь минувшее навсегда.

Сильно похудевший и осунувшийся, но все еще замечательно красивый, Разумовский не сразу узнал Мировича, когда тот, введенный камердинером, стал у порога и почтительно, «с решпектом» отвесил ему низкий поклон. Граф сидел с книгой у камина. Он был в белом вязаном колпаке поверх серебрившихся, ненапудренных волос и в светло-голубом, на серых мерлушках, бархатном халате, со звездой на груди.

— А, земляче! Постой!.. Мирович, кажется?.. Он? Так и есть, вот не ожидал! — вглядевшись в гостя и улыбаясь карими, с краснинкой, ласковыми глазами, сказал Алексей Григорьевич. — Откуда Бог принес?

Мирович объяснил.

— Так не с рубежа, не с Переяслава? Гей-гей! Шкода ж, братику; поедят там без нас все вареники, галушки и шуликú... садись, сердце, вот так... Что хмурый стал? Только постой, прежде побожись: не едешь домой на волах?

— Не еду...

— А собака мохнатая, Серко, жива?

Мировичу было не до шуток.

— Удостойте, ваше графское сиятельство, выслушать партикулярно, — сказал он дрогнувшим голосом.

Разумовский поднял брови, опустил на колени книгу и все еще не покидал улыбки. Ему также вспомнились иные, более счастливые годы, время Елисаветы — время его сказочного, беспримерного «случая» — улетевшего значения, силы, общей зависти и общего раболепного почета.

— Ужели ж, голубчик, дело? И так-таки именно до меня? — спросил Разумовский.

— Коли дозволите, персонально к вашей чести.

— Не верю, убей Бог, не верю, — произнес, покачав головою, граф, — забыт я, вовсе обойден; отписали в инвалиды. Да кому я чем могу быть ныне полезен? Все новенькие пошли, да какие! Спереди блажен муж, а сзади — всякую шаташася языци... Так-то, земляче! Оно и дело: не всем большим под образами сидеть. Чужи пивни весело поют, а на наших типун напал — спят, сучи сыны, аж потеют...

Мирович собрался с мыслями.

«Все ему расскажу, — подумал он, — попрошу его совета. Хитер он и тонок; наставит как следует, укажет теперь откровенно, где и кого просить».

— Не откажите, век Бога заставите молить, — сказал Мирович, — вы же первый когда-то нам помогли — определили меня в корпус! Открыли жизни путь...

— Да изволь, изволь, охотно, — в чем дело? — вздохнув и подвигаясь с креслом, произнес Разумовский. — Сегодня я никого к себе не жду... При дворе, братец, куртаг, толкотня, суета; я репортуюсь хворым, каторжная лихоманка, иродова дочь, так уцепилась, что не откреститься. Сюда, поближе, к камину, вот так, я все зябну да, видишь, вот чем душу отвожу на одиночестве, — прибавил, указав на кожаный фолиант, Разумовский, — выходил всех букинистов, все книжные лари на Никольской, был у Козырева, Романчинцова и у Анохова, у Семена Николаевича Кольчугина, нигде не нашел. Да уж Ферапонтов, от Спасского моста, прислал намедни две редких, старой киевской печати

книги. Давно их искал, и цены им нет. Видишь — читай: Пролог и Маргарит... каковы литеры?..

— Маргарит? — произнес, невольно вздрогнув и изменяясь в лице, Мирович.

— А что? И ты до них охотник?

— Да так-с, извините... я слышал, я знаю эту книгу.

— Откуда ж ты ее знаешь? Где видел? Книга редчайшая...

— В Шлиссельбургской крепости, — сказал Мирович. — Заключенный принц, Иоанн Антонович, ее читал и сказывал о ней...

— Принц Иоанн? В Шлиссельбургской крепости? Где же ты и как видел его?

— Необычным и нежданным случаем, мимолетно, на миг...

— Своими глазами видел?

— Своими...

— Расскажи, голубчик, расскажи: это любопытно.

Мирович сообщил о встрече с узником. Разумовский внимательно его выслушал, задумался и, сняв колпак, набожно перекрестился.

— Не привелось мне видеть несчастного, — сказал он, — а ты знаешь, в каком я был почете: мог бы! Боже! Неисповедимы пути промысла Твоего... Что ни первые в свете люди — низвергаются с высоты, а последние, гляди, возносятся, восходят... И все то недаром, братец, не попусту...

— Извините, ваше сиятельство, — как бы что-то вспомнив, произнес Мирович, — после той экстраординарной и почти чудом ниспосланной встречи мне более не удалось видеть принца. Знаю только, его перед переворотом привозили в Петербург, на дачу Гудовича. Где он теперь находится?

— Все там же, в Шлиссельбурге, — ответил, отвернувшись и махнув рукой, Алексей Григорьевич, — впрочем, вру, вывозили его тогда летом, после Петербурга, еще в Кексгольм.

— Для чего?

Разумовский помолчал.

— Да ты не проговоришься? — спросил он.

— Помилуйте, и то, что я передал сейчас, — вам только открыл.

— Сказывают, нынешняя государыня пожелала его видеть, — ответил, оглядываясь, граф, — и то рандеву было устроено как бы ненароком.

— И это верно? Ее величество точно видела принца? — спросил Мирович.

— Как тебя вижу, — с неудовольствием, сумрачно ответил Разумовский, — все неподобные затеи и колобродства искателей невозможного! Не сидится им. Чешутся пальцы... Стряпают дерзостные конъюнктуры, перемены, аки бы в пользу невозвратного умершею, а поистине — в свою только пользу... Ненасытные, наглые себялюбцы и слепцы! Докапываются прошлых примеров, пытают, ищут... да руки коротки... Теперь, впрочем, слышно, склоняют принца принять монашество, духовный чин — и он согласен... и хотя страшится святого духа — хочет быть митрополитом... Так ты видел принца, и он, читая Маргарит, применил к себе сказания о крестителе Иоанне?

— Применил.

— Загадочное и непостижимое знамение... Да! Чудным, поучительным и, как бы оцт и желчь, горьким смыслом пропитана вся эта книга Маргарит — о ненасытных в помыслах и алчбе женах... Слушай, братец, окажи мне одну маленькую услугу...

— Приказывайте, граф.

— Ты в оны дни в корпусе хорошо списывал ноты, — сказал граф, — и нашивал мне в презент копии, с хитроузорочными виньетами... Так вот что... Ну-ка, искусник, присядь да и спиши у меня тут, на особую бумажку, вот эти самые слова об Иродиаде, что, как ты говоришь, повторял принц, и вообще о злых женах. Я и сам был горазд списывать; но ослабло зрение и руки что-то — видно, от

хворобы — не слушаются, дрожат. Вон в этой горнице столик, а возле него — видишь? — на стенной этажерочке бумага и чернильница. Пока светло, приладься там, сердце, у окна и спиши... Завтра с почтой я пошлю одному благоприятелю в Питер... Только стой, одначе... куда же ты? Погоди!.. И я-то хорош! Даю тебе комиссию, а о твоем персональном деле, прости, тебя и не спросил... Ну, что? Чай, все о том же предковском деле? Ужли не забыл?

— Как забыть? Помогите, ваше сиятельство, явите Божескую милость.

Мирович поклонился.

— Совсем без средств, — сказал он, — тяжела, ох, тяжела нищета, когда знаешь, как живут и благополучны другие, ничтожные люди...

— Да что же я, братику, поделаю? Сам видишь — мы, прежние, разве у дел?.. Хлопочи, ищи у новых. Они в силе: все в их руках.

— Помилуйте, граф, одно ваше слово, намек...

— Миновало, сёрденьку, говорю тебе, миновало... Были у Мокея лакеи — ныне ж Мокей... сам стал себе лакей...

— Шутите, граф, и притом — кого же просить?

— Иди к главному — к Григорию Григорьевичу Орлову: лично не знает тебя — постарайся через его братцев найти к нему доступ...

— Был уж у него.

— И что ж он?

— Не токмо отверг, пренебрег за особые, невымышленные, первого ранга услуги. Сказать ли всю истину?

Мирович подробно рассказал Разумовскому о знакомстве с Орловым и с его сообщниками у Дрезденши («Что теперь мне молчать!» — думал он); сообщил об игре с наблюдавшим за ними Перфильевым и о случае с колесом государыниной коляски. «Да вы думаете, что я вру, вру? — задыхаясь, бледными губами повторял Мирович. — Ну, скажите, можно ли это выдумать? Есть живые свидетели, их можно спросить... Ужли отрекутся?..»

— Человеческая гордыня — Арарат гора вышиною! — презрительно сказал, покачав головой, Разумовский. — Только ни один ковчег истинного людского счастья еще не приставал к этой горе, не спасался.

— Так как же после такого афронта? — продолжал Мирович. — Идти ли к графу Григорию Григорьевичу? А особливо когда все в городе толкуют о новых, сверхобычных почестях, кои его ожидают...

— Какие, сударь, такие еще почести? — поморщась, спросил граф.

— Да о браке! Ужели не слышали?.. По примеру, извините, вашего сиятельства...

— О браке? — произнес, вдруг выпрямившись, Разумовский. — О браке? Так и ты слышал? Из решпекта и должной аттенции к графу Григорию Григорьевичу, я бы умолчал, но уповательно... нонешние..

Алексей Григорьевич не договорил. В кабинет торопливо вошел тот же степенный, залитый в золото галунов и неслышно двигавшийся по коврам украинец-камердинер.

— Кто? Кто? — спросил, не расслышав его, Разумовский.

— Его сиятельство, господин канцлер, граф Михайло Ларионыч Воронцов.

Разумовский удивленно посмотрел на дверь, потом на Мировича.

— Странно... сколько времени не вспоминал, не жаловал... Проси, да извинись, что, по хворобе, в халате — в дезабилье.

Слуга хотел идти.

— Нет, стой... А ты, голубчик, — обратился граф Алексей к Мировичу, — все-таки вот тебе эта самая книга, возьми ее и присядь вон там... или нет, лучше у моего мажордома, на антресолях, — там будет спокойнее. Пока приму канцлера, не откажи, будь ласков, сними копийку с отмеченного. Согласен?

— Охотно-с.

Слуга провел Мировича ко входу на антресоли и поспешил в приемную.

Разумовский помешал в камине, взял со стола книгу «Пролог» и, усевшись опять в кресле, развернул ее на коленях. «Что значит этот нечаянный и, очевидно, не без цели визит? — раздумывал он. — В пароксизме лежал, не наведывался, а теперь... странно...»

Прошло несколько минут тревожного, тяжелого ожидания.

В портретной, потом в бильярдной, наконец — в смежной, цветочной гостиной послышались звуки знакомых, тяжелых, с перевалкой, шагов. Вошел с портфелью под мышкой, в полной форме и при орденах Воронцов.

— Чему обязан я, Михайло Ларионыч? — спросил Разумовский, чуть приподнимаясь в кресле навстречу канцлеру. — Извините, ваше сиятельство, как видеть изволите, вовсе недомогаю — старость, недуги подходят.

— Э, батюшка граф, Алексей Григорьич, — сказал, склонив с порога курчавую, с большим покатым лбом голову и расставя руки, Воронцов, — всем бы нам быть столь немощными стариками-инвалидами, как вы.

— Милости просим, — произнес, указав ему возле себя кресло, Разумовский.

— Никого нет поблизости? — спросил, оглядываясь и садясь, канцлер. — Могу говорить по тайности?

— Можете. В чем дела суть?

— Негоция первой важности, и вы, граф, изготовьтесь услышать и, через мое посредство, дать ее величеству должный и откровенный ответ.

— Я-то? — уныло, упавшим голосом проговорил Разумовский. — Ну, куда, для каких негоций я гожусь, отпетый, сил лишенный отшельник?.. Вот книгами лишь священными питаюсь, грешную душу упражняю поучениями, житиями угодников.

— Государыня, всемилостивейшая наша монархиня приказать мне соизволила, — продолжал Воронцов, — изгото-

вить и вам по тайности показать вот этот прожект указа... (Он заглянул в портфель, потянул было оттуда и опять там оставил заготовленную бумагу.) В указе, государь мой, изображено, что, в память и в дань высокого благоговения к почивающей в бозе благодетельнице — тетке своей, императрице Елисавет Петровне, государыня признала за благо вам, сиятельный граф, гласно и всенародно, как законно, хотя бы и втайне венчанному супругу покойной монархини, дать титул высочества...

— Что вы, что, — как бы в ужасе, замахав руками, сказал Разумовский, — как можете вы это говорить? Ну дерзну ли? Мой Бог! Да ужели не нашлось, кто б решился в том перечить ее величеству?

— Я первый, коли простите, возражал, — сказал, склоняясь, канцлер.

— А еще кто, еще?

— И Никита Иваныч за мной излагал резоны.

— Благодарение Богу и вам с Никитой Иванычем! — приподняв колпак и смиренно перекрестясь, сказал Разумовский. — Спасибо... доподлинно вы угадали мои чувства и мысли...

— Но всемилостивейшая государыня наша, — продолжал канцлер, — через меня неуклонно и, во всяком случае, к тому ж решила вам передать еще одну, нарочитой важности, просьбу.

— Какую?

— В иностранных курантах и в секретных отписках резидентов давно пущены ведомости, будто бы у вас, граф Алексей Григорьич, хранятся доподлинные, за должной скрепой, документы о браке вашем с покойной императрицей. А посему ее величество, как в вас интересуясь, поручила вам сообщить, чтобы вы не отказали вручить мне те отменной важности свидетельства для начертания, на сообщенный вам обжект, законного и для всех очевидного о том высоком титуле указа.

— Документы, государь мой? — заторопившись, несмелым голосом спросил Разумовский. — Свидетельства о браке моем ее величеству нужны?

— Так точно.

— Дозвольте же, — помолчав, продолжал граф Алексей Григорьич, — не откажите прежде и мне самому просмотреть оный, составленный вами, набросок.

Воронцов почтительно подал ему бумагу, Разумовский просмотрел ее, возвратил и, положив книгу на камин, встал с кресла. Он медленно подошел к шкафу, достал из него окованный серебром, черного ерша ларец, снял с шеи ключ и вынул из потайного ящика сверток обвитых розовым атласом бумаг. Развернув сверток, он оболочку его бережно спрятал на место, а бумаги, подойдя к окну, начал читать с глубоким, благоговейным вниманием. Воронцов не спускал с него глаз...

«Понял ли, ужели все сразу понял?» — думалось Михайле Ларионычу.

Просмотрев бумаги, Разумовский их поцеловал, взглянул на образ и, возвратясь к Воронцову, оперся о выступ камина. В лице Алексея Григорьевича изображалось неподдельное, сильное душевное волнение; глаза были влажны от слез. Он с минуту постоял, глядя в камин, вздохнул и, перекрестившись, молча бросил сверток в огонь.

— Я, ваше сиятельство, — сказал он, садясь, — завсегда был ничем более, только верным рабом покойной нашей государыни, Елисавет Петровны, осыпавшей и меня своими благодеяниями превыше заслуг.

Канцлер поклонился.

— И никогда я, граф, — слышите ли? — продолжал Разумовский, — никогда не забывал, из какой доли и на какую стезю возвела меня наша монархиня. Обожал ее — как сердобольную мать, поклонялся ей — как благодетельнице миллионов, и отнюдь в помыслах не дерзал лично сближаться с августейшим ее царственным величием...

Воронцов сидел как на иголках. Все виденное и слышанное превзошло его ожидания, казалось ему сказочным, несбыточным сном.

— И верьте, батюшка Михайло Ларионыч, — смигивая слезы и схватив его за руку, сказал былой «лемешовский пастух», — верьте мне, простому, нехитрому хохлу, и не сочтите за ложь и притворство... Горе великое, государь мой, горе мелким случайным людям в слепом, переходящем фаворе посягать на столь смелые, гибельные мечты... А если б то именно, о чем вы говорите, некогда и было, то я отнюдь не питал бы дерзкой и безумной суетности признать случай — говорю о том прямо, — могущий только омрачить, а отнюдь не приумножить славу покойной государыни — общей нашей благодетельницы.

— Понимаю вас, граф, и, дивясь вам, душевно поздравляю! — сказал, встав и радуясь успеху поручения, Воронцов.

— Теперь вы убедились, сударь, — ответил, встав в свой черед, Разумовский, — убедились, что отныне нет у меня никаких документов... Доложите же о том ее величеству — да продлит она, дарами обильная, свое благоволение и относительно меня, верного своего раба... А о том, что сожжено, будет знать токмо мое сердце... Пусть люди врут, что им взбредет на мысли; пусть дерзновенные — понимаете ли меня, граф? — пусть, в ненасытной алчности, простирают свои надежды к опасным, мнимым величиям... Мы с вами как истинные патриоты, как верные отечества слуги не должны быть причиною их толков и пересуд...

Воронцов откланялся. Его карета быстро загремела по Покровке и далее ко дворцу.

Доклад его о поездке к Разумовскому был принят отменно ласково. При докладе был и Григорий Орлов.

— Мы понимаем друг друга с Алексеем Григорьевичем, — сказала при этом Екатерина, — тайного брака покойной тетки с графом никогда не было... Признаюсь, праздный шепот об этом был мне всегда противен. И недаром почтенный граф от Разумника происходит — сам дога-

дался меня в столь щекотливой факции предупредить. Иного от прирожденной всем малороссиянам самоотверженности я ожидать и не могла.

Орлов, как говорили потом Разумовскому, вышел из кабинета государыни бледный, сильно смущенный и с заплаканными глазами.

Не скоро по отъезде канцлера пришел в себя Разумовский.

Он, свесив голову, неподвижно глядел с кресла в тихо мерцавший камин. Мысли его были далеко: перед ним рисовалась подмосковная слобода Александровская: он сам, молодой, статный певчий Алеша, ходит в хороводе сенных девушек, а об руку с ним голубоглазая, с русой пышной косой, красавица, царевна, Елисавета Петровна; далее — Гостилицы и Аничков дом, свидетели стольких лет счастья, общих поклонений и почета...

Алексей Григорьевич встал, отер глаза, спрятал ларец и тут только вспомнил об офицере, посланном на антресоли для списывания копии из книги Маргарит. Он позвонил слугу. Мирович снова вошел в кабинет.

— Ну, что, земляче, списал? — спросил, ласково улыбнувшись, Разумовский.

— Готово.

— Спасибо, садись, говори. Так как же, друже?.. Ждешь помощи, совета?

— Не откажите, ваше сиятельство, замолвить слово своему братцу, гетману.

— Брату! Не туда метишь. Не той теперь мы оба силы. Миновало, повторяю, отжило... А вот что тебе скажу. И ты, сердце, меня послушай... Поезжай на родину, да чем скорее, тем лучше. Бери отпуск, а то и вовсе абшид от службы. Коли есть у тебя приятели, родич ли, чужой, лишь бы добрый человек, все брось и гайда до дому... Эй, хлопче, послушай меня... езжай... Есть на родине, Донце, приятели?

— Есть.
— Кто?
— В Харьковском наместничестве — товарищ по корпусу, помещик Яков Евстафьевич Данилевский и другие...
— Ну, и езжай пока хоть к нему.
— Но для какого ж резону ехать, не кончив дела?
— Твоему отцу я когда-то говорил, и тебе тот же совет: похлопочи там, на месте, а не здесь; авось найдешь ну хоть какие-нибудь письменные документы о поместьях твоей бабки. Отыщешь, тогда можно будет и похлопотать, и я в таком разе первый твой слуга. А без того, сердце, прямо говорю, и не надейся. Что было, то прошло, что будет, повидим. Мертвого из гроба не вернешь. А коли на то пошло — то еще лучше вот что...

Разумовский остановился, глядя на дверь, куда ушел Воронцов.

— Ты молод, не глуп, не прост, — продолжал он, — старайся сам себе проложить дорогу. Приглядывайся, ищи примеров на других, подражай... Брось бабьи бредни и — скажу тебе словами брата-гетмана — бери фортуну за чуб... и так-таки... без церемоний и просто, за самый то есть чуб... И верь, будешь при том таким же счастливым, как и все... понял?

— Даст ли только фортуна взять себя? — сказал Мирович. — Шутить изволите, сколько неудач...

— Сомнения? — произнес, усмехнувшись, Разумовский. — Не хватит храбрости? Ну, тогда и вовсе оставайся на родине... Живи с овечками, с волами, Серком... Эх-эх! Родина, великая, вольная степь, зеленые байраки, сады, хутора!.. Ну, веришь ли, сердце, веришь? Вот я и граф, и богат, и все — а побей меня Бог и наплюй ты мне, как собачьему сыну, прямо в глаза, коли вру... Все я, слышишь ли, готов бросить, все: и почести, и богатство, и знатность, — лишь бы возвратиться тем, как был, Козéлец в нашу слободу Лемешú кончить век рядом с дедовскими могилами, что на погосте в Чемерах... И знаешь ли — может,

опять не поверишь, да и как поверить? — вон у меня своя музыка, хоры певчих, театр; а я о сю пору, брат, слышу соловьев да жаворонков, что пели когда-то по зорям в отцовских и дедовских наших тихих садах.

Разумовский закрыл лицо. Серебрившаяся сединой, ненапудренная его голова упала на белые, похуделые руки. Слезы из-под пальцев закапали на голубой, бархатный халат.

Мирович принял совет графа Алексея Григорьевича. Снабженный щедрым его пособием, он взял от коллегии полугодовой отпуск и в половине июня 1763 года по домашним делам уехал сперва к приятелю Якову Евстафьевичу, в Изюмский, потом в Переяславский уезд. Перед выездом на родину он получил письмо из Петербурга от Ушакова, где тот, между прочими новостями, извещал его, что Поликсена, как передали Птицыны, оказалась на Оренбургской линии, где проживала при детях высланного в коменданты Татищевой крепости князя Чурмантеева.

XXIX

КУМОВА ПАСЕКА

И снова родина, синий вольный Днепр, лесистый берег впадающего в него Трубежа.

Тянутся вверх и вниз по Трубежу кленовые и липовые дебри, красно- и сероглинистые яры, поемные луга, полные дичи и рыб заливы и озера. Вот Барышевка, а вот, за Сулимовкой, не доезжая Остролучья, в зеленой дремучей яворщине, и кумова пасека!

Узнал ее Мирович. Как поставил кум внизу — край долины, у Трубежа, — свой пчельник, так он здесь многие годы и стоит. А на горе село Липовый Кут, бывшее когда-то за предками Мировича. От реки видна трехглавая церковь, вправо и влево сады и белые хаты поселка. Там, где старая дуплистая верба и с почернелым

журавлем колодец, видны ворота и трубы кумовой хаты. Зиму кум Майстрюк, занимаясь бондарством, живет вверху на селе, с весны откочевывает вниз на луг у Трубежа. Пчел на пасеке и седины в усах и на голове кума прибавилось; но все тот же он и та же, на лугу, в тенистой, зеленой яворщине, его пасека.

Сильно обрадовался Данило Тарасович сыну покойного кума, Якова Мировича. Не знал, куда посадить гостя. Хоть и дошли к нему слухи, что Василий Мирович уже офицер, но, при виде его, он смешался и не сразу признал в нем того заморыша-мальчонку, который босиком когда-то бегал со двора его в лес, строгал веретена и дудки и пел в церкви с дьячком. Мирович зашел в хату Данилы, увидел там его «старую», седую Улиту, увидел у ворот дуплистую вербу и колодец с журавлем. Прошел он на выгон и к церкви, в ограде которой когда-то он играл с ребятишками; отыскал на кладбище крест над могилой отца и долго тут стоял, повеся голову и думая. Когда же он, знакомой тропинкой, спустился в лес, увидел спрятанный в гущине дубов и яворов плетеный, мазанный глиной шалаш и ряды покрытых лубками ульев, когда услышал гуденье пчел, крик удодов, горлинок и коростелей — сердце его сжалось, и радостные, теплые, давно не испытанные слезы побежали из его глаз.

Дед Данило угостил Мировича, дал ему отдохнуть с дороги и стал расспрашивать об учении, о службе и обо всем его прошлом.

— А ходи, братику, сюда, — робко и ласково сказал дед, введя его в чистую горенку, прилепленную сзади шалаша, где, под образом, на выбеленной стене, были развешаны пучки трав, чистое полотенце, глиняная кадильничка и с кропилом кубышка святой воды. Тут же в мешке висело что-то запыленное, круглое.

— Узнаешь? — снимая мешок, спросил Майстрюк. — Это твой торбан. Ты на нем играл и с ним царице пел песни... А собака Серко, помнишь, хоть и пропала, — вон его сын, — прибавил Данило, указывая на старого, косма-

того и тоже серого пса. — Уже и этот состарился... Ну, говори, зачем же ты приехал в наши места?

Мирович рассказал Даниле цель своего приезда, сходил с ним на совет к священнику, а вскоре съездил в Переяслав и в Полтаву, условился с судейскими крючками и подал куда следует составленные прошения о разыскании нужных документов. В Пирятине, по указанию Майстрюка, проживал некий его дальний родич, отставной повытчик, Григорий Мирович. Он его и навестил. Старый, с сизым носом, повытчик объявился ему дядей, доложил, что знает всех поветовых и губернских «судовых», и вызвался за него хлопотать. Мирович выдал ему доверенность и все, что оставалось у него денег, а сам поспешил в Липовый Кут. Ему были противны духота, пыль и толкотня грязных, наполненных дегтем и рогожками городов и наглые, жадные речи и рожи пьяных судейских строчил. Его манило снова и непреодолимо в лес, в пчельник, к иволгам, горлинкам и коростелям.

«Будь что будет, — думал он, — и долго ли протянется, а такого рая мне больше не найти».

Прошел август, кончался сентябрь. Леса из зеленых становились красными и золотыми. Пчелы еще взлетали меж ульями, но их уже не было почти слышно. Собиралась отлетными большими стаями речная и лесная дичь. По зорям, в голубой выси, тянулись к морю крылатые полчища. Лес и долина смолкли. Слышалось только шуршание желтевших, махровых кистей камыша да падающей в тишине древесной листвы.

Майстрюк к Покрову повез на продажу в город собранный мед. С гостем на пасеке остался его старый подслеповатый наймит. Мирович ходил прежде по лесу и за реку на село. Теперь он больше сидел под шалашом или лежал на душистом сене в горенке, где висел торбан. Лежал он и думал о прошлом, о том, что он испытал и что было далеко, за порогом этого шалаша. Он знал, что жизнь ему не удалась; что ученье, служба не привели его к желаемому сча-

стью. Случай, фавор? Да за одну крупицу из того, что так нежданно выпадало ему на долю — не обернись колесо фортуны и не будь люди так злы, — другие вот как бы вознеслись... Командировка от Панина, личное внимание к нему заметившего его покойного государя... а знакомство с Орловым, поручение к Перфильеву? А случай с колесом... ведь это все было. Да отчего ж он по-прежнему безвестен, жалок и беден? Отчего не в высшем ранге, не знатен, лежит здесь на сене, в плетеном, соломенном шалаше? И она — властительница сердца, недоступная, гордая, злая! — и она, при ласке фортуны, иначе бы к нему отнеслась...

Мирович закрывал глаза, старался забыться, не мыслить ни о чем. Ряд дорогих, дразнивших воспоминаний вставал перед ним. Театр в Гостилицах, первое объяснение, писанье мадригалов, встречи у знакомых, разлука, переписка из заграничного похода и новая встреча в Шлиссельбурге. Он пытался думать о своем деле, как найдет он главные нужные бумаги, как получит следующее ему по праву, станет богат и даст знать Поликсене, что теперь он без стеснения может предложить ей руку и сердце. Он устремлял свои мысли к суду, к дяде Григорию, к Якову Евстафьевичу и его мирному хутору на Донце, где тот жил с молодою женой и новорожденным сыном, а из-за них, против его воли, выплывал и дразнил его злой и гордый образ далекой волшебницы.

В половине сентября Мирович сходил к священнику, попросил бумаги и послал на почту два письма. Одно было к корпусному товарищу, Якову Евстафьевичу, с извещением, что он думает опять заехать к нему в Харьковское наместничество. На другом письме была надпись: «Оренбургской линии, в крепость Татищеву». То было письмо к Пчелкиной. Мирович ей сообщил, где и почему он теперь находится, умолял ее отозваться хоть словом и прибавил, что, если она оставит это последнее обращение к ней без внимания, он сочтет, что между ними все и навсегда кончено. Ответа не приходило. Мирович ждал и, теряя терпение, окончательно убеждался в своем предчувствии. Забыв о пище, лишенный

сна, он лежал в пчельнике и не спускал с тропинки упорных, сердито-напряженных глаз, ждал, что вот-вот явится желанный ответ. Работник Данилы, охая и ворча под нос, следил за тем, что сталось с гостем. «Обидели малого, — рассуждал он. — За́молчали судовые аспиды, не выходит ему решения». Не подавал о себе вести и повытчик, дядя Григорий.

Однажды, то было в начале октября, стояли превосходные, чисто малорусские осенние дни, ясные, сухие и теплые, как в мае. Безоблачная синева высилась над тихими, пахнувшими чебрецом и калуфером дебрями, над просохшими, усеянными лиловыми головками дикого лука лугами. По лесу тянулись нити налетавшей с полей бродячей паутины. Все было чутко, все сверкало и млело под последними лучами щедрого, невысоко стоявшего солнца.

Большая муха, звонко жужжа, билась в сетке паука меж пучками цветов, висевших на стене пчельника. Мышь, шелестя, пробиралась где-то в соломенной крыше. Мирович, закинув руки на голову, лежал на притоптанном сене в углу горенки под торбаном. Мысли с невероятной быстротой менялись, проходили в его душе.

«Болото, тина, глубь реки, — рассуждал он о виденных им городах и местечках родины, — ничего-то, как есть ничего тут не знают и знать, как видно, не хотят из того, что делается там, наверху, где воля, жизнь и свет! Заговорил я о столицах — зевают только да вздыхают, поглядывая на закуски и графинчики, как бы кто скорей опять догадался предложить по маленькой. О событиях дворских ни гугу... Про столь важную перемену, всколыхавшую обе резиденции, слышали одни кончики, ничтожные пустые обрывки, либо чистый, глупый вздор — тот-де вон оттого повысился, этому дали красную, а тому «блакитную» — голубую ленту. Я о масонах, а они о ярмонке, о волах да о всходах озимей. Упомянул я о принце Иоанне... и существования его не подозревают, имени его не слыхивали. Боже! Ужели мне сюда

навек, в эту глубину, на илистое дно? Отчего ж нет? Обстригу косу и букли, запущу бороду, поселюсь тут на пасеке — кстати же Данило Тарасович полюбил меня и зовет к себе в приймы; к Якову Евстафьевичу наведаюся — как-то он копается, трудится с своим хозяйством, с долгами? И никогда отсюда, от пчел, от овец, волов и от этой яворщины — ни ногой. Здесь настоящий предопределенный людям Соломонов храм жизни; здесь вековечное, истинное счастье...»

В горенку, где лежал Мирович, вошел работник священника.

— Батюшка ездил в Переяслав, — сказал он, — и привез вашей милости с почты письмо.

Мирович бросился с пакетом к узенькому оконцу. То был ответ от Поликсены. Она сообщала из Сакмарского городка, что их туда перевели из Татищевой, что она попрежнему его помнит и ему сочувствует, но мысли ее не изменились: она просит ее оставить в покое.

«Жизнь ваша во всяком разе сноснее моей, — писала Пчелкина, — вы на родине, среди ближних, если не кровных; у вас хоть это есть, у меня и того нет. Я на границе света, среди дикарей, хищников, извергов. Грубые, злые киргизы и казацкие раскольщики — люди ли это или худшие из зверей? — бунтуют, грабят и даже режут посланных им начальников. Того и гляди вспыхнет поголовное восстание... Князь Чурмантеев просится отсюда, его не пускают. Уже давно здесь ждут, что всех истребят. Ни человеческой речи, ни книг, ни малейшей надежды на выход отселева, хоть бы в Яицк, в Оренбург. Но я не падаю духом. И хоть бы еще тяжеле и хуже было, меня не вынут ни из петли, ни из омута. Зовет меня тот самый польский знатный гусар, о коем вы намекаете, ревнуя, — предлагает от дяди место воспитательницы к одной малолетней важного ранга особе, проживающей в Италии... Понимаете? В Италию из Сакмарского городка, где кирпичный чай с салом и где по месяцам не знаешь, что делается на свете — роскошь,

И все-таки я не поеду — что за дело до того, что персону, к коей меня зовут, ожидает, как слышно, высокая судьба? Одна дочь князя умерла от оспы, я живу при другой, хворой и слабой. Ах, что за милое, кроткое дитя. У меня есть цель. А вы? Верю в доброту вашу, преданность, но простите, не верю, чтоб у вас хватило духа даже на то, о чем пишете, — из недовольства судьбой, — остаться навек в скромной, безвестной доле селянина. У таких не хватит духа. Вы будете сомневаться, упражнять, мучить себя горькими, тяжелыми мыслями, философствовать, — но сделать... это, извините, не ваш удел... Надо много воли. Читала я когда-то о древних веках, как сильные духом простые люди, жители деревень, рыбаки, пастухи, увидев сон, что им быть на верху славы, устремлялись к ней и покоряли судьбу — становились полководцами, избавителями стран, царями. Ах, то было давно и забыто всеми... Отчего люди стали так мелки, слабы душой?»

— Так вот, змееныш, скорпион! Вот куда ударила она! — скомкав письмо, вскрикнул Мирович. — Бессердечная, себялюбивая злюка!.. Только прикидывается, что заботится, мыслит о других. Вот где высказался завистливый, скрытный подкидыш, сорочье дитё! Я тебе этого не забуду!.. И все ты мне, все выкупишь!

Бешенство овладело Мировичем. С бледным от злости, искривленным лицом, с похолоделыми руками и ногами, он схватил шляпу, дрожа, вышел из пчельника и бросился в чащу леса.

Старая, лохматая собака за ним. Солнце клонилось к закату, тени сгущались. Он, дико озираясь, шагал по валежнику, по лугам.

— Так я только говорить, а не делать? — захлебываясь, в смертельной муке, шептал он спекшимися, сложенными в безобразную усмешку губами. — Так философствовать только, а от дела бегать? Что же, я мошка, что ли, ничтожная, последний, подлый муравей? — дико вскрикнул он, пробираясь сквозь гущину ветвей и,

с скрежетом зубов, радостно топча встреченную муравьиную кочку. — Я не в счету, рядовой, коих тысячами шлют под пушки и в регистры, в историю не вносят? А она — и впрямь, что ли, Дашкова? Дудки, сударыня... Не добился я почестей, богатства, не на что вам фалборы, да парчи, да левантины и всякие дородоры выписывать, так вы меня и в спину, в спину!.. Проклятая модница, искусительница, дьявол в образе женщины-волшебницы... Ну тебя к дьяволу, с твоей красой и со всеми чертями! Не хочу я знать тебя... плюю, тьфу!

С дрожью от бешенства и жажды отпора и мести вышел Мирович на открытый лужок. Здесь стемнело. Только верхи прибрежных к Трубежу холмов были еще пышно освещены. А на самой круче высокого, изрытого водомоинами взгорья стоял, весь залитый яркими лучами зари, Липовый Кут, трехглавая на выгоне церковь, ряды белых, меж садами, хат, за церковью барская, теперь чужая, когда-то родная Мировичу усадьба.

Долго смотрел Мирович на церковь, на гору и на село. Крест на колокольне погас. Сумерки покрыли поселок и зеленые по Трубежу холмы и яры. Он не замечал комаров и мошек, кусавших ему руки и лицо, обернулся, хотел идти и вдруг судорожно, громко захохотал.

— Подлец я, жадный и низкий подлец! — болезненно, до слез задыхался он. — Ропщу и сетую — на что же? — что не отдают мне того, чего у меня и не было! Деревушки, клочка земли! А он, далекий, виденный мною затворник? Он — царственный узник? Его доля какова? И мне ли, мне ли сравниться с ним? У него был венец, царство — да какое! — и его свергли, заточили, держат под замком, взаперти... Ужас, люди, ужас!

Двое суток Мирович пропадал без вести. Наймит Данилы хотел уже о нем подавать явку комиссару. На третьи сутки вечером гость возвратился немытый, всклокоченный, с разорванной обувью, в грязи. Усталая, еле двигавшая ногами собака плелась за ним. Он жадно закусил хлебом с крынкой

молока, бросил корку собаке, осведомился, возвратился ли Данило, мрачно посидел под навесом у порога и бросился на сено в шалаш. «Загулял с горя, пить стал по шинкам», — подумал о нем работник Данилы.

Мирович опять лежал в горенке и, глядя в угол потолка, прислушивался, не жужжит ли муха, не шмыгнет ли в соломе мышь? И снова, чуть закрывал он глаза, перед ним было темное взморье, барка с мертвенно опущенными парусами, испуганные лица путников и часовой на белопесчаном мыску. Грохот барабанов, музыка раздавались в ушах, колокольный звон и крики ура. «Не делать, философствовать ваш удел... Пастухи, рыбаки властелинами делались, мир освобождали... в Италию зовут, а я от бедной, хворой девочки не отхожу... кирпичный чай... из петли не вынут, из омута...»

Ночью Мировичу приснился сон: народное ликование, стрельба из пушек и во всех концах колокольный набат. Многолюдная, радостная толпа — мещане, солдаты, чернь и сановники — несут на руках отбитого из тюрьмы узника. Принц Иоанн, бледный, с кроткою сияющею улыбкой, сидит на носилках. Голова его в короне; в руках разбитые цепи и лист бумаги. Знамена веют. За криками не слышно, что он говорит. А он машет цепями и бумагой, кланяется и счастливыми, сияющими глазами ищет кого-то в толпе. «Вот он, вот твой освободитель! — кричат, указывая ему Мировича. — Вперед его, вперед... хартию ему, хартию...»

В страхе очнулся и вскинулся на сене Мирович. Лихорадка била его. Зуб не попадал на зуб. В ушах отдавались громкие крики: «Вперед его, вперед!» От глаз не отходил взволнованный бледный образ отбитого из тюрьмы узника.

— Ты мечтаешь о славе Дашковой, — в ознобе непреодолимого сладкого ужаса проговорил Мирович, — *тебе* не удалось... А что, коли *мне* удастся стать Орловым?.. Ты меня тогда обидела, обижала не раз, и я клялся, что ты мне выкупишь те слова... Время настало...

То, что подумал и впервые выговорил себе Мирович, было до того нежданно, сказочно, страшно, что он, поднявшись и нащупав в потемках дверь, босиком, в одном белье, вышел из шалаша. Ночь стояла темная, без месяца. Небо слабо мерцало звездами. Вокруг, в лесу и за рекой, была полная тишина. Мирович в забытьи, в полусне глядел с порога, прислушивался. Холод и сырость охватили его, заставили опомниться. Он взялся за косяк двери, думал уже возвратиться и вдруг окаменел... Где-то, в лесной чаще, у Трубежа, далеко-далеко послышался возглас или стон.

— Ой! — раздался в тишине как бы крик ночной птицы или человека. — Ой! Ой! — повторилось вблизи и вдали, точно охнула, уныло простонала пробужденная окрестность...

«Собака стонет? Нет, то *его* голос... то *он* меня зовет!.. — в суеверном страхе сказал себе Мирович. — Он, он, принц Иоанн! И как я забыл, как мог забыть, когда дал слово, тайно от всех ему поклялся? Я дал тогда обет, если он по-прежнему будет несчастен и нуждается во мне, явиться к нему, положить за него голову. Голову... ну, я легко еще ее не отдам; а что до обета, он исполнится свято...

Горе, горе вам, мытари, фарисеи! Воздвигну мертвую тень, призрак... сотворю суд пришельцу! — задыхаясь повторял Мирович мстительные, торжествующие слова».

Наутро возвратился Майстрюк. Он привез из Переяслава цидулку от дяди Мировича. Дядя опять требовал денег, без того, писал, в суд хоть и не кажись. Пожил Мирович еще с неделю у Данилы, раздобыл у него и у соседей, в счет будущего наследства, нужную сумму и поехал с ним в город. Дядю Григория нашли пьяного в корчме. Он растратил все деньги и пил теперь на последнюю заложенную одежонку.

— Ты не смотри, сударь, — говорил отставной повытчик, — не смотри, что я пьян... Я, сударь, все крапивное зелье знаю, бо и сам я с того зелья вырос и им орудую...

Бросился Мирович лично опять в уездный, а потом и в губернский архивы, платил, кланялся «судовым». Все было тщетно. Он решил ехать в Петербург.

— Простите же, Данило Тарасович, — сказал он на расставанье Майстрюку, — попросите и людей простить, что завезу до времени ваши деньги. Коли не смилуется сама царица, к ней теперь дойду, то не погневайтесь, обождите — из жалованья, хоть помалу, а выплачу этот долг.

— Боже тебе помоги, — ответил, кланяясь, Данило, — с отцом твоим и я, и те люди были в дружбе — хороший был человек, — и ты нас не поминай лихом.

По пути Мирович заехал к школьному товарищу, Якову Евстафьевичу, в село При́шиб Изюмского уезда, но был там недолго. Приятель-украинец и его молодая жена были изумлены рассеянностью и мрачной молчаливостью гостя, который более бродил в поле и по сугробам в лесу, на Донце, чем сидел в теплом новом доме знакомцев, слушая их мирные речи о мирных домашних делах. Яков Евстафьевич собирался в будущую осень, по какой-то тяжбе, в северную столицу. Они условились повидаться.

В исходе декабря Мирович, с письменной челобитной за себя, за сестер и за дядю Григория, приехал в Петербург. В челобитной просители говорили, что «двадцать лет назад их бабка, полковница Пелагея Захаровна, Мировичка, урожденная Голубина, с детьми и внуками, в последний раз просила покойную государыню Елисавету Петровну о возврате ей отписанных у нее, за проступок ее деверя, жалованных ее отцу и ею лично купленных в Переяславском полку деревень и что сенат, рассмотрев то ходатайство, определил — купленные угодья отдать ей обратно, а о пожалованных особо доложить государыне — но токмо это дело их и поныне еще не решено».

Челобитную Мирович подал Екатерине через Теплова десятого января 1764 года. Пятого февраля на нее последовала резолюция: «отослать на рассмотрение сенату». Сенат вновь решил: «отдачи не чинить»; а тринадцатого апреля

Екатерина, на докладе о том, подписала конфирмацию: «По прописанному здесь просители никакого права не имеют, и для того надлежит сенату им отказать».

Узнав об исходе дела, Мирович в Царском Селе лично подал новую челобитную императрице, где опять подробно прописал все обстоятельства и, сославшись на то, что сам он кое-как еще может питаться, так как получает за службу жалованье — «исключа же себя», — просил токмо за трех своих неимущих сестер, для необходимостей коих утруждал о даче им на прокормление «хотя бы *пенциона* из доказанного всюду великодушия ее величества».

Под первою, январскою, челобитной Мирович подписался подпоручиком прежнего, Нарвского пехотного полка; под апрельскою — тем же чином, но уж Смоленского полка, стоявшего в то время в Шлиссельбурге.

Он перешел в этот полк в первых числах марта.

XXX

В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ

С возвратом из Малороссии Мирович почти уже не приходил в себя — был постоянно в возбужденном, лихорадочном состоянии. Неуспех хлопот по делу сильно его раздражал.

Его движения стали угловаты, резки, голос отрывист и груб; в глазах не угасал странный, блуждающий огонь. Он то сидел по часам, нахмурившись, вяло отвечал на обращаемые к нему вопросы, то вдруг неестественно оживлялся, говорил порывисто, хотя грубо, и вдруг прерывая, точно отрезывая, начатый разговор, схватывал шляпу и уходил, как бы торопясь куда-то, трепеща к кому-то опоздать. Перешел он в Смоленский полк благодаря поддержке бывшего своего начальника, Петра Иваныча Панина. Панин был теперь сенатором и, опять допустив к себе и выслушав Мировича,

весьма сочувственно отнесся к его делу. Подав прошение, Мирович несколько раз ездил в Гатчину, где Панин, в ожидании отделки пожалованного ему петербургского дома, жил все лето с племянницей своей, Дашковой. Однажды, при входе к нему, Мирович из приемной услышал конец их разговора.

— Безграмотные ныне жалуются в умники, — говорила Дашкова, — ваш аглицкий клоб им потакает без censure...[1]

— Ну что ж, матушка, делать, — ответил Петр Иваныч, — зло преужасно, ух, велико! Скареды и срамцы сидят по норам да знай пишут страшные репорты, ну, и держатся.

— Вот бы на них Иванушку выпустить... — сказала Дашкова.

— Куда! Опять инструкция дана коменданту, — возразил Панин, — буде дерзнет сильная рука — арестанта велено живым не выпускать. Монашеский чин ему предложили принять, не хочет, страшится святого духа, все та же история — он-де бесплотный.

Голоса смолкли. Дашкова ушла.

На новую жалобу Мировича, что по его челобитной в сенате не хотят толком собирать справок, а так, по прошлым примерам, ведут дело наобум, Панин не утерпел и разразился осуждениями.

— Свинство, позор! — сказал он — Одним гребнем все чесаны... Сенаторы ж наши, нешто ты не знаешь, — лишь отголосок капризов генерал-прокурора. Одна надежда на государыню: ее проси...

Получив отказ и на второе прошение, Мирович несколько дней был как потерянный — вел с первых чисел апреля жизнь бродячую, рассеянную, стал опять посещать трактиры, герберги, навернулся к Амбахарше и к отставному майору

---

[1] критики... *(фр.)*

Павлинову, снявшему вольный дом умершей в минувшее лето Дрезденши.

Завитой и распомаженный, с сверкавшими, точно хмельными, глазами, он показался несколько раз и в модной толпе по Невскому. Но где он имел приют, где спал, где харчился — никто не знал. Деньги, привезенные с родины, приходили к концу. Надо было снова приниматься за службу, к новому начальству явиться. В другое время это бы его тяготило. Теперь на душе его стало вдруг почему-то беззаботно, легко; пустота, тишина низошли туда, точно веселый, легкий ветер перепархивал там по гладкому, цветущему полю. В таком виде его встретил в начале мая у подъезда оперного театра Ушаков. Он не мог надивиться настроению Василия Яковлевича.

— Проиграл дело, а веселишься, не унываешь, — сказал ему Ушаков, сам прогоревший опять в это время в кутеже с какими-то матушкиными сынками.

— Жить — умереть, не жить — умереть! — ответил, громко засмеявшись, Мирович любимой поговоркой самого Ушакова.

Вечером девятого мая, в Николин день, Мирович подъехал к квартире Ушакова. Под гнетом теперешних своих, особенно тяжких, обстоятельств Аполлон Ильич решил наконец выйти в отставку и уехать куда-то за Москву, где ему купчиха-кума обещала сосватать богатую невесту. Полк, в котором он служил, стоял в Петербурге, и сам он, кое-как перебиваясь, проживал в той же квартире, под Смольным, где два года назад его искал Мирович, в памятный вечер перед переворотом.

— Ты в отставку? — спросил его Мирович, неприятным, пытливым взором окидывая комнату и мрачно садясь против него, у стола.

— В отставку; что поделаешь, нечем жить, — ответил Ушаков. — Хочешь пивца? Выпьем...

— Вздор, не выходи из службы, — сказал решительно, упершись в него смелым, вызывающим взором, Мирович, — наши дела вот как вскорости поднимутся, расцветут!

— Отчего же им подняться? — спросил, глядя на гостя, Ушаков. — Какие такие кудесники тебе нагадали?

— Баста! Баста! — с приливом злобы бешено крикнул Мирович, ударив кулаком по столу. — Слышишь ли? Конец! Не шути! Мы не пешки, вот что, не прах, не муравьи... Отчего гвардейским молодчикам, шаркунам, полотерам, — продолжал он, страшно торопясь и сбиваясь, — отчего доступ всюду, во дворец и в эрмитажный, в присутствии государыни, оперный театр? А нас, армейцев, туда не пускают? Отчего по службе, в полках, офицеров из природных дворян зауряд равняют с разночинцами? А? А? Отчего мне на челобитную опять отвечено: довольствоваться, мол, прежнею резолюцией?

— Да что ты, непутный, хочешь тем сказать? — несмело произнес, вглядываясь в него, Ушаков.

— Непутный!.. Баста, говорю! — вскричал, снова возвышая голос, Мирович. — Надо теперь приняться с иного конца...

— С какого?

— Молчи, скотина... и чего ты тянешь, тарантишь, проклятая таранта? Слушай и поучайся...

Ушаков молча глядел, думая: «С ума ли он спятил или пьян?» Мирович также безмолвствовал. Было только слышно, как он дышал раздражительно и тяжело. И вдруг, нагнувшись плечом к Ушакову, он придвинулся к нему вплоть и начал ему что-то шептать, с бледной, искривленной улыбкой.

— Не слышу, — сказал со страхом Аполлон Ильич.

— Освобожу... возведу! — с неудержимой дрожью, стискивая постукивавшие зубы, говорил Мирович в лицо изумленному Ушакову. — Я решился еще первого апреля — первого апреля, ты знаешь, обман, но я решился... покончим сразу, одним махом — все... все...

— Что кончим? — опять спросил Ушаков.

— Я перешел в Смоленский полк...

— Ну, знаю; Панин помог, ты у него прежде служил; что же из того, что туда перешел?

— Чтоб был тут, понимаешь, по самой близости, — продолжал в лихорадке, опять постукивая зубами, Мирович, — захотел, ну, вздумал, — и рукой подать.

— Поблизости? К чему! Да, понял!.. С сенатом действительно не шутки... надо быть, коли начал тяжбу, наготове.

— Дурак!.. Именно наготове! Пришел пас, минута, а корд'арме-то, выходит, и к услугам, вон оно! — подмигнув, с отталкивающей, безобразной развязностью произнес Мирович. — Мушкет заряжен — искра, и сам выпалит!..

— Какой мушкет?

— Вот что, — опять низко склонясь к смущенному и напряженно слушавшему Ушакову, проговорил Мирович, — решайся, брат, и соображай. Последние выходят дни. Солнце явится в темноте... А впрочем... — недоверчиво замолчав, вдруг встал со стула и, сердито глядя перед собой, начал ходить из угла в угол по комнате Мирович.

Холод охватил Ушакова. «Что он, окаянный, и впрямь не рехнулся ли? — подумал он, следя за гостем. — Откуда явился! В белой горячке или с попойки, от карт?»

— Ах ты трус, подлый трус! — вдруг крикнул, задыхаясь от негодования и презрительно останавливаясь перед ним, Мирович. — Ну, разгадал я? Да, да?.. Душа в пятки ушла? А я-то считал его стеною, кремнем! Тьфу ты, баба-сквернавка! Скотина, право, скот! — бешено закричал он, отплюнувшись запекшимися, липкими губами. — И все-то он тянул, гнусная размазня, тянул! Извини, сударь, обчелся! Были храбрецы, да вижу — все вышли...

Мирович рванул со стула шляпу, шагнул к двери.

— Да что же это! Говори сам-то! — запальчиво крикнул в свой черед Ушаков, не в силах будучи долее терпеть упреков и брани. — Какие тут бабы? Я и сам, черт! Ты

видишь... Ну, нешто не видишь? Можно ли стерпеть? Говори!..

— Так согласен? — спросил с радостной, ликующей усмешкой Мирович. — Согласен? — повторил он, косясь на Ушакова. — Отвечай сразу, мигом... не то убью...

— Не ты, а я жду, а он мучит, непутная голова, — сказал Ушаков, — меня зовет мямлей, а сам все экивоками, жилы тянет, лается... Если решил, так не ломайся, говори... Кому не желается лучшего?

«А, наконец, готов!» — подумал Мирович, обводя комнату гордым, торжествующим взором, точно видел перед собой толпу преклоненных, покорных рабов, ожидающих от него великого, решающего слова.

Он бросил шляпу на стол, заглянул в коридор, прошелся по комнате, опять постоял у двери в сени, прислушался, запер эту дверь на крючок и, вдруг улегшись с ногами на постель приятеля, закинул руки на голову и закрыл глаза.

«Что он, оглашенный, ужели заснул? Вот еще одолжит!» — рассуждал Ушаков.

Так Мирович пролежал с пять минут, не шелохнувшись, бледный, как покойник. Только его губы слегка вздрагивали и по лицу пробегала судорога улыбки.

«И что он, пропащий, затеял? — не спуская с него глаз, мысленно допытывал себя Ушаков. — Что, как убил когонибудь или решился ограбить?»

— Я решился, — вдруг начал, не двигаясь и не открывая глаз, Мирович, — я решился... голова с плеч! А вот что... И коли ты, слушай, выдашь или донесешь — все узнаю, выслежу и порешу тебя, как собаку...

С этими словами Мирович встал, подошел вплоть к Ушакову и схватил его за грудь.

— Что ты, сумасшедший, что ты? — спросил тот, отталкивая его.

— Не мешай, молчи и помни слово, — сказал, выпуская его, Мирович, — на этот раз согласен... изволь, живи...

Руки и губы Мировича тряслись.

— Изменником, доносчиком я сроду не бывал! — обидчиво произнес, оправляясь, Ушаков. — И ты мне, слышишь, говорить этого не смей...

— Ну да ладно уж! — грубо ответил Мирович. — Где уж тут спорить, считаться?.. Так не выдашь?

— Можешь быть уверен... честью клянусь...

Луч восторженной, беспредельной радости опять осветил лицо Мировича при этом ответе Ушакова.

«Ведь мил, не правда ли, мил? — рассуждал он, с внутренней издевкой вглядываясь в озадаченного приятеля. — Порох! Чуть попрекнул, так и вспыхнул! А как я говорил? Что за штиль! Кратко и ясно!.. Вперед нас, в застрельщики, в парламентеры!.. Ему, скоробрехе, болтуну, это не к масти...»

— Еду в Шлиссельбург, — начал опять тихо, как сквозь сон, и почти не владея собою, Мирович. — Добьюсь, не в очередь, в крепость на караул. А ты, Аполлон, приказываю тебе, — я старый воробей, вот как все придумал! — достань штаб-офицерский мундир, припаси катер или шлюпку, оденься и, с флагом, под именем ордонанса ее величества — ну, Сухметьева, что ли, или подполковника Арсеньева — явишься ко мне в крепость, будто к незнакомому, на гауптвахту, и предъявишь заранее нами составленные бумаги...

Проговорив это, Мирович опять присел на постели, и ему показалось, что то, что он сказал и на что, очевидно, окончательно решился, было уже давно и случалось где-то с другим, и он теперь соображал, когда же это и где случилось? «Какой приятный, крепкий рот у этого дуралея Ушакова! — вдруг почему-то подумал он. — И глаза у него такие добрые, ожидающие от меня чего-то, с такою светлою, детскою верой; и бородавочка слева у него, над верхней губой... И как я ее прежде не заметил? И... что еще странно, он, бедняк, так продулся с купцами, голодает и стал донельзя смешон, будто выкунел, ну, точно весною заяц-русак...»

— Какие же бумаги? — спросил Ушаков, стараясь все добросовестно запомнить.

— Бумаги? Ну их, одна помеха! — опять раздражительно сказал Мирович. — А впрочем, это по части канцелярской, и ты мастер... Составим манифест сената к принцу Иоанну и другой, именной, якобы от государыни, указ — взять коменданта под арест, заковать его в кандалы и, вместе с принцем, доставить без замедления в сенат.

— Так, так! Это ловко придумано! — сказал Ушаков, начиная понимать, в чем дело. — Ну, а дальше?

— Дальше? — как бы очнулся и пересел с кровати на стул Мирович. — Не хочу, чтоб это только слова... Довольно слов!.. Нас зовут вон болтунами, философами, не хватит, мол, духа... Надо поэтому браться за дело... Сомкнемся, вместе станем сильней!

Он снова прошелся по комнате, взглянул в раскрытое окно. За окном стояла тощая, запыленная от уличной езды, чуть распустившаяся рябина. В ее ветках, будто видя внизу нечто страшное, роковое, трепыхался и беспокойно взлетывал жалкий, с тревожно распростертыми крыльями воробей. Солнце било в окно косыми, ярко назойливыми лучами. В воздухе стояла нестерпимая жара и духота. «Кошка к его гнезду, — подумал Мирович о воробье, — да пусть гибнут глупые, никому не нужные птицы! Не ахти кому нужны! — а тут вон другой глупый воробей...» — прибавил он. С этими мыслями Мирович понурился и, как больной, как чахоточный, опершись в колени, всилу переводил дыхание.

— Приказываю дальше, — проговорил он негромко, — чтоб была крепостная шлюпка и барабанщик для битья тревоги; не забудь, это первое, что нужно, первое... Больше, пожалуй, ничего... Все от собственного мужества и смелости! Возьмем и доставим принца прямо в артиллерийский лагерь, на Выборгскую сторону, а не то к артиллерийскому пикету, у моста на Литейной... Офицеры того корпуса ведь лучшие... Правда, лучшие? Других сообщников не надо. Совершим все вдвоем...

— Разумеется, не боги же лепят горшки, — самодовольно сказал Ушаков и смолк, видя, как сдвинулись брови Мировича и как снова повел глазами при этой неуместной его развязности.

— Барабанщик ударит тревогу, — строго продолжал, точно отдавая приказ целой армии, Мирович, — солдатство и народ соберется... «Вот ваш природный российский государь, Иоанн Третий Антонович! — скажу я. — Тот, коему все, в его детстве, присягали». Не так ли? Я прочту составленный нами к народу манифест и останусь охранять особу принца. Ты же, с офицерством, отправишься отбирать присягу от сената, синода, коллегий и от всей резиденции.

— А государыня? — спросил Ушаков.

Мирович презрительно отвернулся. Звериная, хитрая радость блеснула в его глазах. «Не понял, тупица», — подумал он с злобным торжеством.

— В Лифляндию едет через месяц, — проговорил он, опять садясь и не удостоив взглядом Ушакова, — сказывают гвардионцы — за нее сватается бывший тут при посольстве Понятовский, так к Варшаве шлют войско, чтоб поляки сперва выбрали его королем, и ему будет аудиенция в Риге. С Орловым ведь не удалось... слышал?

— Как не слыхать? — заторопился Ушаков. — И есть подтверждение — князь Волконский уже выступил в Смоленск для поддержки и выборов, нашему полку велено готовиться туда ж.

— Успеют еще, — небрежно зевнув, ответил Мирович.

— Ну да, если будет нужно, дай знать, — прибавил Ушаков. — Объявлюсь больным и останусь, не пойду с полком, чтоб быть наготове.

— Арестантов пошлем в Соловки либо спрячем туда ж, на принцево место, куда думали Петра Третьего, в Шлиссельбург, — решительно заключил и развязно встал со стула Мирович. — Никого не нужно, сами все! Нет лучше как самому... Ни у кого не канючу помощи — много чести, сам все, сам...

«Вот он, каков! Я хохла и не подозревал», — подумал, почтительно на него глядя, Ушаков.

— Так помни же, — накрывшись шляпой, заключил Мирович, — обдумай все и готовься; недолго ждать, скоро зайду за ответом.

Утро следующего дня Мирович провел у Бавыкиной. Та его встретила укоризнами, выговорами:

— Баклуши бьешь, в полк не едешь, где шляешься? Вот начальство на тебя напущу, скрутят молодчика, во фронт, на абафту. Меня забыл, бесстыжих глаз по неделям не кажешь.

Молча выслушал Мирович все нападки, сказал только:

— Эк расходилась; погодите, все наверстаю.

От Бавыкиной он отправился к Ломоносову, узнав, что Михайло Васильич, по обычаю, занимается в саду, и пошел к знакомой беседке. «Не открыться ли, — рассуждал он, становясь за ее стеной, — вот удивился бы. Да что! Станет еще отговаривать — ненужные-де попытки, погибнешь. Как же, так вот я и отдамся даром! И он, должно, в сердцах: не оценили по достоинству его хвалебной оды, сумароковской дали аттенцию. Уж вот, чай, не в кураже, ругмя ругается. Нет, лучше пусть увидит нас в славе, в блеске, в триумфах...»

Мировичу было слышно, как покрякивал и шелестел бумагами Ломоносов. Он перекрестился, вздохнул и бережно, на цыпочках, не заходя в беседку, вышел опять из калитки.

Еще через день Мирович съездил на Каменный остров, на дачу Птицыных. Он зашел со стороны черного двора и долго поджидал, высматривая кого-нибудь из прислуги. Вышел с ведрами кухонный мужик. Мирович, заторопившись, из старенького, потертого кошелька достал полтинник, подозвал мужика и попросил его выслать горничную. От нее Мирович узнал, что Поликсена по-прежнему находится у

князя Чурмантеева на Калмыцкой линии, изредка шлет письма и собирается куда-то за границу.

— А девочка князя... хворая... жива? — спросил Василий Яковлевич.

— Померли-с и оне, на Фоминой.

Мирович, повеся голову, побрел к извозчику. Вечером того же дня Ломоносову подали занесенный каким-то мальчиком пакет. То была цидулка от Мировича.

«Давно прибыл с родины, — гласило письмо, — да некогда было, простите, беспокоить заездом, — и к чему? Все кончено, во всем отказ. И невеста насмеялась, не лучше ж того и господа сенат. Совет дан: фортуну взять за чуб... Оно бы и можно: да ну как сорвешься? Еду в новый полк. А услышите о неудаче, молитесь о рабе Божьем Василии».

— Рехнулся малый, жаль, — сказал себе, задумавшись над этими строками, Ломоносов, — ясно дело, в иске вновь ему отказано. В новый полк уехал, а куда, и словом не упомянул.

Часу во втором дня, тринадцатого мая, Мирович спокойно и, по-видимому, даже с особым удовольствием зашел опять под Смольный к Ушакову.

— Ну, брат, собирайся, — сказал он ему.

— Куда?

— А вот увидишь.

Они вышли на улицу, извозчика не взяли. Странная, давно не бывалая, тихая улыбка блуждала по лицу Мировича. Он не очень торопливо, молча и без оглядки шел в направлении к Невской першпективе. На Аничковом мосту он чуть было не столкнул за ветхую деревянную перекладину какого-то зазевавшегося пешехода. Повернули прохладною, теневою стороной к Гостиному ряду. На Невской першпективе, от зноя, пыли и духоты, было мало прохожих. Кое-где только погромыхивали с опущенными занавесками кареты. Приятели вошли в ограду Казанской церкви, посидели здесь под развесистою липой, потолковали и вошли на паперть. Из церковной сторожки выглянул привратник. Мирович по-

дозвал его и шепнул ему несколько слов. Тот сходил в смежный двор. Явились нарядный дьячок и полный, добродушный священник. Дверь собора открыли.

— Пожалуйте, — сказал, пропуская офицеров вперед себя, степенный, с отрадно выспавшимся лицом, священник. Окруженный зеленью, сумрачный и тихий храм пахнул на вошедших приятной прохладой и ладаном. Зажгли кое-где свечи. Дьячок вынес и поставил у левого бокового придела аналой. Священник надел ризу, выпростал на плечи прядь русых, густо вившихся волос и, склонясь в сторону и тихо крякнув, спросил:

— По ком панихида?

— По умершим, *убиенным* рабам, Василию и Аполлону, — твердо и с тою же тихой, чуть блуждавшей улыбкой ответил Мирович.

Ушаков удивленно раскрыл на него глаза.

— Кто же, родичи или товарищи они будут вам? В сражении? — спросил, крестя и принимая кадило, священник.

— В сражении... однополчане-с, — ответил Мирович.

Панихида началась.

— Что ты, безумный, что? — не утерпев, прошептал Ушаков.

Мирович не глядел на него и ничего не отвечал. Став на колени, крестясь и кланяясь в каменные плиты, он весь погрузился в безмолвную, напряженную молитву. Ушаков хотел следовать его примеру, но, как ни крепился, мысли бежали от него. На нем не было лица. Тут только, угадав и предчувствуя что-то безобразное, страшное, он опомнился, но увидел, что поздно. Озираясь испуганным, потерянным взором, он тупо смотрел перед собой, вздыхал и, отирая лицо, не мог надивиться, откуда все это налетело и как он мог решиться.

«Панихида! Да ведь это ужас... смерть! — мыслил Ушаков. — И кто накликал, кто пророчит эту страшную развязку?»

Мирович исполнял печальный обряд спокойно и с таким торжеством, будто его венчали. При пении «со святыми упокой» Ушаков невольно всхлипнул, хотел удержаться и, упав головой на плиты, глухо разрыдался. Несколько секунд, вздрагивая плечами, он не поднимался от пола.

«Да что с ним? Вот чудак! И из-за чего?» — подумал Мирович, сухими, без блеска, глазами с недоумением глядя то на Ушакова, то на священника и дьячка, на лицах которых, от такой горести молящихся, невольно также выражалось смущение.

Панихида кончилась. Мирович расплатился и вышел на паперть.

— Смотри же, Аполлон, — сказал он, пройдя с Ушаковым в тенистый угол церковной ограды, — теперь нас уже нет в живых... понимаешь, мы обречены, отпеты, с каноном, за упокой...

— Да что ж все это значит? И кто тебя уполномочил? — спросил Ушаков.

— На случай, коли придется умереть без покаяния. Ты клялся перед алтарем... Клянешься ли еще раз Божьей матерью Казанской?

— Клянусь.

— И Николаем-угодником?

Ушаков повторил клятву.

— Нет, постой, — не удовольствовался Мирович.

Он снял с шеи добытые где-то кресты с мощами и один надел на Ушакова, другой опять на себя; отдал ему с руки перстень с адамовой головой, а себе у него взял кольцо с аметистом.

— Теперь мы братья, побратались! — сказал он торжественно, замедлясь у выхода из ограды. — Если нет у них Бога и нет истинного царя, Третьего Петра, то где же Бог и где людская совесть? Мертвеца им... замогильную тень... Смотри же, ожидай зова, придет час, извещу... разгромим...

Двадцать пятого мая Ушаков прибежал впопыхах к Мировичу, уже уложившему чемодан для отъезда на службу в

Шлиссельбург, и объявил, что его неожиданно в то утро призвали в коллегию и, за недостатком фельдъегерей, объявили приказ: ехать завтра в Смоленск, с казной и бумагами, к генерал-аншефу князю Михаилу Никитичу Волконскому. Эта весть как громом поразила Мировича. Он подозрительно, строго взглянул на приятеля и вдруг вспыхнул.

— А! Уж придумал, напроворил план? Подстроил с начальством? — вскрикнул он, не помня себя от гнева. — Вон, изменник! Вон, ты все подло... чтоб духу твоего не пахло!

Ушаков показал ему письменный, по форме, ордер. Мирович опомнился, пересилил себя, стал соображать.

— Ну, черт, ничего! — сказал он, отвернувшись с отвращением. — Не все свет, что в окне... Можно и без тебя... Смотри, однако, не опоздай... Ведь ты в заговоре со мной, не отвертишься... помогай, не то пулю в лоб, здесь не шутки...

— Да убей Бог, клянусь — я духом съезжу и... что мне там делать?.. Ну, разве...

— Еду послезавтра, — не слушая его, внушительно перебил Мирович. — А наше рандеву — помни — день в день и час в час двадцать четвертого июня, вечером, на закате солнца... да не спутай, таранта́!.. Двадцать четвертого, как раз в Иванов день... понял?.. Тезоименитство нами спасаемого его высочества или, вернее, будущего его величества...

Ушаков слушал внимательно, точно приказ высшего начальства.

— А государыня в Ригу едет двадцатого, — продолжал небрежно Мирович, — и это тоже не забудь... узнал от камер-лакея Касаткина... Помнишь? Он письмо о Поликсене доставил от Рубановского... знаем все тайны двора, как и что, — я по пальцам расчел и сообразил... Да куда же ты, постой! Эк, разнесло, не посидится. Слушай, Аполлон, — прибавил Мирович, отведя Ушакова в сторону, — если ты мне да осмелишься, или нет, не то... стой!.. Если в этой командировке, ну, дьявол! пойми, — если кто вздумает тебе

стать поперек, так или иначе помешать, — то помни: прожду день, прожду два, ну разанафемы, даже неделю... не долее, впрочем, первого июля, а там, — заключил Мирович, склонясь к самому носу Ушакова, — помни, я сам, без тебя, я один... и тогда уж, не прогневайся... весь успех, вся слава и почет за мной...

Двадцать девятого мая Ушаков, по пути к Смоленску, подъехал к реке Шелони, в селе Опоках порховского помещика Косецкого. Его провожал Великолуцкого полка фурлейт Новичков. Паром на противоположном берегу замедлился. Время стояло жаркое, и был полдень.

— А что, ваше благородие, не выкупаться ли? — сказал с повозки, весь мокрый от испарины, фурлейт.

— И то правда, — согласился Ушаков, — ну, посиди же ты с сумкой, я прежде выполощусь, а там ты.

Он разделся под тенистой вербой, посидел в холодке и пошел, по мягкой зеленой травке, к песчаному берегу.

«Вот благодать, — рассуждал он в приятном настроении, ставя одну, потом другую ногу в светлую, студеную струю и любуясь своим здоровым, белым телом, — я молод, статен, силы так и пышут во мне. И вдруг этот чудак Мирович панихиду по убиенным... Не везде успех; но это еще не значит, что пора умирать... О, далеко не пора. В карты проигрался, должен по шею, особенно у Павлинова; да выплыву, вынырну, — сказал он себе, окунувшись и широким, приятным взмахом проворных рук направляясь к быстрине, — и как это было дико, мрачно — ладаном курили, пели "со святыми упокой..." А что, как утону?.. Ведь судорога точно как бы дернула за ногу, как входил; говорят, ой, как это скверно... Ну, да вздор! Какая там судорога!»

— Барин, а барин, — крикнул вдруг кто-то с берега от мельницы. — Держи подале... там омут.

«Ну, да ладно, — думал, весело рассекая воду, Ушаков, — не на таких речонках плавали. А небо как сверкает! Ишь, мошки, ласточки реют. На спину лечь, отдохнуть. Фурлейту завидно... Как в Смоленск, сейчас уху, пирог с подливкой. У Самцова на постоялом, говорят, разахти красотка хозяйка... То есть кабы да богатую засватать — вот бы показал, как жить! А не панихиды...»

И в то время, как, раскинув руки, Ушаков лег навзничь и гладь реки его несла к пенившейся и плескавшейся под зелеными ракитами быстрине, в его мыслях встала почему-то далекая, пошехонская деревушка, он мальчиком в синей рубашонке бегает по саду, белокурая румяная женщина в высоко взбитых локонах ходит по дорожке с чулком в руке; она вяжет и ласково ему улыбается, а на ее щеке милая родинка, — это его мать; а малины, малины, спелых вишен!.. и все полные; бабочки, пчелы над ними вьются... И вдруг опять судорога.

— Барин, а барин! — доносился крик.

«Вздор, не бывать тому!» — упорно думает Ушаков. Он окунулся и, фыркая, весело вынырнул. Пенится и клокочет вокруг темная безо́дня. А в ногу впилось что-то мертвой хваткой, дергает и тянет, как гиря. Ушаков хлебнул воды раз и два. Холодно, жутко. Ему опять вспомнился Мирович, данное слово, панихида. Шум и звон в ушах. Везде зелено. Руки машут без сил. Искры, пена, пузыри. Что-то с страшной быстротой мчится мимо, кругом... Все мимо: сад, белокурая в локонах женщина, спелые вишни, испуганный воробей, мотыльки. Он еще раз встрепенулся, повел руками и с мыслью: «Ужели смерть? О! Никогда...» — ухватился за что-то зелено-золотистое, мягкое, махровое. Грудь искала воздуха; а навстречу тянулись голубые, сизые тени...

Ушаков утонул.

Тело его к вечеру нашли меж сваями мельницы. Известие о том в Смоленск и позднее в коллегию доставил фурлейт Новичков.

XXXI

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ НА КАРАУЛЕ

Назначенный срок прошел. Ушаков не являлся. Прошла, с концом июня, и вся неделя первого очередного дежурства Мировича в крепости.

«Что ж это значит? — рассуждал он. — Страха ради иудейска, не кажет глаз и вести о себе не подает!» Мирович то шагал взад и вперед по гауптвахте, то поднимался на крепостную стену, глядел с куртины за реку и, теряя терпение, не знал, что делать, с кем разделить горечь сомнений. «Тьфу ты, черт! Не догадался! — вдруг вспомнил он. — Дело ясно, Аполлон чем-нибудь пустячным, ну, чуточку стеснился, оробел; ведь он мелочной, слабый человек, — инкогнито прибыл в Шлиссельбург, для предварительных объяснений, и сидит на постоялом, ждет меня с дежурства... Скорее!..»

Мирович сменился с караула, отвел команду в полк и бросился искать Ушакова по постоялым. Поиски его были тщетны. «Ну, погоди же ты, распроклятый трусишка, обойдемся и без тебя. Как только доведу дело до конца, первого тебя арестую, публично осрамлю».

Первого июля, бродя без цели по улицам, встретил он знакомого по Кёнигсбергу, подпоручика из грузин Чефаридзева.

— Какими судьбами? — удивился Мирович.

— Овсы закупаем, да и ваш Шлиссельбург захотелось поглядеть.

— А главное видели?

— Что?

— В крепости, вон со стены видно — первый нумер, первый.

— Что ж там за дважды нумер первый?

— Слышали про бывшего когда-то российского императора Иоанна Антоновича? — вдруг склонился к Чефаридзеву Мирович.

— Нет, не слыхал.

— Ну, так он самый здесь и есть... Двадцатый год закупорен под замком.

Чефаридзев стал разглядывать Мировича.

«Эк несуразное городит, — подумал он, — и глаза точно не свои, как похудел!»

— Хотите, что ли, участвовать? — вдруг побелевшими губами, в упор, прошептал и улыбнулся Мирович.

— Как участвовать? Полноте, батюшка; экое, Бог с вами, коловратство придумали! — сказал и пошел от него в переулок Чефаридзев.

— Храбрец улепетнул! Триолеты, буриме списывать, Жоконду с барышнями читать! — неестественно захохотал ему вслед Мирович. — Смотрите, еще донесете! — крикнул он ему. — Отличку, награду за усердие получите!

«Но как же быть, как быть, — ломал голову сбитый с толку Мирович. — Ехать в Петербург, узнавать об Ушакове? А как вдруг разминемся? Я к нему, а он сюда... Флотилию шлюпок условлено, людей в масках... "Благородный, нам любезно-верный Мирович, чем полагаешь отблагодарить своего помощника?" — "На три дня на гауптвахту, ваше величество, всерабственно прошу за промедление, а потом его хоть и в генерал-поручики..." Нет, однако, из сил выбьешься; ведь это невозможно. Как опять попасть в крепость? Отказаться от предприятия?»

А тут вдруг и помогла судьба. Офицер Смоленского полка, сменивший Мировича, заболел на гауптвахте. Дали знать командиру полка Корсакову. Мирович услышал про это в канцелярии, явился, будто невзначай, к полковнику и предложил свои услуги за товарища. Второго июля он снова, не в очередь, стал на недельное дежурство в крепость, срисовал в свой календарь ее план и над помещением принца на плане поставил особый знак.

День третьего числа был особенно жарким. Воздух не освежался ветром. Духота в низкой, полной мух и пропахнувшей солдатами казарме была невыносимая. Мирович почти не сходил с крепостной стены. Усевшись у выступа куртины, он неподвижно глядел на город и на уходящие вдаль прибрежья Невы. Мысли сменялись мыслями.

Он вспомнил странные сны, ряд снов, которые видел в последнее время и которые не выходили у него из головы. Он даже помнил числа, в которые виделись ему странные, как бы пророческие грезы, и все их тщательно записал на листках своего календаря.

Три с половиною месяца назад, а именно семнадцатого марта, ему снилось, будто он почему-то в Митаве, в гостином ряду, суетится для кого-то покупать кожи и хомуты. Купцы ему кланяются, он же не в мундире, а в ситцевом стареньком, куцем своем халате, и не на чем ему возвратиться домой. На улице лежит какой-то обрубок. Делать нечего, он садится на обрубок, прикрыв купленною кожей ноги, торчащие из-под куцего халата. И вдруг обрубок понесся с ним по улице, как коляска, встречные кланяются ему. Он доехал к крепости; ему навстречу в ворота выходит старик и с ним некий бледный юноша. И не забыть ему заплаканных, молящих глаз юноши. «Вот твоя судьба, вот твоя удача!» — говорит старик. С этими словами Мирович проснулся.

В конце мая он видел во сне гибель какой-то женщины — она, в его глазах, утонула в реке, за какою-то церковью. Когда он потом соображал этот сон, ему казалось, что погибшая была Поликсена. И он так плакал, что из его глаз лились не слезы, а кровь, и этой крови ничем нельзя было остановить.

Сон тринадцатого июня особенно его поразил и возмутил его до глубины души. Ему приснился бывший у него недавно денщик, солдатик Лаврон. Денщик на него донес: «Их благородие затеяли вредное государыне дело, освобождение такого-то важного преступника».

Мирович видел во сне, как его судили, как обрекли на казнь и как совершали самую казнь. В ужасе он очнулся, взглянул —

началось утро; он лежал за перегородкой, в караульной крепостной гауптвахте, а Лаврон копался над чем-то в углу.

И еще один сон он видел на днях. Ему снилось, будто он шел через какой-то плавучий, на барках, мост. Синяя, глубокая, многоводная река с шумом катилась между барок. Он шел по мосту, держась за туго натянутый канат. И вдруг канат с треском лопнул. Он повис на его обрывке над холодной, зияющей бездной. Пальцы, вцепясь в склизкий канат, окоченели, фуражка, слетев с головы, кружилась в пенистых, уносивших ее волнах. Но он не утонул — перед ним какие-то пышные, ярко освещенные палаты, полные праздничного люда. Он за столом, и рядом с ним в богатом парчовом наряде, в жемчугах и соболях некая красавица. И все говорят: «Вот он счастлив, достиг своего, а Ушаков ни при чем, опоздал...»

«Не виноват Ушаков, — думал Мирович, — везде сила, сила случая, нет правых и нет виноватых, нет и ничего достойного на свете. Что слава? — каприз натуры. Что добрые дела? — расчет либо жалкая попытка уладить несовершенство вещей».

Мировичу казалось, что дело, с такой ясностью намеченное у него впереди, никогда им не было обсуждаемо и что самая мысль об этом страшном и вместе сладком, увлекавшем его деле явилась у него за секунду назад. Он до мельчайших подробностей знал, как и когда он это сделает, видел место и себя во всей при том обстановке и с презрением отворачивался от себя, считая, что все это он выдумал теперь только от жары и от скуки. Картины, целые ряды картин вставали и исчезали перед глазами Мировича. Рассказы о Бироне, о воцарении младенца-императора, ликование столицы и семьи правительницы, чтение оды молодого Ломоносова во дворце... Четыреста четыре дня власти и двадцать три года одиночного заключения злополучного принца...

«Ужас, ужас!» — повторял про себя Мирович, прохаживаясь вдоль стен и опять садясь у выступа. Сумерки сгустились.

Окрестность стихла. Слышались только по разным затишьям, вокруг крепости, шаги да оклики часовых. И опять мысли, как галочье перед грозой, слетаются, кружат, машут холодными, черными крыльями... Петербург залит солнцем. На лугу, у вновь заложенного дворца, пасется пара усталых, серых волов. Он, робкий, дикий мальчик, глазеет на улицы, на дома. За рекой шумная, резвая школа. Он — кадет, в пудре и в косе. У Разумовского — театр. Смеется и приседает быстроглазая, с ямочками и с мушками на щеках, пастушка...

Когда ты будешь богачом,
Вельможей, а не пастухом...

Кутежи, карты, ссылка, поход и новая встреча — здесь, в этой самой крепости... Ночь, чтение Робинзона, шорох в дальней комнате... «Господин офицер! О, умоляю, сюда! — слышится ему кроткий, душу надрывающий, голос. — Уйти отсюда, слушайте, можно; только пилу в хлебе, лодку и на берегу лошадей...» «Эй, оранжевый воротник! — слышится другой голос. — В июне свадьба, и я буду у вас посаженым отцом...»

Всю ночь просидел Мирович на стене куртины. Перед рассветом он сошел в казарму, уткнулся в приплюснутую, общую офицерскую подушку и забылся тяжелым свинцовым сном. Ему снилась мглистая, такая же тихая ночь — очертания города, морских батарей, блеск фитиля и, в белом мундире, на песчаном мыске, робко замедлившийся невысокий человек. «Мертвого из гроба не вернешь, — шепчет с усмешкой былой фаворит, — а ты, молодой человек, подбодрись-ка, да и поступай, как все...»

Утром, четвертого июля, Мировича едва добудились. Он встал, долго собирался с мыслями, помолился, вынул из узелка зеленую тетрадку — то был его рукописный календарь и вместе, на свободных страницах, в стихах и в прозе, его дневник, — вписал в него несколько строк, в том числе клятву-обет Николаю-чудотворцу — отныне не играть в карты, не пить вина и не курить табаку, — и оделся. Выйдя

во двор, он проверил караул, с должной аттенцией отдал честь коменданту, обходившему обычным утренним дозором все места, где стояли часовые, и весело, даже насвистывая что-то, с трубкой сел за стакан со сбитнем. До обеда, пока было жарко, он гулял между гауптвахтой и церковным садиком, развернул и в тени на скамье прочел несколько статей из забытой кем-то в казарме книжки «Трудолюбивой пчелы» на 1759 год. Он даже нежно, чувствительно задумался над подвернувшеюся идиллией:

Без Фелисы очи сиры,
Сиры все сии места;
Отлетайте вы, зефиры,
Без нее страна пуста...

«Фелиса-то Фелиса, да черти в душе завелися», — прибрал он при этом в мыслях даже рифму, вспоминая, что сам недавно написал стихотворение:

О, время, время преходящее,
В коем дни дней множат!

В этом страшном, мистическом стихотворении Мирович говорит о козырном, долгоперистом голубе, который с товарищем залетел среди моря на остров, где сидел в темной каменной клетке белый голубь. Не имея сил его освободить, они заплакали, решили ждать иной поры и разлетелись — один в Париж, другой в Прагу[1].

Пообедал Мирович, после чтения, с давно не испытанным вкусом, посидел у порога казармы, увидел, что у Бередникова заперли для отдыха после трапезы ставни, и сам занавесил шинелью от мух окошко в караульной, притворил дверь, сказал капралу и вестовому, чтоб сторожили, скинул кафтан, прилег на скамью и крепко, сладко заснул. Выйдя

---

[1] См. это стихотворение Мировича в «Примечаниях» к роману. (*Прим. авт.*)

вновь на площадку, он удивился. Был уже пятый час вечера в исходе. Зной уменьшился. Небо покрылось белыми перистыми облачками. Тени вытянулись понизу, ярко блистали только верхи башен да главы церкви.

«Вот так заснул!» — подумал Мирович, с легкою, приятною дрожью поднимаясь на стену куртины, обычное место своих прогулок и размышлений.

Там, заложа руки за спину, с вывернутыми короткими ногами и большою, втиснутой в костлявые плечи головой прохаживался главный теперешний пристав при затворнике, рябой и грубый солдафон капитан Власьев. Мировичу вспомнилось, как распекал Власьева за не в порядке нашитую пуговку покойный государь.

«Не чета князю Чурмантееву, — подумал он, — а этакой чести, дубина, дождался, за главного при его высочестве... И Силина осилил...»

— Гуляете, Данило Власьич? — обратился Мирович к приставу.

— Да-с, а вам, подпоручик, на абафте не мешало бы по артикулу-с... а не гулять.

— Ну, и надоест, — произнес, посмотрев в сторону, Мирович, — душно что-то; мгла будто сбирается к ночи.

Власьев молча прошел несколько шагов. Мирович догнал его на стене куртины у поворота к внутреннему двору. Казарма принца стала видна влево под их ногами: черная дверь, окно с решеткой, лестница и галерея, на которой он видел здесь в последний раз принца.

— А у меня славный табачок, — весело сказал вдруг, присев на корточки и набивая трубку, Мирович, — первейший сорт, настоящий сюперфин-кнастер.

Охотник до курения, скряга Власьев пробурчал что-то и отвернулся, раздумывая, впрочем, даст ли ему подпоручик, после выговора, затянуться первому.

— Молчите, капитан? Но согласитесь, — продолжал Мирович, снизу вверх взглядывая в недовольное, надутое, с вытаращенными глазами лицо Власьева, — согласитесь, что

ведь лучше быть в довольстве, даже с капитальцем и, знаете, жить вволю, покуривать, чем здесь-то, в этой каторге...

Он подал ему трубку.

— Эка брехать ты дока, — сопя носом и потянув из чубука, произнес Власьев.

— Да именно так-с, вот разберите.

— Но, одначе, о чем ты?

— Первый нумер, первый-с, — сказал Мирович, бойко, подмигнув и сам удивляясь, с какою безобразною, грубою шутливостью он это сделал.

— Пустяки врете, — промычал капитан, косясь на него и в то же время рассуждая: «Уж не до нашей ли комиссии то клонится?» — Сами знаете, что противно регулу... мы присяжные люди...

— Э, не пустяки! — возразил Мирович. — Ну, если б примером, хоть бы вот это дело?..

В груди у него что-то дрогнуло и как бы собиралось выскочить. Дух захватывало. В глазах прыгали искры. На языке, против воли, шевелились слова рокового, ужасающего признания. «Вот возьму, — думал он, — да прямо ему в лицо и швырну весь секрет».

— Хорошо бы, — сказал, уродливо улыбаясь, Мирович, — хорошо бы, знаете... стакнуться, да и того?..

— Что того? — спросил, еще более насторожа уши, Власьев, стараясь отойти подальше от рокового места.

— Не предадите, не погубите прежде предприятия? — вдруг упавшим, молящим голосом спросил Мирович.

— Коли предприятие таково, что к вашей погибели следует, то не токма поощрять, а даже и слушать вашего вранья не хочу, — ответил, повернув к нему спину, Власьев.

— Осво...

Мирович начал и вдруг опомнился. Он обомлел и в смертельном страхе затрепетал, сообразив к своему ужасу, какой он сделал было промах. Со стены они спустились в сад. «Расположу его к себе, заглажу глупые слова», — подумал

Мирович, беспомощным, робким взглядом всматриваясь в лицо Власьева. Тот глядел волком.

— А знаете новости? — начал он. — Играет на днях ее величество в карты. Панин, гетман и Бецкий с нею... и вдруг кто-то о соловóм жеребчике гетмана, рысистом, — он на нем в одиночку на бегунцах... Тут надо вистовать, у ее величества козыри — а они все о жеребчике...

И точно прорвало Мировича: он засыпал словами, будто давно не говоривший. И, сознавая, как лебезил и как подыскивал речи, он с презрением слушал свой дребезжащий голос и внутренне на себя плевал. «Подлый, гнусный подлипала! — говорил он сам себе. — Вон рассказал о контузии своей под Берлином, даже оказался неприличным хвастунишкой... О посланной и вновь возвращенной отставке Ломоносова выложил такой дубине... точно может подобная ракалия оценить, понять... Наконец сообщил о мнимом волокитстве своем за какой-то актеркой Машей — этого уж совсем и не было, и все это я придумал, чтоб только умаслить его, расположить... эка мерзость, позор!»

У моста во внутренний двор Власьеву младший пристав Чекин и вахтер поднесли в котелке и в миске что-то дымившееся, прикрытое полотенцем.

«Проба ужина, — решил в уме Мирович, — на сон грядущий трапеза принцу».

— Неси, — подумав и неспокойно, как бодливый бык, оглядываясь, сказал Власьев.

Он из кармана достал Чекину длинный почернелый ключ. Котелок и миску понесли за канаву в ворота. «Угадал, — усмехнулся Мирович. — Но почему сам капитан туда не пошел? Странно...»

У гауптвахты Власьев с ним расстался. Стемнело. Было девять часов. Мирович велел пробить зорю, поставил солдат на молитву и отпустил их на ночлег. Дождавшись смены часовых, он пошел в казарму. У ее крыльца, толкуя о полковых делах, сидели два капрала и кое-кто из смоленцев-солдат. Мирович отозвал капралов в сторону.

— А что, ребята, — сказал он вдруг сослуживцам, — я вынужден нахожусь объявить — ожидается ведь от сената и от ее величества указ, арестовать здешнего коменданта и всех офицеров, заключенного ж нумер первый освободить...

— Не могим знать, — нерешительно ответили спрошенные.

— Здесь заключенный арестант — особа первой важности, — продолжал Мирович. — Готовы ль вы беспродлительно выполнить, буде пришлется такой указ?

— Как солдатство, так и мы, — ответили капралы, — на то воля начальства.

«Трусы — канальи! — подумал с презрением Мирович. — А впрочем, посмотрим».

Он, сияя, точно по небу плыл, прошел в караульную, посидел там и опять поднялся на стену. Прохладный, напитанный сыростью воздух приятно его освежил. Он уселся. Туман застилал город и очертания берегов.

«Ну, если Ушаков ждал такой погоды, лучше не надо, — сказал себе Мирович. — В этакой мгле и не спохватятся». Он вглядывался в сумрак, слушал, не плывут ли от города условленные шлюпки. Все было тихо. Так прошел час и два.

И опять жгучие, тревожные мысли зароились, запестрели в голове Мировича. Ему вспомнился домишко в Галерной гавани, возня и пение старцев за стеной, рассказ Гаши о последнем увозе принца, прощанье с Поликсеной и беседа в саду Гудовича над Днепром. Вспомнил он кумову пасеку, темную осеннюю ночь и свой сон об освобождении принца. С щемящим сердцем ясно вдруг представилось Мировичу и то, что он два дня назад совершенно ненужно и непрошенно намекнул про свой замысел полузнакомому Чефаридзеву, а сегодня чуть не все было открыл Власьеву и о чем-то толковал с своей командой.

«Ну, как они выдадут? А Чефаридзев дурак, может, уж и выдал? — замирая, терялся он в догадках. — В Питере, чай, вот какая суета, пишутся распоряжения — арестовать меня, обыскать, пытать... Может, уж и едут... Вздор, тишина! — и

ничего не найдут, все припрятано... Подложный указ в трещине за печкой, манифест зашит в шинели, и я сейчас пойду и их сожгу... будто трубку закурил... А если кто и выдаст, то разве один Власьев, коли только, иродова голова, догадался... Да не догадался он! Я все экивоками, а особенно этою актеркой Машей, кажется, его умаслил... Он даже ухмылялся и спросил, скотина, чернявая она или русая? La brune ou la blonde[1], — как воспевали парижские стихотворцы дочек Великого Петра...»

«Однако время идет, — опять затревожился Мирович. — Ужли Ушаков так и не будет? Ужли начинать одному?..»

Огни в окнах Власьева, коменданта и в караульной погасли. Был первый час ночи. Слышалось только обычное перестанавливание ног, вздыханье и зевки часовых. Склонясь на край стены, Мирович продолжал смотреть в туман, более и более сгущавшийся над Невой.

И вдруг, как ему показалось, где-то далеко, там в тумане, что-то охнуло.

«Ой-ой, ох!» — померещился Мировичу глухой, протяжный крик. Он вздрогнул. Суеверный, непреодолимый страх охватил его мертвящим холодом. Волосы шевельнулись на его голове.

— Вздор! Эка, черт, как настроился, испугался! Морочу себя! — проговорил он, не двигаясь с места. — Ясно, почудилось только в ушах.

И опять простонало в отдалении:

— Ой-ой! О!..

«Зовет меня, зовет, бедняк! Здесь я, вот здесь!» — заторопился и вскочил Мирович. Вокруг было тихо. Какая-то птица нырнула и скрылась в темноте. Кровли каземата не было видно.

«Если час настал, — пронеслось в мыслях Мировича, — приказывай, слово свое помню! Белый голубь, в белокаменной стене!»

---

[1] Брюнетка либо блондинка (*фр.*).

Он на цыпочках, с звериной осторожностью, подошел к краю куртины, заглянул во двор, ухватясь за грудь, точно болело там, спустился с лестницы, достиг гауптвахты, стремглав вбежал в караульню и зажег свечу...

XXXII

ПОКУШЕНИЕ

У двери на стуле лежала его шинель. Мирович подпорол подкладку, достал изготовленный манифест, сунул и его в расщелину за печь и принялся за написание указа, от имени Иоанна Антоновича, командиру Смоленского полка. В указе Корсаков жаловался генералом и ему предписывалось немедленно привести полк к присяге и следовать с ним в Петербург, к Летнему дворцу, «куда и я неупустительно вслед за сим шествую», прибавил от имени принца Мирович. А изменника Ушакова разыскать и судить, — хотел он размахнуться, но остановился. «Ох, что же это я, однако?» — удивился он и задумался, решая, что Екатерину и Павла, при удаче, он отошлет в отдаленный монастырь. Ему вспомнились слова подложного, составленного им от имени Екатерины манифеста: «Оставляю эту дикую, варварскую, не оценившую меня страну и, столь же безвестная, как явилась, удаляюсь, передавая государство тому, кому оно следует по рождению — правнуку Первого Петра, принцу Иоанну...»

Кто-то вошел в дверь.

— Что тебе? Что? — испуганно вскрикнул Мирович.

Он вскочил и поднял высоко свечу. У порога стоял белокурый, в веснушках, подслеповатый, и очевидно спросонков, гарнизонный капрал Лебедев.

— От коменданта, — сказал тихо Лебедев, — велите, ваше благородие, пропустить в крепость гребцов.

— Не спит? Не спит? Каких гребцов? — похолодев и кинувшись к нему, спросил Мирович.

— А хто е зна: може, кто заблудимшись, туман.

На душе Мировича отлегло. Он кликнул вестового и велел пропустить гребцов. Опять заскрипело перо. Он написал воззвание к народу и к высшим в правлении чинам. Дверь отворилась. Снова на пороге явился Лебедев.

— Их высокоблагородие просят ваше благородие пропустить канцеляриста.

«Донос, ракалия, донос шлет о моих речах! — подумал Мирович. — Ну да пусть, увидим еще...» Канцеляриста впустили в крепость. Шаги во дворе стихли. «Ну, теперь приказ по армии, — решил Мирович. — Одно горе, анафемская свечка скоро догорит».

И опять Лебедев.

— Да что тебе? Что, образина?

— Гребцов прикажите выпустить из ворот.

«Так и есть, донос, — злобно усмехнулся Мирович. — Написали... Теперь Власьев отсылает курьера в Питер... Но успеет ли...»

Он бросил перо, погасил свечку, разделся, нащупал подушку, лег на скамью и укрылся шинелью. Его бросало то в холод, то в жар. «Вот сейчас войдут, арестуют, в цепи закуют, — думал он, прислушиваясь к малейшему звуку на дворе, — а завтра скомандуют и этапом всенародно, по жаре, погонят в Петербург».

Был второй час ночи в исходе. В комнате не было видно ни зги. Что-то ползало по стенам, шелестело у печи и у окна. Пот струился по лицу Мировича. Жажда мучила его: «Воды бы студеной, со льдом, целый бы кувшин выпил».

«Фортуну-то, фортуну, молодой человек! — слышалось ему — Колесо без гайки, колесо!.. Да вы и умереть-то как след неспособны...»

«А что? Ведь пора! — вдруг подумалось ему. — Лучшего момента не будет...» Он с отчаянием обернулся к стене, натянул на голову шинель. Но и сквозь шинель опять и уж более ясно ему слышался голос: «Ой, да иди же скорее, иди...»

Скамья колыхнулась под Мировичем. Он вздрогнул и вскочил. Мысли неслись неудержимо. В секунду он переживал бесчисленные впечатления. Комната, казалось, ходила вокруг него ходуном.

«Так я не способен? — задыхаясь, думал он, глядя в темноту. — Ты не верила? Сиди же в своей трущобе... а вот Орловым-то, видно, мне быть. Я им скажу, — рассуждал он, придумывая, как выйдет и станет говорить перед генералитетом, — открою, как все затеял и выполнил один, без пролития крови и без пособников. В тихости, ловко покончил. Перст Божий! Ахнет вся Русь!» Мирович не знал, как все это будет, но верил и знал, что этому быть суждено. «И ведь каков? — подумал он о себе, — ничтожная, безвестная соринка, и совершил такой подвиг...» Он оглянулся: в окне будто побелело.

«Боже! Рассвет!» — с ужасом подумал Мирович.

Он сорвался со скамьи, схватил кафтан, шпагу и шляпу, выбежал на гауптвахту и громко крикнул:

— К ружью!

Голос его странно, резко раздался в тишине. Поднялась тревога.

— Беги, — сказал он старшему капралу, — собирай везде всю команду.

Стали сбегаться разбуженные солдаты.

— Зачем зовут? Что? Манифест привезли? — толковали они, теснясь у казармы.

Мирович построил команду в три шеренги, выступил перед фронт и велел заряжать ружья боевыми патронами. Сам он взял заряженный мушкет и крикнул страже у главных ворот:

— Никого в крепость не пропускать, окроме маленьких шлюпок.

«Авось-таки подъедет Ушаков, — вертелось у него на уме, — сикурс не мешает».

Караульной команды смоленцев было сорок пять человек; гарнизона, охранявшего казематы и замкнутый за каналом двор, было не больше третьей части. В комендантском окне

блеснул огонь. На крыльце, заслышав шум и голоса, показался в халате Бередников.

— Что за тревога? — спросил он Мировича. — Что случилось и с какой стати собрали людей?

— Ты здесь держишь невинного государя, — крикнул, кинувшись к нему, Мирович, — о тебе есть особый указ...

Он ударил его прикладом, схватил за ворот и отдал под караул. Дерзость его всех покорила.

— Смирно! Стройся! — скомандовал он отряду. — Правое плечо вперед, скорым шагом... марш! — И повел команду к мосту, через канал.

— Кто идет? — окликнул часовой.

— К государю идем! — откликнулся на ходу Мирович.

За канавой послышалась возня. У ворот блеснули огни, негромко и странно щелкнули в тумане три выстрела, и пули, свистя, пролетели над наступавшей командой. Солдаты Мировича остановились.

— Стреляют, — сказал он, — и мы отплатим.

Он выровнял отряд и всем фронтом выпалил в караульных. Ворота за мостом отворились и опять затворились. По говору было заметно, что к часовым наспело подкрепление.

— Что же, сдаетесь, изменники? Покоряетесь настоящему государю, Иоанну Антоновичу? — крикнул с площадки Мирович.

Гарнизонная стража опять выстрелила. Смоленцы ей ответили новым залпом. Пули защелкали в стену башни, в крышу казарм. Ни с той, ни с другой стороны, от тумана и общей спешной стрельбы, никто не был ранен. Дым стал расходиться. Мирович отвел команду за церковь, где стояли пожарные припасы. Солдаты ворчали.

— Что мы за душегубцы, убивцы? — слышалось между ними. — Каки таки резонты! Эк, убрались... знаем мы их...

— Солдатство требует вида, ваше благородие, — сказал, подойдя к Мировичу, капрал Миронов.

— Какого вида? Что им, скотам?

— Значит, почему то ись смут... и как на своих наступаем?

— А! Вам вида! — злобно проговорил Мирович. — Извольте, — без того нешто стал бы я действовать?

Он сходил в кордегардию, достал из щели манифест и указ и громко, не видя в сумерках строк, прочитал его наизусть.

«Вот актер Волков, объявивший на память манифест, и я... одним делом прославимся, — подумал он, оглядываясь на солдат. Те робко жались в стороне, медля сбираться во фронт. — Боже, да где же Ушаков? — озирался Мирович. — Где он? Вразуми меня, Господи, наставь».

За мостом усиливалось движение. Кто-то сказал, что гарнизонные выкатили бочки, возы и готовились из-за них к новому отпору. Мирович с мушкетом в руке вышел к мосту.

— Слушайте, — крикнул он туда, — сдавайтесь, пропустите нас, не то будет худо. Я пришел не сам собою, сделал это по долгу — сдавайтесь же, ослушники царской воли, — вам объявляю указ...

— Ты сдавайся, — ответили из-за канавы.

— Пушку, — скомандовал, возвратясь, Мирович, — заряды из погреба.

— Нет ключей.

— К коменданту; в кабинете висят.

Привели канонира, артиллерийского капрала и гандлангеров. С их помощью стащила с бастиона шестифунтовую пушку, прикатили ее в крепость, зарядили ее и поставили против ворот. Приказав снова зарядить мушкеты и никого не пропускать ни в крепость, ни из крепости, Мирович послал вестового объявить гарнизону, чтобы клали оружие, иначе будут ядрами палить.

— Покоряйтесь, братцы, — окликнул вестовой, — почему, как их благородие, пришодши и не видемши покорности... а как вы, значит, изменники...

Во дворе, где за тремя пикетами было помещение принца и жили два его пристава, все потеряли головы. Кое-где быстро засветились окна. Хлопали двери, бегали солдаты. Начальники метались как угорелые, отдавали и опять отменяли приказания, бранились, спорили. Кухарь принца сцепился с портомойцем, кричат о чем-то.

— Ну, что ж теперича делать? — спросил запыхавшийся, выбившийся из сил Чекин. — Они выкатили на площадь пушку.

— А вы как полагаете? — произнес Власьев.

— Да что же, Данило Власьич, их сила; думай не думай, а выйдет такой афронт — одержит верх сугубо злейший враг.

— Ну, господин поручик, значит, вы забыли инструкцию о секретном арестанте... Курьер наш вряд ли доедет теперь... А она ведь не отменена...

Холод пробежал по телу Чекина. Страшная панинская инструкция ясно указывала меры, какие подобало принять с «оною персоной» в случае, если б покусившаяся рука оказалась сильною.

— Но, ваше высокоблагородие, — возразил и заикнулся Чекин, — нельзя ли иначе как? Помилуйте, столь противучеловеческое деяние... Ведь он, полагать надо, спит и ничего, как есть, не знает.

Чекину вспомнился в то мгновение минувший вечер и лицо принца, которому он тогда принес ужин. Заключенный, сверх обычая, встретил его приветливо и ласково. Бросил «непорядочные взоры» и угрозы убить до смерти, отсечь голову, когда станет снова царем. То, бывало, все толкует, что он государь великий и что один подлый офицер все отнял у него и имя ему переменил, хотя все-таки он здешней империи принц, а тут вдруг притих, куда амбиция делась. Весь тот вечер он много ходил по комнате. Делал это принц Иоанн с особыми приемами. Отмерит два-три шага от окна к печи и остановится. «Благослови, Боже», — скажет, или: «День до вечера, вечер до дня, помяни меня!» — повернется и начнет опять ходить между дверью и перегородкой. Молился он в последнее время больше полусловами, крестясь и как будто куда-то все спеша. Опять остановится: «Благослови, Господи, и виждь... Вечер до дня, день до вечера, до вечера...» — и, как маятник, мелькает из угла в угол либо ляжет, смотрит с постели и смеется. Да и весь тот день он ходил до изнеможения, останавливался и чертил что-то гвоздем на стене, за печкой, — проголодался. Че-

кин был доволен его поведением и, с укоризной себе, вспомнил, что он иногда с досады бранил его вслух разбестией и грозил бить его по указу четвертным поленом.

— Ах, вот вкусно! — сказал принц, садясь за горячую, приятно пахнувшую похлебку. — Я мал чином, да монах, буду митрополитом, потому и кланяюсь образам... Ведь я, братец, после обеда нынче видел сон.

— Какой сон? У вас все коловратные слова...

— Да все это я в небе — какие там жители, строения!.. А то будто иду по лесу — а кругом буря гремит, дождь собирается. Так это душно; только гляжу: студеное, темное озеро. Я и бросился в воду, нырнул, плыву, да вдруг и выплыл где-то в такой зелени — солнце греет, а цветов, цветов!.. И все белые да алые, махровые, большие, пахнут, а по ним пчелы, жуколицы, шмели... Ах, Лука Лукич, где это озеро и где этот лес?..

Помнил отчетливо Чекин, как было светло и радостно лицо узника, когда он это говорил, как кротко он улыбался и как, поужинав, со словами: «Ну, а теперь и бай-бай! Благослови, Боже, на сон праведный», умыл руки и лицо, утерся, бережно развесил у изголовья полотенце и, раздеваясь, сказал Чекину:

— Слушай, Лука Лукич, как выйду отсуль да стану вашим царем, тебя в гофдинеры произведу... над всеми слугами, превыше всех поставлю, в камергеры произведу... А они не давали чаю, крепких чулков... Эка невидаль их монастырь... вот поживем так-то лучше, на вольной волюшке...

У ворот раздались крики. От Мировича явился новый вестовой.

— Скажи господину подпоручику, — объявил ему Власьев, — стрелять больше не будем, сдаемся, пусть идет. Ворота отопрут.

— А теперь, поручик, за мной! — шепнул, обратясь к товарищу, Власьев.

Он схватил Чекина за руку и повлек его к казарме принца. Во дворе побелело. Начало светать. Они миновали пикеты.

У сеней каземата ходил часовой.

— Что? Арестант спит? — спросил его Власьев.

— Должно, спит, не слышно.

Власьев взял у часового палаш, отпер дверь. В душной, со спертым воздухом комнате уже ясно можно было разглядеть предметы. В решетчатое, закоптелое окно чуть брезжил рассвет. Принц тихо спал за перегородкой. На скамье лежало его платье — матросская куртка и шаровары; возле стояли стоптанные башмаки. У изголовья висело полотенце.

— Ну, что ж, — обнажив палаш и обернувшись к Чекину, сказал Власьев, — именем статута, приказываю...

Чекин также обнажил шпагу. Он видел, как коротконогий, головастый Власьев несмело шагнул за перегородку и как, разглядывая спавшего, нагнулся и стал шарить. Секунды две его голова и плечи виднелись в дверь переборки. И вдруг он взмахнул рукой.

Раздался удар стали о что-то мягкое, быстрый шорох чего-то навалившегося, падающего и страшный дикий крик:

— Ах, Боже! Да что ж это?

Чекин без памяти бросился к двери и второпях не мог найти замка.

Что-то стремглав выскочило из-за перегородки. Среди комнаты обозначился рослый, крепко сложенный, окровавленный человек, в одном белье и с рассеченным наискось лбом. Кровь струилась по его бледному, искаженному страхом и недоумением лицу; в его руках был обломок стула. Красное пятно ширилось и сбоку рубахи. Он сломал ранивший его клинок, быстро обхватил Власьева и, повторяя «Иуда, убивец!», силился его повалить.

— Шпагу вашу, поручик... штык от солдата! — крикнул, хрипя, Власьев.

Чекин услышал голоса на дворе, топот подбегавших к лестнице солдат и протянул свою шпагу Власьеву. «Успеют, помешают», — подумал он. В сенях замелькали тени. Он выскочил за дверь.

За его спиной раздался новый отчаянный крик. Что-то толкнулось о стену, рванулось к двери и, простонав: «За

что же, голубчики, за что?», глухо рухнуло на пол. Чекин в темном проходе дрожал всем телом. Ему ясно опять представился ужин принца, их разговор. «А цветы все белые да алые... жуколицы, пчелы, шмели...»

— Где государь? Где? — крикнул, подбегая к каземату, Мирович. Он задыхался. Солдаты толпились за ним.

— У нас императрица, а не государь, — ответил, ступив из каземата, Чекин.

«Отместка за кронштадтского матроса!» — подумал Мирович, вспоминая такой же ответ Третьему Петру.

— Иди, негодяй, отмыкай дверь и кажи нам государя, — сказал он, схватив его за ворот и толкнув в затылок, — другой тебя, каналью, давно бы заколол.

Он бросился с ружьем по лестнице. Дверь каземата была настежь. На ее пороге стоял Власьев. Нахлынувшие солдаты толпились в сенях и на галерее. Мирович вошел в каземат. Там было темно.

— Огня, свечу! — закричал Мирович. — Что ты, злодей, тут делал впотьмах? — кинулся он к Власьеву. — Наемные душегубы, мерзавцы! Ужо всем вам будет расчет!

Принесли фонарь. Все вошли в затхлый мефитический каземат.

На его полу, навзничь, лежало в крови бездыханное тело принца Иоанна...

— Ах вы, злодеи, окаянные, бессовестные! — вскрикнул, отступая в ужасе, Мирович. — Боитесь ли Бога? Как смели пролить кровь столь великого, неповинного человека?

Он бросился к трупу.

— Император наш бывший, император! — кричал он, целуя руки и ноги убитого.

— Не знаем, кто он был, — ответил Власьев, — вина не наша. Что сделано — токмо по указу...

— В штыки их, извергов, в клочки! — раздались крики солдат.

— Пользы не будет! Колоть не надо! — остановил их Мирович. — И теперь они правы, а мы виноваты... Я вспомнил данное слово, явился, — сказал он, глядя в мертвое лицо узника. — Вот наш государь Иоанн Антонович. Ему быть бы на престоле, стоять во главе войска! Отбивался он ведь один, безоружный, против вооруженных... Помните и передайте в роды родов, вы его видели... Теперь мы бесчастны, и я боле вас всех... Один отвечу, за всех потерплю... Несите, — прибавил он, громко зарыдав. — Вашему величеству отдает долг последний верноподданный...

Тело покойного, в посконной белой рубахе и в портах из грубого мужицкого холста, прикрыли знаменем и на кровати вынесли на фрунтовое место, во двор, где уж рассвело. Все заглядывали в бледное, будто озабоченное величием рокового события лицо убитого с русой бородой. Мирович велел барабанщику бить утренний побудок, выстроил отряд шеренгами, положил к ногам принца свою шпагу, шарф и скомандовал в честь скончавшегося на караул. Барабанщик бил полный поход.

— Прощайте, братцы, не поминайте лихом, — говорил Мирович, обходя ряды и обнимая солдат.

Освобожденный из-под стражи комендант подал знак. Старший капрал и несколько рядовых окружили Мировича. Бередников отдал его под арест той команде, у которой сам за минуту был под стражей.

К фронту подошел наспевший из Шлиссельбурга командир смоленцев Корсаков.

— Может быть, вы, полковник, не видели живого нашего государя, Иоанна Антоновича, — сказал Мирович. — Так вот он мертвый... Но если бы...

Загремел барабан. Фронт сомкнулся. Шеренги двинулись в ворота. Корсаков повел арестованного Мировича на полковую гауптвахту.

Тело узника, в бархатном алом гробе, было выставлено в церкви. Стечение и толки народа заставили поспешить с его погребением. Он тайно был схоронен в глухом месте, у

стены, причем его могилу сровняли с землей; здесь впоследствии устроили и доныне существующую домашнюю, теплую для заключенных церковь, во имя апостола Филиппа. В народе пустили молву, что покойного вывезли ночью для погребения в Тихвинский монастырь.

XXXIII

СЕНТЕНЦИЯ

Екатерина в это время с большой пышностью совершала свою поездку в Остзейский край. Надежды немцев воскресли. Носился слух, что за них вел втайне подкопы опять оживший «лукавый старец Калхас» берлинского двора. Союз с Фридрихом грозил старыми бедами. Повторяли, со слов Ломоносова, совет дельца старых времен: «Дружи не с соседом, а через соседа».

Девятого июля Екатерина торжественно въехала в Ригу. Пальба из пушек, колокольный звон и крики «виват» встретили высокую гостью. Магистратские чины и рыцарство, на богато убранных конях, преклонили перед нею прятавшийся в елисаветинские годы городовой штандарт. На триумфальных воротах красовалась надпись: «Matri patriae incomparabili»[1]. Екатерина вышла из кареты по цветам, которые бросали ей под ноги одетые в белое дочери горожан. Осмотрев войско и посетив загородный дворец Петра Первого и русскую церковь во имя Алексея Божьего человека, Екатерина одиннадцатого июля приняла обед от рыцарства. Вечером в посольском доме ее ожидал бал-маскарад от мещанского общества.

С улицы долетали уже звуки музыки и гул ожидавшей государыню толпы. Проехали экипажи Бирона и Миниха. Собрались и гости русской свиты. Императрица сидела в

---

[1] «Матери отечества несравненной» *(лат.)*.

пудрамантеле, в уборной. Парикмахер убирал ей волосы. Шаргородская ожидала с платьем; Перекусихина — с маской и с голубым, в розовых лентах, домино. У подъезда стояла запряженная цугом, в страусовых перьях, с егерями и скороходами, парадная карета. Последняя букля была взбита, последняя булавка приколота. Екатерина уже протянула руку к маске. В это время в зеркало она увидела полуоткрытую дверь. Шаргородская держала на подносе пакет.

— Что там? — обернулась императрица.

— Фельдъегерь из Петербурга... офицер Кашкин...

Екатерина вскрыла пакет, прочла первые строки и чуть не уронила бумаги. То было подробное донесение Панина о покушении Мировича и об убийстве принца Иоанна.

— Уйдите, — сказала императрица окружавшим. Через несколько минут она позвонила. Лицо ее было встревожено, покрылось пятнами.

— Позвать графа Строгонова, — сказала она камер-юнгферам, — да не явно; пусть войдет по малой внутренней лестнице.

Строгонов явился. Дверь за ним заперли на ключ.

— Ну, Александр Сергеевич, — обратилась к нему императрица, — сослужи службу, поезжай за меня на этот бал.

— Как, за вас? Шутить изволите!.. — произнес, отступив, удивленный граф.

— Ничуть! Садись, вот мои уборы. Мавра Саввишна, Катерина Ивановна, прилаживайте на него.

— Но, государыня, за что же такая издевка? В чужом месте, незнакомая публика... угадают — осудят.

— Не о себе, обо мне подумай. Отказ мой сочтут за афронт, а ехать туда не могу. Я только что получила важные бумаги из Питера. Нужно отвечать, писать немедленно резолюции. Не до удовольствий, пойми; а политика, высшие резоны требуют скрыть от всех самомалейший намек на то, почему я уклонилась от предложенного бала. Не веришь? Думаешь, дурачу? Полно-ка. Одевайся и, не мешкая, поезжай. Ты же со мной, кстати, одного роста, турнюры и голос

мой не раз искусно перебуфонивал. Вот и найдись получше перед чужими, да кое перед кем и из своих: представь на этом вечере мою особу... утешь немцев...

— Только не в карете, пешком дозвольте, — ответил сдавшийся граф. — Иначе лакеи, подсаживая, как бы не признали и не разболтали.

— Как хочешь, лишь бы умненько, со смекалкой.

Спустя четверть часа граф Строгонов, в домино и в маске императрицы, окруженный депутатами города и чинами двора, через полную, гудевшую народом улицу, прошел в посольский дом. «На оный маскарад ее величество изволила ходить *пешком в маске*», — подчеркнул эти слова в тот же вечер в «дневнике двора» камер-фурьер Купреянов. Строгонова никто не узнал. Немцы приняли его за императрицу, расточали ему тонкие, затейливо-почтительные любезности и, всерабственно раскланиваясь, утруждали его нижайшими просьбами об упованиях и нуждишках края. Бирон, по обычаю, жаловался на обиды и подвохи Миниха, Миних на Бирона. Строгонов наслушался здесь таких секретов, что его в пот бросило.

Императрица между тем заперлась в кабинете, вновь прочла донесение Панина о «дивах» и все к ней бумаги и велела вызвать с бала Орловых и гетмана. Она им сообщила весть о кровавой, как она метко назвала ее, «шлиссельбургской нелепе».

— Страшное, бесчеловечное дело, — сказала она, — и тем досаднее, что принц уже почти совсем согласился постричься в монахи! Опомниться не могу, и трудно будет рассеять превратные толки злых, враждующих нам языков. А что хуже — этот позорящий нас злодей был, очевидно, не без пособников. Я вспоминаю, что перед моим выездом одна бедная женщина нашла на улице потерянное письмо, где указывали на некое соглашение, грозились меня убить...

— Кто ж пособники? — спросил, вспыхнув, гетман. — Надеюсь, не земляки Мировича.

— Дашкову называют — верить дико.

Орловы переглянулись.

— В арестованных документах три руки, — продолжала, просматривая бумаги, императрица. — Минифест мелкого почерка, письмо от имени покойного принца к Корсакову — крупного, а указ — средней руки. Первые два — положим, Мировича и Ушакова... Но кто ж писал третий документ?

— Тайный розыск, с пристрастьем! Веревка и пуля развяжут всякий язык, — сказал, сдвинув брови, Алексей Орлов. — Многие тузы объявились бы... в хомут бы его и на дыбу, допытались бы, с кем совещался... Да и солдаты — без подговора свыше не пошли бы за ним...

— Не розыск и не пытка, всенародный суд, без скрытности, вот что решаю, — возразила императрица. — Дело столь важное не может остаться в секрете, а особенно когда около сотни человек в нем с оружием участвовали... Строгое, без послаблений и всякой жалюзи, следствие, а по возврате в столицу — подробный, для всего света, откровенный манифест... Пусть узнают истинный образ несчастного фантома, для коего содеяно это безумное покушение.

Екатерина возвратилась в Петербург в конце июля. Манифест о шлиссельбургской катастрофе явился семнадцатого августа. Верховный суд над Мировичем был объявлен из членов сената, синода, президентов коллегий, генералитета и особ первых трех классов. Преступника содержали в Петропавловской крепости. Слухи о ходе суда проникали в город и волновали все общество.

Стало известно, что член суда, сенатор Неплюев, требовал арестовать и привлечь, как указано, «без жалюзи» к допросу до сорока лиц, большей частью из высшего круга столицы. Разнеслась весть и о выходке другого члена присутствия, барона Черкасова. Когда собрание, тридцать первого августа, выслушав первый личный допрос Мировича, решило его сковать и, содержа под караулом, приступить к сочинению сентенции, Черкасов встал с места.

— Я требую пытки изменничьему внуку Мировичу, — сказал он, возвысив голос. — В городе распущены вреди-

тельные слухи, и нас, судей, почитают комедиантами и машинами, от постороннего вдохновения движущимися.

— Дерзкие, обидные клеветы! — возразил кто-то.

— Строгим розыском, господа суд, о тайных руководителях жертвы, — продолжал Черкасов, — мы должны себя оправдать не токмо перед всеми теперь живущими, но и перед следующими по нас родами... В том наша честь и достоинство...

— Да, не мешало б в скромном месте в ребрах у него пощупать, — подхватили другие. Буря поднялась в верховном судилище. Все вскочили с мест, кричали упреки друг другу. Обер-прокурор Соймонов заявил, что и некоторые из духовенства требуют допроса с пристрастием.

— Воспрещаю длить столь дерзновенные речи, — повелительным голосом объявил генерал-прокурор князь Вяземский, — собрание закрыто, а о происшедшем будет доложено ее величеству.

Ответ Екатерины стал известен в городе.

— В голосе Черкасова, — решила она, — я иного не вижу, окроме, что ему чистое и нелицемерное усердие диктовало. Чужестранных недоброжелательных дворов министры действительно по городу рассевают, будто я заставляю собрание, для сокрытия истины, в сем деле комедию играть; да и у нас уже действуют партии, для соблазна публики... Черкасову выбиться нельзя; он ровный им тут... писали от усердия, сгоряча... Брат мой, а ум свой... Того ради дайте большинству голосов совершенную волю...

Шепотом повторяли и ответ Мировича комиссии, явившейся от суда для его увещевания.

— Покайся, признавайся, — говорили Мировичу члены суда, — назови единомышленников, подстрекателей, пособников и попустителей. Облегчи душу покаянием.

— Вы ищете моих пособников? — ответил он. — Напрасно: я действовал один.

— Но как ты мог решиться, как дерзнул?

— Я предпринял лишь то, что удалось вам самим и что вас поставило моими судьями, а меня подсудимым. Я шел по вашим стопам, удайся мое дело, вы все говорили бы иным языком.

Первого сентября Мировича заковали в цепи, лиша его чинов. Он сильно упал духом, плакал.

На новое предложение пытки Екатерина ответила:

— Оставим несчастного в покое и утешимся мыслию, что государство не имеет иных столь ожесточенных врагов.

Девятого сентября суд подписал сентенцию: «Капралов и солдат, участников бунта, прогнать сквозь строй и сослать в каторгу; камер-лакея Касаткина, за болтовню о дворе и его порядках, наказать батогами и зачислить в рядовые, в дальние команды. Чефаридзева — за недонесение — лишить чинов и тоже разжаловать в солдаты... Мировича — четвертовать и, оставя тело его народу на позорище до вечера, сжечь оное купно с эшафотом».

Власьев и Чекин, убийцы принца Иоанна, вскоре были высланы, с наградой по семи тысяч рублей, в дальние губернии, с воспрещением появляться вместе и вообще посещать многолюдные компании и о происшедшем с ними никогда и никому не говорить.

Казнь Мировичу была объявлена на пятнадцатое сентября, на Сытном рынке Петербургской стороны, против крепости. Екатерина, на предложение суда — отказаться от права помилования, ответила резолюцией: «Моих прав — не касаться никому» — и заменила казнь четвертования отсечением головы Мировичу.

Слух о покушении Мировича проник в дальние концы России, долетел до Днепра, до Трубежа и до Оренбургской линии.

В кумовой пасеке, в Переяславле, в Изюмском уезде, в Москве и у Измайловского моста, у Бавыкиной, произвели строгие обыски, допросы. Все угадывали участь, которая ожидала Мировича. Сентенция суда подтвердила общие ожидания. Две сестры Мировича и Бавыкина долго, как те-

ни, бродили по Петербургу, обходя и моля всех влиятельных лиц и падая в ноги членам верховного суда.

Бавыкина выждала императрицу, по пути ее за город, и подала ей прошение на том самом месте, где некогда удостоилась поднести ведро воды ее величеству. Екатерина узнала Филатовну.

— Ах, матушка, не могу, — ответила она с искренним чувством. — Проси, о чем хочешь; я у тебя в долгу, но этого сделать не в моей силе. Суд так решил, и соблазн слишком дерзостен и велик.

Двенадцатого сентября на перекладной из-за Волги прибыла в Петербург еще одна просительница. В первые дни она с трудом добилась приема у Григория Орлова, у гетмана и у преосвященного Афанасия; уцепилась у подъезда сената в кафтан генерал-прокурора Вяземского и, волочась за ним по ступеням, рыдая и обнимая его ноги, молила о пощаде своему жениху. Ей сказали, что поздно, — приговор о казни Мировича уже был судом подписан. Ее видел и прибывший в это время с юга приятель Мировича, Яков Евстафьевич, давший ей совет — обратиться с просьбой выше.

Во вторник, четырнадцатого сентября, в дворцовой церкви Царского Села, по случаю праздника Воздвижения, для государыни служилась заутреня, затем обедня. Из церкви императрица прошла в кабинет, где ее ожидали кофе и привезенные с утренним курьером доклады.

Бывший гардеробмейстер Василий Григорьевич Шкурин, ныне бригадир и камергер, в праздничные дни вспоминая старую службу, любил сам обметать пыль со столов и прочей мебели императрицы. Так и теперь он, войдя в кабинет, обмахнул пучком перьев часы и камин и, занявшись полкой с книгами, стал, по обычаю, мурлыкать церковный кант. В таких случаях, в часы доброго расположения духа, и Екатерина любила в шутку подтягивать верному слуге. Возгласит он, подражая лаврскому архимандриту: «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое», Екатерина обернется от бумаг и, на манер хора, протяжно ответит ему: «Ис-палла-эти деспота...»

Затянет Василий Григорьевич, вроде архиепископа Димитрия, чуть слышным, замирающим голосом: «Свете тихий, святые славы... Отца бессмертнаго... святаго, блаженного», императрица баском вторит ему: «Премудрость, вонмем».

Теперь Шкурин пропел начало известного тропаря и во второй раз нежно затянул любимую стихиру:

От юности моея мнози борют мя страсти...

Он помахивал пучком, вздыхал, оглядывался; императрица не отрывалась от стола и его не замечала. Уж он, кряхтя, взялся за дверь и готовился уйти.

— Что, Григорьич? Не в духе твоя кума? — вдруг отозвалась, обернувшись к нему, Екатерина. — Имеешь что-нибудь сказать?

— Как, матушка, не иметь? Да вот, пресветлая, углубилась ты в бумаги, не смел.

— Говори.

— Просительница одна ждет тебя, многомилостивая, у садовника Титыча, с парадного не пустили, гнали, ко мне дошла.

— Кто она и по какому делу?

— Издалека, с Камыш-реки... на перекладной домчалась — все по тому же... по завтрешнему-то случаю... девушка из прежних, видно, дворских.

— Девушка? Кто такая?

— Плачет, не знаю, даже слезы выплакала... ох, прими ты ее, всемилостивая.

— Что же я могу, Бог мой? — спросила, вздохнув, Екатерина. — Что я для нее, когда и все-все?.. Алексей Петрович, гетман, Панин?..

— Допусти ее, выслушай, — сказал, поклонившись в пояс, Шкурин.

Екатерина позвонила. Дежурный лакей ввел худую, красивую, с янтарно-золотистыми волосами девушку. Оставшись наедине с государыней, она опустилась у порога на колени.

— Встаньте, милая, ободритесь, — произнесла ласково, подходя к ней, Екатерина. — За кого вы просите?

— За Мировича...

— Монархи не властны в таких делах; не я судила его, и не я клала приговор. Кто вы и почему просите за него?

Худые плечи Поликсены вздрагивали. Бледные руки безжизненно были опущены вдоль темного, старенького платья. Запекшиеся, сжатые губы не могли произнести ни слова.

— Кто вы? — повторила императрица. — Говорите, как матери отечества! Не бойтесь... мы одне.

— Я невеста Мировича, — ответила Поликсена, подняв на Екатерину убитый, потухший взор.

— Невеста?.. Что вы говорите?..

— Вижу, пощады не будет; молю об одном — дайте с ним проститься, разделить его последние минуты.

— Сядьте, милая, сядьте, вы падаете, — сказала, поддержав ее, императрица. — Здесь, на софу... Так, невеста? Вы лучше всех знали его. Скажите откровенно, без утайки, — продолжала, сев возле гостьи, Екатерина, — что побудило его на столь дерзкий, безумный шаг? Притом в нем замечена такая зазорная, зверская окаменелость, такое упорство в невыдаче своих сообщников...

Поликсена медлила ответом.

— Государыня, можете ли хоть обещать? — спросила она.

— Все, что в моих силах.

— Даже помилование? — вспыхнувшим взором впиваясь в Екатерину, спросила Пчелкина.

— Увижу!.. По вашей искренности... Есть сообщники, подстрекатели?

— Есть... одно лицо.

— В живых оно? И вы знаете? — медленно спросила императрица.

— Знаю... в живых...

— Можете уличить, доказать?

— Могу.

— И его не привлекали к следствию?

— Его никто не знает, а в нем вся вина...

Екатерина встала. Облако прошло по ее лицу.

— Извольте, — сказала она, — обещаю даже помилование; говорите, кто это лицо?

— Ваше величество, дело идет о жизни и смерти близкого мне человека... простите — назову зачинщика и подстрекателя, если только удостоите... если помилование Мировича будет неотложно...

— Не верите? — спросила, нахмурясь, Екатерина.

Поликсена, ломая руки, боролась с собой.

— Кто ж подстрекатель? Кто?

— Я, государыня! — негромко проговорила Поликсена.

— Вы? — прошептала в изумлении Екатерина. — Полно! Шутите, бедная! Я этого не слышала, не хочу знать. Желание спасти близкого, любимого человека ослепляет вас... Честь доброму сердцу и чувству; но — простите и меня — верить вам не могу... Я читала его записки, календарь, стихи — это фанатик сильный, но у него должны быть пособники, подстрекатели, еще более сильные...

— Я, ваше величество, одна я виновница! — продолжала Поликсена. — Он лишь выполнял то, чего я желала, требовала.

— Требовали? Вы? — произнесла Екатерина, оглянув просительницу удивленным, испытующим взором. — Но вам-то, сударыня-голубушка, зачем надобилось такое дело? В чем могли здесь быть ваши собственные виды и намерения?

Поликсена как-то съежилась, приникла и закрыла лицо руками. Ей в это мгновение вспомнился шлиссельбургский каземат, тайные встречи с узником, ее безумные надежды, мечты. Представилось ей и ее прошлое — сиротливое, заброшенное детство, жизнь в положении швеи, потом камер-медхен прежнего двора, ухаживанья наглых, бездушных волокит, знакомство с Мировичем и гаданье Варварушки. Сбывались и слова ворожеи... пролилась кровь и вновь была готова пролиться...

Поликсена помолчала и торопливо, обрываясь в словах, рассказала Екатерине повесть своих отношений к Мировичу.

— Узнав принца, убедясь в его страшной, беспомощной доле, — заключила она, — я обеспамятела от горя — уко-

рила полюбившего меня, что он не имеет отваги, смелости... Я хотела прежде обеспечить долю принца... потом — выйти за Мировича. Мои слова были искрой в порох... Он предпринял отчаянное дело — и теперь его ждет казнь... Государыня, казните меня — не его... Я всему виной...

Екатерина молчала.

«Вот наш век, — сказала она себе, — и его еще считают холодным, чуждым героизма. Действительно, новая Жанна д'Арк... Что скажет Дидеро? Как посудит Вольтер?»

— Вы были откровенны со мной, — объявила она просительнице. — Я сдержу обещание...

Поликсена упала к ногам императрицы. Та ее ласково придержала, обняла. В глазах Екатерины светилась ласковая, добрая улыбка.

— Только ни слова о том никому, — заключила императрица, — завтра экзекуция утром. Указ о помиловании будет с фельдъегерем доставлен к эшафоту...

Поликсена уехала из Царского. По пути ее обогнал мчавшийся во всю конскую прыть фельдъегерь.

В тот же вечер сторож Мировича, унося из каземата остатки ужина, будто нечаянно обронил клочок бумаги. То была записка, а в ней кольцо.

«Не падай духом, надейся, — писала Поликсена, — я здесь; моли Бога — все еще может измениться».

Мирович обезумел от радости.

— Как? От нее? — шептал он, осыпая записку и кольцо поцелуями, слезами. — Вот когда сказалось, вот!

Он несчетные разы подносил к свече письмо, читал дорогие строки, сжег письмо и, гремя цепью, взад и вперед ходил по каземату.

Но вдруг он остановился как вкопанный: внезапная, адски страшная мысль пронеслась в его уме. «А что, если все это она придумала, сочинила, чтоб только успокоить, утешить меня? Что, если, вместо помилования, завтра упадет моя голова? Так, так! Придумала... из жалости, добра ко мне...»

Холодный, мертвящий ужас охватил Мировича. Он стиснул зубы, упал лицом в постель, и все его бренное, исхудалое тело задвигалось в судорогах злобных, глухих проклятий и бессильного, душу рвавшего отчаяния и бешенства.

XXXIV

НА ЭШАФОТЕ

Пятнадцатого сентября с утра народ повалил на Сытный рынок, где, против тогдашнего второго моста через Кронверкский канал, возвышался окрашенный черной краской эшафот. Явилась полиция. Подметали площадь, соседние улицы. Лавки были заперты. Ожидали обер-полицмейстера и войско.

Мирович всю ночь не спал.

Его мысли были в страшном, мучительном беспорядке. Мрачные, безобразные представления, обрывки, клочки виденного, испытанного возникали и исчезали перед его глазами. То ему казалось, что Ушаков, о гибели которого он узнал во время суда, жив, с толпой единомышленников ворвался в крепость и спешил на его освобождение. То видел он заседание масонов, слышал речь кёнигсбергского каноника: «Вы — Азия и мрак, и истинного света вам не видать». Какая-то депутация шла к государыне, пророчила ей восстание всей страны, и она подписывала указ о его прощении. Грезились ему и другие картины: темная, дождливая ночь; в окне кто-то возился, чем-то скреб; подпиленная решетка падала, а за ней, с фонарями и факелами, стояли гетман, Орловы, Панин и живой принц Иоанн. «Мы о тебе просили, тебя не помиловали, — говорил гетман. — Иди, шлюпка готова; уедем; тебе не удалось — я разбил все преграды».

Мирович вскакивал, прислушивался, с замирающим сердцем вглядывался в темноту.

— Подлый, гнусный трусишка! — шептал он себе, с отвращением, в лихорадке гнетущего, дикого ужаса. — И

умереть-то, по правде, спокойно, мужественно не умеешь! Вздор! Эка, черт, чего испугался, смерти... точно не ожидал... а хотел быть, при удаче, генералиссимусом, светлейшим... Ожидал, ведь по пальцам, по часам, все сообразил и высчитал, как и когда... Знаю и место... лавчонки там все дрянные, с прогнившими зеленоватыми крышами, — одна даже провалилась, и ее недавно, как я проходил, заделывали новыми досками... Там, кажется, казнили Волынского; а прежде, кто-то говорил, на той же площади торчал столб с головами четвертованных по делу царевича Алексея... И теперь уже, наверное, тоже там торчит *это* страшное, из досок, дьявольское пугало. И кто назначил, кто решил эту казнь? Я здоров, молод, силен; сколько было упований, надежд, и вдруг — смерть... Эти руки, грудь, голова, чуть рассветет, будут трупом... И за что? Я лишь не успел сделать того, что сделали другие — Дашковы, Орловы, гетман. Стучи, стучи, глупое, жалкое сердце, — шептал, ощупывая себя, Мирович. — Скоро конец ночи, последней ночи... Но конец ли?

Он вскакивал с постели, взбирался на подоконник и просовывал голову в форточку.

— Боже, какая тьма и что за возмутительный, невероятный везде покой! — содрогался он, стиснув зубы. — Ни звука! Я один, отрезанный от всех, а завтра еще более... отрежут, отсекут...

«Да, да, — мысленно кричал он, — безжалостные! Давеча за дверью солдаты вон разболтались от скуки да громко так, в щелку двери, как молотком, все отдавалось. Палача выбрали, толкуют, надежного и прежде его испытали: одним ударом, вишь, голову отсек он барану, с шерстью... охулки на руку, значит, не положит... Как бы убежать? Надо убежать, но нет ни пилы, ни ржавого гвоздя... говорят, голова по отсечении еще живет... Студенты в Неметчине купили заранее такую голову с одного казненного и, поставя ее с плахи на опилки, стали кричать в уши. "Иоганн!" — крикнули в левое ухо — глаза головы обернулись налево... "Иоганн!" — крикнули в пра-

вое — глаза обернулись направо... Страшно! Господи! Ужели и я буду все чувствовать, видеть, слышать?»

В лицо Мировичу повеял свежий предрассветный ветерок. И все, что было ему в жизни дорогого, вся немногая теплота и прелесть его неудавшейся, скомканной жизни, детство, родина, школа, первые встречи с Поликсеной, первые радости и эта, после разлуки, родная глушь, мечты укрыться навек среди тишины и чистоты деревенского счастья — все это разом откликнулось, ожило, заговорило в Мировиче. Он, примиренный, растроганный, сошел с окна, лег на кровать, закрыл глаза и тихо, отрадно заплакал. Греющий, сладкий сон незаметно подкрался к нему, обнял его и угомонил. Свеча погасла. Сторож, поглядывая в дверное окно, не зажигал ее, чтоб не будить арестанта.

Вдруг Мирович очнулся, сорвался с кровати.

Был шестой час утра. Начинался бледный, туманный, осенний рассвет. Все необычайно тяжелое, враждебное и грозное в ясной неотразимости снова встало в душе Мировича. «За что же, за что? — кто-то говорил внутри его. — И эта казнь, это новое убийство?.. Не дождешься увидеть мира на новых, лучших началах — рухнул твой храм, и все те обманщики, лжецы, кто думал его когда-нибудь перестроить».

Он увидел с вечера присланный ему от священника лист бумаги, взял перо и сел с целью написать несколько строк к близким своим... рука не повиновалась... Дрожь опять охватила, сковала его члены.

— Богу помолиться, Богу, — прошептал он.

Расчесав длинные русые волосы, он приоделся и стал молиться. О чем? — молитва не шла на язык.

Вдали в коридоре что-то стукнуло. Послышались торопливые шаги. У дверей загремели ключами. Мирович встрепенулся всем телом, впился в дверь безнадежно отчаянным взором. Вошел комендант, за ним священник.

— Мужайся, сыне мой по духу, — сказал, робко оглядываясь по комнате, священник. — Молись, твой час настал...

«А записка? — подумал Мирович. — Ужели я все выдумал, все пригрезилось?»

Священник остался наедине с арестантом. «Уйти? — пробежало вдруг в мыслях Мировича. — Упросить священника обменяться с ним рясой?.. Нет, детские, несбыточные мечты! Не ушел ранее, во время покушения, теперь поздно...»

В десять часов утра площадь, мост, заборы и крыши лавок и домов наполнились народом. Прибыло войско. Сдержанный, смутный говор толпы раздавался в сиверком, мглистом воздухе. Незадолго перед тем прошел дождь. С намокших дерев, у моста и вдоль забора капало. Слышались толки, что казнь, гляди, отменят — в острастку только выведут, положат голову на плаху и простят.

Две заплаканных, с измученными лицами женщины — старая, строгая с виду, и молодая, бледная, в черном — протолкались на площадь и стали у фронта солдат.

— Видно, мать да сестренка его или невеста, — шептали в толпе, давая им дорогу.

— А слышал? Фельдъегерь прискачет, помилование прочтут! — сказал у моста измайловскому сержанту Новикову преображенский капрал Державин.

— Едут, едут! — послышалось с улицы и у моста. Народ двинулся к площади. Поднялась давка, суета. Загремел барабан. Раздалась команда:

— Смирно, стройся!

Из крепости показались верховые. На телеге, под конвоем проехал по мосту с непокрытой головой, страшно бледный, в армейской голубой шинели офицер. С ним рядом сидел с крестом в руке священник.

— Мирович, Мирович! — заговорили в толпе.

За ним потянулись повозки с прочими осужденными. У каждого в руке было по погребальной свече. Возле телег шли вооруженные солдаты.

«Еще жить целую улицу, мост, половину площади, — думал Мирович, — когда-то еще до эшафота».

— Вот, батюшка, — сказал Мирович священнику, когда телега въехала на площадь, где в толпе ему будто мелькнуло

испуганное, бледное лицо харьковского приятеля, — какими глазами смотрит на меня народ! Совсем иначе глядел бы, когда б удалось мое дело... когда бы принца я доставил в столицу, в Казанский собор...

— Полно, безумец, где твои помыслы, раскаяние?

— Кому оно нужно, когда *его*, погибшего через меня, нет в живых?

Барабаны смолкли. На эшафоте показался палач. Его помощники ввели кого-то по лестнице.

— Молодой-то, глянь, молодой да белый, как бумага, белый с лица! — послышалось в толпе, разглядевшей на возвышении Мировича. Площадь смолкла. У плахи явился в зеленом кафтане и в таком же камзоле, плотный, высокий, с довольным лицом аудитор от главной полиции. Он снял треуголок, развернул бумагу. Солдаты взяли на караул. Аудитор, сперва невнятно и путаясь в словах, потом громче, во всю грудь, стал читать приговор суда. Мирович затуманенным, блуждающим взором окинул площадь и окрестные дома. Где-то в толпе ему махнули платком.

«Кто бы это был?» — со страшно забившимся сердцем подумал он, усиливаясь отыскать и уже не находя того места, откуда ему махнули.

— Батюшка, — сказал он, нагнувшись к стоявшему рядом с ним священнику. — Здесь, на этом самом месте, неправедно погиб великий патриот Артемий Волынский... Друзья, оберегатели царевича Алексея, тут же скончали живот...

— Подумай о Боге, — ответил священник, — минуты, ведь секунды тебе остаются...

Аудитор кончил, но его слова еще раздавались в ушах Мировича. «Простят, простят! — думал он. — В записке ясный намек; толпа расступится, — как знать, может, уже скачет с новым указом верховой...»

Общая тишина ужаснула Мировича. Он вздрогнул. Две сильных руки ухватили его сзади за плечи и куда-то вели. Он безропотно, сам удивляясь своей покорности, подошел к плахе.

С него сняли шинель и кафтан. Верхняя часть камзола распахнулась: грудь обдало холодом. Мирович пристегнул пуговки, оправил рубаху. «Что же дальше? — мыслил он. — И позаботился ж я, чудак, о холоде!..» Все как бы чего-то ждали. Священник и аудитор смотрели куда-то в сторону. Помощники палача рылись в какой-то темной, безобразной корзине.

«Господи, Ты един, един! — вдруг заговорил в Мировиче внутренний, удививший его голос. — Проститься с ними...»

Он ступил к решетке, поклонился на все стороны.

— Прощается, прощается! — пронесся гул от края до края площади.

Где-то вблизи послышался вздох, затаенное причитыванье.

«Мужайся, — повторил тот же голос внутри Мировича. — Увидишь».

Его мысли менялись с страшной быстротой. И весь он, думая: «Еще минута, через полминуты буду не я, буду не человеком», обратился в мертвое ожидание, впивался в малейший звук. Он вспомнил о кресте с мощами.

— Батюшка, — сказал он священнику, — вот от меня — сберегите... Я побратался этой святыней с одним человеком.

«А кольцо, ее подарок?» — спохватился он. В это мгновение ему случайно и впервые кинулось в глаза скуластое, рыжее, с редкими, крепкими белыми зубами и несколько, как ему показалось, смущенное чье-то лицо. Он понял мигом, что то был *он*... палач...

— Ну, брат... ты ведь по Христу мне брат! — заговорил Мирович палачу. — Возьми этот перстень; дорогая особа его подарила... Коли велят, ну, прикажут, — не мучь, разом... ты ведь упражнялся...

Мирович смолк. Его не останавливали. Секунды летели, казались часами.

«Да, ждут чего-то, именно ждут!» — замирая, подумал он, считая мгновения. И ему почудилось, что где-то вдали ему опять махнули чем-то белым.

Кто-то дал знак. Громко загремели у эшафота барабаны. Мировича сзади схватили те же сильные руки.

— Да здравствует и святится память истинного нашего государя... мученика Иоанна Третьего Антоновича! — крикнул вдруг безумно смело Мирович.

— Пусти, я сам, сам! — кричал он, порываясь. — Без повязки, я офицер... Да здравствует... невинный... мученик...

Барабаны, прогремев, смолкли.

Мирович увидел, что и он вдруг страшно успокоился. Его придерживали. Еще раз тусклым, испуганным зрачком взглянув на мертвенно стихшую толпу, он подался к плахе, еще хотел что-то сказать, гордо выпрямился, с благоговейной твердостью взглянул на крест ближней церкви и вдруг, сильно нажимаемый кем-то и мысленно повторяя: «Господи, да что ж это? Насилие? Меня куда-то тянут?» — склонился на плаху. «Вот, вот... шум, кажется, верховой... скачут...»

Подъехала к войску придворная карета. Из ее окна направилась на эшафот чья-то подзорная трубка. После говорили, что это была из любопытства везде поспевавшая Дашкова.

С площади и с моста было ясно видно, как большой, сверкающий топор вдруг поднялся над плахой и с глухим хрустом опустился туда, где лежал Мирович, в гаснувшем взоре которого в это мгновение вдруг завертелось все окружающее: фронт солдат перекосился на крышу домов, уличный фонарный столб очутился на шпице колокольни, опрокинутая церковь падала, с ужасающей быстротой, во что-то страшное, бездонное...

Палач за русые, длинные волосы поднял отрубленную, бледную, окровавленную голову казненного...

Площадь ахнула. От содрогания толпы покачнулся мост на канаве и рухнули его перила. Громче всех раздался вопль девушки, без памяти упавшей на руки обезумевшей от горя старухи и невысокого, растерянного помещика, в гороховом кафтане и с украинским выговором.

— Ко мне, Настасья Филатовна, — шептал стоявший здесь Яков Евстафьич Данилевский, — у меня тут и квартирка неподалеку; не смял бы вас с нею народ...

— Да, — рассказывал щеголеватый и длинноногий преображенец, идя от места казни с измайловцем, — непости-

жимо, Николай Иваныч, фельдъегерь-то... Опоздал ведь всего на пять минут. Показался, слышно, от Тучкова моста, когда все уже было кончено.

— И ты этому веришь?

— Как не верить! — ответил Державин. — К Алексею Орлову, доподлинно сказывают, вчера еще был прислан указ о помиловании; не сверили часов, ну — и ошиблись.

— Юноша ты мой, юноша! — сказал, посмотрев на него, Новиков. — Да Орлов-то сделал ли по воле государыни? Поживешь — увидишь... А теперь зайдем-ка хоть в Колтовскую да отслужим по убиенному рабу Божию Василию панихиду... Ведь то, что пытался сделать этот несчастный, освободить принца, сделали другие — хоть бы Орловы, освободившие Екатерину... разница лишь в том, что те успели, а он — нет... идем.

— Нет, не могу... — заторопился Державин, — и то опоздал; к начальнику, к Лутовинову, обещал заехать и все ему первому рассказать.

«Далеко пойдешь», — подумал, покачав ему головой вслед, Новиков.

К вечеру эшафот с телом Мировича был сожжен на месте.

Узнав о казни, малолетний цесаревич Павел плохо спал в ту ночь.

Императрица переехала из Царского в Петербург. При дворе заговорили о решении уничтожить гетманское звание в Малороссии; государыня занималась театром и литературой. Стало известно, что поступивший на службу к Елагину Фонвизин перед выездом государыни в Ригу читал в петергофском эрмитаже оконченную им комедию «Бригадир». Екатерина осталась довольна чтением и выразила автору отменное свое благоволение.

— Кто подвинул вас на этот труд? — спросила она чтеца.

— Бессмертный наш ученый и поэт, Ломоносов, — ответил Фонвизин.

Слава молодого писателя была уже сделана. О нем толковала знать; повторяли имена, выражения его героев.

Был холодный октябрьский вечер.

В Зимнем дворце, после долгого в нем отсутствия, обедала Дашкова. В тот же день императрица получила из Москвы просительную жалобу дворовых людей на известную тиранку Салтычиху. Повторяли с ужасом о кровавых проделках этой госпожи.

«Называть ее в бумагах не она, а он», — решила государыня.

— Не смягчатся нравы, пока не смягчатся сердца, — сказала Екатерина. — Лучший путь для того — бич сатиры и вольное обсуждение избранных, опытнейших умов.

Опять вспомнили Фонвизина и его отзыв о Ломоносове.

— А наш-то Михайло Васильич, — сказала Екатерина Дашковой, — слышали? Опять сильно хворал, и главное — совсем закручинился... Поедем-ка к нему. С весны не удалось его видеть.

Придворная карета остановилась на Мойке, у дома Ломоносова. Лакей в плюмаже и в шитой золотом ливрее вошел во двор. За ним две дамы. На синей бархатной, подбитой соболем шубейке одной из них была андреевская звезда.

Екатерина знаком остановила суету на крыльце и во флигеле и без доклада с Дашковой вошла в верхний рабочий кабинет. Упавший духом и силами Ломоносов, по обычаю, сидел у письменного стола, заваленного книгами, бумагами и химическими аппаратами. В камине огонь, как бы прощаясь с хозяином, то вспыхивал, то угасал.

— Здравствуйте, Михайло Васильич, как поживаете? — ласково произнесла Екатерина. — Мы вот завернули навестить нашего славного эрмита.

Ломоносов встал и с чувством, молча, поклонился.

— Чем занимаетесь? И где в эти минуты царит ваш пытливый гений? На планетах? В металлах или на излюбленном вами северном пути в Индию?..

Полдневный света край обшел отважный Гама
И солнцева достиг, что мнила древность, храма...

Видите, как я люблю и помню ваши стихи... Мне же рифма совсем не удается... ухом туга... и в музыке мало смыслю...

— Милостивая! — прошептал и опять смолк Ломоносов. Слезы навернулись на его глазах.

— Ну, полноте хандрить! — сказала Екатерина. — Нездоровы? Полечитесь — пришлю медиков; напала грусть? — приезжайте-ка в эрмитаж, развеселим вас с молодежью.

— Нет, государыня, не я нездоров и грустен, — ответил Ломоносов, — больна и грустна моя душа...

— Вас ли слышу, неутомимый, непобедимый в предначертаниях и трудах? Отзовитесь-ка мощным словом; соотечественники ждут. Вот, думаю депутатов призвать от сословий, для составления хартии законов... Ваш гений осветит наш горизонт...

— Новому вину и новые меха, всемилостивая! — проговорил, всхлипнув, растроганный Ломоносов. — Не все гладко, кочки, — обширная страна, — жертвы неизбежны... так! Но великими делами начинаешь ты свое правление и нас, тружеников, не забываешь... Живи вовеки, а нам уже, видно, умирать...

Он еще хотел нечто сказать: с языка срывалось имя безвестно погибшего царственного узника и виновника его роковой гибели, — но он молча поник головой...

При дворе повторяли стихи, набросанные, в честь посещения императрицы, Ломоносовым:

Великому Петру вослед Екатерина
Величеством своим нисходит до наук
И славы праведной усугубляет звук...
Коль счастлив, что могу быть в вечности свидетель,
Богиня, коль твоя велика добродетель!..

Осенью того же года скончалась Бавыкина, было отменено гетманство. Пчелкиной возобновили приглашение, и она выехала в чужие края, где в качестве знающей иностранные

языки воспитательницы некой таинственной девочки она осталась несколько лет. О ней вспомнили, когда в Венеции появилась известная принцесса Тараканова...

Отец принца Иоанна умер слепой в Холмогорах; сестры и братья спустя много лет, стариками, отправились морем в Данию. Их слуги, под именем «мореходцев», были закрепощены на вечное житье в Холмогорах. Полную свободу этим «мореходцам» объявили только в настоящее царствование.

Померкла слава Орловых. Взошла звезда Потемкина. Прогремела Пугачевщина. Кончились турецкие войны, был завоеван Крым и взят Измаил. Ломоносова давно не было на свете. Державин пел Фелицу, шел в гору, автор «Недоросля» и «Бригадира» печатно адресовал политические вопросы Екатерине. Пали мартинисты и с ними творец дружеского общества и Типографической компании, Новиков. Былой восторженный измайловский солдат, тридцать лет назад, в памятное июньское утро, стоявший на часах у полковой сборной, — теперь слабый, скрюченный горем и геморроидами старик — Новиков сидел в том самом шлиссельбургском каземате, где содержался и погиб от покушения Мировича принц Иоанн.

Однажды обвалилась штукатурка у его печи. Новиков, бродя по комнате, еще отнял часть известкового слоя и, при слабом свете ночника, не без труда прочел выцарапанные гвоздем на стене каракули: «мы, Бож... милостию... императ... Иоанн Третий Антонович...»

1875

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА К ШЕСТОМУ ИЗДАНИЮ РОМАНА «МИРОВИЧ»

Роман «Мирович», сперва названный по имени главного героя, принца Иоанна Антоновича, «Царственный узник», написан в 1875 году.

Получив возможность его издать, через четыре года после его окончания, я обратился к забытой рукописи и увидел, что многое в ней следует переделать, особенно язык некоторых лиц, немало длиннот сократить (между прочим, в первой части), многое, едва намеченное, развить.

Особые обстоятельства, при которых роман печатался в журнале «Вестник Европы» и вслед за тем, без перемен, во втором, третьем, четвертом, пятом и в настоящем, шестом издании, не дали мне средства исполнить необходимых переделок.

Сожалею об этом в особенности потому, что в романе остались без должной обработки некоторые места, особенно увлекавшие меня своей заманчивой стороной.

Источниками для романа «Мирович» служили, кроме строго исторических и официальных сведений, различные, изданные и неизданные, частные матерьялы, записки, дневники, воспоминания и письма некоторых современников той эпохи и их ближайших потомков. К числу последних источников относятся и предания моей семьи.

Мой прадед, по отцу, был земляком и товарищем по воспитанию Мировича. Ею жена, моя прабабка, бывшая фрейлина при дворе супруги Петра III, спасла мужа через своих знакомцев, когда у него в поместье сделали обыск после шлиссельбургской катастрофы. Она живо помнила и в семейном кругу подчас рассказывала как о Мировиче, так и о причинах его рокового покушения. Ее невестка, мать моего отца, была из рода Рославлевых, как известно, рядом с Орловыми игравших такую видную роль при воцарении Екатерины II. Женщина замечательного ума, воспитания и редкой памяти, моя бабка жила очень дружно со свекровью, никогда с нею не расставалась и умерла, как и последняя, также в преклонных годах, когда мне было девять лет. Большую часть ее рассказов я записал со слов моего дяди, ее старшего сына, от которого мне досталось и большинство наших любопытных семейных бумаг XVIII века.

Вся так называемая основа романа — жизнь и любовь Мировича, нрав и влияние на него героини, как и многие другие подробности воцарения Екатерины и покушения Мировича, — взята мною из воспоминаний прабабки и бабки, а также из посмертной записки Квитки-Основьяненка (План романа из жизни Мировича). В главном, что составляет достояние истории, я держался несомненных данных, разбросанных в массе печатного материала, из которого у меня составилась по этому предмету целая библиотека.

Наиболее драгоценные сведения о Мировиче и его времени, из числа исторических материалов, представляют исследования в государственном архиве автора «Истории России» С.М.Соловьева, графа Д.Н.Блудова, князя В.Н.Кочубея и графа М.А.Корфа, а также труды академиков Поленова, Арсеньева, Кунина, Сухомлинова, Пекарского и Грота, профессоров Брикнера и Ламанского и гг. Бартенева, Семевского и Хмырова.

Я пользовался также документами архива Шлиссельбургской крепости, бумагами Архангельского губернского правления о брауншвейгских ссыльных, посетил Шлиссельбург, с «каменным мешком», казематом Иоанна Антоновича в Светличной башне, мызу Пеллу и родину Мировича.

Считаю долгом здесь привести объяснение на некоторые из более важных вопросов и замечаний, с которыми ко мне обращались во время печатания романа в журнале.

Знаменитый автор «Истории России» С.М.Соловьев (т.XXV, 1875, с. 93), допуская, что император Петр III *мог* видеться с узником Иоанном Антоновичем, предполагает, что принца для этого привозили из Шлиссельбурга в Петербург и что это свидание могло быть 22 марта 1762 года. Профессор г. Брикнер в статье «Император Иоанн Антонович» («Русский вестник», 1874 г.), приводя рассказы Корфа и Бюшинга, Германна и Кастеры о «шлиссельбургском свидании» Петра III с принцем, называет эти свидетельства «шаткими и неосновательными», так как, по его словам, нет точных указаний о посещении Шлиссельбурга Петром III. Автор новейшей статьи о принце Иоанне в «Русской старине» (1879 года) говорит, что даже «о времени перевода Иоанна Антоновича в Шлиссельбург доныне нет точных сведений». У Сальдерна («Biographie Peters des Dritten»[1]. 1800, с. 48—49) это свидание, кстати сказать, изображено с наибольшей достоверностью.

Мне в недавнее время удалось ознакомиться с неизданным архивным официальным документом большой важности. Он называется «*Формуляр Шлиссельбургской крепости*». В нем я нашел в точности обозначенным время (1756 год) «прибытия в Шлиссельбургскую крепость брауншвейг-люнебургского принца Иоанна Антоновича». Здесь

[1] «Биография Петра Третьего» (*нем.*).

же, под 1762 г., стоит отметка коменданта того времени: «18-го марта (1762 года) *изволил посетить эту крепость государь император Петр III*». Об этом я сообщил покойному С.М.Соловьеву за два месяца до его кончины.

Большинство исследователей не указывают места погребения принца Иоанна. Многие убеждены, что он похоронен в Тихвинском монастыре. Так, г. Семевский говорит: «Иоанн был погребен без церемонии в Тихвинском монастыре, ночью, в простом гробе, в матросском платье, и зарыт в ските одной из часовен» («Отечественные записки», 1866 г.). Башуцкий, долго бывший послушником в этом монастыре, говорит, что хотя он не слышал, чтобы там была могила принца, но что это «ничего не доказывает», так как убитого принца «могли похоронить там, не называя покойника». Мне привелось, при посещении Шлиссельбургской крепости и ее Светличной башни, услышать предание о том, что принц Иоанн был похоронен в одной из казарм крепости, в подполье церкви св. апостола Филиппа. Другие удостоверяют, что он был погребен на холме, в так называемом «тампете», означающем место, где в крепости помещался прежний собор св. Иоанна.

В *«Исторических бумагах, собранных академиком Арсеньевым»* помещены выдержки из документов «Канцелярии тайных розыскных дел» о приключениях посадского Ивана Зубарева, посланного из Берлина Фридрихом II (в то время воевавшим с императрицей Елисаветой Петровной), через посредство тогдашнего русского эмигранта известного Манштейна, — освободить принца Иоанна из Холмогор, в ту пору места заточения принца.

На основании этих и других данных г. Пекарский в «*Биографии Ломоносова*» говорит об отношениях названного Зубарева к Ломоносову, уроженцу Холмогор, к которому ловкий посадский проник в Петербурге вследствие порученного Ломоносову испытания сибирских руд, как потом оказалось, тайно подделанных Зубаревым. Г. Пекарский замечает: «Для Ломоносова это дело осталось без последствий; но приключения Зубарева на этом не остановились, и судьбе угодно было, чтоб он, Зубарев, впоследствии был причиной одного из важнейших событий в жизни герцога брауншвейгского, содержавшегося, как известно, в Холмогорах. Зубарев, как агент Фридриха II, был пойман и дал свои показания в январе 1755 г., и в том же месяце последовало распоряжение о переводе принца Иоанна из Холмогор в Шлиссельбург, где последний в 1764 году и погиб.

Приведенные в романе новые оды Ломоносова, в честь младенца-императора, открыты академиком г. Куником в 1853 году в одном из редких печатных экземпляров «Примечаний к *Ведомостям 1741 года*», откуда этих од не успели вырезать и сжечь в царствование Елисаветы, когда истреблялась всякая память о бывшем императоре Иоанне Антоновиче. Несправедливо было бы считать Ломоносова под-

стрекателем и даже чуть не сообщником Мировича лишь за то, что Ломоносов, встретив Мировича, *за два года до покушения последнего*, мог прочесть ему отрывки из этих од и, на его вопросы, рассказать ему кое-что из того, что, несомненно, в те годы волновало всех честных русских людей, ввиду безмолвной одиночной тюрьмы, в которой тогда — уже двадцатый год — томился принц Иоанн Антонович. Ломоносов был в то время центром и воплощением интеллигенции пробуждавшегося родного общества. Явившись в Россию в царствование «дитяти-императора» — потом вечного, до кончины, узника, — он не мог равнодушно относиться к беседе о нем, особенно в правление мягкого нравом Петра III, решившего даже — на свою собственною погибель — освободить и приблизить к себе узника.

Ставить это в вину Ломоносову было бы так же странно, как если бы кто вздумал привлекать Пушкина к ответу в судьбе декабристов, по поводу того, если бы Пушкин, разговаривая с кем-либо из них, как с случайным знакомым, за год и более до известной катастрофы, мог читать при этом свои стихотворения: *«Узник»*, *«К Овидию»* или *«Андрей Шенье»*. В Ломоносове, как и в Пушкине, живо отражались и воплощались все боли, все скорби и надежды родного ему времени и общества.

Критик одного журнала укорил меня, между прочим, за то, что так печально разыгравший роль освободителя Мирович мною изображен не с идеальной, а с реальной, и притом весьма низменной стороны. Я старался быть верным преданию и истории, которые именно рисуют Мировича самолюбивым, мало развитым и легкомысленным «армейским авантюристом» екатерининских дней, завистливым искателем карьеры, картежником и мотом. «Этот патриот своего отечества», между прочим, на основании исследований графа Блудова в государственном архиве, давал обет Николаю Чудотворцу — в карты более не играть и табаку не курить, если исполнится его предприятие об освобождении принца Иоанна и о возвращении ему родовых имений, с повышением его «на службе и в чинах»... Критик другого журнала, напротив, сочувственно отнесясь к тому, что я не польстил Мировичу, нашел в его изображении с моей стороны даже родственные черты с двоедушным сластолюбцем и извергом Катилиной. Зато этот критик усомнился, действительно ли молодые Державин, Новиков и Потемкин играли в Екатерининском перевороте ту роль, которую я им приписываю. В этом я снова ссылаюсь на печатные источники и, между прочим, на собственный рассказ Державина о воцарении Екатерины — в его «Записках» (1871, с. 426—436), на показание о том же Новикова Шешковскому в Шлиссельбургском каземате, напечатанное в книге Лонгинова «Новиков и московские мартинисты» (1867, с. 74), и на биографию Потемкина в «Словаре достопамятных людей Русской земли» Бантыш-Каменского (1836 г., ч. IV, с. 197). Свидание Екатерины с принцем Иоанном в Пелле и посылка ею графа Строгонова за себя на маскарад в Риге рассказаны в романе на основании преданий,

сообщенных князем А.Н.Голицыным А.С.Норову и г. Сахарову, от которого об этом слышал Ив.П.Боричевский.

В европейской литературе существует ряд произведений, посвященных памяти русского «царственного узника». Из них следует упомянуть о двух романах (есть и драмы). Во Франции, в 1825 году, издан украшенный гравюрами роман г. Роже де Сент-Ипполита «Ivan le VI ou la forteresse de Schlusselbourg»[1]. Этот роман мною прочтен, благодаря содействию известного нашего библиографа П.А.Ефремова. После выхода первой части романа «Мирович» я получил из Англии, через посредство книжного магазина г. Ретгера, изданный в 1870 г. английский роман о принце Иоанне «The secret Discpatch»[2] (250 стр. в 16, с гравюрой), принадлежащий г. Джемсу Гранту (автору другой новеллы «The romanse of war»[3]). Оба эти произведения, передавая быль о Мировиче и его невольной жертве, повторяют басни Кастеры и других иностранных писателей о причинах убиения принца Иоанна. Более талантливо обработан английский роман «Секретная депеша» (похождение капитана Бельгони). Но и этот, как и французский, роман основан на полнейшем, часто изумительном незнании России и изобилует невероятными анахронизмами. Так, между прочим (на с. 184), Шлиссельбургская цитадель, во время Мировича (1762—1764 года), оказывается укрепленною стараниями генерала Тотлебена. (Граф Тотлебен Семилетней войны не был инженером.)

Прилагаю список с предсмертного, доныне нигде не изданного стихотворения Мировича об Иоанне Антоновиче, хранящегося в его бумагах. О нем упоминает императрица Екатерина в своей переписке по поводу суда над Мировичем.

---

[1] «Иван IV, или Шлиссельбургская крепость» *(фр.)*.

[2] «Секретная депеша» *(англ.)*.

[3] «Роман о войне» *(англ.)*.

НЕИЗДАННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ МИРОВИЧА

«О время, время преходящее,
В коем дни дней множат!»

Появился, не из славных, козырной голубь, длинноперистый;
Залетал, посреди моря, на странный остров,
Где прослышал, сидит в белом камне в темной клеточке,
Белый голубок чернохохлистый...
Призывал на помощь всевышнего творца
И полетел искать себе товарища,
Выручить из клетки голубка;
Сыскал голубя долгоперистого,
Прилетел на Каменный остров;
А прилетевши к белому камню,
Они с разлета разбивали своими сердцами
Тот камень и темную клеточку...
Но, не имея сил, заплакав, оттуда полетели
К корабельной пристани, где, сидя и думаючи, отложили,
Пока случится на остров от моря погода, —
Тогда лететь на выручку к голубку...
Оттуда, простившись, разлетелись —
Первой в Париж, а второй в Прагу...

СОДЕРЖАНИЕ

Григорий Петрович
ДАНИЛЕВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 5

Редактор
И. Шурыгина

Художественный редактор
Е. Дятлова

Технический редактор
Н. Привезенцева

Корректоры
В. Антонова, М. Александрова,
В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 16.11.94. Формат 70 X 108 1/32. Бумага офсетная. Печать высокая. Усл. печ. л. 19,6. Уч.-изд. л. 23,68. Тираж 15 000 экз. Заказ 1531.

Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.

Отпечатано с готовых диапозитивов в АООТ «Ярославский полиграфкомбинат». 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ